МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

С. П. Мельгунов

ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ



С. П. Мельгунов

Воспоминания и дневники



Москва
Берлин
2021

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)-49
М48

Мельгунов, С. П.
М48 Воспоминания и дневники / С. П. Мельгунов. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 500 с.

ISBN 978-5-4499-2068-3

Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956 гг.) — один из известнейших русских историков XX века, талантливый публицист, политический деятель. Судьба даровала ему возможность стать свидетелем русской революции — важнейшего события XX века, пережить «минуты роковые» 1917 года и последующих неспокойных лет.

В издание вошли «Воспоминания и дневники» С. П. Мельгунова, первые две части которых были завершены осенью 1922 года — до его эмиграции из Советской России. Сама книга состоит из трех частей, совершенно отличных друг от друга. Многие записи были написаны С. П. Мельгуновым в тюрьме.

Первая часть воспоминаний посвящена детству, студенчеству и годам службы, знаменательным встречам с известными общественными деятелями и писателями. Вторая часть полностью состоит из дневников 1924–1916 гг. и записей периода Февральской революции 1917 года, в которых отражена развивавшаяся на его глазах всероссийская смута, вызвавшая необратимые изменения в общественно-политической жизни государства. Третья часть мемуаров была написана в 1923 г. непосредственно по выезде С. П. Мельгунова из СССР. Это воспоминания о годах борьбы после захвата власти большевиками (1918–1922 гг.) — годах арестов, тюремного заключения и «суда» по делу «Тактического центра», в руководящий состав которого входил Мельгунов.

УДК 82-94(47)
ББК 84(2=411.2)-49

ISBN 978-5-4499-2068-3

Оглавление

Предисловие

«Воспоминания и дневники» С. П. Мельгунова, вошедшие в эту книгу, доведены до выезда нашего из СССР осенью 1922 года.

В книге три части, совершенно отличные друг от друга. Писалось все в разное время и в разных условиях, влиявших подчас даже на форму писавшегося.

В первую часть входит все, что уцелело от обысков из написанного в тюрьме. Тюрьма наложила, конечно, печать не только на подбор материала, но и на стиль — он сохранен без какой-либо подчистки. Сохранена также последовательность, намеченная самим С. П. не в порядке написания и отчасти даже не в хронологическом порядке, — намеченная им, когда он смог на свободе собрать все то, что уцелело, и что удалось переправить за железный занавес из СССР сюда.

Первой части предпосылается страничка записи, в которой С. П. поясняет специфичность условий работы в тюремной одиночной камере.

Во вторую часть вошел дневник, который с перерывами вел С. П. в годы 1914–1916 г.

К нему добавлены записи-наброски, сделанные им в Петербурге в февральские дни 1917 г. Дневники С. П. сам переписал в эмиграции без переделки. (В конце в виде дополнения приложены отмеченные С. П. отрывки из моего дневника 1917 г., так как кроме дней 25—28 февраля, он дневника в этом году не вел.).

Третья часть — воспоминания, написанные в 1923 г. непосредственно по выезде из СССР — воспоминания о годах борьбы (1918–1922) после захвата власти большевиками — годах арестов, тюремных сидений, «суда»... При этом должна оговориться: большую часть четвертого тюремного сидения, «суд» и пятое заключение, не дописанные С. П., пришлось, как он того хотел, взять из моих воспоминаний, писавшихся тоже в 1923 г.

и им прочитанных. Проредактировать свои воспоминания С. П. не успел.

(В одиночном заключении С. П. написал большую работу по великой французской революции, которую хотел переработать, пополнив новыми материалами...).

П. Мельгунова

Часть первая
Воспоминания, написанные в одиночной камере тюрьмы Особого Отдела ВЧК в 1920 г.

С. П. Мельгунов о своих тюремных записях

В дни тюремного безделия, когда в моем распоряжении не было книг, я занимался писанием воспоминаний. Подобные дни систематически повторялись из года в год в период моего долгого пребывания в Советской России.

Нарастали таким образом почти кипы воспоминаний. По сентиментальному чувству проносились эти листки легально и нелегально за тюремные стены. С некоторой любовью смотрю я теперь, вспоминая прошлое, на сохранившиеся записи, часто хаотические, занесенные нередко огрызком красного карандаша на обрывках оберточной бумаги, с некоторым искусством пронесенных через комендантские обыски.

Справедливость требует сказать: сажали меня часто большевики в тюрьму за «контрреволюцию», но всегда давали возможность работать, допуская широко передачу книг и письменных принадлежностей. Единственно за что я могу чувствовать к ним хоть некоторую благодарность.

Но как тоскливы были всегда первые дни! Тогда я, от нечего делать, пытался записывать некоторые эпизоды своей жизни, воспоминания детства, встречи с интересными людьми — одним словом то, что не отзывалось политикой. Ведь и в тюрьме обыски продолжались, и здесь искали контрреволюционные комплоты. Приходилось в безобидных по существу, но формально нелегальных, Записях быть осторожным. Сколько их осталось тем не менее

при случайных налетах на камеры в недрах тюремных канцелярий!

По сентиментальному же чувству мне всегда хочется воспроизвести их в печати так, как напитаны они были в тюрьме. Для меня они связаны иногда с безотрадными переживаниями тюремной жизни при большевицком режиме — с днями, например, многодневной голодовки, когда ослабленная мысль не в состоянии была сосредоточиться на серьезной книге и невольно обращалась хотя бы к мелочи, которая способна была занять время и дать возможность забыться в томительные часы одиночного бездействия. Воспоминания скрашивали эти моменты.

I. Детство

Я себя помню с очень ранних лет. Правда, запечатлелись лишь маленькие эпизоды, почему-либо повлиявшие на детское воображение. Более или менее сознательная жизнь началась с шести лет. Я так хорошо помню 25 декабря 1885 г., когда мне исполнилось шесть лет, и когда, проснувшись, я увидел около постели генеральский мундир, идеал моих детских мечтаний. До этого дня я помню лишь отдельные моменты, хотя так отчетливо, как будто они протекали в период совсем сознательной жизни.

Помню себя в д. Болышово, где мы несколько лет подряд жили на даче. Помню, как я по совету отца усиленно гонялся за воробьями в надежде посыпать их хвосты солью и таким образом поймать их. Помню, как отец, разводивший цветы, убил крота. Помню, какой ужас мне внушил зажаренный поросенок, поданный на стол, головой с оскаленными зубами смотревший на меня. Впечатление было столь сильное, что в течение более двадцати лет я не мог есть поросят. Помню рождение и крестины моего младшего брата, а также его смерть. Помню нелюбимого деда со стороны отца, неприятного старика, прежнего

члена дворянского клуба, неизбежно отвечавшего полотерам, просившим на чай, — что чай пить вредно. Помню шумные игры, затеваемые отцом, коллективное пение под его руководством, и мое положение, как бы пасынка, в этих случаях. Отец меня не любил и иначе не называл, как мамин лизунчик. Был случай, что он меня так схватил за вихры, что и по сие время осталась на голове маленькая незаметная плешь.

Такое отношение было тем более разительно, что вообще окружающие меня баловали. Судя по портрету, у меня были большие синие глаза, длинные кудри, одним словом такая детская внешность, которая останавливала на бульварах и т. д. других матерей и побуждала их к ласке.

От того, что я был младший, считался материнским любимцем, моя судьба оказалась тесно связанной с судьбой материнской. Это оказало влияние на все мое воспитание, на весь последующий образ жизни и, может быть, предопределило многие черты моего характера, моих жизненных интересов, навыков и, пожалуй, даже воззрений.

Я вовсе не собираюсь описывать свои детские годы. В них не было ничего такого, что могло бы представить бытовой интерес, т. е. не было специфической среды, выделявшейся из обычного. Без этого только художественное изложение может иметь ценность в детских воспоминаниях... Для меня описание детских лет будет лишь присказкой к тем годам, когда личная жизнь протекала в условиях своеобразного уже быта, в известной своей части заслуживающего краткой обрисовки...

Генеральский мундир для меня был как бы окончанием периода семейного благополучия. В этот год мать оставила отца. Последний не отдавал детей, и период, в течение которого шел их процесс разделения детей: две старшие девочки, уже бывшие в институте и я, младший, отходили к матери; двое средних — сестра и брат — отходили

к отцу, — был для меня страдной порой. Удерживать меня отец, вероятно, вовсе не желал, зная, что я буду отделен от него. Но характер не позволял согласиться на добровольную уступку. Да, это было плохое для меня время, время такое, какое так часто озлобляет детские сердца, коверкает их душу и вводит остающийся уже на всю жизнь иппокритизм. Я должен был приучаться скрывать свои чувства к отсутствующей матери и подлаживаться под тот тон, который царил в домашней обстановке, у прислуги, экономки и прочей отцовской челяди.

К счастью этот период был недолог. И к осени мать уже получила право меня взять к себе. О, с какой радостью я оставлял постылый для меня дом, оставлял навсегда, ибо оставшихся у отца брата и сестру увидел лишь в 1893 г., когда умер отец.

Мы уехали с матерью в деревню к ее братьям в Задонский у. Воронежской губ. Это были неразорившиеся еще помещики, ведшие довольно широкий барский обиход. Казалось бы, условия жизни для нас были наилучшие, но только не с точки зрения воспитательной для меня, если ей вообще придавать какое-нибудь значение.

Холостая, бесшабашная жизнь придавала особый характер всему дому, отражавшийся, конечно, и на мне. К тому же мать моя была плохой воспитательницей. Она сама должна была заниматься со мной, и ее раздражало, что я гораздо больше в это время думал о лошадях, собаках и тому подобных предметах помещичьего обихода. Особой мукой для меня делались уроки музыки в хорошие летние дни. Так как мать была человеком слабохарактерным и, как человек слабохарактерный, легко раздражавшаяся, то в сущности наши занятия превращались в сплошные скандалы: я вскакивал и бегал вокруг рояля, мать за мной, я в окно и т. д. Дело заканчивалось довольно обычным обывательским наказанием в виде шлепков и

сажания на стул на определенный срок. Тут являлся мой дядюшка и, вероятно, от скуки начинал издеваться надо мной, впрочем, незлобиво. Он садился против меня со словами: «ну, кто кого пересидит», и сидел, пока ему не надоедало. Мое самолюбие в то время это оскорбляло до чрезвычайности. В результате таких воспитательных приемов я получил лишь отвращение к роялю, хотя, по-видимому, как говорили впоследствии, у меня были известные музыкальные способности. Также было и с учением. И говорили, что у меня развивается несносный характер, что я капризный ребенок. Но если это и было, то создавала такой характер сама жизнь. Очень я страдал от преследований со стороны старика немца, скрипичного учителя моего дяди. Мой дядя был, кажется, довольно бездарным музыкантом, но хотел, во что бы то ни стало, играть на скрипке. При средствах эту прихоть легко было удовлетворить: им куплена была прекрасная скрипка и взят в деревню специальный учитель. Почему последний меня ненавидел — не знаю. Но только немец меня преследовал усердно. И мать не могла меня защитить, так как немец весьма ценился хозяином дома. Немец со своим несносным нюхательным табаком был вообще человек не совсем нормальный. Это проявилось в момент солнечного затмения, бывшего в этом году. Немец вышел к конюхам с проповедью, что Бога нет, и чуть не был до смерти избит...

Одним словом, обстановка для правильного воспитания была мало подходящая. Мать скоро это почувствовала и через год вернулась в Москву.

Здесь в деревне, между прочим, со мной был случай, едва не окончившийся для меня трагически. Однажды я один гулял в саду, когда сорвались с цепи три огромные, злые овчарки арендатора фруктового сада. Они бросились на меня и, думаю, растерзали бы, так как подобный случай, как рассказывали, был с одним ребенком. Но меня героически спас

дядин бульдог, который, услышавши мои крики, бесстрашно вступил в бой с овчарками и сражался с ними до тех нор, пока не прибежали люди.

От этого деревенского жития у меня в памяти сохранился еще один эпизод, отзвуки которого сохраняются во мне и поныне. Как то поднимали пол хлебного амбара в целях уничтожения разведшихся в огромном количестве крыс. Это что-то было неимоверное и по количеству крыс, и по их величине. Мне всегда потом вспоминался несчастный епископ Гатон, и я остро переживал его гибель. Некоторая часть крыс разбежалась, проникла в дом, и это было целое несчастье. Чудовищные крысы были так злы, что их боялись кошки. Думаю, что от этих картин у меня сделался жар. И ночью, лежа в постели, я явственно видел двух выползающих из-за углов крыс. На меня это навело такой ужас, что я на всю жизнь почувствовал страх не только к крысам, но и к мышам. Легко себе представить, как страдал я впоследствии по ночам в тюрьмах, где мыши чувствовали себя хозяевами и бегали не только по провизии, но и по людям. Целые ночи напролет я не спал из-за боязни, что мышь заберется на койку...

Итак, мы переехали вновь в Москву. Мотивами для переезда были не только те бытовые, деревенские условия, которые несколько нервировали мою мать, но и угнетавшая ее разлука с детьми, с теми по крайней мере двумя старшими дочерьми, которые отходили по теории к ней. Они были в Николаевском институте, где отец мой состоял преподавателем. Институтское начальство считало себя призванным блюсти семейные нравы и отказывалось отпускать на летние каникулы к матери ее собственных детей. Вероятно, истинная подоплека лежала во влиянии отца, человека более или менее близкого институту и пользовавшегося большим расположением у институтских дам, как начальствующих так и обучаемых — его попросту, что называется, обожали.

В Москве нам пришлось трудно. Материальные условия были очень плохи. У матери оставалась еще наследственная земля (около 200 десятин) в Елецком уезде, которая находилась в аренде; эта аренда — около 1000 руб. в год — могла бы явиться существенным подспорьем для матери, но в течение нескольких лет этой аренды она не получала, так как отцу была ранее выдана доверенность, а матери, очевидно, не хотелось идти официальным путем. Поэтому в Москве приходилось всячески изыскивать средства — как это ни странно, родственники материнские, имевшие состояние, не помогали ей. Она жила тем, что научилась делать цветы из папиросной бумаги, ламповые абажуры с сушеными цветами и т. п. вещи. Достигла в их производстве значительного совершенства и продавала через своих знакомых. Заказов было много, и это давало возможность скромного существования нам. Жили мы в очень маленькой комнатке.

Когда вспоминаешь эти условия жизни и условия последующих лет — условия по истине ранней трудовой жизни, удивляешься себе, откуда явились «барские» привычки и вкусовые ощущения, вкоренившиеся во весь житейский обиход. Что это своего рода атавизм, традиция предков, живших широко и обильно? Во всю последующую жизнь я страдал, когда приходилось плохо питаться. Пожалуй, термин «страдал» неверно передает это состояние. Страдания я никогда не чувствовал и мог обходиться часто без пищи. Я просто не мог есть плохо и грязно приготовленную пищу. Это отвращение доходило до таких пределов, что я мог днями голодать в тюрьме, не прикасаясь к тюремной пище. Органически не мог есть из общей чашки, как бы мне ни хотелось есть. Тошнота от голода была слабее тошноты от такой еды. При былых своих поездках по сектантам я неделями питался только чаем и черным хлебом. Был случай, когда я двое срок ничего не ел

и не пил, кроме нескольких глотков сырой воды. Очевидно, это не было привередничаньем и капризом. Совершенно такое же чувство я испытывал в период голодания в эпоху большевизма. — Я не мог питаться, как все.

А между тем вся ранняя жизнь, почти до окончания гимназии, когда я сумел встать на свои собственные ноги и содержать самого себя, не обременяя материнского бюджета, а пополняя его, совсем не могла приучить, повторяю, к такому жизненному обиходу. В тюрьме мне приходилось сидеть с бывшими аристократами — говорю не о происхождении, а о среде, в которой эти «бывшие люди» вращались. Они пожирали, не знаю с удовольствием или без оного, всю ту бурду, которую давали в тюрьме. Поедали даже те, которые получали обильные «приношения», т. е. передачи с воли. И они удивлялись, как я, человек демократичный по своим убеждениям, гораздо более буржуазен в своих вкусах и привычках — даже по отношению к чистоте...

О новой московской жизни мне, конечно, нечего рассказывать. Здесь мало что было интересно.

И опять говорили, что у меня плохой характер, что я донельзя капризен в учении и т. д. Любопытно, что от обучения меня отказались две учительницы, а между тем я вовсе не был ленив и так уже малоспособен. Пожалуй, вина больше приходилась на методы воспитания, чем на плохой характер. В этот период я могу отметить знаменательный факт своего публичного выступления на театральных подмостках в так называемом Пушкинском театре. Выступления помпезного. Подумайте, с кем я играл, с самим Станиславским, Лужским и др. светилами теперешнего Художественного Театра. Они об этом забыли. А я помню, хотя мой дебют, не знаю уже, насколько он был удачен, не повлек за собой подражания — и вообще сценических талантов, столь обильных в нашей артистической семье, у меня не оказалось. Дело было так:

Существовало в Москве знаменитое в свое время Общество искусства и литературы, из которого и вырос Художественный Театр впоследствии. Это все были любители, преимущественно принадлежавшие к зажиточным, буржуазным кругам. Но с самого начала деятельность Общества сделалась серьезной забавой. Создатели Общества действительно увлеклись театральным искусством — создали первоклассную любительскую труппу и такой же оркестр, подвизавшийся впоследствии многократно и публично под дирижерством Литвинова. Режиссером в театральной секции, между прочим, был А. А. Федотов старший, муж артистки Федотовой, женившийся второй раз на моей двоюродной тетке. Федотов был известным театральным деятелем и автором многих пьес. Общество арендовало так называемый Пушкинский театр на Тверской, позже сгоревший. Между прочим, они поставили известный водевиль «Школьный учитель» — вероятно, для детей членов Общества. В качестве артиста был приглашен и я для выполнения роли Тютю Шемуляра... Все, что я помню из этой роли, что моя мать вводила меня за ухо на сцену, что затем меня наказывали и ставили в угол, где я выпивал потихоньку чашку кофе школьного учителя. Maître Corbeau играл Станиславский. Было очень весело кричать на вопрос: пятью пять сколько будет? — Двадцать пять! — Нельзя лучше отвечать! — Шестью шесть? — Тридцать шесть! — Это делает вам честь! Шестью семь? — Сорок два! — Не рубите, как дрова! и т. д... Впрочем, я неверно сказал, что это выступление на сцене было единственным. Таких выступлений было еще два, но оба оказались не очень удачны. Перед толпой всякого рода я оказывался неожиданно застенчивым. В последних классах гимназии я участвовал в любительском спектакле, который устраивала у себя в квартире семья доктора Яблочкова, директора Софийской детской больницы. Мне пришлось

выступать в главной роли довольно глупого водевиля «Катя из Тамбова». Я изображал, кажется, молодого человека чрезмерно влюбчивого и меняющего чуть не ежедневно свои симпатии. Водевиль заканчивался рифмами, в которых я совсем запутался, и доброжелательная публика уже хором докончила их за меня. И еще раз я выступал уже в годы студенчества на театральных подмостках в уездном городе Задонске Воронежской губ. в любительском спектакле, организованном с благотворительной целью местным предводителем дворянства Савельевым... Играл я генерала в пьесе «Ложь». Роль была нетрудная, и спектакля я не опозорил. Хуже вышло с водевилем, где опять я спутался. После этого у меня пропала всякая охота выступать в каких-либо любительских спектаклях.

Вероятно, кажущаяся неудача в учении, одиночество, которому приписывалась порча характера, побудили мою мать поместить меня в более нормальные, как ей казалось, условия для мальчика.

И действительно, я попал на время подготовки для поступления в гимназию в исключительно благоприятные условия — в семью члена управы Н. М. Андреева, переехавшую в деревню. Энергичная жена Н. М. Юлия Андреевна решила устроить как бы загородный полупансион, где ее дети, три мальчика и две девочки, могли бы пользоваться всей полнотой деревенской жизни и необходимой учебной подготовкой. Не располагая достаточными средствами для такого самостоятельного жития, Ю. А. и взяла к себе несколько мальчиков. Для них был взят и специальный учитель, однофамилец семьи, А. А. Андреев — «Лисица», как мы его прозвали за его несколько хитроватую внешность. В натуре же у этого добрейшего, преданного своему делу человека не было в действительности ничего лисьего... Наш пансион находился в имении Третьяковых «Горенки», в верстах семи от станции и в двадцати от

Москвы, что давало возможность самому Н. М. каждую субботу приезжать в семью. Я должен с благодарностью вспомнить те 1½ года, которые я пробыл в семье Андреевых, сделавшейся близкой уже на всю жизнь. Ю. А. удивительно умело поставила дело. Мы все себя чувствовали как бы в хорошей семье. А. А. сумел приохотить к учению и чтению; я помню, с каким одушевлением читал он нам «Одиссею» и «Иллиаду» с некоторыми купюрами, и с каким интересом мы его слушали. Наряду с учением Ю. А. обставила наш интернат всеми прелестями деревенской жизни: большие прогулки летом, во время которых я на всю жизнь пристрастился к исканию грибов, что сделалось моей пассией, и в чем я проявляю, как всеми признано, исключительный талант; катанье на лодке, игры в городки и лапту; а зимой катанье с самодельных гор, коньки, лыжи и пр. Надо сказать, что «Горенки» сами по себе представляли замечательное имение — прежде резиденция Елизаветы Петровны, затем огромная катушечная фабрика, в наше время уже не действующая. Великолепные пруды-озера, чудный парк, разнообразные леса — все это делало из «Горенок» идеальнейшее место пребывания.

Не знаю, исправился ли мой характер от общения с детьми, и Андреевы говорили, что он очень плох. Но учение у меня наладилось, и я оказался хорошо подготовленным для гимназии. Вероятно, моей матери материально приходилось очень туго. Но я с благодарностью должен вспомнить ее жертву. Думаю, что пребывание в нормальной семье исправило многие уродства, которые должна была иначе культивировать жизнь... У А. А. Андреева я начал учиться немного играть на скрипке. Он был страстный музыкант, но чрезвычайно раздражительный в игре. Их совместная игра с Ю. А., великолепной музыкантшей, всегда сопровождалась скандалами... В обучении наукам он был совсем иной. Думаю, такой характер преподавания музыки не привел

по отношению ко мне к положительным результатам. А. А. восторгался моими руками, которые, по его мнению, как бы самим Богом созданы для скрипки; у него у самого мизинец на левой руке был короток; этим недостатком, вероятно, и следует объяснить его музыкальную раздражительность. У меня были хорошие руки, я был не лишен слуха, но все-таки из моих музыкальных упражнений ничего не вышло. А между тем меня к музыке тянуло. Почему-то у всех существует убеждение, что я к музыке равнодушен. Позже я пробовал опять брать уроки даже у хороших музыкантов: Буюкли и Померанцева, тратя на это свои трудовые копейки. Учителя говорили, что у меня есть способности — главным образом в руках — хорошее тушэ. Но музыкантом, тем не менее, я не вышел. И могу бренчать на рояле, что называется через пень — колоду.

Когда наступило время поступать в гимназию, мать меня взяла от Андреевых — другие дети остались еще на год и поступили потом сразу во второй класс гимназии.

Выдержал я экзамен легко, так как знал гораздо больше, чем это требовалось по программе. Отдала меня мать в первую шестиклассную прогимназию, находившуюся на Садовой около Каретного ряда в отвратительном помещении: отдала меня сюда потому, что директором ее в то время был товарищ моего отца А. Н. Шварц, с семьей которого мать поддерживала все время близкие отношения. В год моего поступления, однако, Шварц был назначен директором в пятую гимназию, и место его занял К. К. Войнаховский — этот удивительный преподаватель и изумительный человек. Думаю, что для меня в этом назначении было большое счастье. Войнаховский сумел придать гимназии совсем особый характер — в ней не было мертвящей казенщины, того формально-классического, который вскоре установился под руководством Шварца в пятой гимназии. Говорят, что в этой гимназии препода-

вание было поставлено исключительно серьезно. Может быть, у нас в прогимназии, впоследствии обратившейся в 7-ую гимназию, было поставлено все хуже. Но счастье для средней школы, для ее преподавателей, когда ученики выходят из гимназии без ненависти к ней и скорее даже с некоторой нежной любовью к своей ранней alma mater.

Так было по отношению к нашей гимназии по крайней мере у меня. Войнаховский, относившийся ко мне исключительно хорошо, зная те ненормальные семейные отношения, в которых мне приходилось жить, вошел в мое сознание, как одна из тех светлых личностей, которые не часто встречаются в жизни. Его некролог в «Русских Ведомостях» был первой моей заметкой памяти от нас ушедших.

В гимназии

Первый год гимназии, вероятно, был одним из самых счастливых годов моей жизни. Как ни хорошо мне было у Андреевых, я чрезвычайно скучал без матери. Теперь мы поселились вновь вместе и притом самостоятельно в маленькой квартире из двух комнаток в Конюшках. Какое счастье иметь свою собственную квартирку, а не быть комнатными жильцами. Не знаю, все ли это чувствуют так, как я чувствовал на заре своей юности. Мать могла допустить такую роскошь, так как ей удалось получить постоянное место в том самом Обществе искусства и литературы, которое ставило «Школьного учителя». Общество завело театрально-музыкальную школу, надзирательницей в которой или производительницей дел сделалась мать.

Так началась наша совместная жизнь. К обеду все мы приходили домой. Я говорю все, потому что у нас столовался наш общий друг Г. П. Рождественский, — московский адвокат, брат известного адмирала, человек, оказывавший на мое развитие в эти годы большое влияние. Подарок в виде тома Пушкина с надписью: «Милаше от друга» сохраняет память об этом покойном уже друге детства.

Вечерами мать часто меня брала с собой на службу — я смотрел репетиции, слушал музыку, видел артистов. И удивительно, что именно на меня артистическая среда не оказала никакого влияния. Между тем как мои старшие сестры, воспитывавшиеся в закрытом учебном заведении, сделались артистками. Правда, у меня не было таланта. Но мало ли бесталанных людей в артистическом кругу.

Эти вечерние посещения школы (чтобы не оставлять меня одного) не мешали моим занятиям в гимназии, так как с одной стороны я хорошо был подготовлен, и мне приходилось лишь повторять то, что я знал, с другой — ученье всегда давалось мне легко. Уроков я никогда почти в гимназии не учил, а занимался расширением соответствующих знаний. Хотя в моих способностях было удивительное свойство, сохранившееся на всю жизнь. Я необычайно легко все усваивал, схватывал с полуслова, также читал книги. Нельзя сказать, чтобы прочитанное я забывал. И между тем я никогда не мог существовать без выписок. Хорошая или плохая у меня память? Те, которым приходится входить со мной в деловые отношения, считают, что у меня исключительная память. И действительно, у меня, как у администратора, память первоклассная. Но я никогда ничего не мог выучить наизусть — или это давалось мне с большим трудом, и я скоро забывал. Я не знаю ни одного стихотворения наизусть, никогда не мог сыграть, кроме чижика, ни одной самой простой пьесы наизусть. В гимназии подчас это бывало трагично. Я старался учить стихотворения, и мне часто приходилось признаваться, что я не мог выполнить заданного урока, несмотря на все мои попытки. В восьмом классе, когда нам задавали выучивать наизусть оды Горация, и наш учитель Е. Е. Якушкин спрашивал весь класс — меня он освобождал, так как выучить оду Горация наизусть я не мог. В моих способностях есть дефект в языках, но не настолько, чтобы это могло помешать изучению их в гимназии.

В гимназии я всегда учился более или менее хорошо — был, что называется, в первом десятке. Правда, амплитуда успехов была довольно широкая. В первом и втором классах я был один из первых, не прикладывая к этому никаких стараний. Быть первым мне мешали два предмета, чистописание и рисование, в которых я проявлял уже полную бездарность. Из милости мне ставили 3. И только в третьем классе, когда я оказался по баллам вне конкуренции с другими, наш учитель рисования поставил мне по четверке по своим предметам, чтобы я мог попасть в так называемый первый разряд. При этом он почти сам нарисовал и затушевал какой-то конус, который я должен был сделать. И этот конус служил уже мне показателем на весь год. К чести моих маленьких товарищей — никто, кажется, в этом не только не видел несправедливости, но самый факт в значительной степени произошел по инициативе товарищей, коллективно заявивших Шеншину (учителю рисования и чистописания), как мешают его предметы моим ученическим успехам.

С пятого класса я начинаю учиться все хуже и хуже. Я много читаю. Уроки готовлю только в переменах, если накануне учитель не давал объяснений. Но меня вывозит способность легкого усвоения, старая традиция «первого ученика». Когда я был в младших классах, учителя мне говорили, что я должен учиться поменьше, принимая во внимание мое плохое здоровье. Особенно внушал мне это наш крикун учитель греческого языка Е. А. Браун, человек в сущности добрейшей души, человек больших талантов и в значительной степени, я бы сказал, неудачник в жизни. Говорят, что жизнь ему переломила какая-то семейная трагедия. Этот ученик Стороженко, хороший специалист по романской литературе, не пошел в своей ученой карьере дальше лектора итальянского языка в московском Университете. И помню, как в старших классах на меня

кричал Браун — «вы ничего не делаете». И я ему отвечал: «Вы это мне внушили». Он выводил иногда мне в четверти 5 и ставил за прилежание и внимание по 3.

У меня никогда не было честолюбия, поэтому я никогда не стремился быть первым или одним из первых в учении. Во мне много было самонадеянности и отчасти самолюбия. Я всегда был горд, что много читаю сравнительно со своими сверстниками: горд был тем, что мог многое им рассказать и разъяснить. Мне всегда поэтому хотелось быть первым или одним из первых в сфере гуманитарных предметов — истории и истории литературы, и думаю, что в значительной степени достигал. Но все это оформилось позже — не буду забегать вперед.

Итак, пока еще я в первом классе. Быть может, редкая мать первоначально относилась так равнодушно к учебным успехам сына, как моя матушка. Раз был даже такой случай. Она спросила меня, как всегда, что было в гимназии. Я ответил, что спрашивали по такому-то предмету, и на вопрос, какую отметку мне поставили, сказал: «как всегда». Вот это «как всегда» возмутило мать. Ей показалось вредным подобное самомнение (думаю, что в действительности ответ был машинальный, так как к отметкам с первого класса я относился с глубоким равнодушием)[1], и она поехала в гимназию говорить с Войнаховским, чтобы к моим занятиям относились строже... Правда, не знаю, имела ли какие-нибудь результаты эта несколько необычайная, вероятно, дружественная беседа директора с матерью одного из учеников.

Только один раз вопрос об отметках задел мое самолюбие. У нас был законоучителем в то время прот. Бого-

---

[1] Отметки меня интересовали постольку, поскольку они давали возможность получить освобождение от платы — так как 60 руб. в год для матери были суммой весьма существенной.

явленский, тесть П. Н. Милюкова. Неприятный и странный был это человек. Прежде всего он занимался своеобразной благотворительностью и в целях воспитательных заставлял и нас всех косвенно принимать в ней участие — вернее, конечно, наших родителей. Он приносил каждый раз с собой божественные книги и торговал ими в пользу какого-то благотворительного учреждения. Торговля была грошевая — покупали на 10–20 коп. тоненьких брошюр. Я вначале их не покупал по причине, что брошюры эти меня нисколько не интересовали, а во-вторых, и эти маленькие гроши для меня подчас имели существенное значение. Мне всегда стыдно было у матери просить какую-нибудь копейку. В моей жизни в ту пору был даже позорный факт — зачем его теперь скрывать — кража 10 коп. у чужого человека. Этот факт я расскажу, хотя и теперь еще краснею, вспоминая свое деяние. Между тем я мальчик был далеко не испорченный, нет, скорее чистый и невинный ребенок. Очевидно, иногда в жизни преступления совершаются почти бессознательно и людьми отнюдь не порочными. Помните, у Бальзака маленькая Елена, сбрасывающая своего батюшку с моста, как бы в отместку за измену своей матери («Tja femme dé trente ans»)! Так, очевидно, было и со мной.

Итак, я брошюр у свящ. Богоявленского не покупал. И никак я не мог понять, почему, как ни хорошо я ни выучивал урок, как ни хорошо я не отвечал при вызове, систематически вначале получал 3-ки. В сущности это не только было несправедливо, но просто цинично. У нас в классе был мальчик, что называется, тихоня и большой пролаза. Он быстро смекнул, в чем дело, и посоветовал в следующий же раз приобрести на соответствующее число копеек книжек... Я так и сделал. И что же? Представьте себе мое удивление — я при первом же спросе получил четверку. А потом уже не сходил с пятерки, так как урок

всегда знал и уже систематически занимался полагающейся для ученика, с точки зрения Богоявленского, благотворительностью[2].

Спрашивается, неужели наше начальство не знало о методах, практикуемых нашим законоучителем?.. Вероятно, знало. Но Богоявленский, занимавший довольно авторитетное положение в церковном мире, был наследием, которое Войнаховский получил по преемству[3].

Были и другие учителя у нас, не подходившие к общему ансамблю преподавательского персонала, в общем, я сказал бы, довольно высокому в нашей гимназии (а некоторые учителя так прямо были выдающиеся люди). К чести Войнаховского, — он сумел постепенно ликвидировать старое наследие и заменить его новым элементом, почти всегда удачным, кроме одного случая, о чем мне придется, пожалуй, рассказать подробнее всего.

Вместо Богоявленского законоучителем у нас скоро сделался преподаватель Александровского военного училища свящ. Н. И. Добронравов, приобретший такую большую известность, как лидер прогрессивной части ду-

---

[2] Из этой «торговли» мы ухитрялись выносить пользу для себя в том отношении, чтобы занять ею нашего законоучителя возможно дольше. Некоторые ухитрялись покупать по несколько раз в один урок. У Богоявленского был шаблон: спрашивать ученика через определенное число уроков. И, когда случайно приходила очередь на неподготовленного, важно было добиться того, чтобы очередь перешла на следующий урок.

[3] У Богоявленского еще была одна своеобразная черта в постановке баллов. Он ухитрялся ставить 0 с двумя минусами. Когда мы его спрашивали, как можно из ничего вычитать, он отвечал только: «не вашего ума дело». Так он отвечал и в тех случаях, когда кто-нибудь задавал какой-нибудь казуистический вопрос в области веры. Это был к тому же бестактнейший человек узких церковно-православных воззрений. В нашем классе был один старообрядец, которого заставляли учить Закон Божий в духе господствующей церкви. В сущности это было издевательство со стороны Богоявленского.

ховенства на церковном Соборе уже в дни так называемой «великой революции». Человек большого ума, не узкого клерикального кругозора, прекрасный педагог, умел заинтересовать своим предметом. Что можно сделать, казалось бы, из катехизиса Филарета, этой скучной богословской догматики, этой поистине мертвечины византийского православия. Добронравов умел так рассказывать, особенно в старших классах, когда мы изучали уже историю церкви, что его уроки для меня, по крайней мере, сделались одними из наиболее интересных. Учитель не мог внушить ученику веру — для моей безрелигиозности были свои глубокие психологические причины. В 16 лет я пережил свой девятый религиозный вал, снявший навсегда опеку с моей совести и с моей мысли. Но думаю, что, если я всю жизнь интересовался церковно-общественными вопросами, религиозно-общественными движениями в человечестве — в этом до некоторой степени повинен мой законоучитель.

Был у нас еще один учитель чудак, хотя и другого типа — учитель французского языка, кажется, его фамилия была Герике. Старик почти выжил из ума и доживал в гимназии до пенсии. Был он добродушнейшим существом, которого никто в грош не ставил. Его уроки являлись сплошной юмористикой для нас и издевательством в сущности над ним. Впрочем, издевательства были не злые. Он очень сердился всегда, и это лишь подзадоривало шалунов. В рассерженном состоянии француз любил ставить 1, которые лепил направо и налево. Особенно негодовал он на некого Синицына, происходившего из старообрядческой, по-видимому, малокультурной мещанской семьи. Синицын не мог одолеть французского прононса: ла пер и ле мер — по другому он сказать не мог. Ему Герике с аппетитом три раза в месяц ставил по жирной единице. Но будучи от природы добродушнейшим существом, он не мог логически вывести

в четверти 1. Так как я пользовался его любовью за знание французского языка, выделяясь в этом отношении из сравнительно демократического состава учеников прогимназии, помещавшейся в довольно грязноватом помещении в захудалом Ружейном переулке, что на Долгоруковской улице, — то он мне многое позволял — я громко подсказывал, спорил с учителем, какой нужно поставить балл ученику и т. д. Так вот, каждую четверть я убедительнейшим образом доказывал нашему французу, что Синицыну надо вывести тройку по простому арифметическому действию. Верил ли он в это или делал вид, что логичность моих аргументов он признает веской, но только он так всегда в четверти и выводил.

Своеобразным учителем был у нас также Бремер, преподававший латинский язык, товарищ моего отца по преподаванию в гимназии Креймина. В сущности это был очень хороший учитель, по крайней мере для младших классов. Он умел делать так, что на его уроках было почти весело, а ведь это редкость для латиниста. Причем веселость эта концентрировалась вокруг преподавания или вернее сказать — римской истории, о которой огромное большинство из нас не имело никакого представления, хотя латинский язык и изучали, т. е. изучали, как язык мертвый, метафизический. Бремер своими приемами оживлял язык, и мы чувствовали себя как бы в старом Риме. Все мы согласно своим успехам были разделяемы на классы: аристократию и плебс. Все мы соответственно успехам занимали те или другие должности в республиканском Риме. Среди нас были консулы, квесторы, преторы, трибуны и т. д. Временами появлялся диктатор — это был тот, кому за ответ ставилась высшая отметка — 5+. И должности эти отнюдь не были номинальными — они связаны были с привилегиями, и им всем приобщались известные функции. Например, консулы выставляли отметки в классный журнал. Должен сказать, что все это для

нас малышей было занимательно, и мы охотно сидели на уроках латинского языка. Бремер любил острить, нам не запрещалось хохотать. И это нисколько не препятствовало вниманию. Гораздо хуже было у тех, которые пытались устанавливать строгую дисциплину, при которой внимание притуплялось и не могло быть напряженным в течение тех 50 мин., которые приходились на урок.

К сожалению, Бремер не всегда бывал в нормальном состоянии, и тогда шутовство подчас принимало издевательский характер. Был установлен особый класс, которого не было в социальной среде Рима, — прохвосты. Это были двоечники. Мы не обижались за наименование «прохвостом», ибо стадия эта была переходная, и прохвост легко попадал в консулы. Мне лично ни разу не пришлось быть в числе прохвостов, почему, может быть, я и относился равнодушно к этому термину. Обязанности «прохвостов» были: разносить тетрадки с экстемпоралями, стирать с доски — одним словом выполнять различные черновые работы. Но совсем иное было положение, так сказать, безнадежных «прохвостов». И особенно одного из них маленького, грязного, забитого еврея Шкурина. В сущности, над этим жалким существом Бремер просто издевался, и мы с хохотом встречали эти издевательства. Должен оговориться, что едва ли в этом была злостность со стороны Бремера. Такое положение создавалось вследствие разделения класса на привилегированных и рабов и той комической фигуры, которую являл собою Шкурин. Но в сущности я только описываю и педагогических оценок не даю.

Был и со мною маленький эпизод, когда я впервые, быть может, сознательно солгал. Как-то Бремер меня вызвал к доске, чтобы я перевел одну из фраз из заданного урока. Случилось, что я забыл одно слово. Положение было трагическое. Я всегда получалпятерку по латыни, всегда был в числе консулов, а здесь грозило разжалованье

помимо того конфуза, который заключался в этом злосчастном «всегда». Я решился на мошенничество — подсмотреть в конце книги, где помещался небольшой словарь слов. В будущем я нисколько не стеснялся мошенничествами еще худшими при ответах, но тогда мне казалось это большим моральным преступлением. Так как Бремер мне вполне доверял, то и не обращал внимания на то, что я делал у доски. Мне удалось выполнить свою цель. Но здесь меня выдал плебс — некоторые из этой черни закричали, что я подсмотрел. Здесь больше, вероятно, говорило соревнование, чем доносительство — класс всегда довольно дружно держался в смысле товарищеском. Ведь я незаконно остался бы на положении консула или занял бы какое-нибудь аналогичное амплуа. Бремер меня спросил: действительно ли я подсмотрел. Я ответил, что нет, а просто перелистывал книгу от нечего делать. Бремер поверил мне или сделал вид, что верит, и поставил обычную пятерку. Мне вскоре сделалось чрезвычайно стыдно, и после урока я подошел к Бремеру и сознался в своем преступлении. Так был исчерпан инцидент...

Я останавливаюсь пока на учителях, выделявшихся той или другой оригинальной чертой, запечатлевшейся в памяти. О других я скажу позднее, когда перейду в старшие классы — это будут выдающиеся по своим преподавательским качествам и личным К. К. Войнаховский, историк О П. Герасимов, математик Г. Х. Херсонский и др.

Хотя Бремер в моем рассказе отнесен как бы в учителям второй категории, повторяю, по моему мнению, он был хорошим педагогом.

Его метод доходил до крайности, быть может, в силу несчастного его порока, порока, который губил и моего отца, слывшего одним из лучших московских преподавателей, крайне популярного среди своих учеников.

К учителям этой категории, т. е. категории второй, которых в сущности в нашей гимназии было мало и посте-

пенно становилось все меньше и меньше, надо отнести И. В. Софийского. Что может быть хуже бездарного учителя словесности семинарского типа, каким был Софинский! Уроки его являлись сплошной тоской. И у него была своего рода petitesse. Он отбирал у учеников все то, что по его мнению ученику по казенному трафарету не полагалось иметь, и что отвлекало внимание от его крайне нудных, шаблонных объяснений уроков. Особенно охотно он отбирал перочинные ножи и запирал их в ящике учительской кафедры. Их накапливался целый ворох, и я не помню, чтобы он их возвращал владельцам. Он был истинной грозой для перочинных ножей. И я пострадал: мне подарили как-то пенал в виде пистолета; чиновничья душа Софийского не могла выдержать такого нарушения порядка, и новый, оригинальный пенал, к моему великому прискорбию, исчез в бочке Данаид Софийского. Я его больше не видел. Вне уроков Софинский был простым и обходительным человеком, разговаривавшим дружественно с учениками — он как бы снимал с себя чиновничий футляр. Он жил на Садовой, и группа гимназистов, в том числе и я, обыкновенно после уроков шла вместе с ним домой. И по дороге он всегда с нами беседовал, правда, на обывательские все темы, но перочинных ножей не отдавал и членам этой группы...

Софинский был преподавателем в моем классе недолго — вернее я отстал от своего класса, так как два года должен был пробыть по болезни в третьем классе. Потом Софинский оставил педагогию и сделался субинспектором в Университете. Ему эта должность гораздо более подходила. В Университете я и встретился вновь с Софийским, так как он был субинспектором на историко-филологическом факультете и был, надо сказать, субинспектором хорошим. Он исполнял, конечно, полицейские функции, возложенные на университетскую инспекцию. Но исполнял их формально и добродушно. Фактически для большинства студентов он был

скорее защитником, а к своим бывшим ученикам по гимназии чувствовал даже какую-то привязанность. Мы получали много поблажек и прежде всего отметки о посещении лекций, на которых не бывали, как требовалось по регламенту. Кстати и педель наш Сарычев приблизительно также относился к своим обязанностям. В гимназии от старых студентов я воспринял ненависть к институту педелей и, попав в Университет, был несколько удивлен положением, с которым встретился, почему во время всего университетского курса к педелям ненависти не чувствовал, а даже скорее благорасположение, по крайней мере к Сарычеву, который оказывал мне многочисленные услуги — через заднее крыльцо, как всегда, можно было узнать, достать то, что было надо. И компенсацией служили в сущности очень небольшие чаевые.

В младших классах гимназии появились у нас два новых учителя, с которыми у меня установились крайне враждебные отношения, и отношения, к которым ознаменовались у меня рядом крупных скандалов. Это были: новый учитель французского языка Конюс и учитель русского языка Н. Н. Покровский. И опять-таки Конюс по существу был хороший учитель, сразу поставивший преподавание французского языка на серьезную ногу. К несчастью он был полнейшим неврастеником; неврастения у него становилась уже стадией какой-то душевной болезни. С каждым годом становясь все более неуравновешенным и раздражительным, мелочным и придирчивым, он сделался невыносимым даже для гимназического совета. Но от него избавиться не могли, отчасти, вероятно, по протекции, которая была у Конюса, отчасти из жалости, так как боялись остро ставить вопрос. К концу моего пребывания в гимназии уроки Конюса сопровождались сплошными скандалами и в частности крупными столкновениями со мной. Конечно, я должен был уже понимать, что болезненная раздражительность Конюса лежит вне его, но здесь коса находила на камень.

С Н. Н. Покровским вражда была иная — систематическая, долгая и мелочная. Вражда была с его стороны — вражда глупая. Я, пожалуй, напротив, к его систематическим преследованиям, по форме в высшей степени корректным, относился совершенно равнодушно. Это-то и злило еще более моего педагога, который однако именно своими придирками, сам того не зная, заставил меня пойти по той специальности, которую я выбрал себе в Университете.

Вражда Покровского началась с первого дня, как он появился в нашей гимназии, и вызвана была совершенно специфическими причинами. Дело было в следующем.

У нас был один из надзирателей, также из числа доживавших свой век в гимназии, которого мы прозвали коровой. Это и был отец Покровского. Мы его не любили, так как у него все вкусы и приемы были как бы дореформенные. Прозван он был коровой за то, что после завтрака во время большой перемены он осматривал большую корзинку, в которую бросались объедки и выбирал из них то, что считал пригодным и поедал их. Это было чрезвычайно смешно. Может быть мне, так много испытавшему нужду, следовало бы понять причины такого поведения. Большая семья, грошовое жалованье не позволяли старику с собой брать завтрак, или не позволяли ему это делать всегда. Но и я часто бывал без завтрака, но у меня никогда не являлась охота подойти к корзинке. Вот почему все это вызывало у нас не жалость, а только насмешку.

Однажды, когда мы занимались гимнастикой, в залу вошел молодой Покровский, который только что кончил университет, и которого мы видали студентом. Оказывается, он был назначен надзирателем вместо заболевшего отца. Естественно, что когда он вошел, мы хором закричали: теленок. Умный человек, вероятно, не обратил бы на это внимания. Но Покровский был человек недалекий и

решил эту распущенность подтянуть. Взор его упал на меня — я оступился, совершая наклонения корпуса вперед и назад. — Вы безобразничаете! — закричал он, подбежав ко мне. — Останетесь после урока!

Это было первое мое наказание (был, впрочем, еще случай, о котором мне придется говорить). Не то, что мне, первому ученику довольно примерного поведения, неприятно было наказание, да еще из-за пустяка, в котором не было, конечно, никакой вообще вины, а то, что наказание для меня было сопряжено с некоторыми существенными уже неприятностями. Я был в это время уже в дворянском пансионе, и оставление на час после уроков грозило мне, может быть, лишением третьего блюда после обеда, и главное я рисковал потерять воскресный отпуск, т. е. лишиться посещения матери, чем я только и жил в пансионе от субботы до субботы. Конечно, никто не поверил бы, что я был оставлен из-за таких пустяков.

Я стал возражать.

— Останетесь на два часа! — закричал не в меру энергичная новая метла.

Итак, после уроков я был наказан. Пустые классы имел обыкновение обходить сам Войнаховский, и вскоре его милый, неуклюжий образ с тройными очками, надетыми друг на друга, чтобы что-нибудь видеть, появился в дверях класса.

— Что это, Сережа, значит? — просто спросил он меня.

Я ему рассказал, в чем дело с видом оскорбленной невинности.

— Ну, иди себе, — сказал оп, погладив по голове.

С радостью и гордостью стал я спускаться с лестницы, когда натолкнулся на Покровского.

— Куда вы?

— Меня директор отпустил, — заявил я ему в ответ с торжествующим злорадством.

Он не поверил и велел вернуться. Я шел триумфатором. Войнаховский подтвердил свое распоряжение, сказав, что Покровский, вероятно, ошибся, заподозрив меня в нарушении дисциплины.

Может быть, многие найдут такой поступок директора не тактичным. Но во всяком случае молодому надзирателю был дан известный педагогический урок.

Таково было начало моего знакомства с Покровским, не обещавшее хорошего продолжения. Но дальше произошла еще история.

К нам был назначен новый учитель русского языка тоже Покровский, тоже Николай Николаевич, только брюнет, а не рыжий. Нам он сразу понравился своей простотой и скромностью. В первые же два-три урока, в течение которых он расспрашивал, что мы читали, и вообще вел с нами дружественную беседу, он всех к себе расположил. И хотя этот учитель, как кажется, не отличался, по крайней мере, по внешности, как вспоминается, какими-либо исключительными дарованиями, у нас, вероятно, установились бы наилучшие отношения. Но вдруг неожиданность. Через несколько уроков с учительским журналом входит Покровский, да не тот, а наш рыжий надзиратель, чувства к которому у нас были недоброжелательные. Оказалось, в округе произошла путаница — к нам учителем был назначен именно теленок, который и восстанавливался теперь в своих утерянных правах.

Мы были до крайности огорчены. И мы решились, выражаясь новым словом, рыжего Покровского бойкотировать. Начался этот бойкот с первого урока.

Новый Покровский, или вернее старый, не сумел к нам подойти, а может быть, чувства его к нам уже были испорчены периодом надзирательства. Он сразу приступил к спрашиванию, т. е. к формальному моменту, столь нелюбимому большинством учащихся. Дело было после летних

каникул, на которые нам было задано выучить наизусть оду «Бог» Державина. По молчаливому соглашению, можно сказать, соглашению моментальному, ибо обменяться мнениями нельзя было, мы решили не отвечать. Вызывает Покровский, тот отвечает, что оды не выучил. Покровский ставит 1. Вызывает другого — также 1. Вызывает третьего — тот же результат и т. д. Все единодушно молчат, тем более, что большинство и действительно оды не знало. Доходит очередь до меня. Не помню теперь по каким соображениям, но я решил отвечать. Я говорил уже, что мне всегда крайне трудно было выучить что-либо наизусть. Я потратил на зубрежку оды огромное количество времени и вызубрил ее. Решив отвечать, с целью поиздеваться над нелюбимым учителем и вывести его из терпения, ибо он с удивительной выдержкой поставил уже половине класса по единице, ни одним мускулом лица не обнаружив, что понял тот комплот, который был затеян против него, я начал. И вот в течение получаса, вероятно, или 20 минут с расстановкой между каждым словом я тянул: О... ты... пространством... бесконечный и т. д. Покровский все время молчал. Сам заика, он делал вид, что такова моя как бы несовершенная, обычная дикция. Класс, притаившись, слушал, чем закончится этот эпизод. Вследствие медленного говорения я иногда ошибался, как ни заучил текст. В это время прозвонил звонок. Урок кончился. «Вы нетвердо выучили», сказал Покровский, закрывая журнал и сохраняя внешнее спокойствие, хотя он явно весь кипел, и поставил мне — тройку... Так и оказалось: у всех единица, а у меня тройка.

С этого момента Покровский и я представляли из себя как бы два враждебных лагеря в классе, не примирившихся в течение всего гимназического курса.

А между тем фактически я всегда был одним из лучших его учеников. Его придирки побуждали меня к урокам про-

читывать разные дополнительные книги, чтобы щегольнуть при ответе своими знаниями. Если сам Покровский дополнял свои объяснения по Незеленому, я брал Голахова и т. д. Но все это уже относится к старшим классам.

Я все забегаю вперед, между тем я хочу быть пока только первоклассником, учеником того года, который был, как я говорил, одним из счастливейших в годы моего детства.

Каждый день, возвращаясь домой группой по направлению к Кудринской площади, на Садовой мы встречались с гимназистками 4-ой гимназии. У каждого из нас была своя облюбованная гимназистка, конечно, обязательно старше нас. По-видимому и у представительниц женского пола были свои излюбленные гимназисты, как это было видно издали из подталкивания подруг и из смущения подталкиваемой. Таков был обычай. И, когда мне пришлось переменить направление и ходить уже по Малой Димитровке после уроков, переменилась лишь гимназия — вместо четвертой стала первая женская гимназия. Традиция сохранялась до старших классов. И было это платоническое, чисто рыцарское ухаживание, если только можно было назвать ухаживаньем наш теоретический выбор. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нашей группы познакомился с той или другой девочкой или пробовал заговорить. Такой поступок был бы сочтен за профанацию наших рыцарских нравов. Один только раз один из товарищей при встрече с «моей» гимназисткой толкнул меня так, что и я толкнул даму своего сердца. Поступок его был встречен осуждением со стороны всех, а от меня он получил пощечину тут же на улице. Никакой испорченности в нас и в более старших наших товарищах не было — не было и налета какой-нибудь пошлости.

Дома та уединенная семейная обстановка, которую я так ценил, однако изменилась к весне. Мать переехала в другую

квартиру побольше, состоящую из четырех комнат, две из которых наибольших заняли у нас дочери Комиссаржевского, в свое время известного оперного певца, состоявшего в то время преподавателем в оперном классе, открытом в Казаковском доме на Поварской Обществом Искусства и Литературы. В целях совместного поселения и была взята матерью большая квартира. Таким образом мне случилось жить одно время со знаменитой впоследствии драматической артисткой В. Ф. Комиссаржевской, только что разошедшейся с мужем и бравшей уроки пения у своего отца. О драме она еще не помышляла и жаждала быть оперной артисткой, хотя голос ее был очень небольшой. Мне суждено было ее видеть в роли Маргариты в «Фаусте». Я не могу даже передать своих детских впечатлений от ее пения и игры, так как во время оперы все мое внимание было сосредоточено на жестяном ящике, из которого она вынимала свои драгоценности. Острая жесть на меня всегда производила такое впечатление, будто бы ею мне режут между зубами. Другая сестра Комиссаржевская пользовалась известностью, как исполнительница цыганских песен.

Таким образом, тихий наш быт заменился довольно шумным. К Комиссаржевским приходило много гостей, засиживавшихся далеко за полночь. У них было весело и крикливо, и шум невольно врывался в наши соседние маленькие комнатушки.

Тут-то и произошел тот безобразный поступок, о котором я уже упоминал. Раз мне приходилось идти в гимназию без завтрака или с очень скромным. И вот утром перед отходом в гимназию я вошел в соседнюю комнату Комиссаржевских и со стола взял тихонько 10 коп. — они спали рядом. Теперь не могу засвидетельствовать: совершил ли я покражу с заранее обдуманным намерением или, случайно только войдя за чем то в комнату, соблазнился лежащими на столе деньгами, из которых взял только

10 коп., чтобы купить в гимназии завтрак. Но что хуже всего — это свое позорное деяние я скрыл даже от матери, несмотря на все прямые и искренние к ней отношения. Об этом факте никогда никому я не говорил. И впервые его записал и, может быть, даже вспомнил в дни тюремного заключения в апреле 1920 г., когда пишутся настоящие строки.

Зато летом этого года, можно сказать, был пленум семейной жизни. Впервые все мы, т. е. мать со мной и две мои сестры из института провели вместе. В сосновом бору около с. Черкизова в верстах 10 от Коломны, почти на берегу Москвы реки матери удалось достать маленькую совсем одинокую дачку, где мы и провели летние месяцы. Для меня это было глубочайшим наслаждением — я всю жизнь всегда завидовал правильным семьям, лишенный такой нормальной семейной обстановки в ранние детские годы. Только у меня были нелады с моей второй сестрой — Ольгой, и нас называли Монтекки и Капулетти. Я ее дразнил тем, что, будучи внешне необычайно педантично аккуратной, она однажды отозвалась на окрик: Плюшкин — ей показалось Олюшкин. Наши ссоры были в сущности ссорами детскими, хотя сестра и была на 4 года старше меня. И, может быть, мать и старшая сестра слишком уже реагировали на эти ссоры. Правда, я был вспыльчив, но никогда не обладал чрезвычайными страстями. И, когда впоследствии говорили, что я бросился на сестру чуть ли не с перочинным ножом, я очень сомневаюсь, чтобы это было так. Во всяком случае у меня наши ссоры не оставляли плохого впечатления, и я с наслаждением вспоминал первые гимназические летние каникулы.

Следующий учебный сезон для меня был уже годом тоскливым — меня отдали в Петровско-Александровский пансион-приют для московского дворянства, который я оставил, как только встал на ноги — в шестом классе гимназии. Пансиону я посвящу несколько страниц, так как учреждение это с бытовой стороны заслуживает внимания.

Я не был московским дворянином. Вернее я не был приписан, как и отец, ни к какому дворянскому обществу. Поместья моих родичей находились преимущественно в Костромской губ., где у отца оставался клочок земли, к которому он относился так халатно, что земля пошла с публичного торга за пустяшную сумму за недоимки по податям, которые из года в год не вносились.

Много лет спустя ко мне уже явился частный поверенный по делам некто Петров и заявил, что я могу получить наследство. Он согласен открыть мне тайну при условии, что 50 % из причитающейся мне суммы получит он. Это был довольно распространенный обычай. Были поверенные, создавшие себе специальность по отысканию таких клиентов. Конечно, всякий, на которого падало неожиданное наследство, причем ему даже неизвестно было откуда оно, соглашался на предложенную комбинацию. В Москве в 90-х гг. (XIX в.) был даже крупный делец в этой области Лаевский, совершавший большие операции. Ряд моих знакомых получали таким образом наследства. Понятно, я согласился на условия Петрова, тогда он сообщил — в Костромском казначействе лежит остаточная сумма от продажи костромского отцовского имения. Я дал ему полную доверенность на ведение дела, так как Петров был рекомендован мне одним из родственников. Но его и след простыл после этого — никаких своих 50 % я не получил. Петрова я уже не отыскивал, так как «наследство» было случайное, никто никогда на него не рассчитывал, и сумма была что-то незначительная (всего около 1000 руб.).

Хотя официально таким образом я и не был московским дворянином, вообще у меня не было никаких документов о дворянском происхождении, тем не менее по протекции попал в пансион. Все дело это на мое несчастье устроила кн. Екат. Андр. Гагарина — знаменитая в своем роде личность в Москве. Ее облик и ее роль хорошо были очерчены в воспоминаниях Шатилова, напечатанных в

«Голосе Минувшего». Это была добрейшая личность, всю свою жизнь отдавшая помощи другим. Я ее помню уже глубокой старухой, почти не встающей со своей кушетки. Прежнее ее огромное влияние в Москве основывалось на том, что она была двоюродной сестрой всесильного В. А. Долгорукова. У кн. Гагариной в ее маленькой квартире в Хлебном переулке бывала чуть ли не вся официальная Москва. Даже когда уже не было Долгорукова, Ек. Андр. сумела сохранить и свое влияние, и свой авторитет. Она всегда кого-нибудь устраивала через своих важных посетителей. Не имея сама больших средств, она с удивительным умением добывала от посещавших ее представителей московской буржуазии нужные для ее протеже средства. Ее гостиная была любопытным местом, где подчас одновременно встречались титулованные сановники и ее клиентура.

Я был в числе протеже кн. Гагариной. Как это произошло, не знаю. Кажется, она приняла большое участие в том, чтобы помочь матери получить от отца отдельный вид на жительство, а также детей. По крайне мере, я помню, как мать со мной посещала В. А. Долгорукова. И меня тогда же удивило, что этот важный старик по своему посту сам спустился по лестнице, провожая мать, и что-то шутил со мной (я дожидался в передней). Такая простота, как известно, отличала крайне доброго, но самовластного московского вельможу.

Ко мне Гагарина относилась очень нежно. Иногда она очень тактично пыталась прийти на помощь и деньгами. И раз произошел такой случай. Я только что поступил в гимназию и в новой гимназической форме пришел к ней. Она мне подарила 10 руб., чтобы я сделал подарок матери на именины 17 сентября. Конечно, это была помощь, как после я понял. Но тогда я понял непосредственно. Какой же сделать подарок? Я только что выпилил матери большой ящик для вещей и решил купить ей торт. Дело было

дней за пять до именин. Но я не усомнился и тотчас в булочной Савостьянова купил огромный торт, конечно, уже сухой — я выбрал то, что поэффектнее было на оконной выставке, а приказчик с удовольствием спустил глупому малышу залежавшийся товар — и с гордостью принес его к нашим друзьям Синюшиным, в доме которых мы прежде жили и с которыми продолжали поддерживать самые дружественные отношения. Я попросил их спрятать этот торт до материнских именин...

Решив помочь моей матери, Гагарина и устроила меня в пансион, директор которого К. Н. Смысловский постоянно у Гагариной бывал и не раз видел и меня у нее.

Итак, уже во втором классе гимназии я переселился на жительство в так называемый пансион-приют. Он так назывался потому, что по идее туда должны были поступать на стипендии дети, или не имеющие совсем родителей или не имеющие отца... Во всяком случае преимущественно сюда поступала бедная публика, в значительной степени провинциальная. И было очень немного человек, так сказать, своекоштных.

Все это придавало особый характер составу учеников. Это были дети бедных, но *благородных* родителей; это были дети из разорившихся семей, но продолжавших чваниться своим происхождением. Были дети совсем мелкопоместных, может быть, даже из так называемых однодворцев... Грубая, некультурная, но гордая — это была пренеприятная и вредная среда. Думаю, что много детей с хорошими задатками научились здесь только дурному. И не мог помочь здесь хороший состав воспитателей — слишком сильно было растлевающее влияние среды и семьи. В пансион уже являлись дети испорченными и развращенными. Получалось что-то несообразное. Воспитатели в пансионе все были из демократии, преимущественно семинарские воспитанники. Ученики — истинные бурсаки

по своему положению и характеру. Но бурсаки дворянской крови. Привилегированное заведение, находящееся в непосредственном ведении губернского предводителя дворянства, заведение, посещением которого осчастливливали в. кн. Сергей Александрович с супругой, которое должно было бы быть на виду и которое в действительности представляло собой интернат второго или третьего разряда.

Не думаю, что я в своем рассказе сгущаю краски. Я говорю о дореформенном периоде этого заведения, когда оно помещалось совсем не в дворянском здании в Георгиевском переулке на Большой Димитровке, примыкая к Благородному Собранию.

Я не могу сказать, что в пансионе само по себе было плохо. Кормили, как теперь вспоминается, совсем недурно. Но только помещение было старо — дортуары низки. И по утрам воздух был такой, что теперь неприятно вспоминать. Бичом было потение ног. Не было при пансионе никакого двора, где бы можно было гулять. Прогулки заключались в хождении в гимназии.

Пансион-приют не был учебным заведением, а только общежитием. Мальчики учились в разных учебных заведениях: гимназиях, реальных училищах, в корпусах. И собирались вместе только после занятий. Следовательно, в 3—3½ часа возвращались ученики из гимназии. Переодевались в холщевые куртки и до 5 часов были свободны. Затем обед и через полчаса занятия, продолжавшиеся до 8 час. После чая обыкновенно происходили уроки танцев и пения. В девять часов вечерняя молитва, и некоторым разрешалось оставаться готовить до 10 ч. уроки — малоуспешным. Я же добился права в это время читать.

К танцам у меня таланта не оказалось, и я в этой сфере был на самом плохом счету. Но неожиданно в пении я был даже выделен. Неожиданно потому, что мои певческие

таланты совершенно исчезли, — я никогда не пою даже так, как поют обыватели в Швейцарии, т. е. ужасно. Но тогда у меня был хороший дискант и я торжественно выступал в дуэте «Стрекоза и муравей», когда пансион посетила в. кн. Елизавета Феодоровна. Я изображал стрекозу, а Сметанкин — муравья. Дуэт прошел успешно, и я удостоился поцелуя ручки великой княгини.

Утром мы вставали в 6½ час. Холодно было у нас, но директор считал такую температуру полезной для занятий. К сожалению практика не оправдывала теорию — почти все пансионские воспитанники числились в последних рядах, оставаясь по несколько раз в разных классах. Молитва, чай, опять время для повторения уроков. Затем мы расходились по гимназиям. Вновь сходились и т. д. Время шло удивительно однообразно и тоскливо. Я действительно жил только от субботы до субботы, когда шел в отпуск домой. Я с самого начала занял несколько привилегированное положение в пансионе, объясняемое не только тем, что Смысловский знал, что мною всегда интересуется Гагарина, но и тем, что я один из очень немногих числился в рядах хороших учеников. В третьем классе я был первым. А это для пансиона было такой редкостью, что меня немного носили на руках, т. е. выдвигали во всех официальных случаях: приезжал ли предводитель дворянства (при мне Ершов) или какой-либо другой важный сановник. Первый ученик поднимал репутацию заведения, не пользовавшегося хорошей славой в Москве.

А репутация действительно была плохая особенно в тех учебных заведениях, по которым распределялись воспитанники дворянского пансиона. Считалось, что раз ты из пансиона, значит, распущенный лентяй, которому не суждено выходить из числа последних учеников. Содействовал этому и вид воспитанников, подчас довольно великовозрастных и все пребывающих еще в младших

классах. Да, это была бурса Помяловского, бурса, так образно описанная в воспоминаниях доктора Сычугова, напечатанных в «Голосе Минувшего». Эти великовозрастные ученики были и наиболее ленивые, и наиболее дерзкие, и наиболее разнузданные. В нашей прогимназии таких экземпляров не было. Но когда наша прогимназия обратилась в гимназию, причем седьмой и восьмой класс были открыта на средства московского дворянства, и гимназия стала называться имени Александра III, тогда перлы пансионского общежития появились и в нашей гимназии. Решено было сосредоточить всех воспитанников пансиона в одной гимназии, отовсюду наших воспитанников стали переводить в седьмую гимназию. В других учебных заведениях были только рады избавиться от этого беспокойного и, может быть, даже развращающе действующего на учеников элемента. Не могу забыть, какое сильное впечатление произвело у нас в гимназии и не только среди учеников, но и среди учителей, когда в четвертом классе появились усатые молодые люди. Среди них выделялся некто Ворженевский, как по росту, так и по возрасту. Это был юноша, ухаживающий за девицами. Умея добывать некоторые средства, он и вид имел лощеный, выделявший его среди других воспитанников пансиона, имевших в общем весьма захудалый вид. Особенно он гордился своими длинными отточенными когтями — верх совершенства были мизинцы. Он в гимназии нашей недолго пробыл, так как нельзя было оставаться четвертый раз в классе. Раньше он был учеником третьей гимназии и прославился своими подвигами. И удивительно, что ему все с рук сходило. Очевидно, играли роль «аристократизм» и протекция. Он ухитрялся безнаказанно не ходить в гимназию, пропадая неизвестно где. Особенно ухарским считалось поехать завтракать на лихаче на Брестский вокзал, где де собирается золотой бомонд. Совершал эти поездки Ворженевский со

своим кузеном Посниковым, сыном одного из московских судебных деятелей. Деньги для кутежей они добывали своеобразным способом, т. е. способом, каким начинал свою карьеру Камилл Демулен — домашними покражами. Они таскали вещи и закладывали их — Ворженевский не только не стеснялся об этом говорить, но до некоторой степени хвастался этим. Это — один тип великовозрастных. Другой тип — тип истинного бурсака, жестокого и любящего показать свою власть над младшим. От некоторых из этих великовозрастных страдал и я. Меня не били, а скорее ласкали. Но от этих ласк не здоровилось, а других били и подчас жестоко. Находились, конечно, воспитанники, протестовавшие против внедрения «бурсацких» нравов в дворянскую среду. Но голоса были одиночные, а традиции слишком сильные. Традиции все покоряют. Кто читал в «Рус. Богат.» замечательный очерк «Корнеты и сугубцы», описывающий порядки в одном из юнкерских кавалерийских училищ, тот поймет силу традиций в подобных учебных заведениях.

Хотя я и был в пансионе в привилегированном положении, заключавшемся, между прочим, в том, что я не в пример другим имел право ходить в отпуск по субботам прямо из гимназии и ночевать в воскресенье дома — лишняя ночь, лишний вечер домашней обстановки были огромнейшим наслаждением, — мне жилось плохо. Начальство относилось ко мне хорошо. Воспитанники, пожалуй, тоже в огромном большинстве хорошо. Но были такие, которым не нравилось мое превосходство, смею сказать, и моральное, и в особенности учебное. Прозвав меня профессором кислых щей, они часто преследовали меня. К счастью, у меня всегда были защитники, мускульно более сильные, к которым приходилось прибегать в таких случаях.

Быть может, меня больше всего угнетало моральное самочувствие. Я уже говорил, что на воспитанников пан-

сиона-приюта плохо смотрели и учителя, и ученики. Дворянский задор был не по рангу и, вероятно, именно это иногда отрицательно настраивало товарищей — я бы не сказал враждебно, но презрительно. Надо иметь в виду, что большинство было большими попрошайками, постоянно пытались занять деньги и никогда не отдавали, потому что огромное большинство этих денег никогда не имело. От этого презрительного отношения я больше всего и страдал. Правда, ко мне в значительной степени это не относилось, как к первому ученику, за мной оставались как бы традиции домашней жизни. Я больше всего избегал попросить взаймы у кого-нибудь 5 коп., чтобы купить завтрак, когда его не было, избегал, боясь получить отказ. А как иногда хотелось есть — в то время в гимназиях ни чая, ни завтраков горячих не давали. В пансионе нам с собой всегда давали завтрак, но выходило как-то так, что этот завтрак, состоящий из калача с колбасой или с сыром, или довольно даже большого пирога с мясом или капустой и только изредка во время поста из простого хлеба — съедался обыкновенно на первом уроке и в 12 ч. ужасно хотелось есть, особенно при сознании, что до 5 час. есть не придется.

Есть так хотелось потому, что в 7 час. мы получали кружку чая и хлеб. Для молодого организма это было слишком мало — часто еще мы по детскому легкомыслию пытались захватить сладкую плюшку, чем более сытный калач. Такова была потребность детского вкуса, потребность в том, чего не имел. Когда бывало, из дома получишь 10—20 коп., то сейчас купишь на эту сумму в лавочке халвы. Думаю, что это была большая дрянь, но нам казалась вкуснее вкусного.

Угнетал меня и самый костюм. Нам полагалось два костюма на человека, кажется, на два года: один для парадных случаев, другой для гимназического обихода. Шил нам портной Данкман — превеликий мошенник. Примерка

обставлялась весьма торжественно: нас в новом костюме специально водили к директору на квартиру, который осматривал, как сшит костюм. Но это была внешность, главное — на костюм для домашнего обихода Данкман ставил такой материал, наполовину из бумаги, что через какой-нибудь месяц материал превращался в какую-то тряпку, и костюм приобретал весьма неказистый вид. Этот костюм как-то еще более подчеркивал и выделял нас пансионских. Думаю, что такой внешний вид имел тот самый несчастный «прохвост» Шкурин, над которым мы потешались в первом классе.

Мое болезненное самолюбие было раздражено уже всей прежней ненормальной семейной обстановкой, что я очень остро почувствовал в гимназии. Мой отец был популярный человек в Москве. И не было почти учителя, который меня не спросил бы: не сын ли я Петра Павловича?.. Самый факт вопроса бил меня по нервам: я должен был отвечать — да, но не мог же я говорить, что я отца своего почти не знаю. Если у меня не было к отцу ненависти, то не было никакого положительного чувства. Воспоминания личные остались плохие, рассказы матери, которые мне невольно приходилось слушать, лишь обостряли чувство нерасположения. У меня никогда не являлось желания увидать отца, и в то же время мне ужасно горько было, что отец от меня далек. Известность всегда привлекает. Мне лестно было быть сыном своего отца, человека, умственно высоко стоящего во мнении окружающих. Я слышал восторженные отзывы о его публичных лекциях, читал афиши о них, но никогда не являлось у меня желание пойти на эти лекции — я просто боялся.

Итак, мне не хватало мужского интеллектуального влияния. На этой почве у меня происходили инциденты с товарищами. Вспыльчивый по натуре, я очень резко реагировал на малейшие намеки, относящиеся к моей семье. Еще когда я был у Андреевых, я запустил книгой в одного

из своих товарищей. И на несчастье книга углом попала в глаз. Боялись, что глаз пропадет. Но все обошлось благополучно — я, конечно, был строго наказан. Сейчас не помню непосредственного повода для этой вспышки.

Другая вспышка была уже в гимназии во втором или первом классе. У меня был товарищ Гоголицын, семья которого была искони близка моей матери. Я часто не только бывал в этой семье, но и жил с матерью у них в деревне под Москвой целый зимний сезон. Там велись откровенные разговоры о моем отце, тем более, что и в семье Гоголицыных в семейном отношении также не все было благополучно. Мой товарищ слышал, что когда мать хотела мне выразить порицание — моему, например, плохому характеру, то она говорила: мельгуновское отродье, мельгуновщина. И для меня в этих словах соединялось все плохое. Очевидно, эти слова повторялись и у Гоголицыных, бранивших отца. Однажды Алеша, рассердившись на меня в гимназии, назвал меня «мельгуновщиной». Я закатил ему по физиономии. Он пожаловался надзирателю. Дело перешло на разбор нашего классного наставника В. А. Соколова, знавшего и наши отношения с Гоголицыными и вообще мое положение. Он делал вид, что не понимает, что было оскорбительного в отзыве Алеши, «ну, ты ему бы ответил: гоголицыновщина». Я ему не мог открыть подноготной, несмотря на все свое хорошее отношение. За пощечину я был оставлен на воскресенье, но это было только так... формально.

Кстати уже о В. А. Соколове, впоследствии директоре 5-ой гимназии. Красавец собой, простой в обхождении, он был у нас одним из самых популярных учителей, к тому же учителей хороших по существу. Это был один из моих покровителей и в последующие годы — только судьба постепенно нас разделила по взглядам: один все больше отходил в лагерь консервативный, другой — в лагерь радикальный.

Если я остановился более подробно на личных переживаниях этих лет детства, то в целях пояснить свое психическое состояние в момент пребывания в пансионе, откуда я всемерно старался уйти, что и сделал при первой возможности.

Третий класс гимназии для меня чреват был событиями. Прежде всего я заболел воспалением легких, которое длилось целый год. Мать перешла тогда уже совсем на систему жильцов; сняла на Моховой большую квартиру и наполнила ее жильцами. Правда, состав жильцов был такой, что жизнь носила до некоторой степени дружественно-семейный характер. Две комнаты занимала молодая артистка императорских театров Эберле... С небольшим голосом, но удивительно музыкальная она производила чрезвычайно хорошее впечатление. Высокая, несколько рыжеватая, довольно красивая и эффектная — это была моя первая любовь, богиня моих интимных детских мечтаний.

Другими жильцами состояли три студента: два брата Степендиаровы и их друг Ермолаев. Это была удивительная троица. Старший Степендиаров — красивый, жизнерадостный жуир. Другой — известный впоследствии музыкант — скупой, замкнувшийся в себе человек, кажется, также влюбленный в Эберле. Оба были из богатой армянской семьи симферопольского коммерсанта. Степендиаров музыкант отличался удивительной рассеянностью, на почве чего с ним происходили постоянные недоразумения. Особенно сердился он, когда что-нибудь сочинял, а в дверь кто-нибудь, как ему казалось, стучал. Раз пять повторивши: войдите, и обозлившись на то, что никто не входит, он бросался к двери и никого не находил. Как оказывается, он принимал свое постукивание для такта за стук в двери.

Третий их друг был медик, человек, нуждающийся и применявший по отношению к старшему Степендиарову

своеобразный способ получения в свою пользу его обеденного блюда: он начинал рассказывать об анатомическом театре, тот вскакивал и убегал, а рассказчик таким образом съедал две порции.

Третья пара жильцов были две девушки — помещицы Курской губ., на воспитании у которых был гимназист, мой сверстник. Одна из них была художница.

Мать занимала одну крохотную комнату: думаю, аршина 3 в ширину и 5 в длину. Вот в этой комнате, придя в отпуск в субботу, я заболел. Условия для болезни были крайне неблагоприятные, конечно. К несчастью, и мать скоро заболела тоже воспалением легких — и мы оба уже лежали в этой маленькой комнатке. Лечил меня один из старых друзей матери, добрейший Н. С. Корсаков. Он выходил меня, но лечил, надо сказать, зверски. Меня держали в течение нескольких месяцев в компрессе, от меня в буквальном смысле шел запах. Кроме того это раздраженное тело натирали скипидаром, ставили бесконечные мушки. Меня заставляли еще пить 8 стаканов овсянки (пареного овса на воде). Фу, какая это была мерзость. И после этого удивлялись, что я капризничаю. Окружающие, по-видимому, считали мое положение безнадежным, иначе я не могу объяснить ту предупредительность и заботливость, которую проявляли некоторые из знакомых и родственников. Весной решено было отправить меня в Крым. На какие средства? Мне кажется, что для этого собрана была некоторая сумма окружающими; может быть, мать взяла заимообразно у своего брата, человека богатого, но не очень тароватого, в значительной степени под влиянием своей жены.

В детстве как-то наиболее резко запоминаются мелочи. И я, как сейчас, помню фигуру толстого обер-кондуктора, к которому мать обратилась с просьбой перевести нас во 2-ой класс, так как в третьем с больным ехать было трудно

и беспокойно. Курская дорога была еще частной — и система зайцев на ней была крайне развита. Благодушный обер-кондуктор выполнил просьбу и, что любопытно, ни за что не хотел взять никакой платы за услугу. С трудом матери удалось всучить ему 3 руб. на конфеты его детям. Дорогой в купе к нам села какая-то веселая артистка. Хотя мать ее пугала моей болезнью, но она оказалась к этому совершенно равнодушной.

Наш первый привал был в Симферополе, где мы остановились у радушной семьи Степендиаровых. Была Пасха. Старик Степендиаров, деспот в своей семье, тем более был к нам любезен, что ему льстило то, что мы жили у него. Это был купец мещанин до мозга костей. У матери была рекомендация к местному губернатору, родственнику кн. Гагариной. Мы были приглашены в первый день в гости к губернатору: «катать яйца». И тот факт, что мы были отвезены назад к Степендиарову на паре губернаторских вороных, произвел на наших хозяев сильнейшее впечатление.

Любопытно, как перемена быстро действует на здоровье. В Москве я почти не вставал, а в Симферополе уже катал яйца у губернатора. Впрочем, дальнейшего путешествия я не вынес. Все шло хорошо, и даже на пароходе из Севастополя в Ялту при сильной качке я не только не страдал, а наоборот уплетал за троих обед, так как большинство пассажиров лежало в лежку. Из Ялты мы направились в Алупку, где нашли за сравнительно недорогую цену комнатку, плохую, надо сказать, и сырую возле стены знаменитого в то время пансиона Громоковой. Мы с трудом нашли комнатку, так как нас никто не хотел принимать. Очевидно, от слишком долгого путешествия у меня сделался сильнейший жар, и никто не желал принимать к себе в пансион умирающего.

Но я не умер. К удивлению многих. Одна остроумная дама, увидев меня вновь в Москве, воскликнула: «Неужели

вы не умерли?». Да, не умер, и надо сказать, лечение началось радикальное. Через несколько дней, когда жар спал, и меня выпустили погулять, я почти с головой провалился в море. К камням прибило мертвого дельфина. Мне чрезвычайно хотелось его рассмотреть поближе. Я полез на камни, поскользнулся и полетел. Возвращаясь домой перепуганный и мокрый, я встретил какого-то старика, весьма неодобрительно отнесшегося к моему поведению: возят, лечат, тратят деньги, а мальчишка ведет себя так скверно.

Но последствий от этого весеннего купания не было никаких. Вскоре мне пришлось искупаться вторично, но уже в бассейне с рыбами в верхнем парке. Искупала меня маленькая дочь Н. С. Корсакова, Веточка, столкнувши в бассейн... И все проходило. Через 2 месяца мы уже возвращались в Москву через Алушту на Симферополь, и я был совершенно здоров. От воспаления легких, четвертого или пятого у меня по счету, не оставалось следа. Мало того, я не помню, чтобы с этого времени я когда-нибудь более или менее серьезно болел.

Крым у меня запечатлелся еще и тем, что там я впервые познакомился с семьей д-ра Е. М. Степанова, которой суждено было играть столь большую роль в моем жизненном пути...

В Москве, лежа в постели, я немного занимался. Мне даже мать взяла репетитора, гимназиста нашей гимназии Юрьева, который три раза в неделю приходил заниматься со мной. Но болезнь взяла свое — я изленился. Думаю, что за лето легко мог догнать своих сверстников и выдержать переходные экзамены. Но я дал легко себя убедить Войнаховскому и др., что мне надо отдохнуть, не заниматься, и что нет большой беды в том, если я по болезни останусь на второй год в том же классе. Одним словом я остался.

Летом мне пришлось прожить в обстановке, оставившей на меня сильное впечатление. Моя старшая сестра

в этот год кончила институтский курс и поступила гувернанткой на лето в одну помещичью семью Рязанской губ. Чтобы быть поближе к ней, мать вместе со мной также поселилась в этих местах. Мою другую сестру за плохое ученье не отпустили из института на лето.

Мы поселились в семье мелкопоместного помещика — полупомещика-полукрестьянина. Эта часть Зарайского уезда как бы вся была мелкопоместная. Кругом нас было много таких помещиков-крестьян, бывших дворян однодворцев. Все они по-настоящему жили по-крестьянски, почти так же одевались, сами работали; не имели они никакого образования, все интересы, вкусы и привычки у них были крестьянские. Их отличало одно — необычайный дворянский гонор, сознание «белой кости» по отношению к окружавшей крестьянской среде. Здесь так и пахло атмосферой нашего дворянского пансиона в Москве.

И над этой дворянской беднотой царил местный грандсеньёр П. П. Дервиз, отец которого вышел из подрядчиков, строивших Рязанско-Уральскую жел. дорогу. Мне несколько раз пришлось быть в поместье этого миллионера, имением которого управлял младший брат матери. Это было роскошное поместье. Достаточно сказать, что у управляющего (только одним имением) было великолепное помещение. На конюшне стояли тройки, безостановочно доставлявшие гостей со станции — и нас, конечно, в том числе. Эти конюшни были верхом совершенства — настоящие зеркала в приемной, бархатная мягкая мебель и т. д. Почти такой же был коровник. Дервиз жил феодалом, у которого все должно было быть свое. У него была опера, причем он, кажется, артистам платил довольно высокие оклады, помимо обеспечения всего летнего пребывания. Одним словом, это была резиденция владетельного князя. Немудрено, что Дервиз вскоре разорился. Хотя средства его были так велики, что

многие считали назначение администрации над делами Дервиза какой-то тонкой аферой Витте. Дервизу было назначено ежегодное содержание — несколько десятков тысяч. Но, конечно, при старых привычках ему казалось это уже нищенством.

В том же 1893 г. произошло и другое событие в моей жизни. Умер отец. Наша семья должна была volens-nolens соединиться воедино. Отца своего я не знал и характеристики дать не могу. То, что приходилось слышать о нем от других, показывает, что это был талантливейший человек. Библиотека его, перешедшая ко мне, свидетельствует об удивительной разносторонности. В последние годы жизни отец сосредоточился на естественных науках, которыми увлекался наряду с филологией с молодых лет. Им собраны были огромные коллекции птичьих яиц, бабочек и жуков. Некоторые из этих коллекций оценены были различными премиями.

Его историческая библиотека, попавшая ко мне уже в сильно разрозненном виде, так как мать распродавала ее понемногу среди ученых, которые, конечно, выбирали подчас наилучшее, обесценивая тем самым библиотеку, заключала в себе несколько тысяч №№. Это была библиотека для занятий, а не на показ. И, может быть, редкий случай, чтобы ученый, интересуясь русской историей, в равной степени интересовался Западом: и новая, и средняя, и древняя история, наконец, Восток — все это было в орбите занятий отца. И между тем из него не вышло ученого в полном смысле этого слова. Причин, вероятно, много было для этого. Может быть, он слишком разбрасывался и не имел возможности сосредоточиться на одном, что необходимо для ученого. Может быть, этому мешала некоторая природная леность — нелюбовь к писанию. Такую, например, органическую вражду к писанию чувствовал покойный С. Ф. Фортунатов. Мешал, вероятно, и

погубивший, почти родовой, порок, слишком рано захвативший отца в свои руки. Но мне кажется, что главнейшей причиной было исключительное самолюбие. Как часто бывает в жизни с талантливыми людьми, которых слишком рано начинают носить на руках, они боятся не оправдать надежд, и это опасение парализует их инициативу, их энергию на предназначенном им поприще деятельности.

В таком пассивном состоянии, по-видимому, и пребывал отец. Даже его замечательная книга «Первые уроки истории», образцовое пособие для школы, как видно из предисловия, в значительной степени своему появлению обязана самоотверженному инспектору Практической Академии Живаго, взявшему на себя неблагодарный труд записывать за рассказчиком. А рассказчиком и лектором, по всем отзывам, отец был изумительным. Здесь могла уже быть импровизация, для него нетрудная при огромной памяти. В сущности остается только пожалеть, что этот, по-видимому, крупный человек дал в жизни так мало. И, как педагога, в конце концов его только терпели. Интереснейшего преподавателя, увлекавшего учеников, губили вино и карты. А в средней школе ведь надо было не только увлекаться, но и учиться. Детям не суждено быть судьями своих родителей. Но для меня ясно, что жить с отцом при его невменяемости было невозможно. Все скверные черты характера неизбежно обострялись в такие моменты.

Похороны отца были торжественны — видна была его популярность среди его бывших учеников. Было много народа и много венков.

Соединение семьи на первых порах происходило болезненно. Двое членов, бывших с отцом, представляли из себя как бы враждебный лагерь по отношению к нам. Но моя мать была слишком добрым и незлобивым человеком — лед должен был растаять, и он растаял довольно скоро.

Наследство отца заключалось в его библиотеке, в книге «Первые уроки», уже тогда приобретшей большую популярность, но не имевшей большого распространения как учебник или необходимое учебное пособие, следовательно та 1000 руб., которую приблизительно наша семья получала от нее через каждые три года, не могла служить существенным подспорьем. Мы получили еще в наследство замечательного кота и сову «Алюку», довольно прирученную, хотя и злую. Всего этого было мало. На шее матери было пять человек детей; правда, всех удалось устроить как бы на казенный счет. Брат мой учился у Креймана, где отец оставался преподавателем до конца жизни; сестра, которая при отце нигде не училась, поступила в гимназию Констан, бывший пансион Дюмушель, где отец когда-то был также преподавателем.

Нужда все-таки была большая. На самых первых порах мать получила некоторую благотворительную помощь. Некоторые из учеников отца устроили в пользу семьи своего любимого учителя в частном доме концерт, давший сравнительно значительную сумму, так как билеты главным образом распределялись между учениками гимназии Креймана, принадлежавшими преимущественно к богатым слоям московского общества.

В этой благотворительности, конечно, ничего плохого не было. Это была даже законная и необходимая помощь. Но меня она ужасно унижала и оскорбляла, как оскорбляло и раньше, как оскорбляло и впоследствии, когда кто-либо из членов нашей семьи пользовался той или иной благотворительностью; когда мне приходилось, быть может, быть более любезным с покровителями талантов моих сестер, чем это нужно было, потому что я был членом той семьи, которой оказывают покровительство. Я возненавидел эту полублаготворительность, как бы тактично она не совершалась. С этих ранних лет у меня становилась idée fixe мысль жить совершенно самостоятельно, ни от кого не завися.

Это был побудительный стимул на все ближайшие годы моей молодой жизни. Стимул, который очень скоро превратился в действительность. И, быть может, в этом заключалась моя наибольшая гордость и самоудовлетворение. Может быть, такое стремление во многом помешало моему интеллектуальному развитию, может быть, нормальнее было бы иное развитие. Но когда я смог сказать: отныне я живу на свои средства, мною лично заработанные, я почувствовал глубочайшее душевное облегчение.

Первый опыт моего самостоятельного выступления для заработка произошел в следующем году — при переходе из четвертого в пятый класс. Я поехал на летние кондиции к двоюродной сестре моей матери Решетниковой, бывшей в то время земским врачом близ города Медведя Новгородской губ. Мне не было еще 15 лет. Мой ученик готовился поступить в первый класс — я должен был его окончательно подготовить. Так как мать его была почти все время занята, то на меня ложились и гувернерские обязанности. Последние оказались для меня наиболее трудными.

Павлик мальчик был не без способностей, хотя донельзя ленивый. Так или иначе, но занятия с грехом пополам шли. Беда была в том, что мать избаловала его до последней степени. Она в нем души не чаяла. Для нее это была единственная отрада в неудачливой трудовой жизни. Мальчик делал с матерью все, что хотел. Абсолютно ее не слушался, издевался до невозможности. Был груб, а мать вроде того, что говорила: «Павлик, не ушиби руку», когда он бросался на нее с кулаками.

Легко себе представить, как мне трудно было при таких условиях быть гувернером, тем более, что матери жаловаться на сына нельзя было: он всегда был прав. Все капризы объяснялись с медицинской точки зрения — нервной впечатлительностью. Как часто мне хотелось его поколотить, и, может быть, это было бы наилучшим для него воспита-

тельным средством. Но, к сожалению, я был гувернер, а не старший родственник и не старший товарищ.

Пункт, куда тетка моя назначена была врачом, лежал на самой большой дороге. В сущности, у нее была только приемная амбулатория. Никакого помещения для врача не было. Мы поселились на постоялом дворе у самого шоссе. Не могу сказать, чтобы это было приятно. Мне пришлось взять на себя и хозяйственные заботы, не только хозяйственные, но отчасти и поварские: приготовлять в значительной степени обед. Отсюда и пошли мои кулинарные таланты. С помощью Молоховца я производил большие усовершенствования в той стряпне, которую подавала нам хозяйка постоялого двора. Особенно наловчился я делать белый соус под вареную курицу.

Местечко, название которого я не помню, было окружено сплошным, действительно дремучим лесом. Такого девственного леса я еще не видал. Лес полон был дичи — тетерева попадались на каждом шагу. С фельдшером мы постоянно ходили на охоту, впрочем, я не помню, чтобы я что-нибудь убил, кроме дятла, так как это был первый опыт обращения с ружьем. Но зато во время одной из таких охот в диком малиннике встретился я с огромным медведем, который, по-видимому, перепугался не менее нас. При таких прогулках Павлик по обычаю капризничал. Вдруг заявлял, что дальше не пойдет или не будет возвращаться домой. Мое положение бывало в таких случаях до крайности тяжелое. С одной стороны нельзя было ослаблять своего авторитета, с другой стороны оставить его — что скажет мать? Наконец, опасение, что мальчик заблудится, встретится с медведем — мало ли что? И Павлик, зная это, издевался над нами.

Мои первые кондиции явились в сущности хорошей для меня школой — школой самостоятельности и независимости. Впрочем, это был единственный и последний раз, как я брал летние уроки. Со следующего года до окончания

уже гимназии каждое лето я ездил к дяде своему А. Ф. Грушецкому в его имение Тамбовской губ. Здесь я занимался не педагогией, а сельским хозяйством. Занимался серьезно, а в силу случайных обстоятельств был в значительной степени даже самостоятелен. Мое занятие сельским хозяйством является как бы целой полосой в моей юной жизни. Оно не увлекло меня настолько, чтобы изменить первоначальные интересы к наукам гуманитарным и в частности к истории. Я больше увлекался практической стороной дела, чем теорией. Эти занятия дали мне ту инициативу, то умение организации дела, которые отличали меня в последующие годы.

Но надо прежде всего покончить с гимназией и с пансионом.

Когда я перешел в шестой класс и почувствовал, что могу сам держаться на своих ногах, я при первой возможности постарался оставить пансион... Тамошние условия жизни меня слишком угнетали и нервировали, думаю потому, что я значительно выше по развитию был всех своих товарищей. У меня были там товарищи, с которыми я более или менее дружил, например, Лихарев. Состав воспитателей, как я говорил, был хороший, а наш воспитатель В. Ф. Смирнов был прекраснейший человек, с которым у меня с самого начала установились самые дружественные отношения, и от которого у меня на память осталась «Энеида» с слишком лестной для меня надписью: Tu quoque litoribus nostris, Aeneiu nutrix, moriens aeternam famam Coieta dedisti[4]. Может быть, и не следовало самомнительному мальчику делать такие надписи![5]

---

[4] По-русски буквально: Также и ты, кормилица Энеева, Койета, умирая, ты даровала нашим берегам вечную славу. (П. М.)

[5] В. Ф был бы выдающийся человек, если бы его не губило столь обычное зло — систематически через некоторое время он допивался до белой горячки.

Но все это не могло изменить характера заведения. Мне предстояло вскоре перейти в старшее отделение. Если внизу воспитателями поддерживалась дисциплина, то во втором этаже, где помещался старший класс, царило уже полное самоволие. Ни директор, ни воспитатель И. А. Козырев, почему-то прозванный Бурдой, даже и не заходили в старший класс, и там подчас царил хаос, заниматься в котором было довольно таки трудно.

Обеспечив себя уроками и некоторым другим заработком, о чем еще скажу, я убедил мать меня взять. Убедить было нетрудно, потому что я уже был в значительной степени себе хозяин. Мотивировал я свой уход из пансиона неподходящими условиями для занятий. Это обстоятельство чуть-чуть было не повело к большим осложнениям.

Такая мотивировка была ударом для нашего директора К. Н. Смысловского, человека по существу хорошего, но недалекого, за что при длинной бороде он и прозван был козлом. Омысловский всегда указывал новому предводителю дворянства Трубецкому на хорошие условия для занятий, существующие в пансионе. И вдруг один из немногих хороших учеников уходит именно потому, что условия для занятий его не удовлетворяют... На несчастье я ушел как раз в момент, когда в пансионе разыгралась какая-то болезнь, была дезинфекция, и мои вещи без меня кем-то разбирались. Но факт, что среди них нашлась книга под заглавием: «La Russie rouge». Я взял где-то эту книгу для практики французского языка. В политике я был еще совершенно не искушен, настроения был консервативного, как и полагалось воспитаннику дворянского пансиона, хотя и не был заражен теми бессмысленными предрассудками, как некоторая часть моих товарищей. Читал я эту книгу, в сущности мало усвояя ее прекарное содержание. Но директор поднял из-за нее целую историю. Он поехал в гимназию чуть ли не с требованием удаления меня оттуда; мой

выход из пансиона превратился также почти в удаление за политическую неблагонадежность. Но К. К. Войнаховский слишком хорошо меня знал, да и не такой это был человек, чтобы не отстоять своего ученика от таких обвинений.

Нашел ли я дома лучшую обстановку для занятий? Конечно, нет. Но изменились психические условия бытия, это, может быть, должно быть поставлено на первом плане. Я, конечно, не мог зарабатывать с первых же пор настолько, чтобы обеспечить себе отдельную комнату. В сущности, содержание мое моей матери мало стоило, так как у нее в это время столовалось много народа, и лишний человек не мог представить обременения.

Итак, я жил, как бы на бивуаках — спал в проходной комнате, тут же и занимался. И все же это было лучше, чем в дворянском пансионе. Правда, той семейной обстановки, о которой я мечтал, будучи с детства лишен правильной семьи, я не получил. Семью нашу нельзя было не назвать трудовой — все работали, все так или иначе зарабатывали себе на жизнь. Старшая сестра давала уроки. Вторая, обладавшая исключительно большим контральто, занималась пением у Муромцевой, у нее и жила преимущественно. Брат также понемногу занимался, хотя искони отличался большой леностью. Когда я уже был в восьмом классе, он, пробыв два года в университете на медицинском факультете, уехал за границу с художником Левитаном, а оттуда отправился служить на Дальний Восток прежде в Восточно-Китайском Банке, затем в администрации. Брат вскоре совсем исчез с горизонта нашего и выплыл вновь уже во время революции, когда явился в Москву, разжалованный из крестьянских начальников в солдаты. Младшая сестра была несколько на отлете. Но при трудовом характере семьи она была удивительно безалаберна. Мне кажется, этому содействовало то, что мать существовала преимущественно жильцами и приходящими к ней столоваться. Практиковалось у нее это до-

вольно широко — обедало человек 20–25. Все это создавало сутолочь и беспорядок и приучало к своего рода распущенности. Такой обиход заставлял быть всегда на людях, что меня лично крайне тяготило.

В таких условиях мне, впрочем, пришлось жить сравнительно недолго. Имея постоянный урок у своего дяди А. Ф. Грушецкого, у которого я занимался с его старшим сыном, я получил и другой урок у своего бывшего преподавателя В. А. Соколова. Кроме того, у меня появились и дополнительные заработки — летом я от дяди получал некоторую сумму за заведование как бы его имением, что давало мне возможность платить в гимназию и делать себе необходимое обмундирование. Гордость моя требовала, чтобы я платил в гимназию, раз я вышел из пансиона. И я отказался от освобождения от платы.

У меня явился еще маленький дополнительный заработок в Зоологическом Музее при Московском Университете. В сущности там работать было предложено моему брату в память отца через близкую отцу семью известного профессора Московского Университета А. И. Богданова. Но брат игнорировал свои обязанности, и очень часто я приходил его заменять и помогать работающему в Музее Э. А. Богданову, теперешнему известному теоретику зоотехнику в Петровской Академии.

Постепенно вышло так, что я заменил брата. Работа была там в значительной степени техническая — надо было разбирать пробирки, приводить их в порядок и т. д. Я добросовестно все это выполнял. И странно, как будто бы все влекло меня на путь занятий естественными науками: и занятие сельским хозяйством, и занятия в Музее — тем не менее, я остался верен истории. Хотя моя первая литературная работа была по сельскому хозяйству (в 1896 г., когда я был в шестом классе), но я преимущественно читал по истории, философии и литературе. Читал в это время

много и, быть может, гимназические годы были единственным временем, когда я действительно много читал.

О своих ранних литературных занятиях я говорю в другом месте. Все это в совокупности дало мне вскоре возможность обеспечить себя у матери отдельной комнатой и даже оплачивать ей мой стол. В седьмом классе я уже сделался совершенно самостоятельным и независимым человеком, живущим на свои средства, и средства, по крайней мере, для гимназиста уже не маленькие.

В это же время у меня произошел религиозный перелом, который, как мне кажется, имел большое на меня влияние: я освобождался постепенно от традиционного миросозерцания, от всех тех предрассудков, далеко не только религиозных, которые в меня проникали из семьи и окружающей традиции. Религиозный перелом напряг критический мозговой аппарат, обострил и социальный анализ, которого прежде было слишком мало. Случай перевернул мое традиционное миросозерцание. Религиозным я никогда не был, но был в этом отношении просто традиционен. Случай заключался в следующем.

В Кремле внизу за памятником Александра II есть маленькая церковь Нечаянной Радости. В этой миниатюрной церкви служил священник Валентин Амфитеатров, отец писателя. В Москве он слыл чуть ли не за святого. Церковь всегда была полна народа, приезда пастыря ждала толпа жаждущих его благословения. За извозчиком его бежали десятки женщин. Одним словом, это был пастырь, которому поклонялись. У него была одна особенность, которая гипнотизирующе действовала во время службы — тонкий совсем детский чистый голос. Хотя мать моя и не отличалась большой набожностью, но в силу Амфитеатровской благодати веровала. Объясняла она это тем, что однажды о. Валентин проявил удивительную прозорливость. Была больна моя старшая сестра — говорили, что у нее чахотка. И вот мать в отчаянии пошла к Нечаянной Радости. Вдруг

во время богослужения к ней подходит через всю церковь о. Валентин и говорит: «дочь ваша выздоровеет, везите ее на кумыс». Сестру повезли на кумыс, и она выздоровела. Все так представлялось, как всегда, потом. Но тем не менее мать сделалась горячей поклонницей о. Валентина и заставляла всех нас ходить к нему на исповедь.

По обыкновению, когда я был в шестом классе, я отправился к нему на исповедь. Надо сказать, что это было своего рода подвижничество. Сотни людей ждали очереди получить прощение грехов у популярного пастыря. Приходилось с раннего утра до позднего вечера дежурить, ничего не евши и не пивши. Это был настоящий, хотя и вынужденный пост перед исповедью.

Утомленный многочасовым стоянием, я был нервно настроен. Когда пришла моя очередь войти в исповедальню, мимо меня пробежал причетник, и я расслышал, как он сказал: Алексеева. То была жена или мать городского головы. И тотчас же она была проведена вне очереди к о. Валентину. Протекция побеждает и святость. Когда, наконец, я вступил в исповедальню, у меня немного нервно дергались губы. Это заметил Амфитеатров и обрушился на меня. — Вы, молодой человек, приходите на исповедь и смеетесь. Это показывает вашу недалекость. У меня сейчас был ваш начальник Зверев и валялся в ногах, а вы себя так держите вызывающе...

Приблизительно такова была его речь. Я ему несколько запальчиво возразил, указав на несоответствие того факта, очевидцем которого мне только что случилось быть. Амфитеатров, очевидно, был человек недалекий. Результат нашей беседы был неожидан. Он прогнал меня с исповеди и, отворив дверь, демонстративно и громко сказал мне: идите! И я, как оглашенный, шел через всю церковь, сопровождаемый недоуменным, враждебными и любопытными взорами окружающей толпы — гимназист, прогнанный с исповеди святым пастырем: значит, большой грешник.

Таково было незначительное в сущности событие, сделавшее меня навсегда иррелигиозным человеком. Мать была сильно потрясена рассказанным фактом и направила меня к другому популярному священнику, человеку интеллигентному, бывшему даже, кажется, когда-то учеником моего отца. Фамилии его не помню — служил он также в маленькой церковке, приютившейся у Никитских ворот. Исповедь у него носила обычный, традиционный характер. Что спрашивают у гимназистов: повинуешься ли учителям, не фискалишь ли и т. п. После официальной исповеди я сказал: «Батюшка, у меня есть большой грех, меня до вас прогнали с исповеди», и рассказал ему происшедшее с о. Валентином. Новый исповедник ограничился чем-то вроде того, что сказал: все мы грешны, и отпустил мне грехи.

На другой день я к причастию не пошел, ограничившись простой записью у дьякона о том, что я говел, как это нужно было для гимназического свидетельства. Когда мать узнала о моем поступке, у нее сделалась истерика. Но факт произошел...

Так понемногу я портился в качестве примерного гимназиста. Гимназист, лишенный религии, гимназист, мало думающий об уроках и в классе преимущественно тихонько читающий посторонние вещи: гимназист, для которого гимназия на втором плане — такой гимназист плох. Под всякими благовидными и неблаговидными предлогами я пропускал учебные дни. Ходил в гимназию через день, и мать, выполняя формальность, писала записки о болезни. Перед экзаменами я заболевал, и меня в силу болезни переводили без экзаменов. После каникул опаздывал на месяц. И все сходило с рук. В шестом или седьмом классе, явившись так с опозданием на месяц и уехав весной перед или в середине экзаменов, я был встречен нашим классным наставником Херсонским, заявившим, что я не

переведен в следующий класс. Это был бы для меня слишком большой удар, да и не справедливый, так как в сущности при игнорировании занятий в гимназии я продолжал в общем учиться хорошо. Со стороны Херсонского это была только педагогическая шутка. Учителя в конце концов считали меня мальчиком серьезным и развитым, видели, что я много читаю, знали, что я живу на свои самостоятельные средства — и благодаря только этому многое мне прощали.

Помимо Войнаховского, еще два учителя имели на нас огромное влияние, были нашими любимцами, и в частности относились с большой симпатией ко мне. Это Г. Х. Херсонский и О. П. Герасимов.

Первый, впоследствии директор 7-ой гимназии, приобретший в Москве большую популярность, как единственный независимый директор, умевший давать отпор в Округе; один из немногих, отказавшихся в 1905 г. применять нелепые министерские циркуляры, и в конце концов вынужденный уйти из директоров в период последующей реакции. Во время своего учительства Херсонский также не скрывал своих радикальных взглядов. И та независимость, с которой он держался, не могла морально не влиять на нас. Херсонский был талантливейшим математиком, у которого чисто научная карьера не удалась в силу политической неблагонадежности. Он так увлекался своим преподаванием, что заражал и нас, и хотя я очень по существу не любил математику, я не мог плохо учиться по ней. Единственным недостатком в методе Херсонского было то, что в своем увлечении он не поспевал за курсом — мы всегда ползли в хвосте. Неудачен Херсонский был только как учитель физики: у него опыты по преимуществу не выходили.

Очевидно, судьба талантливых учителей не проходить с учениками всего курса: так было и с Герасимовым — мы так и не проходили новейшей истории с французской

революции. И это был, конечно, огромнейший дефект, который даже я почувствовал в университете, а большинство моих товарищей, вероятно, так и вошли в жизнь, не познакомившись с французской революцией.

Но зато Герасимов своим проникновенным голосом умел так рассказывать, что не только для меня, но и для большинства история становилась любимым предметом. Он много читал нам, причем дикция у него была исключительно хорошая. Один из рассказов Герасимова так у меня запечатлелся, что я его и теперь могу повторить. Вопрос шел о переселении народов. Быть может, тема и не такая уже интересная. Но во время рассказа на урок пришел тогдашний попечитель округа Боголепов. Герасимов волновался, это волнение передалось неизбежно и нам. Между учителем и учениками протянулись как бы невидимые электрические нити. Класс весь подтянулся, и даже такая мумия, как Боголепов, почувствовал тот подъем, который был в классе. Уходя, он усиленно благодарил нашего учителя.

Герасимов никогда никуда нас не водил, никогда не применял никаких наглядных пособий — одним словом, в области усовершенствованных педагогических приемов он был совсем не на высоте. Но, быть может, гуманность, широта миросозерцания, живая беседа на разные темы делали гораздо больше, чем всякого рода усовершенствованные методы преподавания. Наконец, талант все покрывает, и часто я жалел впоследствии учеников, попадавших под воздействие методов наглядного обучения. Часто результатом являлось отвращение к истории.

Учителем с новыми методами был у нас А. В. Адольф, назначенный инспектором к нам с момента превращения нашей прогимназии в гимназию. Несомненно это был интереснейший преподаватель, умевший оживлять классическую мертвечину. У нас он не преподавал. Но я постоянно в старших классах присоединялся к его экс-

курсиям для изучения древностей по музеям. Должен сказать, что это были живые и образные лекции, дававшие уму больше пищи, чем бесконечные экстемпоряли, которыми подчас по традиции нас пичкали. Но если Адольф в качестве преподавателя был на высоте, то совсем другое приходится сказать о нем, как об инспекторе. Он вводил у нас дух какого-то шпионства и сыска, дух столь противный для Войнаховского, в силу чего директор и инспектор не были в хороших отношениях. И при всей видимой ласковости Адольфа мы его не любили, как носителя иных традиций, чем те, которые установились в нашей гимназии, и которые мы привыкли ценить.

Я лично с учителями жил в общем дружно. Только с двумя, как я говорил, находился в текучем конфликте: с французом Конюсом и учителем русского языка Покровским. В восьмом классе у меня было еще столкновение с Е. Е. Якушкиным. Любопытный он был человек. Сама скромность и сама застенчивость он был в то же время удивительный педант и формалист. Только впоследствии, познакомившись с внутренним обликом этого внука декабриста, столь же благородного по существу и независимого, широко образованного — я сумел его оценить. В гимназии для меня он был только скучным латинистом-педантом. На почве педантизма произошел и наш конфликт, приведший к тому, что Якушкин как бы меня в течение нескольких месяцев игнорировал. Он велел нам купить оды Горация в дейбнеровском некомментированном издании. Я просил это сделать сестру, а она купила именно комментированное издание. На несчастье на следующий урок Якушкин вызвал меня и, увидал у меня комментированное издание, страшно обозлился. Я объяснил ему, что мне некогда было самому пойти, и я поручил сестре. Вот это «мне некогда было» рассердило его еще больше. Он увидел оскорбление в том, что гимназист смеет говорить, что ему

некогда. И он меня перестал спрашивать. Для меня это могло кончиться трагически в восьмом классе: пришлось обратиться за посредничеством к Войнаховскому, который всегда все умел уладить и своим авторитетом, и своею мягкостью.

Более длительная и глупая борьба в течение ряда лет велась между мною и Покровским. Он систематически ставил мне тройки за сочинения, что меня до бесконечности злило. Я хотел добиться хоть четверки. И только раз удалось мне это в восьмом классе. Он предоставил нам, по инициативе Войнаховского, в восьмом классе для домашних работ самим выбирать себе темы и писать на них сочинения. Одной из первых таких тем я выбрал тему о расколе: «Был ли раскол движением прогрессивным или регрессивным». Тема явилась у меня под влиянием чтения Очерков по истории русской культуры Милюкова и книги Щапова. Я с пылом доказывал, что раскол был явлением идейным и, как протест, явлением прогрессивным. Покровский был человек консервативный по убеждениям и вообще шаблонный. Ему мои доказательства не понравились. И на моем сочинении он мелким почерком исписал восемь страниц критики, доказывая необоснованность моих утверждений. Самый факт подобной критики со стороны учителя свидетельствовал так или иначе об оригинальности темы и ее разработки со стороны ученика. Тем не менее сочинение было оценено только баллом удовлетворительно. Меня критика Покровского также рассердила и показалась весьма необоснованной. Я стал углубляться в тему, стал много читать и постепенно сделался специалистом в области столь чуждой, казалось бы, по духу всему моему умонастроению. Я пошел в университет с готовой как бы темой, с готовой уже специальностью. Так Покровский Н. Н. наметил, сам того не зная, план моих будущих работ. Так в жизни иногда случайные причины определяют существенные последствия.

Меня так взорвала эта тройка, что я решил употребить все усилия написать как можно лучше. Затронуто было мое авторское самолюбие; я уже был до некоторой степени литератор, т. е. начинал себя считать, так как выступил в печати, впрочем, подписавшись под статьями «Вонуглем», т. е. Мельгунов наоборот. Подписаться своей фамилией еще не было смелости. Злило то, что сам Покровский кроме плохого, шаблонного патриотического учебника по русской истории для младших классов гимназии никогда ничего не написал. С каким удовольствием в отместку я разделал этот учебник под орех в «Рус. Вед.» — мое перо поистине дышало злорадством и местью.

Следующей темой я выбрал рылеевский стих: «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Должен признаться, что писал сочинение не один, а привлек на помощь (надо же было посрамить, наконец, Покровского), доброго нашего знакомого Н. Н. Тугаринова, хоть и медика по специальности, но человека на редкость талантливого и образованного. Вместе мы разработали тему, проявили эрудиции больше, чем у нас было у обоих. Сочинение подано. Когда Покровский возвращал тетрадки, я, предупреждая его, сказал: вероятно обычная тройка. — Нет, в данном случае вы ошиблись.

Оказалось, что Покровский, наконец, соблаговолил мне поставить 4. Зато я торжествовал на выпускном экзамене. Нам дана была историческая тема, и, следовательно, работы должен был читать и О. П. Герасимов. Тема была озаглавлена так: «что дал нам классический мир». Я выбрал только один вопрос, философский (да, тогда я был философ!), взяв Платона и Аристотеля. Так только в течение четырех часов можно было написать что-либо не трафаретное. Герасимов высоко оценил мою работу, признав ее наилучшей. Покровский был отомщен. Так как работы шли в Округ, то и ему, конечно, невыгодно было

придираться ко мне. Следующий ассистент Войнаховский также определил эту работу как наилучшую.

Как-то стыдно теперь вспоминать все те скандалы, которые происходили между Конюсом и мною. Взаимные отношения обострились особенно в восьмом классе. В разгар одного из таких столкновений я заявил, что не желаю больше учиться французскому языку. По правилам гимназическим можно было ограничиться только одним новым языком. Но отказываться в восьмом классе нельзя было, или во всяком случае правила этого не предусматривали, и таких прецедентов не было. Конюс заявил, что я не имею права отказываться от предмета. Я настаивал на своем и решительно не желал отвечать при вызовах, говоря, что я подал уже письменное формальное заявление о своем отказе. Конюс злился до необычайности и при моем отказе отвечать ставил мне единицу. Дело осложнялось. Но Совет в конце концов постановил освободить меня от французского языка. Вероятно, мотивом было то соображение, что хотели избежать лишнего осложнения с Конюсом. Он со всеми был на ножах, не только с учениками, но и с учителями. Оставаясь на уроках французского языка в классе, на что имел законное право, я обычно брал газету и начинал читать. Конюс этого перенести не мог. Он доходил до исступления, требуя, чтобы я газет не читал. Тогда я сел на первую парту и стал подсказывать. Это возмутило Конюса еще больше: вы ведь не учитесь французскому языку, так потрудитесь молчать и т. д. Стычки продолжались до тех пор, пока Войнаховский решительно не потребовал, чтобы во время уроков Конюса я выходил из класса.

Финал скандалов был на выпускном экзамене. Мне обидно было все-таки в аттестате не иметь отметки по предмету, который я проходил в течение всего гимназического курса. Я заявил желание держать экзамен в каче-

стве экстерна. Кто в сущности мне мог запретить? Конюс заявил, что ни в коем случае — я отказался от обучения французскому языку и следовательно не имею права на отметку. Герасимов, председательствовавший на экзамене, с такой постановкой не согласился, и мне было предоставлено право держать экзамен в качестве экстерна. Экзаменатор был, конечно, строг, но так как среди гимназистов экзаменующийся обладал сравнительно недурным знанием языка, то получил, в конце концов, четверку.

В сущности гимназические воспоминания свои я могу закончить. Быть может, еще несколько слов о том, что происходило вне гимназии.

Начинал с каникул в пятом классе я стал каждый год ездить в имение моего дяди А. Ф. Грушецкого в Тамбовской губ. Это было прекрасное имение в верстах 30 от Тамбова, с огромным садом, расположенным на 20 десятинах и со всеми причудами помещичьего вкуса в духе маленького Версаля: аллеи, подстриженные шарообразно, аллеи, подстриженные ромбом, аллеи, когда-то подстригавшиеся и потом запущенные и превратившиеся в аллеи, установленные как бы березовыми канделябрами, беседки, подстриженные то шаром, а то иным причудливым образом, аллеи из ели, подстриженной пирамидами, аллеи с вековыми соснами и кругом, четырехугольником огромные, тенистые липовые аллеи. Да, это было чудное и редкое поместье, принадлежавшее родителям дядиной жены Коноплиным. Единственно, чего не хватало, это реки.

В этом имении всегда жила семья моего дяди. Мы приезжали прежде туда на побывку недели на две. Но в 1896 г. семья на лето поселилась в Липецке в виду болезни А. Н.[6], и следующие годы, пока я там бывал, Грушецкие

[6] Александра Николаевна — жена дяди.

продолжали жить в Липецке. Сам дядя бывал только наездом, и, следовательно, я был единственный обитатель в этом поместье, который мог пользоваться всем тем, что дает богатое поместье, с оранжереями, парниками и пр., которые хозяева считали тем не менее необходимым поддерживать.

Впервые я на длительную жизнь приехал в Ивановское в 1896 г. Побудительной причиной была ссора с матерью. И так как в этот год была коронация, то в середине апреля я был уже свободен и вместе с дядей направился в деревню. Он ехал только на один день, чтобы сделать соответственные распоряжения, так как сам уезжал на Дон для закупки лошадей — он был ремонтером.

Стояли очень холодные дни. В большом доме еще нельзя было жить, пришлось поселиться во флигеле, в грязной комнатке, рядом с приказчиками. Было плоховато, я еще не курил, и в атмосфере, пропитанной махоркой, приходилось тяжело. Прислуги не было; надо было есть так называемый людской стол, к которому даже пансионский желудок был не приспособлен. Но обилие молока, сливок, яиц, масла восполняло все пробелы. В сущности я был оставлен дядей в качестве главного присмотрщика — очей и ушей государевых, — так как в хозяйстве я абсолютно ничего не понимал. Через меня должны были поступать деньги для расплаты, я должен был проверять счета и т. д.

Перед такой тарабарщиной приходилось подчас становиться в тупик. Чтобы поддержать свой авторитет, надо было всячески измышлять способы не показать своего полного незнания и пускать пыль в глаза. Должен сказать, что, по-видимому, я с искусством выполнял эту роль, так как завоевал авторитетное положение, с каждым годом упрочавшееся. И в конце я считался прямо-таки хорошим сведущим хозяином. И действительно постепенно я все познал.

Но в начале было трудно и как трудно. Имение было большое и сложное по хозяйству, но управляющего не было, так как дядя сам всем распоряжался. Было два приказчика и ключник, причем перед отъездом сам владелец характеризовал их как мошенников. Я должен был контролировать. Приходили ко мне и говорили, что надо перекрывать ригу. Подрядчик назначает сумму в 150 руб. Дорого это или дешево, но я-то почему знал. И приходилась выворачиваться путем всякого рода логических размышлений. Никого из помещиков вокруг я не знал. Не у кого было спросить совета, кроме пука немногих книг, которые я мог найти, книг случайных, ибо дядя мой несомненно хороший хозяин, хозяин практик, человек, выросший в помещичьей среде и всю жизнь хозяйством занимавшийся, не следил вовсе за литературой. Когда себя теперь представляешь в ту пору юношей в 16 лет, причем жителя, в сущности, городского, то приходится сказать, что это была идеальная жизненная школа, приучавшая не растериваться в самых затруднительных случаях.

И скоро явился случай, в котором и приказчики были так же малоопытны, как и я. И я, ничего не зная, должен был авторитетно учить других. Я говорил уже, что дядя мой военный, в то время ротмистр, был ремонтером. Эта должность в последние годы старого режима была отменена и заменена приемочными комиссиями, которые принимали лошадей для армии непосредственно у коннозаводчиков. О ремонтерах я знал только то, что говорилось о них в литературе. Обычный тип ремонтера рисовался залихватским кутилой, дебоширившим на ярмарках, широко живущим и почти всегда бывавшим в долгах у всякого рода подрядчиков. Считалось, что ремонтеры наживали большие деньги. В действительности же они часто прогорали, так как требовалось довольно большое умение, чтобы благополучно закончить и сдать

казенный подряд. Ремонтер в сущности был подрядчик. Казна поступала так. Ремонтеру отпускалась определенная сумма по числу и стоимости лошадей, которых он должен был поставить казне. В этой сумме он не отчитывался: протори и убытки были его. Только при эпидемии за зарегистрированные случаи казна уплачивала определенную сумму поставщику. Лошади закупались обычно еще жеребятами у донских коннозаводчиков, и до трех лет они ходили там в табунах. Затем ремонтер их принимал, выхаживал, приучал и затем сдавал специальной комиссии. Чем меньше был брак, тем в большей выгоде был ремонтер. При большом браке он мог оказаться в трагическом положении. Надо было быть хорошим лошадником — все искусство заключалось в определении будущих статей лошади в период, когда она была только жеребенком. А. Ф. Грушецкий, сам коннозаводчик, считался одним из лучших лошадиных знатоков — его ремонт всегда бывал образцовым. Он для выхаживания лошади применял следующую систему, поставив ее в соответствие с своим хозяйством, которое он вел в имении, или вернее хозяйство применил к нуждам своего ремонтирования.

Лошадей, закупленных на Дону, табуном весной гнали в Тамбовскую губ. Это были совершенно дикие лошади, которых раздавливали уже на месте и до осени выдерживали в имении. Благодаря такой системе А. Ф. не приходилось искать покупщиков для продажи продуктов своего хозяйства, все потреблялось на месте. Он завел большое травяное хозяйство со всякого рода новыми, питательными травами. Будучи сам человек с большими средствами, он, кроме того, получал большие оборотные средства от ремонта, что давало ему возможность вести хозяйство на наличные деньги. Это было огромное преимущество перед другими помещиками, которые почти все делали в долг; потому в Ивановском, как называлось дядино имение, ни-

когда не было недостатка в рабочих руках даже в самую жаркую пору.

Как раз в том году, как я появился в Ивановском, дядя засеял несколько десятков десятин люцерной — травой, имеющей большие преимущества перед другими кормовыми травами: двойная уборка в течение лета, сравнительное многолетие и жирное сено. Только уборка травы представляла некоторое затруднение: на довольно толстой былке находились тонкие листочки, более нежные, чем у клевера. При сушке листочки опадали, и вся задача уборки заключалась в том, чтобы сохранить листочки. В этих местах никто никогда французской люцерны не сеял, и никто следовательно на практике не знал методов ее уборки. Дядя мне рассказал перед отъездом принцип уборки (а он сам никогда не убирал), дал книгу, в которой проф. Кобештов излагал способ сохранения листочков у люцерны при уборке: способ заключался в томлении травы, сушке ее через веяние, причем сохранялись листочки, хотя сено получалось бурого цвета. Так должен был убрать и я первый сенокос.

В начале июня он наступил. С книгой в руках я стал распоряжаться уборкой, встретив, конечно, оппозицию у всех к новым методам.

На несчастье пошли еще дожди. И первый сенокос дал нам только бурые, толстые стебли люцерны — листочки все остались на поле. Велико было мое отчаяние. Я думал, что погибло несколько тысяч пудов сена. К моему утешению в будущем голодные донские лошади и все эти былки, извините за выражение, пожрали. В течение четырех лет два раза в лето я убирал десятки десятин люцерны. И очень скоро достиг блестящих результатов. Мне не только удавалось сохранить листочки по методу Кобештова, но на практике я дошел до того, что стал получать зеленое, а не бурое сено. Это был уже мой собственный метод или

вернее усовершенствование принятого в практике метода, о котором я печатно затем рассказал в «Вестнике Моск. Общ. Сельского Хозяйства». Это и была моя первая литературная работа.

Так постепенно входил я в хозяйство. В том же роковом году путем практики мне пришлось дойти до другого изобретения, но уже в области ветеринарии. Пришлось в Ивановском сделаться поневоле и ветеринаром. Неожиданно прибыла партия больных лошадей, погруженных на одной из станций по пути следования ремонтного табуна из Области Войска Донского в Тамбовскую губ. Шла и другая партия, при которой остался фельдшер. К нам привезли на телегах лошадей двадцать, которые уже не могли ходить, вследствие повреждения ног. Это так называемый почечуй, образовавшийся вследствие ушиба, полученного в табуне. Ранки, загрязнившись, давали гангренозное состояние. Этим больна была в большей или меньшей степени значительная часть приходивших с Дона лошадей. У привезенных были уже огромные раны, распухшие ноги, ходы, наполненные червями около копыт. Что делать? Послал за ветеринаром — его нет. Пришлось самому сделаться лошадиным врачом при помощи лечебника. Лечение было несложное: надо было промыть раны, продезинфицировать креолином с водой, пустить йода в ходы и засыпать квасцами с танином. Все это я проделал с успехом. Некоторые лошади с большими уже запущенными ранами обычно погибали — ноги делались малоподвижными; этих лошадей продавали уже на шкуру. Я решил с такими лошадьми сделать опыт — я прописал им креолиновые ванны. Лошадь подвязывали, а ноги вставляли в кадку с креолином. Такая ванна продолжалась 3–4 час. Приехавший через несколько дней ветеринар, которому я рассказал о своих опытах, только издевался надо мною. Но неожиданно результаты получились блестящие:

ни один из моих питомцев не погиб. У одного только осталась опухлость ног, но и этого калеку с удовольствием купил какой-то крестьянин — и я видел моего питомца в работе.

Теперь все это весело вспоминать, но тогда ежедневно делать более 20 перевязок было трудновато — с лошадью не так легко, как с человеком.

Вообще этот первый год для меня был необычайно труден. Целый ряд несчастных случайностей, словно нарочно, пришелся на первый год моего административного опыта. Заболел мой дядя, и мне предстояло все делать на свою ответственность. Самое трудное было в июле, когда одновременно с уборкой прибывал ремонтный табун. Конечно, это делалось из года в год; люди были уже опытны, как в экономии, так и при ремонте, где начальствовал вахмистр. Представьте себе однако прибытие этого табуна полудиких лошадей. Прибытие его сопровождалось всегда рядом осложнений.

Гнали табун большими дорогами. Сопровождал его эскорт из 15 солдат во главе с вахмистром и двух-трех калмыков с арканами, на обязанности которых было ловить ту или иную лошадь, выскочившую из табуна. У эскорта всегда было до 10 оседланных лошадей. Я в ужас пришел, когда мне впервые пришлось увидеть спины этих несчастных животных, в течение месяца и больше с которых ни днем, ни ночью не снимались седла. Это были сплошные раны. Но, по-видимому, животные не очень страдали — надо было только под седло класть мокрую тряпку.

Табун более или менее легко было проводить по большим дорогам. Но большим осложнением были последние десять верст. Надо было обдумать целый план проведения этого полудикого табуна по скошенным полям, чтобы не потравить чьего-либо поля и т. д. Но потрав почти нельзя было избежать, тем более, что там, где

проходила эта масса, все оказывалось вытоптанным и убитым, словно прошла саранча.

Но вот табун на месте. Нужно было его разловить и расставить в специально сооруженные бараки. Нужны были люди — от 80–100 конюхов, причем конюхов не простых, а таких, которые не боялись бы этих полудиких лошадей. Где их было найти? Но контингент уже был готов — почти один и тот же из года в год, и вербовался он из так называемой золотой роты тамбовского Хитрова рынка. Обычно весной в д. Грушецких являлись представители этих оборванцев, получали по 5–10 руб. задатка, отдавали свои паспорта, которые очевидно в городе им были не нужны, и обязывались явиться к середине июля в Ивановское — нанимались они на три месяца до сдачи всего ремонта приемной комиссии. Среди них выработались свои специалисты: одни раздавливали лошадей, другие выводили. И то и другое умение приходилось высоко оценивать — дело было действительно трудное.

Обычно часть этих золотоpотцев являлась раньше, чтобы покормиться на даровых хлебах.

Интереснейшая была эта среда. По паспортам видно было их социальное разнообразие: — были и дворяне, были получившие образование и спившиеся, одним словом, состав горьковского «Дна». Между прочим оказалось несколько Мельгуновых — дело в том, что в Тамбовской губ. есть Мельгуновская слобода, и там Мельгуновых — хоть пруд пруди. У этой среды пьяниц, воров и всякого рода преступников была своего рода честь. В Тамбове они жили, конечно, своей профессией; здесь — никогда ни одного воровства. Мог произойти дебош в пьяном виде, но и только. Беда, если бы какой-нибудь новичок позволил себе нарушить уже установившиеся традиции — вожаки «Дна» его хорошо бы проучили. В этом отношении с этой вольницей управляться было нетрудно, хотя я на первых порах

по новизне и трусил. Их надо было только хорошо кормить и изредка подносить хмельного — без этого работа не спорилась. Я было попробовал этих людей поставить на полевые работы, пока не было еще ремонта, — из тех, что явились пожить на вольных хлебах. Но, конечно, из этого ничего не вышло. Они могли день пролежать в поле и абсолютно ничего не сделать. Я скоро предоставил им свободу пользоваться деревенским воздухом и делать, что им угодно. Они жили на хуторе, верстах в пяти от усадьбы, расположенном совершенно одиноко среди полей. И они там жили, вернее спали, никогда не появляясь ни в деревне, ни в усадьбе, где к ним, как к деклассированным, относились с презрением и враждой.

Занимательную картину представляло собою разлавливание табуна. В свое время мною сделаны были фотографические снимки, которые, к сожалению, исчезли у меня.

Выстраивался баз, разгороженный на две половины, причем между ними оставалось только узкое пространство вроде двери. В одну из половин база загоняли лошадей тридцать, отбив их от табуна. Уже перепуганные этим донцы с раздувающимися ноздрями, с настороженными ушами как бы готовились к битве. И это была по настоящему битва. В моем пере нет только красок, чтобы описать образно самую битву человека с лошадью. На пустой стороне база около дверцы становился человек с лассо и около него еще человек десять, готовых ринуться в бой. Другие длинными прутьями начинали отбивать одну из лошадей от загнанной группы и гнать ее в дверцу. Она, как бешеная, бросалась в дверцу, и здесь на нее накидывали волосяной аркан, и все десять человек ложились на веревку. Полузадушенная лошадь падала, надо было в один момент схватить ее за хвост: один вскакивал на шею, другой запутывал ноги, и три-четыре человека садились на лошадь. Страшно было смотреть, и удивительно, что почти никогда

не происходило несчастья. Выделялись поразительные ловкачи, которые артистически проделывали описанную операцию. Тогда отпускали аркан и на морду надевали веревочный двойной недоуздок с длинной веревкой, которую брали от 4–6 человек. После этого все вскакивали, лошадь в свою очередь, как встрепанная, бросалась в особые ворота, сделанные в базу, которые предварительно открывались. Как бешеная, она мчалась, куда глаза глядят — она впервые почувствовала на себе недоуздок. Люди, конечно, не могли поспевать за бешеной скачкой — обычно они просто ложились на живот, и лошадь их так тащила до тех пор, пока не выбьется из сил. Часто, конечно, она вырывалась у держащих ее и, почувствовав свободу, мчалась в поле. На этот случай два калмыка с оседланными лошадьми были уже готовы. Казалось, они спокойно лежат и покуривают трубку. Но, как только лошадь вырвалась, они уже на своих конях и мчатся вдогонку. Прошел только какой-нибудь миг...

Постепенно те, которых лошадь тащила за собой, становились уже ее водителями. Они понемногу приближали пойманную лошадь к деревянной коновязи, к которой ее привязывали на длинной веревке. Начинался новый пароксизм бешенства. Постепенно повод укорачивали, и лошадь попадала к самой коновязи. Она билась ужасно, обычно вся была избита в кровь. Так стояла она изнеможенная часами. Затем ее отводили в барак. Два, три дня приходилось с ней мучиться, в течение которых она ничего не ела. А через несколько дней более или менее спокойно выходила на водопой. Ее начинали немного оглаживать, приучать к чистке и т. д. Через 2 месяца она была готова. Любопытно, что эти степные лошади, когда им в первый раз давали овес, решительно отворачивались от него. Но через несколько дней входили уже во вкус и поедали столько, сколько им давали. Для того, чтобы быстро при-

дать лошади тела, ей так же, как человеку, давали некоторую дозу мышьяка, что действовало на нее чрезвычайно благотворно.

Наличие ремонта в деревне доставляло мне одно большое удовольствие — я получал исключительный выбор верховых лошадей. У меня был и киргиз, и донской иноходец, и полукровный англичанин, и араб; были лошади разных нравов и темпераментов, что давало в свою очередь большое разнообразие в верховой езде. Вскоре я привык всюду бывать верхом. Для поля я пользовался киргизом, который отличался необычайным спокойствием и послушанием. Оставишь его в поле — он будет стоять и никогда не сойдет с места. Такая лошадь в хозяйстве незаменима. Конь был удивительной выносливости — мог тридцать верст скакать, и чем дальше, тем, казалось, ему легче. Некоторых лошадей я сам выезжал для себя.

В общем мои верховые поездки всегда сходили для меня удачно. Только два раза за всю жизнь я слетел с лошади и то при исключительных обстоятельствах. Раз на очень горячей и мало выезженной лошади у меня оборвалась подпруга на седле, и седло при аллюрах, которые иногда выделывала лошадь, стало сползать. Я решил, что мне выгоднее соскочить, что я и сделал в сторону, предчувствуя, что лошадь, почувствовав освобождение, будет бить задними ногами, так и случилось... Другой раз я поехал на молодом жеребце в гости. Лошадь была изумительно красива, и все вышли на крыльцо смотреть, как я буду гарцевать. Но здесь-то и произошел скандал. Мой конь не захотел идти, найдя себе подругу. Он становился на дыбы, бил задом. Но я считал себя хорошим ездоком и был уже привычен к подобным курбетам. Вероятно, я слишком затянул узду. И, поднявшись на дыбы, конь хлопнулся назад. Я счастливо успел выскочить, иначе мне пришлось бы плохо — только одна нога была немного придавлена.

А главное — конфуз перед собравшейся публикой. Дамы требовали, чтобы я не ехал. Но, конечно, требование только побуждало меня победить упрямство коня. Я применил в нему тот метод, который применял совершенно серьезно мой дядя к некоторым лошадям, которых он тренировал. Однажды он велел связать свою беговую лошадь, которая капризничала, и высек ее. Так поступил и я. Средство подействовало. Но все-таки конь мне отомстил. Я был верстах в 25 от дома. Отъехавши благополучно верст 10, конь мой вдруг стал. Я ничего с ним не мог сделать. Я слез, конь сразу почувствовал, что я его буду стегать. Так и произошло в действительности. Как только я вновь вскочил на него и отъехал несколько сажен — опять остановка. И так раз 15–20. В конце концов мне пришлось все 15 верст вести своего коня на поводу. Но в сущности такой каприз был с ним единственный только раз — очевидно нервы разыгрались от молодечества.

Мои верховые похождения закончились тем, что однажды я даже скакал на так называемых джентельменских скачках в г. Козлове и взял третий приз. Лошадь я сам тренировал для этих скачек. Публика, зная лошадей моего дяди, считала, очевидно, что я должен быть первым. На меня все играли в тотализаторе. Пожалуй, я и был бы первым, если бы публика на джентельменских скачках была более дисциплинирована. Раз пять стартер возвращал нас на место, не имея возможности выровнять и опустить флаг. Лошадь моя, хорошо вымуштрованная, совершенно издергалась. Затем все поскакали кучей, какой-то дюжий кавалер на дюжем англичанине начал прямо сбивать меня с лошади. В конце концов мне ничего не оставалось делать, как повести скачку, что считается неправильным. Мне так и надо было продолжать, и я бы пришел первым. Из боязни, что у лошади не хватит сил, я стал сильно ее сдерживать и этим только погубил свой

успех. Когда я кончал скачку, хотя и взял приз, но мне плебс в галерее свистел, ибо на мне проиграл.

На следующей скачке шли уже не джентльмены, а конюха. У меня тоже скакал мальчик, сын нашего вахмистра: скакал на том самом киргизе, о котором я уже говорил. Конь был невзрачный, но силы необычайной — нечего было опасаться, что у него духа не хватит на три версты: ему только на такой дистанции разойтись. Я велел скакать, что есть силы, чтобы заморить всех конкурентов. Публика не одобрила некрасивого киргиза, но я был в нем так уверен, что на него поставил в тотализатор, в надежде вернуть расходы по предыдущей скачке. Киргиз оправдал мои надежды и быстро всех оставил за флагом. «Вот вам на ком надо было скакать», — кричали проигравшие. Я выиграл значительную сумму, которая с лихвой покрывала все расходы.

Это был единственный раз моего публичного выступления в качестве спортсмена. Между прочим, в этот раз по дороге из Тамбова в Козлов в вагоне со мной случился неприятный казус. Поезд приходил рано утром в Козлов. Я лежал на верхнем диване. Спросонья, соскакивая, я толкнул нижнего соседа... «Что, в чем дело!» — встрепенулся он. Я просто извинился, вылез и расположился пить кофе на вокзале. Вид у меня был довольно демократический и подозрительный — в рубашке, в черных очках, так как глаза болели от пыли, и огромной английской шляпе с двумя козырьками. Но в Козлове меня уже на вокзале немного знали. Сижу и пью кофе, как вдруг входит мой сосед по купе, которого я разбудил, с двумя жандармами и подходит ко мне. У него пропало несколько тысяч, и он заподозрил меня, что было естественно, так как я его толкнул. Только имя моего дяди, думаю, меня спасло. На несчастье у меня было с собой также несколько тысяч рублей. Постепенно выяснилось жандармами, что мой сосед накануне в поезде играл в карты — тут, вероятно, и совершилась покража.

Но неприятное чувство быть заподозренным в краже...

Однако возвращаюсь к житью-бытью в Ивановском. В первый год я жил там на бивуаках. Совершенно один в огромном доме без прислуги. Страха не было. Но все-таки удивляюсь, как меня ни разу не ограбили. Два раза в месяц я ездил в Тамбов за деньгами для расплаты за поденные работы. Я привозил с собой тысяч 20–30 серебряными деньгами: рублями и мелочью. Это был довольно внушительный пакет. Ездил я всегда один на одной лошади в легонькой таратайке. Делал оба конца в один день и возвращался уже под вечер, когда было прохладно, т. е. приезжал уже ночью. Масса людей знала, что я еду за деньгами, так как поездки эти носили систематический характер. Постоянно говорили, что в одном буераке, где при всем желании нельзя было ускакать даже на хорошей лошади, грабят. Но четыре года я ездил, и ни разу на меня не было никакого покушения.

Семья дядина во все годы не приезжала в деревню. Но уже в следующем году, так как приезжал на побывку и сам дядя, нами взята была кухарка, и я стал жить совершенно буржуазно. Пекарь, который был нанят для ремонтной команды, также из хитровцев, оказался кондитером, спустившимся на низы. Он делал, когда был трезв, удивительные пирожные. Представьте себе великолепные парники, оранжереи с чудными белыми сливами и персиками (персиков такой величины я нигде больше не ел) — и все это я должен был поедать один. И понятно, что когда приехал ко мне страховой агент и получил такое угощение — он пришел в восторг от моего житья. Я жил барином-помещиком, хотя и в чужом имении.

Стал я понемногу знакомиться и с окружающими помещиками. Рано умер Сергей Атава, не бывавший в этом углу Тамбовской губернии. Здесь был совершенно своеобразный быт. Я все-таки несколько слов о нем скажу.

В верстах двадцати находилось поместье моего отдаленного родственника, гусарского полковника в отставке Савченко. Это был гоголевский тип. Так рисуют на портретах капитан-исправника николаевских времен. В мое время он был уже обрюзгшим от распутства человеком, но в молодости был, очевидно, лихой гусар — за красоту и ловкость и был приобретен в свое распоряжение одной из моих родственниц. Так как они бывали в Москве у моей матери, то я к ним поехал. Дом их представлял настоящий средневековый замок чуть не с бойницами. С женой С. я не был знаком. Войдя в переднюю, я встретил какую-то женщину в распущенном платье, типа экономки. Оказалось затем, что это сама хозяйка. У них были две барышни — одна еще подросток, другая взрослая. Обе были совершенно забиты. Никакого образования им родители не дали. На них жаль было смотреть и, если я изредка стал у них бывать, то исключительно из жалости к этим барышням, хотя тоска с ними была ужасная, так как говорить не о чем было: при родителях они молчали, без них отвечали только: да-с и нет-с.

Савченко вел распутную жизнь, на что жена уже не обращала внимания, погрязши целиком в хозяйственные заботы. Она была образцом скупости. Савченко при своих детях цинично рассказывал о своих деревенских похождениях — у него был особенный апартамент, куда, как в крепостное время, являлись к барину бабы и девки.

В первый раз, когда я у них был, я получил приглашение к обеду. Обед был своеобразен. Великолепная сервировка на грязной скатерти и весьма скудная пища, что объяснялось тем, что де запьянствовал повар. Очевидно, хозяева питались еще как-нибудь. Обед закончился скандалом, и я поспешил уехать. Савченко выпил рюмку водки. Его супруга, Анна Степановна, молча, посмотрела. Савченко выпил вторую, третью..., наконец, та не выдержала: — Иван Степанович, de nouveau.

Теперь пришла очередь свирепо смотреть Ивану Степановичу. Но он повторял и повторял. Повторилась реплика и Анны Степановны.

Наконец, Иван Степанович не выдержал, хватил кулаком об стол, и пошла ругань самыми последними словами, причем жена не отставала от мужа в кучерских ругательствах. Девочки присутствовали, но я не выдержал.

Это была семья, считавшая себя принадлежащей по рождению к аристократии.

С этой семьей у меня произошел вынужденный разрыв. Быть может, мое поведение и надо признать некрасивым — я выступил косвенно сватом. Дело происходило так. В пансионе был у меня товарищ некто К. из крайне бедной семьи. Ему было уже 24 года, а он все не мог кончить гимназию. Как человек, он, пожалуй, был одним из лучших в пансионе. Любил страстно музыку. Начал учиться сам уже взрослым. У него ничего не выходило, все издевались над ним, но он мужественно продолжал свои занятия. Очевидно, у него была поэтическая душа. Смеясь, я ему как-то сказал: «хочешь, посватаю за миллионную невесту». И вот неожиданно этот К. явился ко мне в деревню, заручившись рекомендательным письмом от одного из знакомых Савченко. Меня он просил только туда свезти его и познакомить. Я это исполнил.

Жених он был плохой.·Долговязый, некрасивый, с рыжими голенищами сапог — тип какого-то семинариста. Первый раз мы поехали вместе. Через несколько дней он поехал один под предлогом отвезти обещанный мною отсадок персикова дерева. Вероятно, он не обмолвился и двумя-тремя словами с Катей Савченко, как решил ей сделать предложение. Прошло, может быть, недели полторы с их знакомства. Я ему очень не советовал это делать. Он не послушался и послал предложение в письменной форме, на что получил, конечно, отказ — там заговорил

дворянский гонор. Ответ гласил, что такого рода предложения не делаются даже в мещанской среде. Получив нос, К. тотчас от меня уехал.

А мне жаль, что Савченко не вышла замуж за безалаберного претендента на ее руку — он был в сущности недурной человек. Я слышал, что она позже вышла замуж за какого-то субъекта, слышал о темном деле объявления ее младшей сестры сумасшедшей, чтобы получить наследство... Может быть, за К. она была бы счастливее.

Другой помещик, с которым я также познакомился, тоже был своеобразный тип — некто Колобов, известная в Тамбовской губ. фамилия. Он все свое состояние проел и пропил, а на остаток продолжал содержать конный завод и зачем-то построил огромный двухэтажный дом, в котором было чуть ли не 40 комнат, и в котором он жил один, почти уже бедствуя.

Я часто бывал лишь в одной помещичьей семье — родственников жены дяди, Ртищевых. Это была для меня наиболее подходящая семья, так как там была молодежь. У них гостила кузина, молодая грузинская княжна Б., которая сильно привлекала мое сердце. Для нее я объездил лошадь и приезжал с ней кататься верхом. Это был полуроман. Молодой Ртищев был просто неуч, один из тех, которые заполняли нашу пансионскую среду. Свое состояние, небольшое, он очень скоро спустил, как только сделался самостоятельным.

Но своеобразие быта было не в этих помещичьих семьях. Был другой здесь уголок, как бы цельный, действительно оригинальный. Я с ним познакомился у своей тетки Фроловой, богатой прежде помещицы, в то время уже разорившейся и доживавшей свои последние средства. Но тем не менее жила она широко, настоящим помещичьим бытом черноземной полосы. Имение Фроловой находилось в верстах 25 от Ивановского. Впервые я туда попал на

какое-то торжество. Было, вероятно, человек 20 гостей и все женщины или старые девы, или вдовы. В этом угле Тамбовской губ. их было какое-то чрезмерное обилие. Я был едва ли не единственный кавалер, на которого, впрочем, почти не обращали внимания. И не только по молодости лет. Все были заняты друг другом. В этой дамской компании были свои любви, свои ревности, свои ухаживания. Одна была в то время предметом любви нескольких. Не знаю, что в ней привлекало — некрасивая, рыхлая — так скорее, что называется, горничная девка. Эта помещица из разорившейся семьи переезжала от одной дамы к другой на житье. Здесь и разыгрывались настоящие сцены ревности. Происходило форменным образом ухаживание со всеми соответственными аллюрами. Г-жа З. в это время жила у моей тетки. Соседка, богатая помещица вдова Романова ее сманивала к себе. С этой целью устраивались пикники, где Романова проявляла настоящую мужскую любезность к избранному предмету любви. А та томно полулежала на ковре и принимала ухаживания. Выносила, как полагается, сцены ревности от Фроловой, которую собиралась оставить. Истинная подоплека была в том, что Романова была не разорившейся помещицей — словно выбирался богатый жених.

Злые языки много говорили про эту дамскую любовь. Но думается мне, что забавы эти были невинные. Это своего рода институтская блажь старых дев. Тетка моя даже одевалась наполовину по-мужски: в узкой, черной, короткой юбке и полумужских рубашках, надетых на рубашки крахмальные. Вид у нее при курении, при любви выпить был действительно полумужской. И, как кавалер, ставящий на последнее очко свое последнее достояние, тетка Фролова тянулась, чтобы не ударить в грязь: в доме не было подчас ни копейки, но содержалась прекрасная вороная тройка (какая же помещица без тройки), конный завод,

широкий стол, за которым льется вино. Дом полон девок и девчат, как в крепостное время. Судьба свела потом нашу семью более близко с этой родственницей. Она даже переехала в Москву, подружившись с моей старшей сестрой. Я в своем хозяйственном опыте пытался прийти ей на помощь в ее безалаберном имении. Но это было очень трудно и по запущенности дела, и по тому воровству, которое свило себе гнездо, и по бесхарактерности самой тети Жени, человека по существу удивительной доброты.

От матери она получила огромное имение, дававшее большой доход. Между прочим, одна статья дохода носила своеобразный характер. На ее земле, на выгоне перед церковью каждое воскресение происходил огромный базар. Аренда лавками участков была крайне прибыльным делом. Но любопытно, что базар сосредоточивался около трактира. И когда была введена винная монополия, все дело заключалось в том, чтобы удержать казенку на ее стороне — иначе базар ушел бы на другое место, и разорившаяся уже окончательно помещица лишилась бы своего основного дохода. Дело было устроено при соответствующей протекции. Надо было только выстроить здание. Это не было исполнено, отчасти по халатности, отчасти по безденежью. Грозила катастрофа. Событие происходило как раз в один из моих приездов, и на меня возложена была щепетильная миссия добиться от акцизного чиновника, на которого налегали конкуренты, разрешения вместо каменного здания построить деревянное: каменное в срок уже не могло быть возведено. Это был мой первый искус — дать взятку. Я его выдержал. И должен сказать, что я это недурно делал. И всегда за мою жизнь снабжал взятками полицейские учреждения, что давало значительное облегчение от известных формальностей. Может быть, очень скверно, но часто это содействовало некоторым общественным начинаниям. Раз только у меня

со взяткой произошел скандал — я дал взятку своему родственнику. Но этому своеобразному эпизоду будет посвящен особый рассказ.

Мать тетки были урожденная Кожина, от которой и перешло ей все состояние. Это знаменитый род в пределах Воронежской и Тамбовской губ. Род, можно сказать, огромный, ибо у одного из Кожиных было 16 человек детей, а у каждого из наследников и наследниц Кожина чуть ли не столько же детей. И почти все Кожины, за малым исключением, разорялись. Объяснялось это семейным преданием, по которому Тихон Задонский проклял одного из Кожиных до седьмого поколения. Предание гласило следующее. В нескольких верстах от Задонска находилось поместье Кожина, где тот куролесил со своими крепостными девками. Решил он для своих крепостных построить цирк — точь-в-точь такой же, каким был задонский монастырь. Тихон стал его усовещивать и упрекать в кощунстве. Тогда задонский гранд-сеньёр ударил его по щеке. Тихон поступил совсем не по угоднически, а так, как пророк Елисей в Старом Завете — он проклял весь род Кожина.

Цирк остался недостроенным. И действительно, в бывшем имении Кожина «Колодезь» стоит странное, старинное недостроенное здание — вернее полуразрушенная башня, по виду напоминающая колокольню, рядом с помещичьим домом. Вероятно, это непонятное здание и породило легенду, которой родичи охотно объясняли свои житейские неудачи, вытекавшие просто от чрезмерной любви к широкому образу жизни.

На почве этой легенды уже в 900-х годах родичи чуть ли не перессорились между собой. В «Русском Слове» как-то появилась заметка, что в Бельгии умер какой-то Кожин, оставивший многомиллионное состояние, которое должно быть разделено между всеми родичами по седьмое поколение. Умер де Кожин давно, а только срок завещания ис-

тек теперь. В Москву съехалось много Кожиных и происходящих от Кожиных. Так как я был газетчик по профессии, то один из них обратился ко мне с просьбой навести соответствующую справку. Пока я наводил справку, родственники и перессорились из-за счета, кто в каком поколении. Справка разрушила иллюзии — это была одна из многочисленных газетных уток и только. Никакого Кожина в Бельгии не было.

К этим Кожиным принадлежал и прославившийся липецкий предводитель дворянства, имя которого в свое время нашумело в газетах по поводу продажи бельгийцам железных рудников. Кожина ославили чуть ли не как мошенника. В действительности это была дворянская афера, на которой, как кажется, он просадил все свое состояние. Его обвиняли в том, что он, пользуясь своим официальным положением, заключал с крестьянами контракты на разработку руды на их землях, и получал это право иногда за четверть водки, а с бельгийцев получал миллионы. Может быть, такие факты и бывали. Но суть-то дела в том, что и бельгийцы прогорели, и Кожин. Дело с рудой было также дворянской утехой.

Я отвлекся в сторону от своего повествования о пребывании в Ивановском. Надо однако его докончить. Быть может, еще несколько характерных штрихов, о которых вспоминаешь теперь также с некоторой краской на лице.

Я был настоящий помещик — это значит, что должен был притеснять крестьян, т. е. быть требовательным и придирчивым. И был таким. Я вставал ежедневно утром в 4 часа и ездил смотреть, чтобы поденные с восходом солнца уже были на работе. Штрафовал тех, кто опаздывал и т. д. Словно длинный день мал, словно интенсивность труда не понижается от чрезмерно длинного дня. И днем, и вечером я совершал такие поездки и, несмотря на молодость, старался быть взыскательным. Таковы были

наставления, мне данные, таковы были традиции, с которыми я встретился у приказчиков в имении, таковы были примеры, которые я видел крутом. Крестьяне для меня были в значительной степени людьми, которые только и думают о том, чтобы обмануть помещика. Впрочем, они такими и были по неизбежности, только я тогда не вдумывался в причины. Я ездил сам с объезчиками в ночные обзоры, ловил лошадиные табуны, зашедшие в помещичьи поля, даже тогда, когда лошади заходили в лес, где уже трава была скошена, и никакой потравы быть не могло. Штрафовал за потравы. К земскому начальнику никогда не приходилось обращаться. Все происходило полюбовно. Загнав табун со своего поля, я назначал крестьянам внести в церковь по 50 коп. с головы. Церковь была выбрана не потому, что я был религиозен... Но не в свою же пользу брать — и церковь являлась нейтральным местом. Штрафовать же я считал необходимым, чтобы не было повадок. Быть может, в конце концов крестьяне считали выгодными для себя такие штрафы — кто знает. Во всяком случае я с крестьянами жил в полной дружбе. Все, что я делал, казалось естественным и с их точки зрения. А мое личное хорошее отношение к индивидуальным нуждам, — местные крестьяне не привыкли видеть сочувствие со стороны ивановских помещиков, — вызывало дружественное расположение и со стороны крестьян, в чем я не раз мог убедиться на деле.

Может быть, меня и обманывали подчас — трудно судить теперь. Например, я делал благодеяния и разрешал косить крапиву в лесу, за что мне косцы, по своей инициативе, приносили в обмен цыплят. Может быть, здесь дело было не в крапиве, а, получив разрешение косить крапиву под наблюдением лесника, всегда можно было взять ту или иную слегу, так как своего леса у крестьян не было.

Во всяком случае от моего хозяйства Грушецким проторей не было. Правда, жена дяди потом говорила, что

я ел по 1½ пуда сливочного масла в месяц. Может быть, ключник и подавал такие сведения, но все равно добро пропадало.

Это была удивительная в сущности семья, которая все любила копить. Плюшкинство было в роду у Коноплиных, к семье которых принадлежала моя тетка. Ее отец почти умер на сундуке.

И дядя, А. Ф., человек по складу совсем иной, постепенно попадал под влияние своей жены. Но в сущности более безалаберный дом трудно было себе представить. Благодаря этой безалаберности они проживали очень много при самом скромном фактически образе жизни. Как всегда у таких людей воровали более чем где-либо. Весь дом носил своеобразный характер в силу этой скупости. Кладовые ломились от всякой снеди, но гостей почти не бывало. А когда гостили даже родственники, то все эти вкусные накопленные вещи прятались и только самому дяде потихоньку кое-что давалось. Эта кладовая в тамбовском большом доме, где в мои годы они не жили (жили летом в Липецке, а зимой в Москве), служила мне прекрасно. И должен признаться, я без зазрения совести стал в нее лазить и вытаскивать вкусные вещи, которые часто, к сожалению, от долгого лежания были уже испорчены...

У тетки была страсть покупать по дешевым ценам. Стоило ей узнать о какой-либо распродаже, она ехала и покупала на сотни рублей ненужных вещей, только потому, что они были дешевы, и складывала в сундуки. Весь их тамбовский огромный дом, хорошо обставленный, превращался в какой-то сарай. Прислуги у них было много, но ходили они всегда через заднее крыльцо.

Вначале этот образ жизни был для тетки известной системой воздействия на своего мужа, потом система поглотила и его, и ее и стала уже нормой. Дело в том, что дядя женился par dépit.

Недурной лицом, ловкий, статный молодой ремонтер давно уже прельстил молодую, некрасивую Коноплину. Но А. Ф. не обращал на нее внимания, несмотря на богатство невесты — у него и свои средства были в виде имения в Задонском уезде. У него была другая невеста, — красивая, хотя и нескладная по фигуре, черноокая соседка по имению: одна из неразорившихся представительниц знаменитого рода Кожиных. Приезжая в Москву, она попадала в бесшабашную компанию, которая окружала ее сестру. Говорят, что они совершали самые невозможные ночные похождения, переодеваясь в мужское платье. И жених об этом узнал, произошла какая-то сцена, после которой он сделал предложение некрасивой будущей тете Саше, что было принято ею с восторгом.

Но некультурная, скупая жена, очевидно, тяготила дядю. Он стал от нее бегать, разъезжая по всяким делам. Вероятно, дело закончилось бы разъездом под влиянием братьев Грушецкого. Но молодая оказалась женщиной энергичной. Она прикатила вслед за своим мужем в Москву, отыскала его и увезла его с собой в тамбовские дебри. Человек он был бесхарактерный и скоро подчинился. А тетка отомстила, перессорив его с братьями. И позже уже мне пришлось выступить как бы суперарбитром.

Разные бывают мужчины. Одни от истерик бегут, на других они действуют так, что покоряют. Так было и с дядей А. Ф. Вначале жена закатывала истерики так, для устрашения. Дядя жалел, считал, что он виновник и привязывался к жениной юбке, что только ей и было надо. Но истерики прилипчивая вещь. Частые истерики стали переходить в болезнь — в своего рода припадки, к которым, очевидно, она была расположена, и которые длились часами.

После она ходила растерзанная, почти неодетая и непривлекательная. Постепенно она так распустилась, что в другом наряде я ее уже не видал. Где же тут принимать

каких-нибудь гостей. Весь дом мало-помалу приобрел вид, который имела хозяйка. Курица, высиживающая яйца, была чуть ли не на письменном столе, грязные пахнувшие детские пеленки на мебели и т. д.

Как дядя мог выносить такую ежедневную обстановку? Но среда засасывает, и постепенно он воспринял все свойства Коноплиновской семьи — стал мелочно скуп.

Может быть, я один у них был в некотором фаворе и пользовался известными льготами. Впрочем, мы скоро разошлись. С поступлением в университет кончились мои летние поездки, я связался уже литературной работой с «Русскими Ведомостями». В дальнейшем слишком резко расходились наши пути. Дядя поднимался по служебной лестнице, богател, так как умерла теща, с которой они были во враждебных отношениях, от которой они унаследовали большое состояние; вместе с богатством рос его консерватизм, а я в это время левел от среды, в которой вращался, от работы в «Р. В.», от влияния своей будущей жены. У дяди подрастали дети, от которых при их системе воспитания не приходилось многого ожидать — они выходили шалопаями, — и после 1905 г., может быть, больше всего боялись какого-нибудь моего на них влияния.

Так я отошел от этой семьи, как отошел от всех своих почти родственников. Только раз уже в 1914 г. я попал еще в имение, где я хозяйничал когда-то, и которое мне было дорого в силу этих воспоминаний молодости. Попал уже с женой. В этом году мы с Т. И. Полнер сняли усадьбу в Тамбовской губ. и решили там провести лето. Вот оттуда-то я и проехал к дяде, чтобы показать жене это имение.

Обстановка была уже иная, но по существу многое сохранившая от прежнего. Дядюшка был уже генерал. Дети выросли и привыкали жить, как люди богатые. Дочь была замужем. Имение в Спасском было округлено покупкой второй половины Ветчининского поместья, что вдвое

увеличило сад и его привлекательность. На обоих концах сада было таким образом два великолепных дома. В соответствии с этим изменился и трэн жизни. Грушецкие держали уже две тройки лошадей, причем к каждой тройке полагался свой особый кучер. Одна из этих троек, составленная из рыжих донских лошадей, была залихватская. На ней нас и доставили из Тамбова в деревню. Пока тройка не трогалась, это были какие-то звери. Пристяжным закручивали ноздри, чтобы держать на месте. Потом отворились ворота, и тройка, как бешеная, вылетела на улицу. И быстро входила в колею. Тройка действительно была удивительная — тридцать пять верст мы сделали, вероятно, часа в 1½—1⅓.

Изменился и домашний обиход. Весь стол заставлялся яствами. Но любопытно, что эти яства изо дня в день подавались на стол — все, что не съедено, ставилось на стол снова. То же было с чаем. Спитой чай сохранялся и вновь заваривался. Я вообще заметил любопытную черту — по чаю можно судить о скупости хозяев. Казалось, в старое время чай стоил 2–3 руб. Невелика сумма. А между тем именно его-то и жалели заваривать.

Для меня не было уже удовольствия вникать в это поистине юнкерское хозяйство со всякими усовершенствованиями в сельскохозяйственных орудиях производства, жнейках, веялках и т. д. Нам с женой до крайности неприятно было встретить в поле толпу баб, убирающих мак, и около них двух чеченцев с нагайками. В мое время этого помещичьего атрибута нигде не было в Тамбовской губ.: нововведение появилось после 1905 г.

А вечером новое зрелище, в котором я далее не выдержал характера. Был позван для развлечения дьякон, довольно тщедушный и забитый человек. Его подуськивали и над ним посмеивались. Он чувствовал, что находится в гостях у генерала помещика, всегда сильного у

архиерея, а с другой стороны житье было скудное. А тут для смеха еще подуськивают. Меня несколько взорвало, и я выступил резким критиком всех порядков. Дьякон чрезвычайно обрадовался. Но помещикам это уже не понравилось, и они быстро постарались переменить темы разговора и избавиться от присутствия дьякона. Издевательства их шуток принимали иной характер, раз племянник барина — революционер.

Отношения у помещика с крестьянами были враждебные и обострялись с каждым годом. В 1905 г. его палили, в период реакции он мстил крестьянам, по существу своему не будучи совершенно ни реакционером, ни злым человеком. Искренно считалось, что нарушаются злокозненно права собственника, на которых зиждется все государственное устройство.

Когда-то я ездил по ночам в Ивановском в объезд. Но никогда мне не приходилось охранять самую усадьбу или дом. Тут уже требовалась большая охрана. И дядя мой по ночам наряжался в тоги привидений, зажигал потайной электрический фонарь и блуждал по саду, пугая население.

Больше я уже никогда не возвращался к помещичьей жизни.

Записано в тюрьме Особого Отдела
ВЧК летом 1920 г.

II. Годы студенчества. Университет

Мои воспоминания за время студенчества в значительной степени должны были бы быть воспоминаниями о «Русских Ведомостях». Здесь, пожалуй, лежал и центр моей работы, и центр моих интересов. «Рус. Вед.» как бы определили мою карьеру все-таки по преимуществу журналиста.

Я сделался сотрудником «Р. В.» уже на первом курсе — в марте 1900 г. был мой первый литературный дебют в газете... Правда, по существу литературная деятельность началась ранее. Еще в 1897 г., когда я был гимназистом шестого класса, в «Вест. М. Об. С. Хоз.» появилась моя первая вообще статья: «К вопросу об уборке люцерны», где я старался установить применение нового способа уборки сена, практиковавшегося мною в период жизни в имении дяди А. Ф. Грушецкого в Тамбовской губ.

Другая литературная работа заключалась в переводе, который я сделал в зимние месяцы моего пребывания в 7 и 8 классах гимназии. Я перевел знаменитую книгу Токвиля «Старый порядок». Но первый опыт был неудачен. Когда перевод был готов, я не мог найти издателя, ибо в то время абсолютно никаких литературных или издательских связей не имел. Кто-то мне порекомендовал пойти к А. И. Чупрову, что и было мною выполнено. Говорили о необычайной отзывчивости Чупрова, о готовности всегда придти на помощь и т. д. Но Чупров не заинтересовался явившимся к нему гимназистом (может быть, мое посещение показалось ему назойливым — не знаю) и отнесся в моей просьбе дать совет, как поступить с переводом, более чем холодно. Надежды на издателя вообще скоро пришлось оставить, так как на книжном рынке появилось сразу два перевода книги Токвиля, и один из них под редакцией проф. И. Г. Виноградова.

Впрочем, я не очень огорчился за исполненную понапрасну работу, так как преследовал в переводе преимущественно цели практические — изучение французского языка.

Покончив неудачно с одним переводом, я принялся за другой — за книгу Ганато «Франция перед Ришелье». Кто порекомендовал мне эту довольно скучную и специальную книгу для перевода, не помню. Вероятнее всего, что эта книга попросту случайно мне попалась и почему-либо

заинтересовала. Может быть, более всего в этом повинен был книгопродавец Теставэн, указавший на книгу популярного в то время во Франции политического деятеля. Перевод этот взялся проредактировать С. П. Моравский, к которому я обратился по рекомендации М. О. Гершензона, бывшего в хороших отношениях с другом моей матери А. И. Балыком. Он говорил, что в моем переводе была масса погрешностей, масса курьезов, вытекавших из недостаточного знания истории. Это несомненно так и было. Но должен сказать, что у С. П. Моравского, весьма кропотливо и добросовестно проредактировавшего перевод, был все-таки один крупный недостаток, присущий некоторым редакторам, недостаток, с которым я часто встречался в последующей литературной работе. Это любовь переделывать стиль без особой надобности. Я лично от этого сильно страдал в «Р. В.» от Д. Н. Анучина. В молодости меня до бесконечности огорчало и злило это — являлись колебания и сомнения в своей работе. Я удивлялся всегда охоте переделывать чужие произведения — для Анучина это вовсе не было признаком какого-либо расположения ко мне, желания помочь и научить юношу. Это просто была какая-то особая любовь править. Покойный В. Ю. Скалон впоследствии откровенно признавался в шутливой форме, что неизбежно исправил бы русский язык у Пушкина, если бы его стихотворение попало в редакцию «Р. В.». В этом отношении одним из немногих редких редакторов, всегда щадившим индивидуальность автора, был впоследствии в «Р. В.». В. А. Розенберг. Любил исправлять чужой текст и В. И. Семевский[7]. Напр., он всегда исправлял у меня — быть может на может быть, хотя в том и другом расположении слов несомненно есть

[7] Историк Василий Иванович Семевский — впоследствии соредактор С. П. в «Голосе Минувшего».

некоторый нюанс в стиле. В. И. исправлял стиль всем, хотя сам отнюдь не мог похвалиться хорошим стилем. Это была педантическая слабость его как редактора. И мне часто, как ответственному редактору, приходилось из-за него держать ответ перед обидчивыми авторами.

Маленькое отступление, попутное, отвлекло меня от Моравского, который применял такой же метод редактирования моего перевода Ганато. Так или иначе перевод был проредактирован, и его взялся издать мой товарищ по университету В. А. Карцев, сын известного издателя, начавший понемногу заниматься издательством. Книга Ганато вышла в 1901 г. на русском языке. Но в сущности работа была сделана мною еще в период гимназического бытия.

Одновременно с указанным переводом я занимался в восьмом классе и еще одной переводной весьма своеобразной работой, как бы по заказу. Работу в сущности получил не я, а через Гершензона А. И. Балык, вечный в то время еще студент. Ему поручено было пересмотреть от Солдатенковского издательства старый перевод книги Масперо об Египте и подготовить ее для нового издания. Не помню уже по инициативе ли редакции издательства или по фантазии самого Балыка было решено, что всю номенклатуру у Масперо надо переделать по новейшим немецким источникам. Должно было получиться в действительности нечто весьма несуразное. Может быть, такую работу и мог бы до некоторой степени сделать специалист, хотя надобности в этом, — откровенно говоря, не вижу и по сие время. А. И Балык, взявшийся за работу, вскоре отпал, будучи человеком крайне непостоянным в работе. Докончить работу предложил он мне. В силу этого мне пришлось взяться за книги по египтологии, и с грехом пополам работа была закончена и сдана в издательство. Не знаю, появилась ли она в печати и в каком виде.

Мне эта работа принесла однако существенную пользу. Я volens nolens познакомился несколько с Востоком. В это

время пришел черед переиздавать книгу моего отца «Первые уроки истории», и прочитанные книги мне очень пригодились, — новое издание я выпустил с некоторыми новейшими дополнениями, в которых книга крайне нуждалась.

Таковы были мои ранние литературные работы, т. е. работы, в значительной степени примыкавшие к гимназическому периоду. На первом курсе университета мне удалось найти через В. Ю. Скалона, близкого человека нашей семье, товарища отца по университету, работу в «Рус. Вед.». Скалон предложил мне работать во внутреннем отделе газеты — вернее на первых порах делать некоторые компиляции в газете по провинциальным газетам. Я должен был составлять краткие судебные хроники больших процессов, происходивших в провинции. Первая моя хроника была напечатана 10-го марта 1900 г.

Летом, когда кто-то из работающих во внутреннем отделе газеты уехал в отпуск, меня пригласили его заменить. Таким образом я сделался постоянным сотрудником газеты. В то время попасть в постоянные сотрудники «Р. В.» было очень трудно. И недаром покойный В. Е. Якушкин говорил, что я выиграл 200 тысяч. Было ли это в действительности так? Ответ найдется в рассказе о моей работе в «Р. В.» и о том, что вышло из этой работы. Но это отдельная глава воспоминаний. Я лично скорее склонен решить вопрос отрицательно.

В то время работа в газете являлась для меня крупным материальным подспорьем. Такая работа была для меня интереснее давания уроков. Но в сущности эта работа в значительной степени отвлекала меня от занятий в университете и в конечном результате не дала удовлетворения. Однако об этом позже.

В Университете я поступил на историко-филологический факультет. В сущности интерес к истории у меня был давно. Я много читал по истории с детских лет. В гимназии был лучшим учеником у О. П. Герасимова, преподававшего у нас

этот предмет, и надо сказать, что он умел возбудить интерес к своему преподаванию. У меня было богатое наследие от отца в виде прекраснейшей библиотеки, правда, сильно разрозненной... И в сущности, как это ни странно, от истории меня не отвлекла и моя деятельность в последние гимназические годы в области сельского хозяйства. Я им чрезвычайно увлекался, но как-то у меня и не являлась даже мысль пойти в сельскохозяйственный институт или поступить на естественный факультет. Меня увлекала очевидно не теория, а практика. Моя вынужденная самостоятельность здесь возбуждала инициативу и самодеятельность. Здесь получились первые навыки в организационной работе, к которой меня тянуло во все последующие времена. Я всегда что-нибудь начинал новое и организовывал. ·

Симпатии мои всецело склонялись к русской истории. Главным предметом изучения я взял происхождение старообрядчества, именно ту тему, разработка которой меня так задела в гимназии. Поступить на историко-филологический факультет я твердо решил еще в седьмом классе — смущала меня только необходимость знания древних языков, к которым я не чувствовал абсолютно никакой склонности. Приходил в ужас, что еще четыре года придется заниматься латинским и греческим, которые так опротивели в гимназические годы. К тому же должен сказать, что по отношению к лингвистике я человек удивительно бесталанный. Сколько лет я изучал латинский и греческий языки, правда, не очень прилежно, сколько времени я потратил на практику немецкого языка, пробовал по совету Скалона изучать польский язык, чтобы найти уже верное применение себе в «Рус. Вед.» — и все бесплодно. Ни одного из этих языков я не знаю, все очень быстро перезабыл, и большие знания во французском языке объясняются тем, что знал его с детства.

В силу этого одно время я стал колебаться даже в своем решении поступить на исторический факультет. Меня

устрашил А. Н. Шварц, который был товарищем моего отца по университету, и в доме которого я изредка бывал. Я имел неосторожность этому заядлому классику сказать о своей нелюбви к древним языкам, на что он весьма холодно и презрительно сказал, что в таком случае мне незачем идти на историко-филологический факультет. Но что же было делать, когда история все-таки оставалась моим любимым предметом. Я рискнул поступить согласно своим симпатиям.

В сущности я попадал в Университете сразу в несколько привилегированное положение. Хотя я и не жил с отцом, но тем не менее знакомства отца косвенно должны были сказаться на мне. Ключевский был товарищ отца, хотя, кажется, очень его не любивший. Товарищем отца был Ф. Ф. Фортунатов и мн. др. И все другие видные профессора так или иначе были связаны с отцом, одним из самых популярных педагогов Москвы, в молодости много занимавшимся наукой и подававшим в этой области большие надежды[8].

Благодаря этим косвенным связям установились и мои отношения с В. И. Герье, правда, очень скоро разрушившиеся. Моя мать изредка продолжала бывать у Герье. Последний, узнав, что я поступил на историко-филологический факультет, пожелал меня видеть. И я с трепетом к нему отправился — Герье в Университете занимал одно из самых авторитетных положений, но в то же время был грозою для студенчества. Владимир Иванович, по-видимому, очень расположен был к моему отцу, считал его одним из лучших своих учеников и явно хотел оказать некоторое покровительство его сыну. Несколько сухой по натуре он не мог проявить той, может быть, необходимой душевности, которая покоряет молодые сердца и которая делает из юноши верного адепта своего патрона. Этой чертой, мне кажется,

[8] Кружок Станкевича.

следует объяснить то, что у Герье не было близких учеников, за исключением, быть может, Корелина, которого я уже не застал в Университете (умер в 96 г.).

Когда я первый раз пришел к Герье, В. И. явно старался со мной быть более или менее ласковым. Но в сущности он ничем иным не нашел высказать свое расположение, как тем, что засадил меня читать ему и Ав. Ив.[9] громко какую-то книгу. У меня шла душа в пятки, и я так, вероятно, отвратительно читал, что чтение было скоро окончено. Герье позвал меня бывать у них по пятницам вечером — день семейного их приема, на котором бывало помимо профессоров немало оставленной при Университете молодежи. Таким образом я сразу попал в несколько привилегированное положение, вращаясь в среде старше себя, близкой к Университету.

И Ав. Ив. несколько раз выражала мне свое расположение, и в сущности оба, при всей своей видимой сухости, были очень недурные люди. А. И. казалось, что я очень слаб здоровьем. И вот несколько раз она заезжала за мной на своей белой лошади и брала с собой на прогулку. Я эту предупредительность объясняю тем, что незадолго до того умер единственный сын Герье, окончивший блестяще среднюю школу, — умер, как говорили, от переутомления. Его заучили. Боюсь, что то же думали обо мне, вспоминая мои детские болезни — наблюдая хрупкую внешность.

Однако мои отношения с Герье быстро нарушились и перешли даже в отношения враждебные (отнюдь не с моей стороны, так как я всегда ценил Герье и являлся и впоследствии его горячим защитником). Причины разрыва стоит рассказать... Придется начать несколько издалека.

На первом курсе я попал в кружок лиц, занимавшихся составлением популярных брошюр по истории для народа.

---

[9] Авдотия Ивановна — супруга Герье.

Кружок этот составился по инициативе А. Н. Проппера[10] и состоял преимущественно из молодежи, оставленной при Университете. Редактировать брошюры пригласили В. И. Герье и решили их издавать от имени Исторического Общества, председателем которого он был. В кружке этом состоял В. П. Потемкин, живший одно время жильцом у моей матери. Мне удалось оказать ему в это время некоторое одолжение, и как бы в благодарность он ввел меня в кружок учеников Герье.

В седьмой гимназии, где я учился, ушел наконец учитель французского языка Конюс — он сделался совершенно уже ненормальным и, как говорили, решил уехать в Африку подальше от цивилизованных людей. Все опыты с учителями французского языка в нашей гимназии были крайне неудачны, и Войнаховский, с которым я продолжал поддерживать дружественные отношения, колебался, на ком остановиться. Я ему дал мысль пригласить русского, который сумел бы себя поставить в классе, и порекомендовал Потемкина. Так Войнаховский и поступил.

Вероятно, впервые был такой случай в гимназической практике, а между тем очевидно, что это было гораздо целесообразнее, чем приглашать иностранцев, в огромном большинстве делавшихся предметом издевательства со стороны гимназистов.

Итак, через Потемкина я вошел в упомянутый кружок и взял на себя разработку двух тем: «Арабы и Магомет» и «Карл Великий». Но в это время стряслась с кружком беда, чреватая для меня последствиями именно по отношению в Герье.

Членом кружка состояла невеста Проппера В. К. Фром — в доме последних и собирался кружок. Пожалуй, вся затея с изданием популярных брошюр была

[10] Историк-педагог.

начата для нее. Из-за нее и произошел конфликт, вызвавший разрыв кружка с Герье. Ею была написана брошюра, посвященная Людовику IX. Герье отдал ее для исправления своей жене, и А. И. все переделала по своему усмотрению. Не касаясь существа, конечно, это было неправильно, ибо кружок все-таки существовал. Никаких протестов при своем деспотическом характере Герье не признавал, и на замечание одного из оставленных раскричался: ученики Грановского не смели так говорить со своим учителем. Но в том-то и дело, что у Герье не было того, что отличало Грановского — той именно проникновенности во взаимных отношениях, которая сближает учителя с учеником. Я не помню детали столкновения, но хорошо помню его финал. Было назначено заседание кружка для обсуждения инцидента. Пришел я на заседание, ждем час — другой, никого нет. На заседание просто оставленные не пришли, не желая участвовать в обсуждении инцидента с Герье. Один из них, называвший себя с.-демократом, М. Н. Коваленский прислал письмо с откровенным признанием неудобства для него идти против Герье. Написала письмо с отказом сестра Потемкина. Другие просто молчаливо отошли. Я остался. Должен сказать с откровенностью, что здесь играл большую роль помимо принципиальной стороны дела и самый субъект, из-за которого разыгралась история...

Итак, я оказался на стороне противников Герье. Любопытен метод воздействия, употребленный Герье, метод крайне неудачный по отношению ко мне, с очень ранних лет привыкшему к полной самостоятельности и независимости. Герье вызвал мою мать и стал убеждать ее воздействовать на меня, так как я попал в плохую компанию анархистов, которые увлекут меня на путь гибели. Мать, зная всю подкладку дела, могла только ответить, что она бессильна что-либо сделать.

После этого, конечно, я перестал уже бывать у Герье. Взаимоотношения установились холодные и натянутые,

приведшие в конце концов к довольно крупному столкновению в Университете во время выпускных экзаменов. Но еще раньше отношения осложнялись мелочами. Когда я был на втором курсе, произошли студенческие беспорядки — это было в 1901 г. Я был на сходке, был записан в числе других филологов (всего шесть) субинспектором. Прежде чем предавать нас университетскому суду, Совет мудро решил просить Герье, как декана факультета, переговорить с нами и привести нас к раскаянию. Герье вызвал всех нас к себе на квартиру. Произошло довольно любопытное собеседование. Герье рассказывал нам, как он в молодости бунтовал, как и он сидел даже на пушке, подаренной Николаем Павловичем Московскому Университету и т. д. Все это молодость. Все это простительно, но только нужно искреннее раскаяние в содеянном. Цель увещевания была получить от нас расписку, удостоверяющую, что мы пошли на сходку только по неразумию. Не помню теперь аргументации Герье, вызвавшей со стороны некоторых участников увещевания горячие реплики, подчас даже оскорбительные по отношению к Герье. Я все время молчал. Наконец, Герье, истративши все аргументы, предложил дать указанную подписку. И к моему удивлению наиболее горячо возражавшие Герье студенты, наиболее радикальные из них почти беспрекословно дали подписку. Дошла очередь до меня. Так как я молчал, то Герье был уверен, что с моей стороны возражений нет.

— Ну, а вы что же?

— Я не могу дать подписки, признающей, что совершил инкриминируемое деяние как бы по глупости.

Герье не ожидал такого ответа. И тогда применил весьма наивный прием. «У меня было два ученика — сказал Владимир Иванович. — Оба попали в историю, аналогичную вашей. Один дал подписку, другой нет. Тот, который не дал подписки, был исключен из Университета. Он скоро сбился

с пути, в конце концов попал на Хитров рынок и погиб. Тот, кто дал подписку, вышел в люди — это был ваш отец.

Может быть, подобный прием и был бестактен по отношению ко мне, но думаю, что Герье это сделал без задней мысли: в целях только воздействовать сильнее на меня.

«Отец мой работал в «Московских Ведомостях», я же работаю в «Русских» — ответил я, тем самым ликвидируя все дальнейшие увещевания, которые становились неприятны.

Как не давший подписку, я вскоре предстал перед университетским судом, председателем которого состоял А. И. Кирпичников, уже знавший в то время меня немного лично. Кирпичников тоже пустился в беседу о моей погибели, если я не раскаюсь.

— Что вы будете делать, если вас исключат из Университета?

— Уеду за границу.

Наш диалог, впрочем, был прерван появившимся ректором Тихомировым, который с обычной фиглярской манерой просил скорее окончить допрос... Меня приговорили лишь к выговору, избавивши от дачи обязательной подписки. Вероятно, и здесь сыграла роль протекция, которую я имел в Университете...

В. И. Герье любил выступать посредником. Такое посредничество он принял на себя и в следующем 1902 году, когда разыгрались студенческие беспорядки в знак протеста против временных правил об отдаче студентов в солдаты. Он явился в манеж вместе с жандармским офицером для увещевания студентов. Это появление было встречено крайне резко арестованными студентами. На Герье долгое время за это нападали. Между тем у него этот бестактный поступок вытекал, я уверен, из самых лучших побуждений — он жалел молодежь, может быть, предвидя, что в данном случае студенческие волнения будут иметь серь-

езные последствия. Так и было: многие поплатились тюремным заключением, ссылкой в Сибирь, изгнанием из университетских городов, отдачей под надзор полиции и т. д. И очень многим в силу этих беспорядков действительно не удалось окончить свое университетское образование, а если удалось, то значительно позже.

Несмотря на личные полувраждебные отношения к Герье мне всегда приходилось горячо его защищать, так как много раз проектировались против него враждебные манифестации, публичные порицания и т. д. И не только среди студенчества, но и в обществе к Герье начинали относиться с порицанием, забывая все его огромные заслуги, как одного из лучших московских профессоров, как одного из наиболее стойких и горячих защитников академической свободы, как городского деятеля, так много сделавшего в Думе для московской бедноты (попечительства о бедных в значительной степени были его детищем). Возмущение Герье достигло апогея после одного инцидента на высших женских курсах. Там происходили также волнения. Может быть, Герье, истинный создатель этих курсов, желая, во что бы то ни стало, сохранить курсы, разрешение на которые было достигнуто с таким трудом, вел себя бестактно. Эта бестактность, пожалуй, была отличительной чертой В. И. По роковой случайности одним из лидеров курсовой оппозиции была моя будущая жена — ей пришлось из-за Герье в сущности уйти с курсов и уехать за границу для окончания образования. Вероятно, Герье, узнав впоследствии, что я женился на Степановой, считал нас погибшей парой.

Итак во время курсовых волнений Герье позволил себе бестактную выходку, хотя и чисто отеческую. Но атмосфера была слишком накалена. Какую-то протестующую курсистку он взял за подбородок и сказал что-то вроде цыпочка. На другой день в московском радикальном «Курьере» появился громовой фельетон против Герье, где осмеивался

и обливался грязью старый ловелас с лошадиной физиономией. Фельетон отличался исключительной пошлостью, хотя автор его, как оказалось впоследствии, был никто иной, как Леонид Андреев, женатый на курсистке и очевидно с ее слов выступивший на защиту прав и чести курсисток. Мы все до крайности были возмущены этим фельетоном. Герье можно было обвинять, в чем угодно, но только не в пошлости. И как раз незадолго перед тем он весьма мужественно постоял за честь курсов. Рассказывали, что, встретив на приеме у в. кн. Сергея Александровича Грингмута[11], он отказался подать последнему руку, мотивируя тем, что «Моск. Вед.» в это время вели травлю против курсов...

Для Герье было прямо трагично. По мере приближения к старости падала его либеральная репутация, он совершал бестактные выступления одно за другим, особенно после революции 1905 г. Вот действительно человек запоздал умереть!

И все-таки Герье был одним из лучших профессоров Московского Университета и по своему моральному облику и по своим профессорским дарованиям. В последние годы с ним очень, правда, трудно было иметь дело. Он раздражался из-за каждого пустяка. Наши семинарии по всеобщей истории подчас ознаменовались скандалами. Относясь отрицательно к историческому материализму, он совершенно не выносил, например, Г. А. Алексинского. И каждый реферат последнего заканчивался чуть не тем, что Герье со злостью швырял тетрадку почти в лицо референту... На почве его раздражительного состояния произошел и у меня скандал с Герье во время выпускного экзамена по всеобщей истории.

Герье вообще был по отношению ко мне придирчив. Причина такого отношения, мне кажется, лежала не

---

[11] Редактор «Московских Ведомостей».

только в сфере личных столкновений. Герье с самого начала весьма неодобрительно относился к моей работе в «Р. В». Студент, по его мнению, не должен заниматься публицистикой, отвлекающей его от научных занятий в Университете. В этом отношении он, конечно, был глубоко прав, и Герье как бы хотел меня вернуть в лоно научных занятий. Делал он это путем постоянных придирок ко мне как к студенту. При его деспотизме и при моей способности остро реагировать наши взаимные отношения, профессора и студента, представляли собой сплошные стычки — так было в течение всего университетского курса. На экзамене произошел такой инцидент. Экзамены назначались в 10 ч. утра, но никогда не начинались раньше 11 ч. Так начал их и Герье накануне того дня, когда приходилась моя очередь. По этим соображениям я пришел в 10½ час. Но Герье пришел в этот день раньше. Когда я вошел в аудиторию, он начал уже экзамен. Вызвал меня и назвал уже следующую фамилию Муромцева. Как раз в этот момент вошел я и успел подойти к экзаменационному столу раньше Муромцева.

— Вы пропустили свою очередь. Qui va à la chasse perd sa place — заявил язвительно Герье.

— «Et qui revient chasse le coquin», — ответил я ему в тон. Не думаю, что это была дерзость. Но Герье страшно обозлился и потребовал, чтобы я сел на место. Тогда я обратился к председателю комиссии М. И. Соколову с требованием, чтобы мне дали возможность экзаменоваться сейчас. Сердить экзаменатора, может быть, и не было расчета, но я вовсе не желал подчиняться капризу. Соколов растерялся, боясь перед Герье настаивать на выполнении моего, конечно, законного желания. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не вмешался Любавский и не убедил меня уступить. Я отошел от экзаменационного стола. Герье продолжал невозмутимо экзаменовать и экзаменовал

до 4 или 5 часов. Затем он молча собрал экзаменационные листы и стал выходить. «А меня что же» — закричал я. «Подождите» — был ответ. Был объявлен перерыв, после которого Герье должен был экзаменовать вновь тех, которых он прогнал с экзамена накануне. Через два часа только вновь появился Герье. Не думайте, что он спросил меня первым, что, казалось бы, было естественно. Нет, он предварительно спросил всех переэкзаменовывавшихся, а меня вызвал в самый последний момент. Я клокотал от злости. К счастью для себя я вытащил очень хороший билет — о старом порядке во Франции. Здесь мне очень пригодилось то, что я переводил книгу Ганато; я мог ответить и со знанием деталей. Пришлось мне при ответе упомянуть, как французское дворянство приезжало ко двору в целях карьеры служебной — faire la cour, как говорили тогда. Герье сделал презрительное выражение лица и сказал: «вы употребляете бульварные выражения; ферлакурят только на бульварах».

— Вы ошибаетесь, В. И., выражение это историческое, постоянно употребляемое, например, Ганато.

— Нет, такого выражения нет — раздраженно уже заметил Герье.

Я не мог показать книгу Ганато, которой, конечно, не было под руками. Но я вспомнил, что это выражение употреблено и Кареевым в курсе XVIII в., который был при мне. На Кареева я и сослался. — «Ерунда» — ответил совсем уже рассвирепевший экзаменатор.

Тогда я с торжеством взял курс Кареева и преподнес его Герье. — Напишите Николаю Ивановичу, чтобы он поместил это в опечатках в следующем издании, чтобы не смущать студентов — возразил В. И.

— Боюсь, что он этого не сделает — ответил я... Чем бы все это кончилось, не знаю, если бы ассистенты не постарались смягчить остроту нашего спора. Так или иначе, я благополучно сдал экзамен, правда, получив только удо-

влетворительно. Для меня, впрочем, это было безразлично. У меня не было никогда никакого стремления остаться при Университете. Я получил диплом второй степени, так как подвел себя еще на экзамене по латинскому языку. Здесь вышло также маленькое столкновение с М. М. Покровским. Я перевел все, что полагалось, но Покровскому на несчастье захотелось задать какой-то грамматический вопрос, что в сущности редко делалось на экзаменах не классиков. Здесь я был швах и ответил какую-то глупость. Покровский начал укоризненно качать головой и рассуждать на тему, как же я буду заниматься наукой, раз сведения мои в древних языках недостаточны. Нелегкая меня попутала сказать, что я теперь ни одной латинской книги не возьму, так мне надоела латынь. Для завзятого латиниста не было большего оскорбления, и я чуть-чуть не получил неудовлетворительно. Произойди такой казус, я никогда бы не окончил официально Университета, так как второй раз экзаменоваться не пошел бы. По существу диплом для меня был вещью совершенно второстепенной, которой я никогда в жизни не пользовался, утеряв его во время военной службы. Я становился публицистом и неофициальным историком, для которого в жизненной карьере диплом, конечно, не играл никакой роли.

Начав описывать свои столкновения с В. И. Герье, я дошел до последнего года пребывания в Университете. Теперь вернусь вновь к его началу. И прежде всего скажу относительно судьбы кружка по составлению народных брошюр. Разошедшись с Герье, лишившись отколовшихся членов, он продолжал однако существовать и пополнился новыми членами. Кружок нашел себе издателя в лице одного из учеников моего покойного отца. Н. М. Королева. И на первых порах были изданы четыре брошюры, из них две были написаны мною: «Карл Великий» и «Арабы и Магомет». Затем книжка Андреева «Богдан Хмельницкий»

и изложение песни о Роланде, сделанное Макс-Ли (писательница Ковальская, урожденная Хренникова). Кружок собирался у Проппера и у меня. Постепенно он разрастался, и у нас явилась мысль так или иначе его легализировать. Тогда С. П. Моравский, состоявший в то время председателем Учебного Отдела О. Р. Т. Зн.[12] предложил нам сорганизоваться около Отдела. Так возникла при Учебном Отделе Историческая Комиссия, приобретшая впоследствии довольно большую известность своими многочисленными научно-популярными изданиями. Во времена студенчества я принимал в ней самое близкое участие. Могу сказать, что фактически был ее организатором и ее неофициальной душой. Вскоре сделался и ее бессменным председателем на многие годы. Историческая Комиссия тесно связана с моей общественной деятельностью, связана, наконец, с одним тяжелым инцидентом в моей жизни, и о ней следует говорить отдельно, как и о работе в «Р. В.» периода студенческих лет.

Тяжелый период с моральной стороны пережил я в Университете в 1902 г. В этом году произошли беспорядки на почве протеста против временных правил об отдаче студентов в солдаты. Надо сказать, что в первые годы студенчества я далеко не был радикально настроен. Когда читаешь теперь свои старые письма к В. Ю. Скалон, видишь, какой постепенно произошел сдвиг в миросозерцании. И от этого сдвига не уберегла меня даже школа «Рус. Вед.». Очевидно, в моей натуре всегда была доля столь ненавистного мне сентиментализма. Почему всякое общественное насилие возбуждало огромное возмущение. С этой точки зрения я не мог не протестовать против временных правил. Не примыкая в Университете к социалистическим кружкам, связанный скорее больше с кружками

[12] Уч. от. Общества Распространения Технических Знаний.

академического характера, как по своим интересам, так и по позиции, занимаемой в те годы, я был всецело в лагере радикального студенчества при организации протеста. Здесь довольно активно выступал с агитацией, если не в самом Университете, то вне стен его. На сходках я никогда не выступал — нелюбовь к толпе, органическая ненависть ко всякого рода демагогическим приемам у меня осталась на всю жизнь. Мне приходится делать над собою большое насилие для всякого публичного выступления.

На почве этой агитации и пришлось пережить тяжелое моральное состояние. Я убедил идти на сходку, назначенную для протеста, моего товарища детства М. Н. Андреева, который в то время был совершенно равнодушен к общественным делам; убедил его вопреки настойчивому противодействию его родителей. Конечно, и я на сходку пошел. Субинспектор наш И. В. Софинский хорошо меня знал, так как был одно время моим учителем русского языка в прогимназии. Он стал меня убеждать не идти, говоря, что последствия сходки будут крайне печальны для студентов. Конечно, меня это не остановило. Это была знаменитая сходка, на которой председательствовал Церетелли. Сходка, как всегда, происходила бесконечно долго. Хотя оппозиция была до крайности слаба, шли бесконечные споры, или вернее бесконечные разговоры, которые должны были наэлектризовать собравшихся и создать соответственную атмосферу, быть может, необходимую для возбуждения инертной, как всегда, массы. Было скучно. Проходили часы, но никаких властей, а тем более вооруженной силы не появлялось. Можно было думать, что сходка закончится ничем, т. е. что начальство не будет вызывать солдат и полицию, а ограничится, как и в предшествующий год, перепиской участников сходки и отдачей их университетскому суду. Моя цель была лишь заявление протеста — я не сочувствовал каким-либо другим требованиям, полагая

тогда, что в сфере университетской надо оставаться на академической почве. Время приближалось к 6 ч. Надо было идти в «Р. В.» на службу, так как к этому времени работа в редакции кончалась. Дальнейшее пребывание казалось бесцельным — резолюция уже была принята, а никакой полиции не было. Многие из нас решили, что она и не появится. Одним словом, я к этому времени со сходки ушел. Но оказалось, что после моего ухода очень скоро явилась полиция и казаки, и все участники были препровождены в Манеж. Мое самочувствие было отвратительно, особенно на другой день утром, когда рано, когда я еще спал, к нам приехали родители Андреева узнать что-либо о нашей судьбе. И вдруг я, побудивший их сына идти на сходку, оказался целешеньким! Положение получалось некрасивое.

Тщетно мы, группа студентов, попавших в такое же положение, как я, пытались на другой день проникнуть в Манеж, чтобы присоединиться к товарищам. Нас разгоняли казацкими нагайками, но не забирали, несмотря на все наше возбуждающее поведение уже не в стенах Университета, а на площади перед ним. Нам оставалось со вздохами днем и ночью ходить около Университета и Манежа в ожидании момента, когда разрешится вопрос о захваченных товарищах. Мы пытались устроить демонстрацию на Тверском бульваре против дома обер-полицеймейстера. Но собралось слишком мало людей, которые в один момент рассеялись, как только в конце бульвара около памятника Пушкина появились казаки. Рассеялись с такой быстротою, что на бульваре остался чуть ли не я один. Бежать мне было противно, оставаться одному было глупо, и я спокойно стал уходить — впервые здесь я познакомился с казачьей нагайкой, которая несколько раз прошлась по моей спине.

Беспорядки 1902 г. имели действительно тяжелые последствия для студентов — в этом отношении Софинский

не ошибся. Часть была заключена в тюрьму, часть отправлена в Сибирь. Андреев был заключен в Мценскую тюрьму с запрещением по выходе жить в том или ином университетском городе.

Вскоре в Университете началась другая эпоха — эпоха сердечного попечения Вановского. Эпоха насаждения академизма, к которому лежало всецело мое сердце. Однако же среди академистов я вскоре оказался оппозиционером, что отбрасывало меня неизбежно в лагерь радикальный.

Эта эпоха ознаменовалась в Московском Университете шумным инцидентом, вызванным грубым выступлением против женских курсов кн. Мещерского в «Гражданине». Происходили студенческие собрания под председательством уже профессоров, где обсуждался этот инцидент, вырабатывались резолюции и пр. У меня эта полоса оставила довольно смутное впечатление. В связи с университетской Комиссией, расследовавшей, под председательством Виноградова, причины студенческих беспорядков и выяснявшей средства к их устранению, также происходили разрешенные студенческие собрания. Я не принимал в них активного участия, так как они казались мне довольно бесплодными. Все дело в действительности свелось к словоговорению. Эта университетская весна закончилась для Москвы выходом из числа профессоров Университета П. Г. Виноградова и отъездом его заграницу. Виноградов счел себя оскорбленным, как председатель Комиссии, которому были даны правительством известные гарантии и затем нарушены. Я был в числе делегации, направленной студентами к Виноградову. Помню, что на меня произвел сильное впечатление прием, оказанный Виноградовым. Этот холодный, как мне казалось всегда, человек плакал настоящими слезами. Как-то было не по себе видеть в таком положении человека, державшего себя всегда с олимпийским видом великого ученого, свысока разговаривавшего со студентами и в сущности также

державшего себя на семинариях. Очевидно, Виноградову действительно тяжело было уезжать из России, оставлять Московский Университет, с которым он связан был столькими узами. Виноградову устроили затем шумные проводы на вокзале. Студентов было не так уже много, но зато собралось много его учеников — московских преподавателей. И как странно после всего этого читать, что Виноградов натурализовался в Англии и сделался сэр баронет Виноградов. Любопытно, что и в Университете ему был приписан баронетский титул: среди студентов он не иначе именовался, как йоркширский баронет, впрочем, без той злостности, которая может вытекать из сочетания этих слов...

Академическая весна в университетах, как известно, привела к созданию научно-литературных обществ среди студентов, получивших официальное право существования. Можно ли было что-либо теоретически возразить против такого академического общения, к которому искони, можно сказать, стремилось студенчество! (История этих стремлений мною была рассказана в 1905 г. в московском журнале «Правда»; статья эта, исковерканная, правда, цензурой, была затем выпущена отдельной книгой «Из истории студенческих обществ в русских университетах»). Конечно, нет! Создание подобных научных кружков, соответствующих той тенденции, которая постоянно проявлялась в землячествах, где собирались библиотечки, составлялись примерные каталоги книг для самообразования, устраивались заседания с рефератами и т. д., можно было приветствовать. Такое общение с профессурой вне лекционных часов также должно было содействовать взаимному пониманию и сближению.

И тем не менее создание научно-литературных обществ разделило студентов, как никогда, на два враждебных лагеря: политиков и академистов, причем первые отнеслись крайне враждебно к возникающим обществам. Они видели в этой академической структуре студенчества отвлечение

молодежи от политической борьбы, которая с каждым годом расширялась и захватывала новые кадры. И в этом они, конечно, были правы. Активным всегда было только меньшинство. Пассивным элементам давалось теперь отвлечение для их общественных инстинктов, которые побуждали прежде это пассивное большинство ходить на сходки и молчаливо, быть может, поддерживать в виде протеста выставляемые политические требования. Они правы были потому, что создание студенческих обществ в глазах правительства отнюдь не имело самоцели, а являлось исключительно лишь средством отвлечения студентов от беспорядков или вернее от политических протестов. А это было время, когда открытый массовой протест возможен был только среди молодежи, и не только потому, что в университетах концентрировалась масса, а и потому, что молодежь более интенсивно реагировала на царивший произвол. Целью обществ было вовсе не развитие студенческой самодеятельности, а лишь направление общественной мысли по наиболее безопасному руслу — в то время, конечно, академическому. Поэтому-то студенческие общества были поставлены под контроль профессорской корпорации — каждый кружок, каждое общество обязательно должно было иметь своим председателем, т. е. ответственным лицом перед администрацией, профессора. Таким образом косвенно профессорам навязывались как бы полицейские функции. Ведь и зубатовщина среди московских рабочих вовсе не имела своей непосредственной задачей улавливать в тенета охранных отделений революционно настроенных представителей рабочего класса.

Специфичность целей способна была испортить всякое хорошее начинание. Известная часть академистов, считавших в высшей степени полезным культурное взаимодействие студенчества, попадала таким образом иногда в довольно ложное положение, тем более, что задние цели

правительства не могли не проявляться в моменты обострения студенческой жизни. Поэтому и среди так называемых академистов не было единогласия. И здесь студенчество расслаивалось под влиянием своего рода столыпинской политики, которая велась по отношению к университетам. Среди академистов образовалось радикальное ядро, которое всемерно противилось превращению студенческих обществ в антиполитические организации. К этому ядру всецело примыкал и я.

В Москве образовалось очень скоро центральное студенческое научное общество с рядом разветвлений по специальностям. Это было то известное общество, председателем которого состоял проф. С. Н. Трубецкой. Здесь и произошел главный бой, после которого значительная часть академической молодежи отошла от общества, а другая volens nolens очень скоро сделалась активным орудием для борьбы с радикализмом в Университете. И, наконец, «академисты» выродились во фракции монархических организаций и прославились своими выступлениями, не имеющими ничего уже общего с академизмом, как было, напр., в Одессе, в Петербурге и в других университетских городах. Но это было уже при новом поколении университетских воспитанников. В мое время, если и были среди академистов сознательные реакционеры, то они все прикрывались лозунгом академической нейтральности. И, как ни странно, Трубецкой и люди ему близкие как-то не понимали, что их косвенно заставляют осуществлять цели посторонние. В оппозиции они видели бессмысленный радикализм. Только этой наивностью я могу объяснить иногда поведение Трубецкого. Наиболее горячее столкновение среди членов Общества разыгралось по формальным основаниям. Было назначено общее собрание на 8 февраля, на день университетского акта в Петербурге. Не помню, но почему-то

ожидалась в этот день демонстрация или выступление, которое должно было носить политический характер. Правление Общества решило отменить заседание, против чего решительно восстала часть студенчества. Я помню свое выступление, С. П. Симсона, Е. А. Фальковского и др. И вот Трубецкой применил метод, едва ли достойный. Он заявил, что администрация университетская является решительной противницей отмены заседания, и следовательно мы, представители радикальной части студенчества, как бы солидаризуемся с администрацией. Это был прием чисто демагогический, вызвавший резкий протест со стороны оппозиции. Именно после этого инцидента началось все большее и большее расслоение, и общество скоро стало хиреть.

Общество, как известно, организовало интересную поездку в Грецию. Но расслоение было уже такое, что известная часть студенчества вынуждена была бойкотировать эту поездку. Читая теперь воспоминания об этом обществе, например, Н. В. Давыдова, с удивлением видишь, как для многих проходила незаметной борьба, которая велась в недрах тогдашнего академически настроенного студенчества.

В самом обществе на первых порах я принимал активное участие: принимал участие в разработке устава, в выработке плана работ и в самом управлении обществом. Читал и рефераты. Между прочим по поводу столетия конституции Сперанского, реферат, тезисы которого напечатаны были в виде фельетона в «Русских Ведомостях». В секции общественной, председателем которой был Мануйлов, в секции, в которой сосредоточивалась наиболее радикальная часть студенчества, которая не избегала общественных вопросов, читал большой реферат «О значении раскола и сектантства в русской жизни», являвшийся основой моей кандидатской работы.

Это почти все, что я мог бы рассказать о своих студенческих годах, поскольку дело идет об Университете. Центр моей жизни уже тогда был вне университетских стен.

Должен сказать, что работал я под руководством профессоров мало и даже сравнительно редко посещал Университет. Было бы несправедливо сказать, что я всецело отвлекался своей газетной работой от работы научной. Я много занимался в то время. Но у меня уже создалась специальность, и мне скучно было проходить азы, приобретать научную школу и изучать массу того, совершенно ненужного мне, что приходилось по обязательному курсу изучать, хотя, надо сказать, довольно формально.

Меня отвращало все, что связано было с филологией и особенно такие предметы, как церковно-славянский язык в преподавании Брандта. Это была юмористика со всякими винными, зовными, давательными падежами. Брандт сам по себе был довольно смешной фигурой. Мы его считали за человека ненормального. И я думаю, что он в действительности был таковым. Славист-баснописец (это, по-видимому, присущая славистам черта — напр., Бодянский), любивший острить при каждом удобном случае, был очень незлостный человек. На выпускном экзамене с его предметом у меня произошел полный скандал. Ясно было, что в неделю нельзя было изучить его сложные лекции по языкознанию. Раньше я органически к ним не мог притронуться. Запомнилось только внешнее формальное — только, только, чтобы, взяв билет, не молчать, а говорить — во время экзамена, пожалуй, это важнее всего. Так я и сделал. Но, очевидно, не очень понимая существо, перепутал. Брандт добросовестно тут же на экзамене мне разъяснил. Но не очень вразумительно, и я решительно не мог повторить его объяснений.

Такой же формальный характер экзамены носили и по философии и психологии у добродушнейшего Л. М. Ло-

патина. Я отвечал ему по психологии что-то о душе. Он очень скоро стал расспрашивать меня о моих сестрах, с которыми он встречался у С. С. Корсакова[13], где видел и меня, и где совместно мы производили спиритические сеансы со столоверчением. Лопатин должен был экзаменовать и по новой философии, но заболел. Экзаменовал Трубецкой, относившийся к экзаменам, особенно не своего курса, формально. Отвечал я, вероятно, очень плохо, и когда мой старший товарищ Вишняков, бывший преподавателем у П. Н. Трубецкого, спросил С. Н., как я отвечал, он только сказал, что не знал, поставить мне 0 или 1, т. е. удовлетворительно или весьма. Говорят, что один из студентов, вытащивший билет о Бэме, сказал только: Бэм был сапожник.

И я считаю, что такое отношение к выпускным экзаменам было только правильно: люди уже определились, занимались своей специальностью, а если ничем не занимались, то поздно было привлекать их к ответу после четырехлетнего пребывания в Университете и сдачи всех семестровых и курсовых экзаменов. Таким образом формально выдержать выпускные экзамены не представляло большого затруднения. Я перенес свои летние каникулы в «Р. В.» на весну, уехал на месяц в деревню и проштудировал все обязательные курсы, конечно, весьма поверхностно. Но тем не менее по всем предметам, за малым исключением, отвечал более или менее удовлетворительно — по истории же был некоторый запас знаний сам по себе. Во время экзаменов я продолжал ежедневно ходить и заниматься в своем отделе в «Р. В.».

Большинство студентов было в таком же положении, как и я. Даже едва ли я не был все-таки в первых рядах по знаниям. Студенты прибегали к тем самым приемам,

---

[13] Известный психиатр.

которые практиковались в гимназии. Напр., надо было написать сочинение по русской истории, на что давалось пять часов. Сделали очень просто. По соглашению с педелями был принесен в уборную horibile dictu весь энциклопедический словарь Брокгауза, откуда большинство писавших и черпали свои знания. Я поступил по иному. Сделал несколько конспектов по основным вопросам — нетрудно было догадаться, зная Любавского, какие приблизительно темы будут предложены. Да и не могло быть иначе — темы по неизбежности приходилось давать самые общие: Русская Правда, Земские Соборы, Сословия и пр. Я не ошибся, и без труда написал хорошую работу без энциклопедического словаря по Земским соборам.

Как-то странно, что об Университете, как о таковом, о занятиях моих почти нечего вспомнить. Правда, на старших курсах я стал все реже и реже посещать Университет, не проявлял рвения и в практических занятиях. Одним словом, делал обязательные занятия постольку, поскольку это было необходимо по официальным требованиям. Но надо сказать, что на первых порах было иное. Только никто из профессоров меня не захватил. Пожалуй, я попал в неудачную пору — пору перелома: отхода старых профессоров и выступления новых. Три кита в то время было на факультете из представителей исторической науки: Ключевский, Герье и Виноградов. Виппер в то время еще не занимал того авторитетного положения, какое он занял впоследствии, когда с уходом Виноградова и в сущности Герье он сделался первой величиной на кафедре всеобщей истории.

Петрушевского не было еще в Московском Университете. Савин только что вернулся из заграницы. Виппер скорее был несколько в тени. Я вспоминаю, с какой отрицательной враждебностью относился к нему Герье. Когда я был на первом курсе, Виппер читал публичный курс, по-

священный общественным теориям XVIII в., напечатанный в «Мире Божьем» и отдельной книгой. Я посещал эти лекции, сказал об этом при первом свидании с Герье, и рассказал об одной из лекций. Герье зло пересмеивался с женой своей по поводу некоторых мест из этих лекций и советовал мне более продуктивно использовать свое время. Виппер однако был недурной лектор, может быть, несколько однотонный, иногда парадоксальный, но отчетливый и по дикций, и по форме выражения, и по построению. На старшем курсе я участвовал и в его семинариях. Может быть, не было достаточного опыта, и они в общем были скучны. И в самом деле помню, как мне пришлось для зачета на практических занятиях излагать страницы Лампрехта, посвященные средневековой торговле. Я слышал однако впоследствии большие похвалы практическим занятиям Виппера. Но думаю, что такие профессора все же школ создавать не могут.

Несомненно школу создавал Виноградов — у него был определенный круг учеников и почитателей: «Виноградовский кружок». Меня от Виноградова всегда отбрасывало его олимпийское величие, проявляемое как на лекциях, так и на практических занятиях. Метод его критики был убийственный — он почти высмеивал референт, ощипывал его. Может быть, это приучало к научной работе, может быть, такой метод годился для немногих, избранных, но на большинство он действовал охлаждающе. Слушатели предпочитали молчать. Почему занятия носили холодный, слишком академический характер. Такой же холодный характер носили и его лекции. К сожалению, я мог заниматься у Виноградова лишь неполный год и то самый бурный, когда половина времени ушла не на Университет.

Я лично лучшим профессором считаю Герье, если бы в мое время все-таки не связывалась уже некоторая дряхлость и притом невозможная его раздражительность,

парализовавшая даже успешность работы в семинариях. Курсы его, образцовые по построению, никогда не повторялись — всегда это было новое. Только в области практических занятий было на первых порах все одно и то же — из года в год: Тэн и Тит Ливий. Это так всем надоело, что студенты острили, что А. И. Герье перевела книгу Тэна, и надо было ей найти сбыт. Но мне и у Герье не пришлось практически заниматься. Скоро практические занятия были поручены молодым преподавателям — у Герье Шитцу и Теплову. Последний вскоре сошел с ума. Это уже характеризует само по себе возможность успеха в работе. Шитц дело вел очень живо. Он, как говорят, блестящий преподаватель в средней школе. Мне кажется, я лично уже вырос тогда из круга тех практических занятий, которыми нас занимали.

Центром для меня, конечно, должен был бы быть Ключевский. Метод его чтения меня, должен сказать, совсем не увлекал. Постоянные повторения для яркости меня лично только утомляли. Курс почти дословно повторялся по тому, что вышло в литографированном издании, которое я проштудировал досконально. Следовательно, в лекциях оставались только специфические нюансы дикции. Это было слишком мало: поэтому на лекции Ключевского я скоро перестал ходить. Ходил вообще на лекции постольку, поскольку это было нужно для записей у педелей и субинспекторов. Ключевский практических занятий не вел. Когда я был на третьем курсе, он заболел и временно совершенно прекратил чтение лекций. Официальным представителем кафедры сделался Любавский — как-то от Литвы на меня всегда навевалась тоска. По правде сказать, тоска была и от бесконечно долгих и нудных разборов «Русской Правды», которую жевали, пережевывали и никак пережевать не могли. Это были своего рода Тэн и Тит Литвий для русской истории. Кизеветтер и Богословский читали приватные курсы.

Так как я с самого начала специализировался на русской истории, я пытался ближе подойти к Ключевскому, который сам заинтересовался мною, узнав, что я сын его товарища. Но из этой попытки в сущности ничего не вышло. В жизни я всегда как-то боялся навязываться и очень боялся этого по отношению к Ключевскому. У него на Житной я был в сущности только два раза. В первый раз наша встреча носила несколько юмористический характер. Ключевский был в духе. Он меня принял и, когда я его спросил, могу ли я с ним побеседовать, он ответил шутливо: «А вот когда я зажгу свет, вы увидите — можно ли со мной говорить или нет». Повторяю, он был в очень веселом настроении духа. Вместо научной беседы он рассказал мне массу остроумнейших анекдотов о монахах и монашеской жизни... Эта людская слабость подчас тяжела в общественной жизни. Стоит только вспомнить В. А. Гольцева[14] в последние годы его жизни. Как трудно было выносить его общественные выступления, которые приходилось терпеть во имя старых заслуг. Почти так же иногда было с Ключевским. Уже позже в 1906–07 г., когда по инициативе к.-д.[15] создана была комиссия для разработки церковных вопросов, куда приглашен был и я, на квартире у Новгородцева происходило заседание, на котором присутствовал и Ключевский. Он был также в веселом настроении и также занялся рассказом анекдотов о монахах. Это подходило несколько к теме. Но мы собрались для серьезных вопросов, и это постепенно становилось невыносимым. Новгородцев из-за пиетета не сумел остановить Ключевского, и у нас в конце концов пропало все время...

---

[14] Литератор, редактор большого ежемесячного журнала «Русская Мысль».

[15] К. д. — конституционно-демократическая партия (кадеты), иначе — партия народной свободы.

С Ключевским у меня не могло установиться близости уже потому, что его националистические тенденции были мне не по душе. — Конечно, мы в корне расходились и по вопросам, которые сделались главным предметом моего изучения. Отдавая дань исключительному, художественному таланту, с которым Ключевский изобразил нам психологию человека XVII в., в раздумье стоящего на полпути, я всегда думал, что социологическая концепция его не выдерживает критики. И я думаю, что теперь уже в этом нет сомнения.

«Национализм» Ключевского в связи с инцидентом, который был у него в 1894 г. при произнесении слова в память Александра III, заставлял радикальную часть студенчества относиться лично к Ключевскому с осторожностью. На его лекции собирались студенты со всех факультетов и курсов, студенты всех направлений; собирались незаконно, чтобы послушать знаменитого лектора. Лекции его сопровождались всегда овациями. Но когда дело заходило о признании общественных заслуг Ключевского, мнения всегда разделялись. Впрочем, надо сказать, что мнения радикальной части студенчества о Ключевском основывались не на конкретных фактах, а на традиции, докатившейся до нас от 90-ых годов. Быть может, это самая возмутительная сторона общественности, это то, что делает всякое общество до некоторой степени «понурговым стадом». Все знали, что в 1894 г. Ключевский произнес похвальное надгробное слово в память Александра III, говорили, что это было сделано после того, как Ключевский был приглашен в преподаватели к наследнику, что этот инцидент вызвал беспорядки, при которых пострадало много студентов. За это прошлое общественное мнение как бы мстило Ключевскому. Но никто, как это ни странно, не поинтересовался в точности узнать это прошлое. Никто не поинтересовался даже прочитать его речь, напечатанную в

«Чтениях О. Д. Р.»[16]. Все эти вопросы всплыли, когда студенты филологи подносили адрес Ключевскому по поводу тридцатилетней его научной деятельности. При составлении адреса происходили бесконечные споры, вплоть до вопроса об обращении: дорогой, глубокоуважаемый и пр. Победило второе обращение. Я тогда уже был до некоторой степени если не историком русского студенчества, что звучит слишком громко, то человеком, более или менее хорошо осведомленным в этом прошлом, познакомившимся с некоторым архивным материалом и выступавшим в этой области в печати. Поэтому мой голос был до известной степени авторитетен, и я разъяснил, что традиция слишком преувеличила вину Ключевского. Не касаясь самого существа речи, которая, впрочем, вовсе не носила того неприемлемого для независимого человека характера, надо было указать, что Ключевский очень хорошо себя вел в дни, последовавшие за протестующей демонстрацией, которую устроили ему студенты на его лекции. Он вмешался в распоряжения инспекции и все сделал, чтобы свести на нет эту историю. Весьма вероятно, что шум был не в интересах его популярности. Но каковы бы ни были мотивы, поведение его было безукоризненно...

В традиции есть нечто хорошее, но есть и дурное. Дурное в ней то, что она всегда носит несколько смутный характер. Так традиция нам говорила о начале профессуры Хвостова, являвшегося креатурой Боголепова[17], она передавала нам о том скандале, который произошел на его диспуте. И хотя в мое время Хвостов определенно уже примкнул к лагерю прогрессивному, вел, так сказать, линию Мануйлова, тогда одного из самых популярных и любимых студенчеством профессоров, но тем не менее

[16] «Чтения Общества Древностей Российских».

[17] Министр народного просвещения.

студенты относились к нему осторожно. В традиции таким образом была как бы моральная оценка действия. И когда традиция забывалась, получалась моральная коллизия.

Например, с бывшим профессором московского Университета Владимировым, который должен был уйти из Университета (см. мою брошюру «Студеч. организации 81–90 гг. в московском Университете») и который всплыл в 1905 г. в лагере прогрессивном, открыл какие-то курсы даже для журналистов, на которых читали такие крайние социалисты, каким был в то время Н. А. Рожков. Быть может, нельзя казнить человека всю жизнь за прошлое, но и нельзя слишком легко забывать это прошлое. При легком забвении слишком просто внедряется моральная беспринципность, которой достаточно в человеческой натуре, и которая все же сдерживается страхом перед своего рода общественным судом, каким является общественное мнение.

Но я отвлекся в сторону. Возвращаюсь к академическим занятиям. В моих специальных работах я не пользовался в сущности никаким руководством. Литературу я знал сам. Я пробовал поговорить с Любавским, к которому я перешел как бы по наследию от Ключевского. Но явно было, что тема его не интересует, что он с ней не знаком и не может дать мне каких-либо указаний. От Университета я, конечно, получил некоторую школу, отличающую всякого универсанта. Но здесь влияние этой школы при некоторой моей халатности в чисто университетским занятиям — было крайне незначительно. Меня всегда удивляла постановка преподавания в Университете. Казалось бы, что для меня, как для русского историка в будущем, было бы гораздо важнее научиться практически читать рукописи, чем все четыре года в деталях комментировать Лисия или Горация, но именно этому-то и не учили в Университете. Любопытная деталь: в гимназии официально мне не удалось пройти курса новейшей истории от французской ре-

волюции — не успели. Из Университета я вышел, официально не прослушавши ни одного курса по новейшей истории. Дело ограничилось курсом Герье о политических и социальных теориях XVIII века. Думаю, что значительная часть моих товарищей, сделавшихся затем преподавателями средней школы, или совсем игнорировали XIX в., или должны были пополнить свои знания сепаратным чтением. И это вовсе не случайность; это система: направлять академические взоры в старину, игнорировать новейшее. Для многих наших ученых XIX в. публицистика. Я лично слышал от Любавского, что в Университете нельзя по этим мотивам изучать декабристов.

Так создавалась особая школа русских историков, пережевывающая азы и боящаяся заглянуть за пределы, установленные традицией — традицией, в значительной степени выросшей на страхе иудейском, на преклонении перед административным предписанием, которое запрещало всего 30 лет назад отцу П. Б. Струве заниматься крестьянским вопросом (см. «Гол. Мин.»), которое преследовало за темы сочинения В. И. Семевского, которое запрещало историческому взору проникать в тайники эпохи последнего столетия. Эта традиция научным признавала лишь изучение старины, хотя бы для диссертаций молодыми учеными избирались узкие темы, мало говорящие уму и сердцу не только читателей, но и науки. Отсюда повелся тлетворный обычай, облегчающий, впрочем, писание ученых диссертаций — взять несколько папок старинных документов и разработать их. Это признавалось достаточным для ученой работы. Поэтому у нас такая масса работ, которые проходят бесследно, исчезают очень быстро из научного обихода и затериваются в массе профессорских диссертаций, написанных только для того, чтобы получить ученое звание.

Я не буду оспаривать, что изучение древних памятников имеет большое методологическое значение как для

молодого ученого, так и для обучающегося студента. На них легче всего привыкаешь к приемам научной критики. Но вся беда в том, что у нас это превратилось в идолопоклонство, следовательно, в мертвечину, убивающую живой дух в молодом ученом — поэтому большинство диссертаций так бездарно: талантливо написанная книга жрецами науки будет признана за публицистику. В этом идолопоклонстве была и антиобщественная сторона: это была молчаливая покорность официальной науки. Между тем наука всегда должна быть независима, должна всегда быть в оппозиции против заранее предустановленных рамок. Подобный вывод не измышление. Я лично слышал впоследствии довольно свысока произнесенный приговор над работой В. И. Семевского о декабристах — это работа не научная, а публицистическая. Приговор был произнесен одним из наиболее талантливых представителей академической школы М. М. Богословским. Мне пришлось тогда довольно резко ответить, что Семевский своей работой, своим обобщением огромного социологического материала, собранного в этом исследовании, внес в сокровищницу исторической науки, быть может, больше, чем обе диссертации Богословского, диссертации, надо сказать, написанные ярко и образно.

Академическая школа любила говорить об историческом объективизме, не понимая, что такого не может быть. Есть вопросы в науке, о которых исследователь не может говорить sine iure et studio. Объективизм заключается вовсе не в академическом спокойном трактовании вопросов о насилии в прошлом, все равно, в какой сфере не проявлялось бы это насилие над человеческой жизнью и мыслью. Так могло быть только в том случае, если бы академизм являлся синонимом бездарности.

Мое университетское сочинение, конечно, должно было быть признано Любавским публицистическим — ведь я и

был в сущности в то время уже до некоторой степени признанным публицистом, хотя и второстепенного ряда. Да и построение моей работы вышло отчасти современным, причем основная, историческая часть занимала, вероятно, не больше половины, что в значительной степени объяснялось недохваткой времени для обработки — мною был представлен лишь скелет.

Я очень рано увлекся той широкой постановкой вопроса «расколо-сектантства», какую делал в своих работах А. С. Пругавин, с которым я познакомился будучи на втором курсе Университета, и с которым с тех пор неизменно поддерживал близкие отношения. (Любопытная черта для Пругавина, в то время известного писателя и исследователя. Он прослышал о моих занятиях по сектантству и сам приехал со мной познакомиться. Приехал на дом при первой своей поездке в Москву — ведь я был в то время только начинающий писатель и совсем не исследователь).

В своем университетском сочинении в большом предисловии я пытался обосновать значение этого явления в России и связать русское современное сектантство с теми общественно-религиозными течениями, которые были в прошлом. При известном педантизме, конечно, можно было сказать, что все это непосредственно к теме не относится. Я захватил в предисловии и правовую сторону, ибо она всегда и в XVII в., и в XIX выдвигала на первый план общественную сторону движения, иногда даже вопреки как бы непосредственному чувству протестанта. Разве консервативный Аввакум не делался для своего времени крайним революционером в области политической?.. Посему расколоучителей и казнили за государственные преступления — за хулы на имя государево и на царский дом. В такую оправу и было вставлено мое небольшое исследование, посвященное причинам, вызвавшим раскол в русской церкви XVII в. Я с полным правом называю эту работу

небольшим исследованием: в ней была использована довольно обильная литература, привлечены новые материалы и высказаны новые точки зрения. Получил я только «удовлетворительно» за свою работу — вероятно, за «публицистику», ибо не думаю, чтобы моя работа могла быть хуже многих из тех исключительно компилятивных, которые были оценены на «весьма».

У меня нередко под влиянием некоторой обиды являлась мысль издать эту работу. — Я достал оригинал из университетского архива за 25 руб. (черновика у меня не было, а по правилам работы не выдаются обратно). Но мысль осталась неосуществленной — всегда думалось, что успеешь переработать. А годы шли за годами, появлялись новые интересы, новые заботы, новые общественные и иные обязанности. На горьком опыте пришел к убеждению, что люди, находящиеся в положении, аналогичном моему, никогда не должны откладывать печатание более или менее готовых работ. Я и по сие время считаю свою кандидатскую работу имеющей некоторую научную ценность. Прежде всего многие тезисы Каптерева, которые старым ученым казались абсурдом, как вопрос об исправлении книг, вопрос о роли теократии при выяснении происхождения старообрядчества, были намечены и в моей работе, и я пришел к этим выводам самостоятельно, изучая соответствующий материал: книга Каптерева, находящаяся в прекарном положении, появилась позже. Некоторые иные выводы, я почти уверен, будут обоснованы впоследствии. Не знаю, читал ли Любавский мою работу, а если и читал, то не показались ли ему мои заключения публицистическими упражнениями. Свою кандидатскую работу я в значительной степени использовал в статьях «Религиозно-общественные движения XVII–XVIII в.», напечатанных первоначально в «Книге для чтения по истории нового времени» и ныне вышедших отдельным изданием...

В сущности здесь я должен был бы окончательно поставить точку и закончить рассказ о своих студенческих годах, поскольку речь идет об Университете. Жизнь меня ввела очень рано, благодаря участию в «Рус. Вед.», в компанию более старшую, чем студенты — мои сверстники. В «Рус. Вед.» я встречался с профессорами уже не как студент, а как постоянный сотрудник газеты, где и они участвовали, встречался, следовательно, как младший, но равноправный уже член общества. Конечно, это создавало для меня несколько иную атмосферу, отражавшуюся неизбежно и на моем положении в стенах Университета. Надо иметь в виду, что «Р. В.» занимали в то время исключительно авторитетное положение, пошатнувшееся лишь после 1905 года, когда так резко стало замечаться в общественных кругах расслоение. Каждый более или менее видный писатель и общественный деятель считал обязательным проездом через Москву заехать в редакцию — и чтобы дать информацию, и чтобы ее получить. Отсюда получалась большая осведомленность в вопросах политических, отсюда создавался широкий круг общественного знакомства. Сотрудник «Р. В.» действительно в то время занимал в общественном отношении если не привилегированное, то почетное положение. Я это очень ощутительно почувствовал, когда в 1902 или 1903 г. попал в Финляндию при несколько исключительных условиях.

Один финский банковский деятель Рамзай был назначен сенатором. Он пожелал совершить небольшую поездку по России для ознакомления с ней и для изучения русского языка. Он обратился через А. В. Игельстрома, лектора русского языка и библиотекаря Александровского Университета, постоянного корреспондента «Р. В.» из Гельсингфорса, к редакции «Р. В.» найти ему интеллигентного молодого человека, могущего его сопровождать и познакомить с политически-общественным укладом

России. В. Ю. Скалон предложил мне взять на себя это чичеронство, тем более что время поездки совпадало с отпуском, который мне согласились продолжить на две недели, т. е. я должен был путешествовать в течение двух месяцев. Предложение было очень заманчиво, да и условия вознаграждения были для меня в это время тоже заманчивы. Я согласился. После ознакомления Рамзая с Москвой, мы предприняли поездку по Волге на пароходе, что давало возможность спокойно изучать русский язык одновременно с русским бытом. Для знакомства с северной деревней мы заехали в имение Скалона — «Михайловское» Ярославской губ. А затем я отвез Рамзая в деревню к своей тетке — в черноземную полосу Тамбовской губ.

Отсюда мы сделали поездку по Днепру и направились в лесное имение друга Рамзая бар. Альфтана. Последний сравнительно недавно приобрел огромный лесной участок в Полесье и приступил к его разработке... В глухом Полесье создавался финляндский уголок. Строились лесопилки, проводились каналы для сплавки леса. Инженеры, рабочие квалифицированные — все это были финны. Картина культуртрегерства, разработки еще девственной полосы в центре России была поразительна. Достаточно сказать, что для того, чтобы попасть к лесному дому бар. Альфтана, как бы к центральной его конторе, приходилось по дебрям проехать более ста верст в несколько лошадиных поставов, которые заранее были высланы для нас из центра.

Имение, купленное Альфтаном, входило в состав владений Гогенлоэ, которые было приказано Александром III продать чуть ли не в 24 часа. Я не знаю подробностей этой истории. Но факт, что княжеские владения Гогенлоэ (более 100 000 десятин леса) были проданы совершенно за бесценок купцу Огаркову в значительной своей части и бар. Альфтану в другой. Когда я ехал к Альфтану по могучим дебрям, прорезанным уже водными каналами, оживлен-

ным стуком топоров и визгом пил, с редкими фольварками — лесопильнями, мне всегда вспоминался знаменитый рассказ «Канитферштан», запечатлевающийся у всех детей. Когда мы опрашивали, чей лес, чья лесопильня — постоянно один и тот же непреложный ответ: Огаркова. И так на десятки верст.

Отсюда с Рамзаем мы проехали в Ригу и затем через Ревель в Гельсингфорс, где у Рамзая в шхерах была своя дача. Здесь уже я превратился в гостя, а Рамзай в руководителя, старающегося меня познакомить с общественным бытом Финляндии. Рамзай был человек очень деятельный и предприимчивый, участник массы акционерных начинаний общественной полезности.

Все муниципальные предприятия в Гельсингфорсе, как трамвай, электрическое освещение и пр. были построены на принципе мелких акций — с этими-то предприятиями и знакомил меня Рамзай; возил на фабрики, показывал жилища рабочих и пр. Было два-три общественных собрания, на которые меня повез Рамзай, представив как сотрудника «Р. В.», газеты, всегда строго отстаивавшей принцип финляндской автономии, как молодого друга Скалона, пользовавшегося большой популярностью в общественных кругах Финляндии в качестве стойкого и постоянного защитника. Никакого русофобства по отношению ко мне не было проявлено, скорее было проявлено много симпатии и доброжелательства. Однажды я незаслуженно сделался во время обеда предметом небольшого чествования в качестве сотрудника «Рус. Вед.». А ведь я был только студентом третьего курса!..

Поездка Рамзая по России была чревата для него последствиями. В это время вопреки конституции была проведена в Финляндии реформа о воинской повинности, при которой финны, призываемые к отбыванию военной службы, должны были отбывать ее не на территории

своего отечества. Мы приехали в Гельсингфорс почти накануне того дня, когда Сенат должен был реагировать на новое нарушение финляндской конституции. Рамзай был в числе заявивших протест и был вскоре лишен сенаторского звания.

Весь этот эпизод рассказан здесь только для того, чтобы охарактеризовать то положение, которое приходилось мне косвенно иногда занимать в студенческие годы. К Университету все это не имело отношения, и логичнее будет о событиях, веяниях, настроениях этих лет, насколько с ними приходилось сталкиваться вне университетских стен, рассказать в другом месте.

В 1904 году я окончил университетский курс. Но тем не менее в следующем году косвенно мне пришлось иметь дело с Университетом по специфическим причинам, связанным с некоторыми характерными эпизодами.

С окончанием университетского курса совпала японская война. Мне предстояло отбывание воинской повинности, так как в свое время я записался вольноопределяющимся — преподавательская деятельность в таких случаях не освобождала от службы. У меня не было охоты служить, так как к японской войне, вызванной авантюрой, относился, как и большинство, крайне отрицательно. У меня никогда не было пораженчества — я его психологически не мог преодолеть. Хорошо помню, как весной 1905 г. в вагоне во время одной поездки к сектантам прочитал в газете известие о гибели «Петропавловска». На меня произвело это удручающее впечатление, я действительно заплакал при полном отсутствии какой-либо сентиментальности в натуре. В 1904 г. гражданского чувства необходимости защищать отечество не было и не могло быть... Поэтому я с легким сердцем отыскивал способ уклониться от отбывания воинской повинности в этом году. Я решил поступить на юридический факультет. В сущности решение было довольно серьезно. Я думал даже

окончить его и получить право быть адвокатом. К этому побуждали меня мои практические занятия по сектоведению. Я постепенно в «Р. В.» делался специалистом по церковным вопросам, в вопросах не столько быта, которые могли быть только спорадически, конечно, освещаемы на страницах газеты, но и права. Последней категории газета посвящала сравнительно много места, и постепенно эти вопросы становились как бы моей монополией. Мне пришлось по неизбежности войти в ознакомление с некоторыми вопросами преимущественно уголовного права и сделаться отчасти юристом. Жизнь, кроме того, выдвигала на авансцену различные сектантские процессы. Нередко ко мне обращались за справками и советами не только подсудимые, но и их защитники. Отсюда явилась мысль самому иногда выступать в амплуа защитника. Из этого однако ничего не вышло. На юридический факультет меня не приняли, так как был издан специальный министерский циркуляр о таких лицах, к категории которых принадлежал и я, т. е. окончивших какой-либо факультет. Потерпев фиаско в Университете, я поступил в Лазаревский Институт восточных языков. Стал было туда ходить, но пришел в ужас, ибо попал в сущности как бы в старшие классы гимназии. Особенно меня напугали уроки персидского языка, где профессор перс сразу наскочил на меня: «как по-персидски рука?». Я должен был вставать и отвечать. Одним словом я испугался и ретировался, вызвав, кажется, тем самым большое негодование В. Ф. Миллера. После октября по окончании призыва мне не грозила в этот год воинская повинность, и я мог спокойно относиться к тому, что буду исключен за непосещение лекций из Института.

Но скоро мне представилась возможность поступить в Университет, что показывает, как начальство легко могло обходить при желании министерские циркуляры. Помог случай.

Я уже давно работал в университетском архиве, получив на то специальное разрешение. Все обстояло благополучно,

пока я сидел на 30–40 гг. Но как я только подошел к позднейшей эпохе, архивариус заявил, что не может давать мне просимые документы, так как они недоступны для пользования. Получив отказ, я подал новое заявление на имя ректора и отправился для получения ответа к нему на прием. Ректором в то время был математик Лохтин, человек, назначенный министерством и гнувший, как известно, реакционную линию. Лохтин со мною повел такую беседу. На следующий год праздновался 150-летний юбилей Московского Университета, и ему, как ректору, предстояло произнести торжественную речь на акте. Он сказал мне, что даст carte blanche для занятий в университетском архиве, а я со своей стороны предоставлю ему некоторый материал, причем, конечно, он упомянет в речи, что материал отыскан мною. Комбинация для меня была совершенно приемлема. Лохтин позвал меня в себе на чашку чая для более подробной беседы — это было уже хуже, так как отношение мое к общественной роли Лохтина было отрицательное. Пришлось ответить, что называется ни два, ни полтора. В заключение неожиданно ректор делает мне еще одну пропозицию: «вы, кажется, подавали прошение для зачисления на юридический факультет; я могу это устроить»... Но мне в этом надобность уже миновала, а обстоятельства жизни изменили намерение по существу кончать юридический факультет — начиналась общественная весна, и интересы уходили в другую область.

Я получил разрешение на занятия в университетском архиве, каждый день ходил туда по утрам часа на 2–3. Но на чашку чая к Лохтину не пошел. Ему не понадобились мои архивные изыскания, так как юбилей по соображениям политическим был отложен, затем и Лохтин с новыми веяниями в университетской жизни перестал быть ректором.

К архивным занятиям по истории Московского Университета мне пришлось еще вернуться позже в период

ректорства Мануйлова. И здесь изучить так называемую секретную часть делопроизводства старого Университета за конец XIX и начало XX столетия. Эта секретная часть находилась в правлении Университета и в архив не передавалась. Мануйлов взял ее к себе на квартиру, и там я занимался выписками и снятием копий. Это надо было сделать, так как этой секретной части могла угрожать опасность — в один день как-нибудь исчезнуть, как исчезли многие материалы в 1905 году, когда университетская инспекция из боязни раскрытия ее полицейских функций уничтожила сама многие документы.

В моем архиве таким образом сохранилось довольно много любопытного материала по истории Московского Университета, еще требующего разработки.

Итак, я простился окончательно с Университетом и окончательно уже основался на положении свободного и независимого литератора. К педагогии меня никогда не тянуло. Но все-таки несколько позже, отчасти из любопытства, отчасти из желания получить некоторую практику (я занимался методологией преподавания, работал в «Вестнике Воспитания» и собирался даже написать учебник), я взял несколько уроков в женской гимназии Гельбиг, где мое преподавание закончилось конфликтом с директором, и я должен был уйти...

Взяв уроки еще в гимназии Щепотьевой и прозанимавшись три года, я совсем оставил преподавательскую деятельность.

Я был больше все-таки литератором.

2/IV 920 г. Особый Отдел.

III. Работа в «Русских Ведомостях»

Первый период

Я попал в «Русские Ведомости» через посредство В. Ю. Скалона, и это до некоторой степени на долгое время определило мое положение в редакции. Сам Скалон только незадолго перед тем под некоторым давлением товарищей бросил окончательно службу и переехал в Москву, чтобы усилить состав редакции. Соболевский чувствовал себя утомленным, хотел менее работать в газете. Нужен был коренник, которого не находилось среди наличных членов редакции — пайщиков газеты. На редакционные функции наиболее подходил, конечно, Д. Н. Анучин, заведовавший хозяйством. Да кроме того он связан был с Университетом и вовсе, по-видимому, не был склонен всецело отдаться газете, а тем паче тем томительным ночным сидениям, с которыми связан выпуск газеты. Старые редакторы никому не соглашались поручить это дело. Да и в действительности при цензуре здесь лежала большая ответственность. Та или другая заметка могла повлечь за собой если не закрытие газеты, то приостановку розничной продажи, что наносило огромный, материальный ущерб газете. Другой из пайщиков, бывших в наличии, А. П. Лукин был уже рамоли, способный писать иногда еще только свои фельетонные обзоры под псевдонимом «Скромный наблюдатель». Был еще М. Е. Богданов, но он слишком далеко стоял от литературы. Остальные, оставшиеся в живых пайщики были в отсутствии: чудеснейший человек П. И. Бларамберг жил в Крыму, более увлекаясь музыкой, чем литературой, А. И. Чупров переехал уже за границу, А. С. Посников, так много в молодых годах работавший в редакции, жил в деревне и променял ее только позже на профессуру в Политехникуме. Таким образом В. Ю. Скалон был как бы единственный кандидат. Привлекать же новых людей в состав хозяев газеты из постоянных

сотрудников старые редакторы не хотели. Эта мысль явилась у них только после 1905 г., когда они почувствовали свою как бы отсталость, когда на них с другой стороны был сделан известный нажим.

Но среди заслуженных сотрудников уже бродило сознание, что рано или поздно им придется, может быть, по праву встать у кормила правления. Некоторые из них, как И. Н. Игнатов, связанный родственными узами через жену с Герценштейном и Колосом, заведуя отделом беллетристики, театром и библиографией, фактически являлся уже помощником редактора.

Во всяком случае появление Скалона не было встречено большим сочувствием со стороны известной части авторитетных сотрудников. Эта оппозиция составляла своего рода партию, действующую всегда солидарно: Герценштейн, Игнатов, Лунц. К ним примыкал работавший в иностранном отделе Ландау, цинично смотревший на свою работу в газете как на источник материального существования. В иностранном отделе работал еще И. А. Петровский, считавшийся заведующим отделом. Человек необычайной скромности и застенчивости держался особняком; он затем в значительной степени примкнул к той позднейшей группе сотрудников «Р. В.», которых Полос называл революционерами. Из других видных сотрудников надо отметить трех друзей — Мануйлова, Якушкина и Розенберга. Мануйлов когда-то даже был официальным помощником редактора, но в мое время он входил в популярность как профессор, и центром его деятельности являлся Университет. У него были и нелады с редакцией, как они были и у Розенберга, уехавшего даже в Петербург и поступившего библиотекарем в Политехнический институт. В. Е. Якушкин был выслан, как известно, из Москвы за речь, произнесенную в Общ. Люб. Р. Сл.[18]

[18] Общество Любителей Российской Словесности.

о Пушкине. Эта троица не примыкала в то время к кругу, оглавляемому Герценштейном. Отношения скорее были холодные, что сказалось в некотором конфликте, когда в «Р. В.» была напечатана речь Мануйлова на диспуте Гольдштейна с явным потворством стороне противоположной.

Внутренний отдел оглавлял П. М. Шестаков, также державшийся особняком, а помощником его был малозаметный А. Д. Рубинчик, не проявлявший никогда своих мнений. Но думаю, что он скорее тянул в сторону Герценштейновской группы. Секретарем был добродушнейший В. П. Романов, человек большой работяга, но не имевший веса в редакционных делах.

Таков был состав главнейших сотрудников газеты, когда я вступил в их число. Никакой компактной семьи редакционной они не составляли: были группы, подгруппы и одиночки. В этом отношении удивительно, как редакция столь авторитетного органа не подобралась за столько лет своего существования. Была какая-то чиновническая иерархия, какой-то дух столоначальничества, мешавшие объединенной литературной работе. Сила газеты была вовсе не во внутреннем редакционном единстве, а в той группе сотрудников, которые тянули к органу. «Русские Ведомости» в то время были единственными, и не было видного человека, который не считал бы за честь принять участие в газете. Поэтому она и была так богата видными литературными силами.

Эта черта разъединенности сохранилась за все те годы, в течение которых я работал в газете. Мне кажется, только в последние годы, когда вошли новые люди, когда отошли старые редакторы, создалось в газете некоторое единство. Объединило единство интересов и единство политических точек зрения — «Русские Ведомости» понемногу становились органом, разделяющим взгляды партии к.-д.

В. Ю. Скалон по своей натуре мало был пригож в целях какого-либо объединения. Талантливый публицист, де-

мократ с некоторым консервативным уклоном в духе Чичерина, человек с большой ленью в натуре, не склонный в инициативе и борьбе; скептик, склонный подчас к злой иронии — часто подсмеивался над «еврейской партией», как он называл оппозиционную ему группу сотрудников. Персонально она действительно была еврейской, очень остро реагировавшей на все, что затрагивало евреев. Название, данное Скалоном, конечно, было известно в редакции, и к нему «еврейская» группа относилась враждебно за его якобы иудофобство. Бесспорно у Скалона некоторая внутренняя, я бы сказал, та органическая неприязнь, которая так часто встречается в жизни, была. Но упрекать в иудофобстве этого твердого и настойчивого защитника угнетенных национальностей, конечно, нельзя. Скалон, как редактор, считал только своим долгом ограничивать проявления излишнего иудофильства, как он делал и в отношении к полякам, к Кавказу, к Финляндии, за самостоятельность которой он сломал столько литературных копий. Это иудофильство действительно подчас сквозило в газете, как это часто бывало в русской печати и не только во имя защиты угнетаемых, а и в силу состава сотрудников.

Надо сказать, что у Герценштейна была еще и личная причина некоторой неприязни к В. Ю. Он был человек крайне самолюбивый. И однажды В. Ю. обнаружил, что он напечатал два раза одну и ту же статью. Правда, срок протек большой — может быть, даже несколько лет. И не вина Герценштейна, что русская жизнь так твердо застыла, что и вопросы, им поднимаемые, и аргументация оставались старые. Но не в литературных нравах было такое повторение. Может быть, это и неправильно. Не все ли равна: повторить забытую статью или подновлять и внешне изменять, как часто практикуется в литературном мире. Мелкие причины всегда служат к обострению отношений. Так было и в данном случае. Наконец, В. Ю. не нравилось некоторое пристрастие,

которое обнаруживал Герценштейн по связи со своей деятельностью в Поляковском банке.

Не установилось у Скалона дружественных, интимных отношений и со старыми своими товарищами по редакции. Анучин вообще был человек себе на уме, неспособный, как мне кажется, к задушевным отношениям. Человек политичный и мало искренний. Иного характера был Соболевский. На вид холодный, слишком джентльмен, с которым в редакции устанавливались по внешности формальные отношения; в действительности добрый и отзывчивый человек. Но по отношению к нему Скалон попал в несколько ложное положение. Соболевский уже привык быть хозяином дела и вести его самостоятельно. Хотя В. Ю. должен был занять равное ему положение, но фактически сделался его заместителем. Он был самостоятелен только в отсутствие Соболевского. При нем же играл вторые роли — так было неизбежно по скалоновской натуре. Выражалось это даже внешним образом. Соболевский оставался один в своем большом кабинете, он принимал все, так сказать, официальные визиты; Скалон вынужден был сидеть с довольно несносным «Скромным наблюдателем» и выносить его нудные реплики. Семья Скалона только обостряла эти отношения, подчеркивая то, что В. Ю. попал как бы на вторые роли.

Скалона тянуло к литературной работе; служба в крестьянском банке ему достаточно надоела. Генеральский чин, до которого он дослужился, его не прельщал. Семья же была недовольна переездом в Москву, хотя с Москвою была связана всеми предшествующими годами — в Москве Скалон был председателем уездной земской управы; с Москвой был связан и родственными узами. Но в Петербурге были уже личные связи, а Н. Н. Скалон, урожденная Шварц, сестра будущего министра, крайне ценила свои аристократические связи. Семья вообще играла в аристо-

кратию. Эта игра, мне кажется, содействовала тому, что между редакторами не установилось близких отношений. Как часто бывает, закулисные, семейные влияния имеют первенствующее значение. У Соболевского была ненормальная семья. Жил он один, на холостую как бы ногу. Но все знали и все бывали у жены его В. А. Морозовой. — «Одна моя хорошая знакомая», как он ее именовал даже тем, которые прекрасно знали семейные отношения В. М. Соболевского. Мне лично кажется, что эта жизнь на два дома в последние годы его сильно тяготила. Трудно сказать, какая причина была такой жизни. Говорили мне, что по завещанию мужа Морозовой в случае выхода ее замуж она лишалась наследства. Отказаться от миллионов во имя купеческой прихоти, может, и не стоило. Так Соболевский жил один, а жена его с двумя детьми в Воздвиженском особняке. Соболевский вел жизнь зажиточного литератора, — у жены его был образ жизни миллионерши. Все это удивительно было ненормально.

Семье Скалона пришлось, конечно, познакомиться и с Морозовой. Здесь не установилось хороших отношений: может быть, в силу «аристократичности» одних и купеческой замашки других. По крайней мере мне хорошо памятно возмущение Н. Н. Скалон по поводу одного маскарада, на который они были приглашены Морозовой. Скалон не были людьми богатыми. Но, конечно, noblesse oblige. Был сделан для единственной дочери шикарный маскарадный костюм. Но публика у Морозовой оказалась неподходящей. Особенно возмущали Н. Н. Скалон эти статисты, приглашенные для танцев — приказчики со склада Морозовой, как она выразилась. Вероятно, так и было.

Таковы были, коротко говоря, те внешние очертания редакционного быта, когда я вступил в ряды сотрудников «Рус. Вед.». Моя близость к Скалону сразу меня отдалила от известной группы сотрудников, которые не взлюбили

меня уже в силу того, что я был ставленником его. Это отношение проявлялось во всех мелочах. Если оппозиционная группа обсуждала какие-нибудь редакционные вопросы, стоило мне войти в комнату, все умолкали, очевидно, боясь, что я передам разговор Скалону. Впрочем, это было естественно, так как лично у меня установились действительно близкие и дружественные отношения с Вас. Юр. Первое лето я даже жил с ним на одной квартире. И как мне всегда было горько, что некоторая леность В. Ю. мешала тому, чтобы он несколько поруководил моими юными, литературными работами. При самых лучших отношениях я чувствовал невозможность приставать в нему за советами по написанию того или другого. Я видел тоску в его взоре, когда входил в его комнату, чтобы получить от него ту или иную справку. Ему предстояло ночью идти в редакцию; он лежал на диване и читал, и беспокоиться ему всегда была неохота. Я чувствовал эту горечь потому, что В. Ю. на редкость был широко и разносторонне образованный человек. Иметь в юности такого руководителя — большего счастья себе представить нельзя.

Я стал работать во внутреннем отделе газеты под руководством П. М. Шестакова. В сущности он не был заведующим отделом. Как-то даже странно, что в большой газете, где в то время провинциальная хроника занимала одно из первенствующих мест, не было как бы специального заведующего, который придавал бы известную цельность и единство. Но это было в обычае редакции — она не любила инициативу, все шло по заведенному шаблону. Впрочем, характеристикой редакционной работы я займусь дальше. Несколько слов о П. М. Шестакове, который, как долголетний сотрудник, являлся в сущности только старшим. Впоследствии я сблизился с П. М. Эгоистичный и грубоватый, он был недурной человек и хороший товарищ. Нас объединила общая позиция в редакции, так как внутрен-

ний отдел стал до некоторой степени скоро также особой «партией» в редакции. Шестаков по природе человек талантливый, недурной писатель, со сметкой и чувством действительности, не обладал большим образованием. Он так и остался до конца своей жизни на уровне окончившего учительскую семинарию. Занимал он в газете довольно авторитетное положение, отчасти, может быть, по своим родственным связям с Посниковым — он женат был на его сестре, отчасти в силу долголетия своего сотрудничества. Одно время на Шестакове лежала тяжелая обязанность сноситься с цензурой, т. е. надо было ехать с готовым почти номером к цензору и воздействовать на него соответственно. Шестаков исполнял свою миссию блестяще и в этом отношении оказал огромную услугу «Р. В.». Цензором, в ведении которого были «Р. В.», в то время был С. И. Соколов. Человек, любивший выпить, любитель скрипичной игры и полный невежда в делах литературных. При отсутствии каких-либо музыкальных способностей у Шестакова, последний сумел установить с ним добрые отношения, во время, быть может, выпить... Одним словом сумел наладить цензурные отношения. Тем самым П. М. оказывал несомненное влияние на направление газеты. И в будущем его здоровый, демократический инстинкт часто заменял отсутствие того общего образования, которое дает особую культуру и которого не было у Шестакова. К голосу П. М. нередко прислушивались старые редакторы. У него были хорошие отношения с Соболевским, наилучшие отношения создались и со Скалоном, который, как земский деятель, являлся всегдашним покровителем провинциального отдела, которому придавал большое значение.

Шестаков встретил меня неприветливо — еще какой-то студент будет прирабатывать, как он почти откровенно и довольно цинично с обычной своей грубоватостью

высказался. Мое положение было глупое на первых порах, когда я должен был составлять судебные хроники по провинциальным газетам. Их должен был указывать Шестаков, но он никогда этого не делал, считая, очевидно, что моя работа наносит ему материальный ущерб. Но очень скоро отношения изменились. П. М. человек был простой и совершенно неспособный к интригам. Вот поистине, что у человека было на уме, то и на языке. Я за эту черту искренне его полюбил. Он скоро меня оценил, оценил товарищеские отношения, и мы с ним, уже не расставаясь, дружно работали в провинциальном отделе и вместе ушли из газеты — пожалуй, по одним и тем же причинам.

Помощь мне оказывал другой работающий в газете А. Д. Рубинчик. О нем мало что можно сказать. Человек бесцветный, без роли и влияния — просто читавший и делавший соответствующие вырезки из газет, человек, не примыкавший ни к одной группе и одновременно тянувшийся ко всем. Во всяком случае я должен его вспомнить добрым словом. Потому ли, что я был ставленником Скалона, но именно Рубинчик давал мне возможность фактически начать работать в газете, т. е. более или менее систематично.

Летом Рубинчик поехал в длительный отпуск. Мне было предложено его заменить. А так как он скоро уехал за границу (у него было желание заняться наукой), то я его окончательно заменил — провинциальный отдел мы разделили вдвоем с Шестаковым. Вскоре к нашей компании присоединился Т. И. Полнер, но он, как всегда, был лишь перелетной птицей. Затем в качестве третьего присоединился А. В. Заремба, работавший в газете вплоть до своей смерти и сделавшийся моим ближайшим поистине другом.

П. М. Шестаков довольно халатно работал в отделе — вероятно многолетие отняло у него охоту проявлять инициативу, из которой никогда ничего не выходило. Прихо-

дили мы в 2 часа в редакцию и работали до 5. Надо было просмотреть корреспонденции с мест, выправить их и затем просмотреть вдвоем до 100, если не больше, местных газет, которые получались в редакции. Если отнестись было серьезно к своим обязанностям, то работы было много и работы утомительной. Просмотр полсотни газет действовал крайне утомляюще; правда, скоро появлялся навык. П. М. своей работой совершенно развращал новичка. Он делал так, чтобы заполнить в следующем № определенное количество строк, а так как материала было колоссальное количество, то сделать это было очень просто. Брал он то, что попадалось под руки, то, что подходило к газете, а вовсе не то самое интересное, что можно было найти в той или иной провинциальной газете. Мне всегда чрезвычайно жаль было несчастных корреспондентов, писания которых подчас П. М. просто клал в кучу, если имя корреспондента только не говорило за себя. Ему лень было просматривать неотчетливо написанные корреспонденции или длинные, которые надо было или изменять, или сокращать. А в таких иногда и было самое животрепещущее. И когда почему-либо не было новых корреспонденций, или были неподходящие, он начинал выворачивать свою кучу и вытаскивать материалы. Что же удивляться после этого, что запаздывание с информацией вошло в обычай у «Рус. Вед.». Я иногда втихомолку, придя раньше, просматривал корреспонденции и, выправив их, подсовывал П. М. — читать корреспонденции было его функцией.

Новая метла всегда хорошо метет. И я самоотверженно долгое время работал в газете. Правда, в конце концов и я стал относиться халатно к провинциальной хронике — было жаль и своего времени, и своей инициативы. Становилось скучно бесцельно заниматься усовершенствованием провинциальной хроники.

На первых порах мне надо было, конечно, и зарекомендовать себя, показать, что я действительно полезен

газете, а работаю в ней не только по покровительству Скалона. Было это трудновато. Помимо всего сказывался и возраст — ко мне относились, как к молодому студенту, каким я в действительности и был. Сотрудники — пренебрежительно свысока, в редакции — покровительственно. Помню, только случай дал мне впервые выступить с передовой статьей. Произошло событие. Сгорел какой-то огромный пассажирский пароход на Волге. Было много человеческих жертв. Надо было по этому поводу написать. Летом в субботу никого не было. Соболевский, негодуя на сотрудников, сказал мне с некоторым сомнением: «а вы написать не можете?». Я написал. Понес Соболевскому. Тот при мне стал читать и по обычаю себе под нос бурчать: «в том-то и дело». И, прочтя, сказал: «совсем хорошо». Статья была напечатана на другой день. Но это был случай. Меня долго не подпускали к передовым статьям, даже в сущности не подпустили. Передовые статьи были монополией немногих, и эти немногие зорко следили, чтобы их монополия передовиков не нарушалась. Допускались только передовые по специальностям. И когда я сделался единственным в «Р. В.» специалистом по церковным вопросам, и когда жизнь поставила на очередь эти вопросы, только тогда я самой силой вещей был призван писать передовые статьи в области церковно-государственной политики.

Но это произошло значительно позже. На первых порах приходилось ограничиваться маленькими компиляциями. В сущности я был приглашен только временно на постоянную работу с жалованием в 40 руб. в месяц. Работал я не за страх, а за совесть: приходил в редакцию первым около 1 часа дня, уходил в шесть. И обычно еще вечером систематизировал свои вырезки, пытаясь делать небольшие обзоры по отдельным вопросам, что не в фаворе было у редакции. Но изредка все-таки обзоры удава-

лось делать: напр., обзор мероприятий о голоде, сведения об урожае и т. д. От этой работы у меня и осталась привычка делать газетные вырезки по интересующим меня вопросам. И в моем архиве за многие годы скопилась уйма таких вырезок, систематизированных и приведенных в порядок. И думаю, что эта работа общественно небесполезная. Если мне не удалось их использовать или использовать только частью, потомство найдет в них интересный подчас материал для характеристики некоторых сторон общественной жизни.

Как ни шаблонно велась провинциальная хроника в «Р. В.», она занимала в газете довольно видное место. Путем известного подбора вырезок можно было нередко иллюстрировать наилучшим образом какое-нибудь явление, косвенно говорить о тех вопросах, оценивать которые было небезопасно с точки зрения цензурной в статьях. Можно было вести известную кампанию за ту или иную реформу, постоянно иллюстрируя примерами, что творится в реальной жизни. Отсюда неизбежно получалась тенденция, на которую нападало цензурное ведомство, что заставляло Скалона приходить к нам и полушутливо, подусерьезно спрашивать: неужели нет в провинциальной жизни явлений отрадных. Таким образом наше художество при помощи клея и ножниц, как выражался Полнер, в сущности превращалось в своего рода публицистическую работу. Редакция требовала от нас известий нетенденциозных, но совершенно не допускала шуток. Отчего внутренняя хроника, которую ценил серьезный читатель газеты, всегда была несколько скучновата. Серьезным «Р. В.» казалось невозможным спускаться до быта и, конечно, это была ошибка. Помню, как мне попало, когда я сдал в набор заметку о том, как в одном из уездных южных городов вырвался общественный буй (вол) и наделал массу бед, и как этот вопрос стал предметом обсуждения местного самоуправления.

Заметка была веселая, яркая и типичная для жизни захолустного провинциального городка.

Редакция ценила внутреннее обозрение и по соображениям экономического характера. Грошевая экономия была некоторой редакционной слабостью, что крайне в сущности вредило газете во многих отношениях. Провинциальный отдел стоил дешево. Корреспонденты получали 3–5 коп. за строку, а вырезки были бесплатным материалом, за составление которого мы получали жалование, хотя и довольно мизерное. Но вырезки приходилось комментировать, и в редакции был порядок: оплачивать то, что написано от руки. По чистой совести могу сказать, что мы никогда не злоупотребляли. Но тем не менее от редакции получали довольно прозрачные намеки, что следует работать больше ножницами, чем пером. Нас ставило это в глупейшее положение. Было иногда гораздо легче коротко и литературно изложить суть, чем заниматься по истине художеством при помощи синего и красного карандашей и большую заметку провинциальной газеты таким путем превращать в маленькую.

Я попробовал было заниматься изложением и в таких случаях писать на заметках «бесплатно», но это вызывало возражения в конторе, державшейся, как и все в «Рус. Вед.», на традиции, и со стороны Шестакова. Этот совсем в сущности некорыстный человек проявлял здесь какую-то мелочную корысть, впрочем, понятную.

«Русские Ведомости» по сравнению с другими газетами даже того времени оплачивали сотрудников плохо. Достаточно было уже одной чести работать в столь уважаемом органе. Эта оплата вытекала из общего принципа экономии, проводимого в газете, принципа не оправдываемого положением газеты и вредного в сущности для процветания органа. Пайщики получали уже тогда значительный доход, и об увеличении его можно было, по-

жалуй, и не думать. Может быть, затраты некоторые и реформы, связанные с ними, только увеличили бы тираж газеты и ее доходность. Проводником экономии являлся в редакции Анучин, заведовавший хозяйством газеты. Он обычно и являлся к нам во внутренний отдел и со своим несколько хитроватым видом и тоном подносил пилюли о том, что мы де иногда злоупотребляем пером, когда можно ограничиться клеем, ножницами и карандашом. В силу этой экономии жалование платилось небольшое. Считалось, что дополнительным заработком являются статьи. И, конечно, те, которые писали более или менее часто, получали сравнительно достаточное вознаграждение. Другие, быть может, чрезмерно мало, например, Шестаков получал жалованье всего 100 или 125 руб., хотя работал в редакции более 10 лет. Я — сорок. Прибавки к жалованью делались редко и только тогда, когда сотрудник сам поднимал вопрос. Мне всегда было стыдно говорить о своем гонораре, не только в дни молодости, но и во всю последующую жизнь. Всегда я довольствовался тем, что устанавливал сам орган, в котором появлялась та или иная моя статья. Поэтому в «Р. В.» я долго сидел на 40 руб. Получал их и тогда, когда стал уже в полном смысле равноправным сотрудником. Наконец, получил прибавку до 50 руб., потом до 60 руб., 75 — сто рублей явились максимумом мною достигнутого. Также было и с построчной платой. Почти до конца дней своих я получал все по 5 коп., хотя другие получали 10. И только впоследствии получил прибавку до 8 коп., и 15 коп. стал получать за передовые статьи и 10 коп. за статьи с подписью уже тогда, когда отказался от постоянной работы в провинциальном отделе и сохранил свою связь писанием только статей. И в гонораре был шаблон: передовая, анонимная статья оплачивалась дороже статьи за подписью. А между тем ясно, что статья за подписью была для автора гораздо ответственней.

Заработок у сотрудников получался необычайно разнообразный. Напр., в иностранном отделе сотрудники получали значительно больше нас, хотя жалованье их было приблизительно такое же. Так И. А. Петровский, работавший также более 10 лет, получал жалованья всего 75 руб. Но там каждый день приходилось переводить, что оплачивалось отдельно. Надо ли удивляться, что некоторые из сотрудников, работавших в постоянных отделах газеты, действительно стремились, что называется, нагонять строки. Это подчас возмущало старую редакцию, как видно было из реплик Скалона. Мне неловко было говорить об увеличении гонорара, потому что он мог принять это на свой счет. А я и так был доволен. Конечно, для меня, студента, те 200 руб., которые я зарабатывал, были более чем достаточны. Но позже, когда я женился и стал жить своим хозяйством, я уже почувствовал трудность существования, ибо заработок колебался от 150–250 руб. Он нисколько не увеличился по сравнению с первыми годами. Приходилось думать о дополнительном заработке, который, конечно, легко было найти. Скоро вышло так, что «Р. В.» уже не были главным источником моего существования — большие суммы давали другие литературные работы. Из-за этого я, конечно, не бросил бы «Р. В.» — слишком я ценил свою там работу вначале, а потом так привык уже, что газета, к моему несчастью, сделалась как бы частицею моего бытия. Но такой системой «Р. В.» не привязывали к себе сотрудников.

Также и Шестаков в конце концов занялся другой работой, а «Р. В.» для него были, как сон после обеда.

Явно, что он, зарабатывающий чуть-чуть, может быть, больше меня в провинциальном отделе, дополнял свой заработок ночными сидениями, т. е. выпуском газеты. Приходилось сидеть с 9 ч. вечера до 4–5 утра, и за это посуточно платили 10 руб. Работа утомительная. Я ее избег. Обычно все ее добивались, именно как дополнительного

заработка. Так как я в нем не нуждался, то и не старался пристроиться к ночной работе. Впрочем, меня никогда на нее не приглашали. Может быть, считали, что я к ней не подхожу; может быть, на первых порах не доверяли такую ответственную работу. Может быть, здесь играла роль та монополия, при которой с неохотой допускался всякий новый человек. Когда Шестаков стал отказываться от чрезмерно частых ночных сидений, я уже такую работу не взял бы — она была для меня неинтересна, как работа техническая: я летал несколько выше. Эту работу взял на себя А. В. Заремба, который нуждался в дополнительном заработке и не имел его на стороне.

На первых порах мне медленно приходилось пробивать себе путь в «Рус. Вед.». История была монополией В. Е. Якушкина. Давая статью по русской истории, я затрагивал его область, к которой он относился крайне ревниво, как и все старые сотрудники «Р. В.». Но все-таки мне удавалось пропихнуть некоторые исторические статьи, пользуясь или отъездом Якушкина или какой-нибудь юбилейной датой. Так я написал несколько фельетонов, посвященных Дерптскому Университету, Ярославскому Лицею, Казанскому Университету, о провинциальной печати и в частности фельетон, посвященный журналу «Уединенный Пошехонец», возникшему по инициативе моего прадеда, известного генерал-губернатора Севера при Екатерине II, о телесных наказаниях, о конституции Сперанского, о декабристах и т. д. Таким путем я стал появляться в «Рус. Вед.» как автор статей, из скромности подписываясь С. М. и С. М-в — мне как-то неловко было еще подписываться своим именем. Но многое из того, что я писал, гибло, или сталкиваясь с другими авторами, или залеживаясь у Скалона в портфеле, а мне неловко было ему напомнить. Как часто в это время страдало мое самолюбие вследствие неуверенности в своих силах. А Шестаков мне говорил: «вот

кончите университет, будете профессором, тогда сразу изменится к вам отношение». Но я не желал быть профессором, но желал другого к себе отношения. И церковь мне помогла в этом. Правда, только с 1904 года в сущности поставлены были эти вопросы в жизни, и ими по неизбежности должны были заинтересоваться «Р. В.», относившиеся к этим вопросам глубоко индиферентно. Как единственный специалист в этой области, я получил монополию, а так как никто не занимался этими вопросами, то в сущности и свободу трактовки. Мне самому как бы пришлось установить точку зрения, которая фактически и сделалась точкой зрения газеты. Редакция выбрасывала у меня только чрезмерно радикальное, как например, упоминание об отделении церкви от государства. Но трактовка вопросов шла именно в духе такого понимания. «Русские Ведомости» были в то время слишком авторитетным органом, поэтому с некоторой гордостью и сознанием общественной пользы могу вспомнить о своих литературных выступлениях в этой области. Так или иначе, но ими задавался тон не только в самих «Р. В.», но и в известных общественных кругах. Отстаивая полную свободу совести и церковной самостоятельности, я всегда проводил светскую точку зрения — в моих статьях не было ничего ни церковного, ни от неославянофильства. Только позднее в «Р. В.» несколько изменилась точка зрения, когда в 1907 г. стали появляться статьи в ином духе и затем, когда я уже совсем оставил газету.

Специальность придала мне авторитет и в другом миру. С моими статьями знакомились, ко мне обращались из разных мест. Таким образом завязывались литературные и общественные отношения. Таким образом создавалось некоторое имя.

Когда я поступил в «Р. В.», моя судьба, конечно, была неизвестна. Скалон говорил мне, относясь совершенно равнодушно к старообрядчеству и сектантству, которыми я

стал заниматься, что мне надо найти себе какую-нибудь специальность, чтобы быть привязанным к «Р. В.». Он советовал мне заняться польским языком; тогда я буду обеспечен всегда работой в газете. Я пробовал это сделать. Даже один мой позорный перевод был напечатан в «Р. В.», где я «интранты посады» перевел. «Не в свои сани не садись». Так мне показалось должно быть по созвучию, а в действительности было «Доходное место» (заметка касалась Островского). Из польского языка у меня ничего не вышло, да и вскоре, так сказать, польские дела попали в ведение А. В. Зарембы.

На почве непомещения моих статей со мной раз произошла конфузная и глупая история. Что значит растеряться! Я как-то получил интереснейшие материалы о труде фармацевтов — условия по анкете получались ужасные. Я написал фельетон — весь смысл был в обрисовке конкретных данных. Но когда я приносил длинную статью, начинали морщиться, еще не читая. Так лежал мой фельетон в редакционном портфеле до бесконечности. Меня разобрала злость — материал действительно был интереснейший. Я взял и послал этот фельетон в появившийся в то время в Москве «Курьер», где стали сосредоточиваться молодые литературные силы. Газета являлась конкурентом «Р. В.». У нас не принято было, конечно, сотрудничество в какой-либо другой московской газете. Но я не рассуждал о последствиях. Мне было обидно и хотелось показать, что нельзя так игнорировать труд сотрудников. Мой фельетон через день же появился в «Курьере». Его потом цитировали во многих газетах. Редакция мне ничего не сказала... Но инцидент у меня вышел в стенах редакции вот какой... В тот же день, как я послал свою статью в «Курьер», редактор последнего зачем-то был в «Р. В.». Я был с ним немного знаком. Встретив меня в большой приемной комнате, он спросил — не моя ли статья им прислана,

чрезвычайно интересная. Почувствовав некоторую неловкость, я довольно глупо ответил, что статья не моя, а меня просили только передать. Потом я сообразил, как глуп был мой ответ — статья подписана была моим именем, или сокращенной фамилией. Выходило, что я подписался под чужой статьей. Думаю, что Фейгин понял мое смущение. И мне надо было просто уже молчать, примирившись с глупым ответом. Но я написал на другой день ему объяснение, что статья моя и т. д.

Мне не раз приходилось в эти годы обращаться к другим газетам за помещением статей, которые не находили себе места в «Р. В.». И часто теперь, просматривая эти статьи, удивляешься — может быть, самое интересное не помещали. Вот, напр., два фельетона о военных тюрьмах во Франции на основании случайного, нового материала, мне попавшего под руки. Может быть, этих статей «Р. В.» не поместили, так как в их тактике довольно было обычно не показывать темных сторон в Западной конституционной Европе при сопоставлении с Россией. Мои статьи описывали ужас французских военных тюрем. Фельетоны эти были напечатаны в «Смоленском Вестнике». После случая в «Курьером» и намеков со стороны редакции я стал выбирать провинциальную печать. Вследствие этого мои статьи не пропадали. Я напечатал ряд статей в большой екатеринославской газете «Приднепровский Край» и в известном своим либерализмом «Нижегородском Листке». Позже я избрал для себя таким местом убежища «Киевские Вести», поистине одной их лучших провинциальных газет. В сущности «К. В.» приближались уже к тону столичных органов. И Киев был почти столицей. Писать здесь было более и лестно, и более целесообразно, чем в обычных провинциальных газетах. С «Киевскими Вестями», руководимыми Н. Н. Василенко и А. Ф. Саликовским, у меня установились дружественные и тесные связи. В «К. В.»

были напечатаны, между прочим, два моих больших фельетона о Павле, вошедшие в сборник «Дела и люди александровского времени» и о расколе с критикой точки зрения Ключевского. О руководителях «К. В.» мне придется еще часто и много говорить попутно с другими общественными и литературными начинаниями.

И в последующее время я продолжал от времени до времени участвовать в провинциальной прессе: писал в столь известной «Киевской Мысли», газете, дававшей в некоторых отношениях много очков вперед даже столичным органам, писал в ростовском «Приазовском Крае», когда там редактором был Сельковский, писал и в некоторых других газетах.

Таким образом я становился постепенно как бы профессионалом — газетным публицистом. Как ни авторитетны были сами по себе «Р. В.», однако карьера профессионального газетчика не считалась многими достаточно почтенной. Дело другое писать в газете, имея, напр., соответствующее ученое звание. Помню, однажды меня встретил Герье в газете, уже в момент, когда наши пути разошлись. Он меня с такой снисходительной презрительностью спросил: «а вы все еще здесь?» До сих пор отчетливо вспоминается интонация голоса при этом вопросе...

Должен сказать, что меня многие побуждали не специализироваться на газете. Но к университету у меня душа не лежала, к педагогии тем более. И думаю, что я пошел для себя правильным путем. Полужурналист, полуученый — всякие половинки нехороши. Но что делать, если такова натура!

Если из меня не выработался типичный газетный работник, то, вероятно, это объясняется прежде всего теми научными интересами, которые у меня были. Наукой в своей, по крайней мере, области я никогда не переставал заниматься. Конечно, газета очень мешала мне. Мешало не

то, что я занимался публицистикой. Это, пожалуй, только к пользе — сколько мертвого в силу академизма в русской науке, как мало в ней гражданственности. А где же искать примеров, как не в высших слоях представителей культурного общества? Мешало то, что на первых порах я слишком и увлекался газетой, и слишком по иным соображениям отдавал ей много времени золотых лет молодости. Этой поры никогда не вернешь! И, принимая во внимание итоги моей работы в «Р. В.», пожалуй, приходится сказать, что время потрачено зря. Но всего жизненного пути не предусмотришь, всех тех случаев, которые уготовляет судьба. Скажи мне кто-нибудь, что я через 10 лет вынужден буду уйти из «Р. В.», из органа, который я считал уже себе дорогим, болями которого я болел, пожалуй, я и не стал бы отдавать там частицы своего интеллекта.

Но «Р. В.» дали известную школу. Участие в них гарантировало от профессионального журнализма или, лучше сказать, газетного дела, которое, как и повсюду, пожалуй, стояло и стоит у нас далеко не на высоте. А все курсы журналистики, которые вошли в моду в последние годы, способствуют лишь понижению литературного уровня. В газеты идут не по призванию, а скорее неудачники. Поэтому так мало у нас хороших профессионалов. Талант повсюду возьмет верх. Но обычный уровень занятий литературой для заработка, вначале часто случайно, не может быть высок. В «Р. В.» не было таких профессиональных журналистов — за исключением репортажа. Для работы в «Р. В.» требовалась известная специальность, известный научный и общественный стаж.

Может быть, это придавало газете слишком негазетный вид, слишком много академизма — профессорская газета. Газету считали скучной, но солидной и авторитетной. Это была газета-журнал, газета особого типа и, как таковая, делавшая огромную общественную работу, столь хорошо

отмеченную русской интеллигенцией разного направления в пятидесятилетие газеты.

Но надо сказать, если «Р. В.» давали школу серьезности, они совершенно убивали индивидуальность. Я долго не мог привыкнуть к тому до некоторой степени трафарету, который культивировался в газете, вероятно, бессознательно. В шутливой форме я говорил, чем хуже статья, тем лучше — она понравится редакции. И отчасти это соответствовало истине. Редакция не любила ни оригинальных подходов, ни тех отступлений, которые оживляют статью, ни лишних образов. Сухо и дельно, пожалуй, это был идеал. Может быть, однотонность и придавала характер академического беспристрастия, которое любила редакция. Нужны были факты, аргументация, но ничего действующего на чувство. Во всяком случае эта тенденция, отчасти выросшая на почве борьбы с цензурой, переходила границы. Привычка — вторая натура. И когда печать получила значительную свободу, «Р. В.» сохраняли свой тон. Во всем отрицательном есть и положительное. «Р. В.» в эпохи, так сказать, революционные умели сохранять свой корректный тон. И это большая заслуга. Может быть, «Р. В.» никогда не способны были зажечь энтузиазм своими статьями, но они никогда не потворствовали дурным вкусам толпы. «Р. В.» были воспитателями. Такой орган неизбежно становился общественной совестью. В этом отношении заслуги старых редакторов огромны. И, к сожалению, постепенно эта традиция с новыми веяниями стала изменяться. «Р. В.» по сравнению с другими органами русской печати постоянно оставались на высоте, но «Русские Ведомости» 1910–1920 гг. это уже не старые «Р. В.».

Но я пока говорю о первом периоде. Я мог бы хронологически «Рус. Вед.», в мою бытность сотрудником, разбить на три периода: период первый — до 1906 г.; период второй — редакция; период третий — новая редакция

Мануйлова, Розенберга и Игнатова. Я буду говорить о всех периодах.

Надо ли удивляться, что при той традиционной тенденции, о которой я говорю, большинство сотрудников газеты писали бесцветно. Каждый, вероятно, приспособлялся и к духу, и к стилю газеты, а приспособление всегда приводит к бездарности. Писательский талант культивируется в процессе работы, он усовершенствуется и возвышается. В этом отношении школа «Р. В.» была плохой школой журналистики. Самым ярким несомненно был В. А. Розенберг, обладавший незаурядными публицистическими способностями. Его статьи, однако, всегда подвергались известной редакционной обработке и, думаю, не только в видах цензурных. Мне кажется, и на моих писаниях «Р. В.» наложили определенный отпечаток — слишком юным я стал в них работать, чтобы сохранить свою индивидуальность. Как странно и не соответственно характеру у меня всегда выходили лучше всего статьи патетического и лирического характера, т. е. как раз то, что менее всего подходило газете. Но зато, когда нужно было писать такие статьи, я сделался впоследствии признанным авторитетом.

Занимая в обществе исключительно авторитетное положение, газета мало обращала внимание на критику, которая шла даже от читателей. Это была своя линия. Но обеспеченный успех всегда чреват некоторыми последствиями. Люди успокаиваются. Очевидно то, что они дают, удовлетворяет вкус потребителя. На «Р. В.» такое спокойствие сказывалось очень ярко. Не боясь конкурентов, они не считали нужным подтягиваться, импульсивно следить за жизнью, как требуется от газеты. Редакция из своей газеты делала как бы ежедневный журнал. Она не считала нужным опережать другие газеты со сведениями. Нет, лучше опоздать, но зато дать сведения проверенные и точные. Хорошее правило, но возведенное как бы в догмат,

лишало газету должной информации на животрепещущие вопросы. Газета не считала нужным посылать в командировку сотрудников — всякий раз, как возникал такой вопрос, на него шли только в крайних случаях и с неохотой. Здесь сказывалась не только традиция. В газете не было настоящего редактора, который задавал бы тон, намечал темы, раздавал бы их сотрудникам — одним словом проявлял бы живительную инициативу. Я могу говорить о Соболевском только в период, когда он уже был накануне дряхлости. Когда утомленному многолетней редакционной работой ему, конечно, не под силу было проявлять подобную инициативу. Но мне думается, что это до некоторой степени было и в натуре Соболевского, как редактора. Он умел привлечь видных сотрудников, умел гордо держать знамя газеты, о чем так ярко говорят опубликованные мною его письма к Скалону (опубликованные в «Голосе Минувшего»). Скалон был редактором другого типа. Идеальный редактор с точки зрения литературной работы: выправить статью и по содержанию и по стилю — это была его специальность. Такой редактор необходим в газете. Но инициативы и у Скалона не было. Анучин, как редактор, был совершенно бесцветным. К тому же он слишком много сам писал под всякими инициалами. Он любил говорить другим: «тот, кто знает, о чем писать, пишет коротко». И постоянно опровергал себя своими длиннейшими статьями на все темы. Когда он писал фельетоны в своей области, они всегда были ценны и интересны. Но, когда он начинал, например, писать о прачках и чуть ли не две-три статьи — это становилось скучно. Вообще общественный фельетон, потуги на который у него проявлялись, был не в его стиле. Мы, молодые сотрудники, в таких случаях неизбежно чувствовали обиду — наши статьи не шли часто за недостатком места, анучинским же излияниям, конечно, всегда находилось место. Тут

чувствовалось уже, что один писатель — хозяин газеты, другой — только наймит.

Эта черта проявлялась в газете и мешала установлению компактного и дружеского единства.

В сущности редакционная работа делалась до некоторой степени механически. Каждый сдавал по своему отделу то, что считал нужным.

При своей типографии лишний набор не ценился. И поэтому очень часто образовывалась куча материала, забракованного редакторами, которая от времени до времени поступали в разбор. Редактор знакомился уже ночью с набранным материалом и выбирал то, что считал нужным. Для него это представляло удобство, но зато он никогда не был хозяином материала. Также приблизительно писались статьи. Каждый следил за своей специальностью и приносил статью, когда считал нужным отметить то или иное явление. В этом была и хорошая сторона, ибо ни одна редакция не в состоянии следить за всеми отраслями жизни. Но ясно, что в идеальном типе газеты должна соединяться инициатива сотрудника с инициативой редакции, которая сама выделяет ту или иную тему. В «Р. В.» этого почти никогда не происходило — лишь в исключительных случаях, когда жизнь ставила ребром какой-нибудь вопрос. Если сотрудник не приносил передовой статьи, то обычно Соболевский или Скалон спрашивали, нет ли какой-нибудь статьи. Были у нас сотрудники, как, напр., позднее А. Н. Максимов, которые на любую тему и в любое время могли написать статью. Драгоценное качество для газетного сотрудника. Но мудрено ли, что такая статья по большей части являлась трафаретом. Иногда бывало — нет статьи. Тогда вынималась какая-нибудь залежалая статья и пускалась. Понятно, что порой передовая статья в газете совершенно не отвечала на запросы момента.

Пусть статья полежит — пожалуй, это было правило для газеты. Очевидно, она от этого становилась лучше.

Происходили на этой почве даже курьезы. Раз Соболевский поместил, как новинку, какой-то заграничный фельетон, написанный за два года перед тем и пролежавший благополучно в его редакционном ящике. Помещен этот фельетон был как крайне интересный. Т. И. Полнер по этому поводу всегда юмористически ужасался, что вдруг Соболевский напечатает его рассказ, принятый к печати лет шесть тому назад. Такой рассказ действительно был, и за него Полнер получил аванс. И считая этот беллетристический свой опыт неудачным, боялся его появления. Конечно, это была полушутка.

Редакция и не могла в сущности проявлять достаточно инициативы. Уверенные в себе редакторы не считали нужным даже вращаться в разных общественных кругах. Общественное мнение к ним шло само. Как я говорил, не было видного писателя, видного общественного деятеля московского, петербургского или провинциального, который не считал бы своим долгом проездом побывать в редакции. Конечно, для органа общественного мнения этого всего было мало. Но «Р. В.» хотели творить общественное мнение, а не откликаться на него. Много положительного было в такой тенденции, но, как всегда, и здесь была крайность, почему в 1904–5 гг., когда общественное мнение стало высказываться самостоятельно, «Р. В.» начали часто отставать — просто по незнанию. Впрочем, следует оговориться, что редакторам в это время было уже под 60 лет и, конечно, при сложных редакционных функциях и технического характера, им почти невозможно было следить за общественными течениями путем непосредственных наблюдений в жизни.

Одним словом чувствовалась необходимость некоторого обновления сил редакционных, некоторых реформ — особенно, когда началось общественное возбуждение эпохи первой революции. Такое обновление произошло.

Пошло ли оно на пользу газете? Но ответом на это будут те страницы моих воспоминаний, которые посвящены второму периоду в истории «Рус. Вед.» за бытность мою их сотрудником.

Возвращаюсь снова к лицам. Соболевский относился всегда ко мне корректно и доброжелательно, но близости у меня с ним не было. Хотя по последующим свиданиям в эпоху уже отставки его, по той откровенности, с которой он говорил со мной о своем выходе из «Р. В.», по нежной надписи на портрете, им мне подаренном, по-видимому, он относился ко мне с известной даже теплотой. Может быть, Соболевский вообще не проявлял своих чувств. Вся его фигура, чрезвычайно корректная и франтоватая (он любил изысканно одеваться до последних дней, его страстью были галстуки, и надевал он буквально новый галстук каждый день; запас у него был их в несколько десятков) не располагала к интимности. Корректность отличала Василия Михайловича по отношению ко всем сотрудникам. Эта внешняя строгость делала то, что его все немного боялись и тем не менее охотнее всего все-таки шли к нему, напр., чтобы получить аванс... Его всегда отличала большая внутренняя замкнутость, объясняемая, вероятно, отчасти глухотой. Напр., я только в годы отставки узнал и увидел, что Соболевский является любителем и собирателем гравюр, что у него их хорошее собрание. Никогда ни от кого из сотрудников, даже бывавших у него (я бывал очень редко), я не слышал об этом; никогда этого интереса ни в чем не проявлял он в редакции, правда, в общем довольно равнодушной в то время к живописи и иным видам искусства.

Может быть, наши отношения и приобрели бы более интимный характер, если бы установились вполне добрые отношения с домом на Воздвиженке. Но этого не произошло и по многим причинам. В. А. Морозова рисуется мне совсем в ином виде, чем она, вероятно, будет фигурировать во мно-

гих воспоминаниях, и чем она являлась в глазах многих моих старших современников из литературного мира, постоянно бывавших у нее и считавшихся в числе ее друзей...

Хлудовская натура в ней сказывалась необычайно резко. Как мало подходил такой тип к благородному джентльменству редактора «Русских Ведомостей». Я познакомился с В. А. Морозовой ранее еще исступления в «Р. В.». У нее почти каждую неделю происходили литературные собеседования, на которые я был кем-то приглашен. Главенствовал там в то время популярный и крайне радикальный И. И. Иванов. Человек несомненно больших дарований, но чрезмерно много писавший и буквально исписавшийся. С ним даже произошел анекдот. Он доказывал как-то, что человек не может писать больше 50 листов в год. А какой-то досужий любитель подсчитал, что в этот год И. И. написал сам 52 листа. В мое время он уже не участвовал в «Р. В.». Известна последующая судьба Иванова, сделавшегося из радикала крайним консерватором и прославившегося своими поступками доносительными в качестве директора Нежинского лицея. Применительно к своим новым взглядам Иванов переделал даже свою книгу о Тургеневе, получившую во втором издании совсем иное направление.

Другим лицом, принимавшим участие в устройстве бесед у Морозовой, был небезызвестный в Москве В. Е. Ермилов, прежде активный сотрудник «Р. В.», давший ряд хороших статей по средней школе, но в мое время почти уже не появлявшийся на страницах «Р. В.», спускавшийся постепенно все ниже и ниже в своем литературном реноме, писавший в газетах другого ранга и в общежитии именуемый не иначе, как «Ермишка». А человек был тоже талантливый. Но его заело балагурство. Он мнил себя хорошим рассказчиком и действительно был таковым. Только он был слишком однообразен и поэтому в большой дозе скучен. Это был как бы дивертисмент на литературных беседах

Морозовой. О Ермилове можно также сказать, что этот человек исписался. Историк по образованию, участник серьезной печати сделался в конце жизни типичным газетным работником. Женился, пошли дети, и Ермилову уже не очень приходилось разбираться даже в направлении газеты, в которой работал. И, как всегда бывает, такие люди находят легко себе работу в меленькой печати, но не имеют никакого общественного положения и влияния в литературном мире. А замашки оставались старые. Отсюда вытекало то некоторое нахальство, которое его отличало. Он мог явиться незваным в чужой дом — и раз был случай, что его не пустили, и хозяйка должна была прямо сказать, что она его не звала.

На литературных беседах у Морозовой собиралось много молодежи. От того ли, что я редко в сущности на них бывал, они не оставили у меня в памяти никаких следов.

Скоро у меня завязались некоторые «деловые» отношения с Морозовой. Дело в том, что в Москве издавался популярный журнальчик «Народное Благо», который погибал от безденежья. Его взял тогда в свои руки Ермилов, получив от Морозовой некоторую сумму денег на издание — кажется 5000 р. Скоро деньги были истрачены. В поисках и денег и организации, могущей поддержать журнал, Ермилов натолкнулся на меня — вероятно, это было в 1902 г. Я заинтересовался делом. Привлек к журналу кое-какие деньги, кое-каких товарищей, интересовавшихся популяризацией. Но и в новой комбинации ничего не вышло. Ермилов хотел быть самостоятельным — и тут коса нашла на камень. Кружок, сорганизованный мною, хотел непосредственно участвовать в редакции. В конце концов мы разошлись, и «Народное Благо» вскоре погибло, как, вероятно, оно погибло бы и при нашем участии.

Для издания популярного журнала в то время надо было иметь большой денежный запас или соответствую-

щего мецената. Мне вместе с Н. Н. Тугариновым, привлеченным к журналу, пришлось поехать к Морозовой, как к пайщице журнала, и совершенно ясно было, что Морозова дала 5000, чтобы помочь Ермилову, но вовсе не склонна была патронировать журнал. Это не было сказано, наоборот, были произнесены многие хорошие слова, но это ясно было из всего тона беседы.

Конечно, не было основания требовать, чтобы Морозова поддерживала «Народное Благо». Но мне хочется отметить, что благотворительность Морозовой всегда имела показной характер — она давала много там, где это было видно или там, где это было полезно для ее общественного положения, которое она весьма ценила. Так она дала Михайловскому 80 т. для «Русского Богатства». Давала ли она на первых порах «Рус. Вед.» — не знаю.

Как к известной прогрессивной благотворительнице, к ней обращалась масса людей, но доступ имели только люди с именем. Когда к ней приходили с просьбой от человека с видным общественным положением, просьба исполнялась. И. П. Белоконский [19], постоянно бывавший у Морозовой во время своих приездов в Москву и по своему добродушию все оправдывавший, рассказывал мне, что он сам видел, как многочисленные просьбы в письменной форме бросались в большую корзинку, которая стояла за креслом Морозовой... Были такие случаи, когда какая-нибудь девушка из провинции, желающая продолжать образование, обращалась за помощью к Морозовой и присылала документы, которые кидались без ответа в ту же корзинку. Миллионерша не считала даже нужным завести секретаря, который разбирал бы эти маленькие просьбы.

Но такова была интимная сторона. Показная была иная. У Морозовой бывали все выдающиеся литераторы и

---

[19] Писатель-народник.

общественные деятели. У Морозовой в 1905 г. происходили различные общественные собрания. Хозяйка радушно приглашала знаменитостей из всех лагерей — там впервые я слышал доклад «Непобедимого», т. е. Авксентьева. Там ломали копья социал-демократы. А позже я сам присутствовал на одном собрании, где хозяйка просто разогнала его, увидав, что оно не подходит ко времени.

Она была человек действительно самовластный, но когда это самовластие носило антиобщественный характер, оно было возмутительно, возмутительно тем более, что никто никогда не решался ограничить ее — очевидно миллионы гипнотизировали. На этой почве у меня произошло с ней крупное столкновение, поведшее к фактическому разрыву — больше я никогда у нее не бывал. Дело было в Лиге Образования — вероятно, в 1906 г. Я был членом Совета, она казначеем. Ее сын пожертвовал в Лигу 3000 р. на библиотечки. Как-то пресненский район, в котором скоро я выбран был председателем, и в котором было большое засилие с.-д., преимущественно большевиков, просил выдать из фонда Лиги на район несколько сот рублей. Кто-то указал, что нельзя давать, потому что там много социал-демократов. Подобная полицейская точка зрения, неприемлемая для беспартийного общественного учреждения, вызвала реплику со стороны покойного В. П. Шереметьевского, этого почтенного общественного деятеля, всеми москвичами уважаемого. Ему очень грубо ответила Морозова, заявившая, что она просто не даст денег. Председательствовавший Вахтеров, дружественный Морозовой человек, растерялся и постарался перейти к другим вопросам. Шереметьевский встал и ушел. Выходило, что Морозова нанесла публичное оскорбление Шереметьевскому, а Совет молчит. Мало того, казначей заявил, что он денег не дает, хотя прошло постановление Совета деньги, просимые пресненским районом, ему ассигновать. Я решительно запротестовал и

потребовал, во-первых, извинения, а во-вторых, разъяснения казначею, что пожертвованные деньги, хотя бы ее сыном, являются собственностью учреждения, а не собственностью казначея. Как ни заминал Вахтеров вопроса, а пришлось то и другое выполнить.

Как-то роковым образом во многих случаях жизни происходили одинаковые инциденты с моей будущей женой. И у нее произошло столкновение с Морозовой, и также на почве самовластия последней. Инцидент для Морозовой в высшей степени характерен. Вернувшись из-за границы, невеста моя... решила сделаться народной учительницей. Ее и устроили к Морозовой в школу в Клинском уезде. Но, приехав на место, П. Е. застала такую картину — плачущую учительницу, которая по требованию Морозовой должна была освободить место для новой морозовской кандидатки, за которую просили авторитетные голоса, и которая была дочерью московского светила в медицинском мире. Это и решило судьбу прежней учительницы — поистине Морозова поступала по-купечески.

Невеста моя, конечно, не взяла места и написала Морозовой отказ с соответствующей мотивировкой, а сама уехала в глушь в Черниговскую губ. младшей учительницей в школу, где старшей была Е. М. Величкина[20].

Все это в совокупности не могло, конечно, не отражаться на Морозовой, а рикошетом должно было отдаваться и у Соболевского. Но здесь уже область догадок — я никогда не видел на себе проявления недовольства какого-либо со стороны В. М. Соболевского. Наоборот, с каждым годом наши отношения становились ближе.

От редактора перейду в свой провинциальный отдел. До поступления в него А. В. Зарембы у нас метеорами побывали двое: А. В. Игельстром и Т. И. Полнер.

---

[20] Известная работница по народному образованию.

А. В. Игельстром — библиотекарь и лектор русского языка в гельсингфоргском университете — был постоянным корреспондентом газеты из Финляндии. Мягкий, малоподвижный человек — таким же он был и публицистом. Хороший, но бесцветный человек. Попал он во внутренний отдел потому, что одно время переехал в Москву. О нем, как и о его работе, можно сказать только одно — олицетворение добросовестности. Его было попытались приставить к выпуску газеты, но результаты получились лишь отрицательные. Слишком медлительным темпом он работал там, где все построено на живой энергии. Выпуск им газеты ознаменовался целым рядом скандальных для газеты промахов, почему его и отставили вскоре от этой работы. Дружба его со Скалоном на почве интересов к финляндским делам сразу ввела Игельстрома в нашу компанию и поставила его несколько в стороне от других сотрудников.

Полной противоположностью холодному финну был Полнер. Вспыльчивый, как огонь, полный живости, инициативы и энергии он совсем не подходил к «Русским Ведомостям». Только его исключительная щепетильность и корректность конкурировали с джентльменством Соболевского. Нет, превосходили во много раз. Даже во внешности была подчеркнутая корректность — Т. И. входил всегда в перчатках; с изысканной предупредительностью вскакивал, раскланивался, но это была только внешность — оседлать себя Полнер никому не давал.

С Т. И. у меня впоследствии установились самые тесные, дружественные связи, которые не порвались и в момент, когда я пишу эти строки — правда, он в Париже, а я во внутренней тюрьме Особого Отдела. Встретимся ли когда-нибудь еще! О Полнере мне много и часто придется говорить по связи с рассказом о ходе моей жизни. Фигура этого человека исключительных дарований столь ярка и

оригинальна, что на ней стоит остановиться. Здесь я ограничусь только рассказом о сотрудничестве его при мне в газете. Он одно время уже был постоянным работником «Р. В.», введенный туда Мануйловым, с которым у него были и дружественные и, кажется, даже родственные отношения. Но тогда он не ужился. Не ужился и во второй период своего сотрудничества. Неуживчивость вообще была· отличительная черта Полнера, вернее он не мог долго заниматься одним и тем же делом. Хватался за другое, охладевал к нему, брался за новое, где проявлял, как всегда, массу энергии и инициативы — и все это для того, чтобы потом заняться новым делом. Быть может, только его работа в Земском Союзе носила несколько более постоянный характер. Думаю, что здесь значительную роль играли связи с Г. Е. Львовым. Может быть, инстинктивно Полнер держался за Союз, так как других корней в течение своей жизни он нигде не пустил вследствие своего обычного разбрасывания. Его карьера действительно изумительна по своему разнообразию и дает пояснение его литературной физиономии.

Сын действительного тайного советника, сенатора, известного судебного деятеля, человека строгих консервативных правил, Т. Ив. бросает университет, чтобы сделаться... артистом. Играет в провинции, играет в столице, даже на сцене Московского Малого Театра подвизается вместе с Ермоловой. Но приходит к убеждению, что никогда не будет великим артистом. Решает быть литератором. Пишет блестящую, небольшую работу об английском театре — о Гаррике по заказу Павленкова. Вновь поступает в университет и кончает юридический факультет. Женится и отправляется заниматься сельским хозяйством в имение жены в Тульскую губ. Решается в целях усовершенствования поступить в Петровскую Сельскохозяйственную Академию. Но через год или два бросает

Академию, жену и хозяйство. Тогда он появляется в «Р. В.» — к литературе его тянет, это его слабый пункт в течение всей жизни. Он любит театр, искусство — именно в этих областях он хочет писать. Но это ампула занято в «Р. В.» И. Н. Игнатовым, как никто, зорко следящим за тем, чтобы кто-нибудь не нарушил его монопольных прав. Полнеру остаются в удел отчеты о второстепенных пьесах. Никакой самостоятельности, никакой оригинальности во взглядах проявлять не приходится. А именно этого-то и хочется Полнеру. Осторожность Игнатова, отстранение талантливого человека, во всяком случае стремление не дать ему выдвинуться, лишь усиливало тот общий фон единообразия, который царил в академической газете. Попытка Полнера не удалась. Он объяснял неудачу только влиянием Игнатова, к которому в силу этого, может быть, относился с чрезмерным отрицанием. Он считал его бездарным литературным критиком, скучным и шаблонным театральным рецензентом и вообще плохим писателем. К тому же интриганом. Мне всегда приходилось защищать несколько Игнатова. Человек он был действительно с большой дозой неискренности и лукавства — при чрезмерно большой внешней любезности скрывалось подчас недоброжелательство. Я это и чувствовал, и знал. Может быть, у него не было прямых интриг, но всегда могла быть закулисная политика. Человек он не больших дарований и, конечно, уступавший Полнеру и в темпераменте, и в смелости мысли, и оригинальности. Но Игнатов был неплохой писатель, и неплохой литературный критик, и неплохой рецензент. Каков он был как беллетрист, не знаю, ибо рассказов его, печатавшихся под псевдонимом Астахов, я не читал. Вероятно, плохой, потому что он никогда потом не возвращался к беллетристике. Как писатель, он был настоящим выучеником «Русских Ведомостей». Эта чрезмерная осторожность и приучила его, как мне кажется,

никогда не высказываться с достаточной определенностью. «Русские Ведомости» были газетой реалистической, газетой старой литературной школы, старых традиций и симпатий. Может быть, Игнатов чувствовал некоторое тяготение к новым писателям, может быть, боялся прослыть ретроградным, что, думается, говорило в нем сильнее — но все это заставляло держаться полутонов. Отсюда и кажущаяся его бездарность. Между тем человек он был неглупый, много читавший и много знавший, умеющий схватить сущность и дать ей оценку. Между прочим, очень недурной популяризатор, как видно по его книжкам, появившимся после 1905 года.

По природе Полнер и Игнатов были двумя полюсами, и ужиться им вместе было трудно, особенно раз и интересы их литературные сталкивались. Полнер считал Игнатова как бы причиной своей литературной неудачи. Конечно, здесь более всего была виновата натура Полнера. Он менее всего занимался писательством, между тем как ему больше всего хотелось быть признанным писателем. Ему не удалась литературная карьера, отчего болезненно страдало его самолюбие.

После «Р. В.» Полнер занялся статистикой и заведовал статистическим бюро тульского губернского земства; любопытно, взяв на себя организацию местной статистики, он никакого отношения к ней до тех пор не имел; но со своим организаторским талантом, со своим умением освоиться быстро с предметом, вдуматься и вчитаться в него, он сделался, как отзывались специалисты, одним из лучших заведующих.

Мог ли такой человек уже с известным общественным стажем при втором своем проникновении в «Русские Ведомости» удержаться в них? Конечно, нет. Ему поручено было делать обзоры печати и затем писать как бы маленькие общественные фельетоны на вопросы провинциальной жизни.

Но в обзорах печати требовалась строгость и выдержанность, то же и в общественных фельетонах. Полнер скоро не выдержал марки «Русских Ведомостей» и сбежал в «Курьер», в котором, как я говорил, стали концентрироваться молодые литературные силы. Нашу совместную работу приходится тем не менее вспоминать с удовольствием — Полнер оживлял наш отдел своими постоянными остротами. При нем по крайней мере было весело сидеть и исполнять довольно таки однообразную работу по составлению провинциальной хроники.

Однажды Т. И. вовлек меня в совсем неподходящую для меня литературную работу. В Благородном Собрании происходил какой-то благотворительный вечер, на котором М. А. Стахович должен был прочитать отрывок из нового романа Л. Н. Толстого. Полнер убедил редакцию в необходимости дать об этой вещи подробный отчет-изложение. Редакция, убедившись его доводами, командировала его, и он меня пригласил себе на помощь. Мы должны были на следующий день воспроизвести рассказ Толстого, прослушавши его раз. Для меня это оказалось каторжной работой. Как я ни слушал внимательно чтение Стаховичем отрывка Толстого в огромной зале, ухитрился записать очень немногое. В сущности работу выполнил почти всю сам Т. И. и, надо сказать, довольно удачно. Отрывок Толстого появился в виде большого фельетона. Не знаю, как сам Толстой остался ли доволен воспроизведением в таком виде своей вещи.

Теперь я должен перейти к своему дорогому другу покойному Антону Владиславовичу Зарембе, к одному из лучших людей, которых когда-либо я встречал в течение своей жизни. Его оценку мне пришлось дать тотчас же после его смерти на столбцах «Русских Ведомостей». Правда, мой некролог был необычайно сокращен Соболевским, который, очевидно, считал, что я слишком пре-

увеличиваю личность А. В., который не имел крупного имени, так как стал заниматься литературой поздно, а судьба уготовила ему слишком скорый конец — он умер 43 лет. Таким молодым, хотя на вид ему было гораздо больше... Я так сожалею, что у меня не сохранился оригинал моего некролога. Написанный под непосредственным впечатлением тяжелой для меня утраты, написанный в дни молодости он передавал всю силу переживаемого тогда чувства. Второй раз так написать нельзя. И в том урезанном виде, как моя статья появилась в «Р. В.», очевидно она производила известное впечатление, так как выдержки из нее появились в польской печати, а затем она была перепечатана в переводе на польский язык в брошюре, посвященной А. В. Зарембе и изданной, кажется, московской польской колонией. В другом месте я воспроизвожу эту статью, озаглавив ее теперь «Русский поляк». С полным правом помещаю ее в своей книжке «На страже общественности», так как Заремба был поистине один из тех, которые стояли на страже общественности, общественности русской и польской. Это может показаться странным. Самый горячий польский патриот был в то же время самым страстным страдальцем о русском народе. Велико сердце тех, которые умеют сочетать столь противоположные начала. И русские, и поляки могут оспаривать имя Зарембы — он принадлежал и тем и другим...

А. В. Заремба как бы вплотную вошел в мою жизнь. Он искренне полюбил меня, как искренне любил и я его. Он стал не только моим другом, но и другом моей жены. Его жена стала нам столь же близким человеком. К А. В. Зарембе мне придется возвращаться еще не раз и по связи с рассказом о «Русских Ведомостях». Он сделался третьим в том триумвирате, который скоро стал представлять из себя наш внутренний отдел, который поистине жил в газете, как бы особой жизнью. Заремба попал в «Русские Ведомости»

через Соболевского. В «Русские Ведомости» можно было попасть только по протекции. У Соболевского был близкий друг доктор Томсон, Заремба дружил с товарищем Томсона, известным московским педагогом, историком литературы Ф. Ф. Нелидовым, автором хороших очерков по истории русской литературы, к сожалению не получивших той известности, которую по справедливости заслуживали. Их объединяла любовь к музыке. Нелидов был недурной виолончелист. Заремба, сын музыканта, брат известного дирижера, хотя сам не играл ни на каком инструменте, был страстный любитель музыки. Она, как нельзя более, подходила в его чуткой душе. До поступления в «Рус. Вед.». Л. В., математик по образованию, служил на постройке железной дороги. Но в конце концов ему эта служба до чертиков надоела. Публицистикой он стал заниматься, вероятно, когда ему уже было около 35 лет или несколько даже больше. Отсутствие сноровки в молодости делало то, что А. В. писал медленно. Но зато каждая его статья была чеканной и по мысли и по форме изложения. У него не было яркого публицистического таланта, но был удивительно правильный язык. А. В. скоро сделался у нас всеобщим критиком для молодых сотрудников. Прежде чем давать статью редактору, всегда показывали ее А. В., и он выправлял ее с точки зрения стиля. И делал это далеко не я один. После его суровой критики с большей легкостью бывало несешь статью. Для меня его указания являлись огромной моральной поддержкой. Я всегда страдал и сомневался, когда моя статья не шла. А вдруг моя статья действительно плоха. Авторитетное мнение А. В. рассеивало сомнения. И когда статья получала одобрение А. В., мне решительно уже бывало все равно — идет она или нет; подвергается ли изменениям в духе Анучина или нет. Публицистический зуд, желание ответить на вопрос, который тебя волнует, удовлетворял самый факт написания

статьи. Я не думал, что моя статья должна появиться в целях пропаганды и общественного служения. До такого самомнения в молодости я не доходил.

Человек возвышенной доброты, Заремба всегда был полон мыслями о других и заботами о них. Никогда и ни в чем не отказывая, А. В. между тем был на редкость ворчливый человек. Он все время брюзжал. И как иногда ошибочно бывает первое впечатление. Когда он появился впервые в редакции, у меня осталось от него скорее неприятное впечатление. Таково, кажется, было и впечатление Шестакова. Но как скоро это изгладилось. Когда «пана» не стало, я казался себе уже чужим в редакции — так сроднились мы даже в работе.

Заремба сдружился и со Скалоном. В. Ю. не мог не ценить такого прямого и искреннего человека. Заремба, несмотря на перепалки из-за польского вопроса, прекрасно видел широту миросозерцания Скалона, видел, что он совершенно чужд какого бы то ни было шовинистического задора. Таким образом с поступлением Зарембы в редакцию нашего полка как бы прибыло.

Вскоре, накануне 1905 г. поступил в редакцию А. Н. Максимов. Это был человек иного калибра, и иного склада, чем Заремба. Поступил он через Петровского. Первоначально на очень скромные роли — библиотекаря. Библиотекарем, надо сказать, он был из рук вон плохим, совершенно не интересуясь этим делом и взяв такую работу по нужде. Он сидел, занимался своей этнографией, а книги были сами по себе. Он никогда не записывал, кто брал книгу — книги таскали, и в его библиотекарство в огромной библиотеке «Р. В.» сделана была большая брешь.

Но Максимов очень умело, медленно и верно делал карьеру в «Русских Ведомостях» — он сумел сделать себя необходимым. Он прекрасно умел учитывать дух и предвидеть события. Это был человек не нашего лагеря, скоро

сделавшийся даже, пожалуй, одним из наиболее враждебных элементов. Человек интриги, хотя и мелкой. Показателем может служить та ненависть, с которой к нему относились корректора, метранпажи и даже рабочие. Выпуская газету, он всегда отмечал те или другие промахи работников и косвенно или прямо доводил о них до сведения редакции. Я не считаю Максимова человеком даровитым. Человек больших и довольно разносторонних знаний не только в своей области этнографии, но и в государственном праве, с огромной памятью, подчас исключительной, из ряда вон выходящей работоспособностью — он был по существу золотым человеком для редакции. Прежде всего это был ходячий справочник, который мог писать, как я уже говорил, любую статью на любую тему и в любое время. Стоило сказать редакции: А. Н.! нужна статья... «Ну что же — ответит он на своем несколько шепелявом языке — можно». И тут же, обмакнув перо в чернильницу и выведя наверху страницы для гонорара свою фамилию, он начинал писать своим ровным, отчетливым, закругленным почерком. Вот писатель, который, вероятно, никогда не испытывал мук творчества, никогда не испытывал увлечения, никогда его перо не дышало местью, никогда оно не вдавалось в пафос или лирику. Все было спокойно, взвешено и вразумительно. Это был человек — на все руки мастер — он принимал петербургский телефон, он вел все подсчеты во время выборов в Государственную Думу, он, наконец, под именем Оглина заменил в «Р. В.» в качестве военного обозревателя Михайловского. Он понемногу себя готовил к этой замене, как бы предчувствуя, что ему откроется такое амплуа. Во время японской войны Михайловский, пожалуй, был лучшим военным обозревателем. Любопытно, что он никогда не был военным, а, как известно, не выходил из статистики. Это была какая-то исключительная любовь. И пока Ми-

хайловский не сделался своего рода знаменитостью, он был недурной военный писатель, может быть, именно потому, что не был военным и обладал известной широтой взгляда. Перейдя в «Рус. Слово», он стал никуда не годным обозревателем. Считая себя «знаменитостью», вдавался в пошлый тон, неудачно пророчествовал и в сущности погубил свою литературную репутацию, которая вначале складывалась так хорошо. Оглин-Максимов обладал многими качествами Михайловского — его памятью и его формальными знаниями. При своей памяти Максимов, можно сказать, назубок выучил все военные силы России и изумлял Соболевского своими знаниями. Эти формальные знания и дали возможность Максимову прослыть за стратега. Другими словами Оглин стал впадать в те ошибки, что и его предшественник. Но это было в новую войну, когда я для редакции был уже чужим человеком.

По существу Максимов, может быть, был и недурным человеком, судя по отзывам хотя бы знавшей его более интимно Е. Д. Кусковой, но должен сказать, с откровенностью, что подобные люди никогда не пользовались моим расположением. Это эгоистическое равнодушие, холодность решительно ко всем, расчетливость и умение до некоторой степени приспособляться как-то не располагает к близким отношениям с человеком. И я думаю, что Максимов вообще был чужд всем в редакции.

К эпохе первой революции среди сотрудников стало сказываться расслоение. И прежде всего в партии «еврейской» — буду ее так уже называть для упрощения. М. Г. Лунц был определенный социал-демократ. Это был талантливый экономист, но чрезмерно самомнительный и самонадеянный, относящийся ко всем свысока и даже с известной дозой презрения. Может быть, здесь сказывалось и его болезненное состояние — у него был порок сердца, который преждевременно и свел его в могилу.

Лунц несомненно сделался бы крупным публицистом — у него к этому были все задатки. В 1905 г. он стал отходить от редакции, расходясь с ней в основных своих воззрениях.

Другой социал-демократ у нас был Ландау, скоро тоже оставивший редакцию. Его цинизм по отношению к газете необычайно возмущал П. М. Шестакова, человека не слишком сентиментального по натуре. Раз произошло даже очень крупное столкновение, когда Ландау, придя к нам в отдел, заявил, что его с газетой связывают только одни деньги. Шестаков заявил, что он отказывается подавать руку такому человеку[21].

Позже в редакции появились еще три марксиста. Один из них мой младший товарищ по Университету В. А. Петрушевский, занявший место библиотекаря после возвышения Максимова. И несчастная же библиотека «Р. В.» — Петрушевский был к ней не менее равнодушен, чем Максимов. Являлся он усталый после уроков и отсиживал свои 2–3 часа, обыкновенно что-либо читая. В газете он совершенно не писал за исключением небольших изредка рецензий. Ему сильно покровительствовал по дружбе к дяде Петрушевского, историку Д. М. Петрушевскому, А. В. Заремба. Петрушевский В. А. был хороший и честный человек, считавший необходимым напускать на себя долю той циничной грубости, которая отличала Ландау.

Это был своего рода марксизм, как выражался его приятель В. И. Дроздов, сделавшийся помощником секретаря редакции. Дроздов, агроном по образованию, при-

---

[21] Любопытно, как попал Ландау в «Р. В.». Это был, может быть, единственный человек, поступивший без протекции. Что называется пролез. Он стал систематически появляться и просить разрешение почитать иностранные газеты. Сделавшись гостем, умел попадать на глаза Соболенскому. Случилось, что как-то понадобился переводчик для какой-то заметки. Ландау оказался здесь. Так он сделался сотрудником иностранного отдела.

ехал из провинции в 1905 г. Он был редактором какой-то газетки в Самарканде. Неглупый человек, но мало образованный, грубый — пожалуй, от происхождения (он был сын мелкого прасола), он как-то мало подходил к «Русским Ведомостям», даже, пожалуй, и вообще к подобным литературным кругам. В нем больше было не литераторства, а коммерции. Это прирожденный делец. И, уйдя из «Р. В.», он занялся стройкой домов, что ему подходило по натуре гораздо больше. Совратил он к подрядам и Петрушевского, который вместо педагогии стал заниматься подрядами. А жаль, так как молодой Петрушевский был далеко не заурядный педагог. Дроздов вообще плохо влиял на Петрушевского. И меня и Зарембу всегда возмущало их отношение к газете. Здесь были хозяева и сотрудники. Спора нет. Но мы все держались в газете как литераторы. Они же усиленно подчеркивали, так сказать, классовую рознь. Мы всегда старались ее смягчить и видеть в редакторах лишь старших товарищей — они только начальство.

Понятно, почему в «Р. В.» не создавалось дружной компании среди сотрудников, и эта самая авторитетная, самая старая из прогрессивных газет не объединяла своих сотрудников, если не в одну семью, то в один общий организм.

Работал в то время в газете еще А. К. Дживелегов. Он заведовал отделом «новостей науки, литературы и искусства». Прочитывая иностранные газеты, он делал соответствующие выборки о научных открытиях. И, Бог мой, какие иногда открытия появлялись на столбцах «Рус. Вед.» в области, например, медицины. Он находил средства излечивать рак и многое другое сенсационное. Велся этот отдел в общем крайне легкомысленно, и часто на него получались возражения даже со стороны читателей. В конце концов отдел естествознания, после нескольких скандальных открытий, стал просматривать Анучин. Легкомыслие это было свойственно как бы природе Дживелегова.

Исключительно талантливый человек, обладающий и большой памятью и большими знаниями, с редким даром легкости писания (это у него делалось по мановению какого-то волшебного жезла), он ко всему относился несколько поверхностно и легко. Дживелегова никак нельзя назвать человеком беспринципным. Хороший товарищ, твердый в своей политической позиции, он тем не менее по всему порхал. Он не переживал нервами жизнь, почему она давалась ему так легко. Поэтому у него никогда не было врагов, все к нему относились хорошо, поэтому в редакции совершенно бессознательно он балансировал между крайностями. В 1905–6 г. он перешел в другую газету, более радикальную, возникшую в Москве, которую стал издавать Саблин, где труд Дживелегова и лучше оплачивался, да и положение было более самостоятельное и почетное. Радикализм был, конечно, более идейным прикрытием. Помню, как насмешливо отнесся Соболевский на своем юбилее к речи Дживелегова, начавшего именно с этого идейного разногласия... Немудрено, что Дживелегов ушел. Это не был человек, который по существу привязывается к делу, да в редакции он и не занимал какого-нибудь определенного положения. А платили «Рус. Вед.» скромно; между тем образ жизни Дживелегова, женатого на красавице Нерсесовой, требовал денег. Поэтому деньги часто у него являлись на первом плане, хотя он сам далеко не был корыстным человеком. Но «Рус. Вед.» не прощали тем, которые от них уходили, и Дживелегов долгое время не мог вернуться уже в газету. Значительно позже стали вновь появляться его статьи, но уже при новой редакции и носили они характер случайного сотрудничества.

Для полноты характеристики редакционной работы следует сказать несколько слов о репортаже или о так называемой московской хронике. Дух «Р. В.» особенно сказывался на этом отделе. И это был большой плюс для

газеты с одной стороны, и большой минус с другой. Московской хроникой «Р. В.» существенно отличались от других московских газет. Здесь не было погони за сенсациями, не было сплетен и пересудов, не было вульгарного тона в описании убийств, семейных драм и пр. Но зато всегда происходило чрезвычайное опоздание с сообщениями о событиях. И особенно это ощутительно сказывалось в отделе театральном. Многие из самых преданных и серьезнейших читателей имели несчастье интересоваться театром и музыкой, хотели бы знать своевременно о театральных новинках, концертах, о записи на билеты, абонементах. Но по «Р. В.» за этим всем следить, значило всегда опаздывать и рисковать пропустить все сроки. Подчас сведения появлялись post factum. Виноваты, конечно, были театральные репортеры. Но их халатность, свойственная им по натуре, не компенсировалась настойчивыми требованиями редакции, для которой все это был лишь неизбежный и печальный как бы балласт в газете, цель которой общественное дело. Театральным репортером по драме был ленивейший Е. И. Филиппов, брат писателя беллетриста и составителя довольно плохих путеводителей по России, которые дали ему гораздо больше в обеспечение жизни, чем рассказы. Говорят, очень плохие — я никогда не читал.

По опере — В. Д. Соколов, отец певицы Соколовой-Кречетовой. Не знаю, каков он был в молодости, но в мое время это был горе-критик. Прежде в «Р. В.» был театральным критиком Кашкин, но, рассорившись с газетой, он перешел в «Моск. Вед.» — очевидно для музыки направление газеты не имело значения. Соколов оставался единственным критиком. Все его рецензии были построены на определенной, излюбленной терминологии — своевременного употребления слова «нюансировать» и т. д. Без нюансирования не обходился ни один отзыв. Человек

был он добродушный и старый. Редакция ему, очевидно, совершенно не доверяла, почему неизбежно все его заметки носили чисто формальный характер. Только с поступлением в газету Ю. Д. Энгеля, приблизительно в эти годы, изменился характер музыкальных отчетов. Энгель несомненно был одним из лучших музыкальных критиков. Сам музыкант, хороший теоретик, человек образованный, он давал именно то, что надо было газете, подобной «Р. В.». В позиции своей редакционной Энгель всегда ухитрялся занимать позицию промежуточную, что ему легко удавалось, так как по роду занятий ему не приходилось постоянно пребывать в газете.

Королем репортажа был старейший в то время репортер Ф. Н. Митропольский. Это довольно любопытная и характерная фигура, которая пользовалась большим расположением в газетном мире. Человек, соединявший определенный литературный вкус и традиции с репортажной богемой. Как репортер, он принадлежал к числу ленивейших. Может быть, по своей грузной комплекции ему и трудно было быть подвижным, тем паче и возраст уже в то время был не мал! Но обладая удивительной памятью, он почти стенографически записывал происходившее. Поэтому все его отчеты отличались обстоятельностью и достоверностью. Ф. Н. Митропольский совсем не был похож на беспринципных хроникеров, которые постепенно уже входили в моду и выращивались в газетах, вступавших на путь подражания западно-европейской печати. Это был хроникер старого типа, т. е. это был журналист. Но все-таки никакого значения руководящего, конечно, он не мог иметь. Его главным помощником был вечно нетрезвый Яковлев, сын старейшего метранпажа типографии «Р. В.». Он состоял преимущественно на хронике полицейской и похоронной, на другое он мало был способен. Патрон его также любил выпивать, пока ему строжайшим образом не было это окончательно запрещено врачами.

Вся беда «Р. В.» заключалась в том, что там не было заведующего отделом, столь важным в сущности для московской газеты. Теоретически руководителем отдела как бы считался А. П. Лукин. Но я уже говорил, что в то время он мало на что был способен — даже в своих фельетонах «Скромного наблюдателя». Редакция прекрасно чувствовала этот недостаток. Но трудно было найти человека, который взялся бы за этот отдел... С одной стороны основательно редакция боялась вводить к себе маленьких Дорошевичей — эта газетная беспринципность не подходила бы «Р. В.». С другой стороны бойкие репортеры высшего ранга ценились уже на вес золота, а скупые «Р. В.» никогда бы не решились на плату, значительно превосходившую то, что они обычно платили сотрудникам. Редакции казалось это и несправедливым. Но коммерция не считается со справедливостью; для нее вопрос о спросе должен стоять на первом месте. Составить же идейный репортаж, конечно, было немыслимо.

Только уже при новой редакции был приглашен на должность заведующего московским отделом И. Е. Эфрос, который давно добивался поступить в «Р. В.», ибо сотрудничество в «Р. В.» было как бы вывеской серьезного журналиста. Но редакция долго боялась сделать этот шаг, так как Эфрос свое газетное воспитание получил в лиснеровских «Новостях Дня», газете уличной сенсации. Эфрос, как умный и несомненно талантливый человек, достаточно образованный, сумел быстро приспособиться к тону газеты, и тем не менее приходится сказать: как ни усовершенствовалась при нем московская хроника, прежнее щепетильное благородство исчезло. Но это было уже во втором периоде — в газете обновленной и в редакции, и отчасти в сотрудниках.

Свои воспоминания о «Р. В.» в период дореволюционный я закончу рассказом о двух эпизодах, в которых мне пришлось играть известную роль.

Прежде всего при мне праздновался сорокалетний юбилей «Р. В.». Это было совершенно домашнее, скромное торжество, закончившееся обедом, который был организован для редакции, конторы и типографии тут же на открытом дворе здания «Рус. Вед.». Юбилей, однако, ознаменовался маленьким общественным скандалом. Главный бухгалтер газеты Ф. В. Головин был человек религиозный. Он в день юбилея преподнес Соболевскому икону, о чем и было напечатано на следующий день в отчете газеты о семейном ее торжестве. Однако нашелся в Москве радикал, потом далеко не оказавшийся таковым, который взбунтовался против такой по его мнению профанации либерализма «Р. В.». Не знаю, как он считал правильным поступить в данном случае — не принимать иконы, вернуть ее или сделать еще что-либо. Может быть, не публиковать об этом факте?

Но только он написал в редакцию грубое письмо. Отказываясь впредь получать газету, он просил оставшуюся от годовой подписки плату обратить в фонд для покупки просфор гг. сотрудникам. Сотрудники вообще были здесь не при чем. Но, если бы было даже по иному, все равно глупый поступок этот не мог остаться без реакции. Подписчик этот был не кто иной, как хорошо известный москвичам и личный знакомый многих сотрудников прис. пов. Н. В. Тесленко. Таким он был радикалом в те дни. В силу знакомства к нему пошла депутация, чтобы убедить его взять письмо обратно и тем закончить инцидент. Нам всем казалось, что, поразмыслив, Тесленко должен признать свой поступок по меньшей мере опрометчивым. Депутация состояла из Петровского, Шестакова и еще кого-то. Но Тесленко уперся на своей принципиальной позиции и извиняться не желал. Тогда наш внутренний отдел, к которому всегда присоединялся и Петровский, решил раззнакомиться с Тесленко. Тем и закончился этот

инцидент, о котором как-то совсем забыли, когда Тесленко, как видный кадет, стал появляться на столбцах «Р. В.». По-видимому забыл и он сам.

Другой инцидент происходил накануне революции. Начиналось общественное оживление... «Русские Ведомости» держали себя очень хорошо, подчас проявляя необходимую мужественность. Так «Р. В.» первыми en toutes lettres написали, что России нужна конституция. Статья была написана В. Ю. Скалоном. И когда на другой день он пришел в редакцию, мы все собрались и сделали ему шумную овацию. На почве этой гражданственности и произошел инцидент, о котором я говорю.

Общественное пробуждение началось, как известно, эрой банкетов. Первый банкет был банкет памяти сорокалетия судебных уставов, организованный в белом, так называемом колонном зале Эрмитажа 20-го ноября 1904 года. Мы, все сотрудники «Р. В.», были на банкете, одним из главных организаторов которого был И. А. Петровский, активный член Союза Освобождения. Председательствовал на банкете П. Н. Малянтович. Говорились радикальные речи, заправилом которых был московский прис. пов. П. П. Покровский, довольно поверхностный, говорливый соц.-демократ. Была принята какая-то радикальная резолюция, и было предложено требовать от присутствовавших на банкете редакторов «Р. В.», чтобы эта резолюция была бы напечатана на другой день в газете. Редакторы были застигнуты врасплох и в то же время были возмущены самой формой требования. Скалон ответил неопределенно: они дескать посмотрят и подумают. Тогда банкет превратился в какое-то сплошное издевательство над газетой, и председательствовавший не сумел направить беседу на правильный путь. Я был до крайности возмущен и здесь сказал свою первую политическую речь, сводившуюся к тому, что я приглашал тех, которые требуют так настойчиво гражданского мужества от «Р. В.», явиться на

другой день на назначенную уличную демонстрацию. Казалось, мое предложение было логично. Но у радикальной части собрания оно вызвало большой протест, и меня долго впоследствии попрекали этой неуместной речью. Знаю только, что моя речь чрезвычайно понравилась жене Благамберга, которая не знала, что я состою сотрудником газеты, и на другой день рассказывала в редакции о пылкой речи студента юноши. В это время как раз я пришел в редакцию...

«Русские Ведомости», как я уже имел случай заметить, держали себя безукоризненно в 1905 году. Они отнюдь в это время не были органом радикальным, сохраняя и впредь свою внешнюю беспартийность, они все время приближались к позиции к.-д. Но в 1905 г. под руководством старых редакторов газета умела все же сохранить старый облик органа независимого и нелицеприятного. Поэтому в газете не было излишней смелости, но не было и излишней трусости, того что так разительно было в органах типа «Рус. Слова». Откройте эту газету в последние месяцы 1905 г. и посмотрите первый № после московского восстания!

Эта независимость, неподчинение партийной догме давали возможность в газете писать людям разных направлений и тех разных политических группировок, на которые разбились былые сотрудники «Русских Ведомостей». Это создавало в газете некоторую независимость мысли — парламентом мнений «Р. В.» никогда не были.

Из эпохи 1905 г. я должен был бы вспомнить свою и П. М. Шестакова деятельность по Союзу издателей, в котором приняли участие, хотя и весьма малое, «Р. В.». Я и Шестаков представляли в сущности не газету, а образованное нами издательство «Свободная Россия», о котором я рассказываю в другом месте. («Г. В.» представлял М. Е. Богданов). Туда логичнее отнести и деятельность Союза, возникшего в целях захватным путем осуществить

свободу печати: воспрепятствовать типографиям посылать соответствующие экземпляры книг, плакатов и афиш в Цензурный Комитет. Инициативу взяли на себя издатели, к которым присоединился союз рабочих печатного дела.

Свобода была фактически достигнута, — ни одна типография не осмеливалась нарушить требования Союза. Общественное мнение было сильнее власти в моральном отношении. Роли переменились в 1906 г. после подавления московского восстания, и многие из типографщиков поплатились за свой подчас вынужденный либерализм.

В 1905 г. я в первый раз поехал в командировку от «Русских Ведомостей». Я говорил уже, с каким трудом газета всегда отзывалась на подобные предложения. В моей командировке вышло так, что ее инициатива в значительной степени вытекала из недр самой редакции. Правда, эта командировка совпадала с моим летним отпуском. Следовательно, речь шла о продуктивном использовании моего отпуска. Это было летом 1905 г. Первой реальной ласточкой свободы был, как известно, манифест 17 апреля, провозглашавший веротерпимость. Мне предложили поехать посмотреть, как осуществляется манифест, каковы настроения сектантов после манифеста и дать соответствующие очерки в газете. На поездку мне была отпущена не очень большая сумма, но по тем временам достаточная — около 200 руб. Запасшись адресами и протекцией, которой у меня уже было достаточно в этом миру, я отправился на юг и по совету А. С. Пругавина прежде всего заглянул в с. Павловки, знаменитое своим судебным процессом. Моя поездка и в Павловки и в другие места была описана в фельетонах «В поисках веротерпимости». Повторять здесь это описание, конечно, нечего. Мною собрано было много и другого материала, которого я не успел использовать в газете. Но это уже в сущности относится не к области личных воспоминаний. Материал, вероятно,

никогда не будет использован мною... Думаю однако: и то немногое, что я дал «Р. В.» после своей поездки, совершенно окупило редакционные затраты. Мои фельетоны обратили тогда на себя внимание: их много цитировали; министерство не могло не считаться с некоторыми фактами нарушения манифеста, на которые я указывал. Я получил много писем и между прочим приглашение от Л. Н. Толстого посетить его в Ясной Поляне. Толстой заинтересовался моими фельетонами главным образом потому, что Павловцы считались официально «Толстовцами», так как пропаганда пошла от толстовца кн. Хилкова, владевшего хутором в Павловках. И так как после нескольких лет я был первым, кому удалось проникнуть в село, отгороженное от всего мира полицейскими карантинами, Толстой заинтересовался моими впечатлениями. О своей поездке к Толстому я расскажу отдельно.

Странствование мое по югу в 1905 г. в качестве корреспондента «Рус. Вед.» закончилось некоторой катастрофой. Я израсходовал все деньги и телеграфировал в редакцию с просьбой немедленно перевести в счет моего личного гонорара 100 рублей. Это было в Одессе. Все сроки проходят, а денег мне «Р. В.» не шлют. Буквально не с чем возвращаться. Остается только, только на билет до Москвы. Я решил ехать. В Одессе у меня не было никого знакомых — обращаться в малознакомую редакцию местной газеты как-то не хотелось. Билет-то я взял до Москвы, но уже и Киеве я остался без копейки — пришлось даже чемодан нести на себе через весь почти город.

Что делать — даже нечего было заложить. А быть в Киеве целый день и ехать голодным до Москвы не очень улыбалось. В Киеве в это время был попечителем округа мой крестный отец, В. И. Беляев, бывший профессор ботаники в Варшавском университете. В сущности у меня с ним никаких связей не было. Я не помнил, когда он меня

крестил, не видел впоследствии за исключением похорон отца, на которых он случайно присутствовал и после которых он мне подарил фунт конфет. Этим и ограничивались все наши отношения.

Правда, как-то было неловко ехать к попечителю при таких условиях, в целях устроить заем. Но В. И. Беляев был очень хорошим человеком, добрым, мягким и благодушным. Консерватор по убеждениям, он не оставил о себе, кажется, хорошей памяти, как о попечителе.

И вот я у дверей квартиры попечителя округа в 11 час. утра. Лакей меня не хотел вначале пускать к «его превосходительству», так как я после своих странствований действительно имел несколько потрепанный вид, да и час был неурочный. Но мое категорическое заявление, что буду принят и визитная карточка возымели свое действие. Лакей пошел доложить, и я был немедленно введен к попечителю.

Встретил меня В. И. чрезвычайно радушно, как родного, познакомил немедленно с своей очень симпатичной женой и позвал обедать, узнав что я уезжаю вечером. Сам он извинился, что должен ехать на какое-то официальное собрание. Было ужасно трудно в такой обстановке просить денег, но все-таки в передней я попросил его дать мне 10 руб. (К стыду своему должен сказать, что этих денег так и не отдал ему вплоть до его смерти.)

Для меня был крайне интересен обед, на котором присутствовал тогдашний ректор университета. Не зная, что я сотрудник «Р. В.», он разливался перед попечителем разливанной рекой, рассказывая о своих кознях против либералов, так что попечитель, которому было неловко, все время должен был успокаивать расходившегося ректора. К сожалению, все детали этих разговоров в настоящее время у меня ускользнули.

Итак, заем дал мне возможность доехать до Москвы. Встретив меня в редакции, Соболевский сказал, что он рад

меня видеть живым, так как он собирался посылать деньга на мои похороны. Случилось, что, получив мою телеграмму, В. М. отложил ее, чтобы не забыть, и, как часто бывает в таких именно случаях, забыл. Он вспомнил как раз в день моего приезда, беспокоился и не знал, что делать...

В свою поездку я посетил в Харькове стариннейшего и преданнейшего сотрудника «Р. В.» И. П. Белоконского, с которым я и моя жена сдружились теснейшим образом. И. П. нельзя было не любить.

Но мне хочется дать его цельный облик, воспользовавшись его многочисленными письмами ко мне...

Описанием своей командировки я могу закончить рассказ о первом периоде своей работы в «Р. В.».

Второй период

В 1906 году приехал в Москву знаменитый берлинский корреспондент «Русских Ведомостей» Г. Б. Иолос. Он сделался помощником редактора, а вскоре и редактором газеты. О людях, погибших трагически, всегда неприятно вспоминать с дурным чувством. Между тем от Иолоса у меня осталось лишь чувство неприязни.

Хороший журналист, несомненно талантливый редактор, внесший много инициативы и много перемен в традиционный дух «Р. В.», Иолос в конце концов и для газеты, по моему мнению, принес только вред. Выбранный в Государственную Думу и примкнув к конст.-демократической партии, Иолос сделал ту ошибку, что постепенно стал превращать «Рус. Вед.» в полупартийный орган. Этим самым устранялась та широта, которая отличала «Р. В.» при старых редакторах.

Конечно, время было такое, что каждый должен был определиться; должны были определиться и «Р. В.». Трудность заключалась в том, чтобы, сохраняя свои прежние позиции, поддерживать то течение, которое стало первенствовать в газете. Иолос не сумел соблюсти этого равновесия. Впрочем, может быть, оно было и невозможно.

Как редактор, Иолос был мало похож на своих предшественников. Он с самого начала заполнил то место, которое в газете пустовало: редактора, проявляющего инициативу. Он, как подобает редактору, приходил в редакцию как бы с готовым номером, прочитав все газеты, решив, на что газета должна в той или иной мере откликнуться. Он приходил и по очереди давал всем сотрудникам соответствующую работу. Но, к сожалению, здесь он проявлял какое-то удивительное лицеприятие. Он работал почти только с теми, с кем у него установились хорошие отношения. К другим отношения были формальные. Вероятно, со многими сотрудниками он охотно бы расстался, в том числе со мной. Но он был только фактический еще редактор, не юридический — высшая власть принадлежала не ему.

Появление Иолоса в качестве редактора вовсе не было добровольным актом со стороны редакции. Редакция чувствовала необходимость обновить свои силы, учитывая сложность и трудность переживаемого политического момента, но подавать в отставку она еще не хотела. Но ее заставили это сделать. Да, это так, что бы не писалось в юбилейной истории «Р. В.». Об этом мне говорил не только Скалон, но впоследствии и Соболевский. Заставили постепенно. Шла систематическая кампания, направленная к определенной цели. Это-то и некрасиво было.

В сущности более чем нормально было бы установление правила привлечения сотрудников в число пайщиков газеты. Я в свое время указывал ненормальное положение в этом отношении заслуженных сотрудников, являвшихся отчасти как бы руководителями газеты. Совершенно естественно, что люди, отдавшие свои силы газете, хотели занять в ней более авторитетное положение, осязательно влиять на ее направление во всех областях, т. е. сделать газету своей. Такой проект и выдвинулся в 1906 г., но путь, по которому пошло осуществление, носил характер интриги

одной определенной группы сотрудников. Вел кампанию Герценштейн с Иолосом и Игнатовым по родственным связям. Кампания могла удасться только в случае привлечения на свою сторону наиболее авторитетных сотрудников газеты к лице Мануйлова, Якуткина и Розенберга. В сущности, эта группа была враждебна, как я имел уже случай указать, группе Герценштейна. Но с этим приходилось примириться. Старым редакторам было заявлено, что, если указанные лица не будут введены в состав пайщиков, а Иолос не будет сделан редактором, то они выходят из газеты и основывают в Москве новую газету. По-видимому Герценштейном, человеком, имевшим денежные связи по работе своей в поляковском банке, были сделаны в этом отношении некоторые обеспечивающие шаги. Любопытно, как мне говорил Скалон, инициаторы переворота говорили от имени всех сотрудников, с нами даже не переговоривши. Скалон был возмущен именно характером требований и решительно сопротивлялся проекту. Но Соболевский и другие испугались угрозы и уступили.

Таким образом изменился в первый раз состав пайщиков: некоторые товарищи стали хозяевами. От нас они скрывали это до момента превращения предположения в факт. Я знал о возникшем проекте через Скалона. Мы решили запросить наших товарищей по этому поводу, мы, т. е. Шестаков, Петровский, Заремба, Щепкин и я. Направились к Розенбергу В. А., к которому были наиболее близки. И мне до настоящего времени остается непонятным поведение Розенберга в данный момент, непонятным потому, что он всегда казался мне одним из наиболее искренних и благородных людей, к которому я чувствовал самое искреннее расположение. Он ответил Петровскому, который был к нему направлен, как старейший, что он ничего не знает о проекте. И это было, как потом выяснилось, накануне подписания нотариального договора. Одно

из двух — или с него было взято какое-нибудь обязательство со стороны герценштейновской группы, или человек, почувствовавший неловкость, неумело отперся. В жизни бывают такие случаи. Да позволено мне будет напомнить о моем инциденте с редактором «Курьера» Фейгиным. Другого объяснения я дать не могу, представляя себе облик В. А. Розенберга.

Итак, факт совершился. Мы решили, однако, подать заявление старой редакции, в котором, приветствуя введение сотрудников в число пайщиков газеты, указывали, что по нашему мнению следует установить это, как известное механическое правило, действующее на определенных уставных началах. Заявление подписали почти все сотрудники газеты. Не помню, подписал ли его Максимов — думаю, нет. Этот человек не любил портить своих отношений, не будучи уверенным в успехе. Редакторы нам сказали, что обсудят наше предложение, но оно так и пропало.

Скалон не согласился работать при новых условиях и уехал в деревню.

Естественно, что наше контр-выступление должно было лишь охладить наши отношения с новой редакцией. Иолос с самого начала почувствовал, как мне кажется, ко мне антипатию, вероятно информированный, что я нахожусь в числе друзей В. Ю. Скалона. Во мне видели до некоторой степени инициатора оппозиции — пожалуй, это и было так. Таков был весь наш внутренний отдел. К этому присоединялся и политический оттенок — мы считались в редакции радикалами.

Иолос в нас видел всегда каких-то заговорщиков, старался избегать нас и весьма неодобрительно смотрел на тех, которые к нам приближались. Отчасти по топографическому положению, отчасти по личным связям наш внутренний отдел был часто посещаем приезжими. В этом внутреннем отделе довольно открыто раздавались крити-

ческие голоса в беседах с друзьями. Все это не нравилось редактору. И любопытно, что Иолос довольно мелко мстил тем, которые неразумно сдружались с оппозицией. Наивный, как дитя, но такой же благородный и чистый Белоконский рассказывал мне одну характерную свою беседу с Иолосом, как с редактором. Не идут его статьи! Белоконский направился к Иолосу для выяснения причин и получил простое объяснение: а вы прежде, чем заходить к революционерам, заглядывали бы ко мне. Такова была сущность, конечно, ответа. Намек был слишком ясен...

Записано в тюрьме
Особого Отдела ВЧК летом 1920 г.

IV. Лица и встречи

С. Ф. Фортунатов

Покойный Степан Федорович Фортунатов был большой оригинал.

Прежде всего самая внешность, манеры, весь фортунатовский обиход столь разительные, что ими Степан Федорович в Москве прославился. Молодым я его не помню. Все такой же одинаковый в течение двадцати лет, как я с ним встречался. Он отличался исключительной неряшливостью, так что в шутку мы говорили, что у него природная водобоязнь. В этом отношении он представлял разительный контраст с своим братом, знаменитым языковедом, профессором Московского Университета и впоследствии академиком Филиппом Федоровичем. Такой же небольшой, такой же коренастый, только плотнее С. Ф., такой же обросший волосами, Филипп Федорович был образец корректности в одежде — всегда вымытый, чистый и с обязательным длиннейшим ногтем на мизинце, на котором красовалось кольцо с большим камнем, оттенявшим прославленный ноготь.

Степан Федорович — полная противоположность. С длинными ногтями, но только потому, что их не охота была стричь, неимоверно грязными и потому достаточно противными; никогда не мытый, всклокоченный, потому что, вероятно, никогда не причесывался; заросший волосами по той же причине, т. е. неохоты стричься, да и нежелания тратить деньги на эту ненужную роскошь — скуп был С. Ф. до болезненности. Всему этому облику соответствовало одеяние. Неимоверно засаленный, неизбежный, черный сюртук, достаточно оборванный, такое же порыжевшее пальто и соответствующая шапка. По внешности его никак нельзя было признать за преподавателя, да еще в женских учебных заведениях, а за какого-нибудь отставного причетника.

Соответственно этому облику была и манера держать себя, как-то весьма мало подходящая к привычному культурному обиходу. Фортунатов все преимущественно ел руками или во всяком случае ими все приправлял. Присутствовать при еде его было занимательно, но, должен сказать, и неаппетитно. На этой почве ходили о нем почти гиперболические рассказы, соответствующие, однако, действительности.

Таков был Фортунатов и в молодости, судя по инциденту, может быть, послужившему до некоторой степени причиной того, что он лишился «семейного счастья». Еще в бытность старых герьевских курсов[22], где Фортунатов читал свои неизбежные лекции о Соединенных Штатах и политических учениях, была у него слушательница, с которой, очевидно, у него стали устанавливаться несколько романтические отношения. Девушка принадлежала к помещичьей семье, и Степан Федорович получил приглашение

---

[22] Высшие женские курсы Герье (старые) были закрыты и открылись вновь через несколько лет в 1899 или 1900 году (*П. М.*).

летом приехать к ним в имение близ Козлова Тамбовской губ. Поездка на каникулы состоялась. И как-то — рассказывала мне впоследствии сама героиня Б. — С. Ф. изволил кушать утренний чай до ее вставания. Присутствовала только подруга. Чаепитие, очевидно, сопровождалось весьма фортунатовскими привычками, тем более плохими, что С. Ф. любил не только кушанья приправлять своими руками, направляя их в свой рот, но обычно он перетрагивал руками все, что лежало на столе, прежде чем выбрать подходящее для себя. Так было и здесь. На подругу все это произвело столь сильное впечатление, что, когда хозяйка вышла к столу и потянулась за булкой, та не удержалась и воскликнула: «Маруся! не бери, это трогал Степан Федорович». Очевидно, на лице подруги был написан такой ужас или отвращение, что Б. стала также слишком обращать внимание на привычки гостя. Так и расстроилась возможная свадьба. Много подобных инцидентов с едой бывало у Фортунатова. Он был общительный человек и любил посещать московские журфиксы. Был завсегдатаем у Шереметьевских, довольно известной в Москве четы. Он, Всеволод Петрович, — известнейший преподаватель математики; человек, отличавшийся большой прямотой и независимостью; образец благородной интеллигентской идейности; она — Анна Николаевна, сестра знаменитой Ермоловой, драматической артистки, известная поборница женского просвещения, основательница тех Коллективных Курсов, которые заполнили пробел высшего женского образования после закрытия старых герьевских курсов и существовали до открытия новых.

У Шереметьевских собирались по воскресеньям. Происходил традиционный ужин, и хозяйке здесь зорко приходилось следить за своим гостем — сажать его за стол так, чтобы кушанья ему подавались последнему, иначе грозила опасность, что С. Ф. залезет в них прямо своими руками.

Я сам однажды присутствовал при том, как Степан Федорович ел блины. В его манере для него, очевидно, было что-то особенно вкусное. Он положил блин к себе на руку, намазал маслом и сметаной и тогда с аппетитом его скушал, кажется, даже вообще не употребив ножа и вилки.

А вот еще подлинная сценка с натуры, запечатленная очевидицей. Фортунатов был приглашен как-то на обед к Шварцам — с последним он был товарищ по университету (немного моложе — однокашником был Ф. Ф.). Находились же люди, которые являли смелость приглашать его к обеду! Добавлю, что жена Шварца была образцом аккуратности. Надо только представить себе ее в обществе Степана Федоровича, у которого поднялась одна штанина, а под ней нет исподнего белья, и видна грязноватая нога... На несчастье к обеду был подан ростбиф с маринованными вишнями. Фортунатов кушал с удовольствием и в оживленной беседе косточки изо рта выплевывал не к себе на тарелку, а просто в воздух, грозя попасть на соседа и т. д. Но косточки попадали в силу экспансивности движения в стену с белыми обоями, и каждая косточка оставляла соответствующий след.

У самого С. Ф. бывали два раза в месяц традиционные пироги для товарищей и знакомых. Я не бывал на них, но слышал, что многие не решались, однако, к ним прикасаться. Думаю, что благо делали...

При такой манере еды нетрудно себе вообразить наглядно, какой должен был иметь вид и сюртук знаменитого московского педагога. Он редко делал себе новое платье. И был прав. Я помню, что он поразил нас всех однажды, явившись в редакцию «Р. В.» в новом сюртуке. Этой затратой он долго гордился. Но уже через несколько дней сюртук стал напоминать собой тот, который он сменил. Степан Федорович и спал в нем. Не знаю, как ночью, но послеобеденный сон нередко бывал в этом сюртуке.

Вообще на одеяние он смотрел просто. Как-то, явившись в четвертую женскую гимназию на урок, он забыл надеть галстук. Швейцар обратил на это внимание — неудобно де без галстука идти к девицам. Степан Федорович не усомнился. Отвернул полу сюртука, оторвал соответствующий кусок лохмотьев подкладки и повязался в виде галстука. Немудрено, что на классных дам заведений, где он преподавал, ложилась обязанность осматривать С. Ф. критическим оком, прежде чем пускать его в класс.

Многое в обиходе Фортунатова объяснялось именно его скупостью. Как-то мне пришлось позавтракать совместно с ним (такой пришел случай) в кофейной Филиппова; обошлось это по 60 коп. И долгое время он напоминал мне это незаурядное в его жизни обстоятельство. А у него были деньги. Откладывал он не на черный день, а так, как это делают неизвестно для чего вообще скупые люди. Аккуратно резал купоны и дрожал над каждой копейкой. Надо было только видеть, как он получал гонорар в «Р. В.». Руки даже начинали дрожать[23].

Всю жизнь он прожил со своей теткой, на обязанности которой лежали заботы по его хозяйству. Говорят, за достоверность не ручаюсь, что тем не менее он брал ежемесячно с брата Филиппа на содержание тетки. После смерти тетки или ее отъезда в Петербург, С. Ф. устроился жильцом. Платил он около 80 руб. в месяц за все содержание, в которое, кажется, входили и традиционные пироги. Он все к нам приставал, не слишком ли он дорого платит. Помню, что я на это сказал: «если с чисткой, так чрезмерно дешево». Но Степан Федорович на такие шутки не обижался.

У нас с ним были довольно хорошие отношения, хотя я никогда его слушателем в Университете не был. Потом отношения охладели. И повод был удивительный. Форту-

[23] Было принято несколько мелочи давать мальчикам, приносившим гонорар. На это С. Ф. никогда не мог решиться.

натов был довольно мелко самолюбивый человек, и при всем своем добродушии, отчасти кажущемся — отчасти лень была и ненавидеть — довольно злопамятный. Охладел он ко мне потому, что обиделся на брата моей жены, который начал слушать его лекции, а потом бросил. После этого С. Ф. перестал меня звать к себе играть в шахматы. Партнером его сделался потом Н. П. Губский[24]. И леность у Фортунатова была своеобразная. Он не был ленив на чтение, но с враждебностью относился к писанию. Поэтому статьи его являлись образцом коротких произведений. Статьи и заметки всегда писались на каких то обрывках бумаги. Подчас и их не бывало. Раз я был у него. Надо было что-то записать. Оказалось, не на чем. Тут из книги был вырван соответствующий белый листок и записано. Я слышал, что этот простой способ С. Ф. практиковал часто.

Когда он, наконец, приносил статейку в «Р. В.», то носился с ней, как курица с высиженным яйцом. Это было целое событие, о котором знала вся редакция стараниями преимущественно самого автора.

У С. Ф. были огромные знания в некоторых областях. Правда, кругозор его исторический был довольно ограниченный: Соединенные Штаты, английский парламент. Французская революция и политические учения. Этих тем он только и касался, как в своих писаниях, так и в своих лекциях. Как-то странно даже представить себе, что в молодости он был как бы конкурент самого П. Г. Виноградова и конкурент, по-видимому, опасный, за которым Виноградов тщательно следил. Лицо, видавшее много раз обоих в молодости, рассказывало мне, как Виноградов беспокоился, когда узнавал, что Фортунатов, например, отправился к Герье; прибегал к тетке Фортунатова и начинал ее расспрашивать по этому поводу: зачем и почему.

---

[24] Сотрудник «Р. В».

Может быть, природная лень помешала С. Ф. Но мне он никогда не рисовался выдающимся человеком. У него была лишь феноменальная память в особенности на хронологию. Он мог в любое время сказать, в каком году и в какой день Гладстон произнес ту или иную свою речь. По годам он помнил всех своих многочисленных учениц. Стоило кому-нибудь сказать год выпуска, как он вспоминал фамилии и всякие подробности из гимназической жизни.

Фортунатов больше был популярный лектор. В этом отношении у него несомненно были особые дарования, почему он и пользовался таким успехом. Для серьезно занимающегося студента Ф. не мог представлять интереса. Думаю, поэтому был он и столь популярным преподавателем. Конечно, в этом даровании большая ценность, которая покрывает все усовершенствованные методологические приемы преподавания. Фортунатов был учителем в этом отношении старого типа.

Эта черта создавала ему известный круг поклонниц. Ими он всегда был окружен и был благорасположен к такому почти институтскому обожанию. Поклонницы прощали ему и всю его нечистоплотность. Впрочем, последняя сделалась такой специфической принадлежностью С. Ф., что без нее это был бы не тот Фортунатов, занимательный именно своей своеобразной оригинальностью.

Я упомянул, что Степан Федорович был только по виду человеком большого добродушия, а в действительности был злопамятен. Как он ненавидел социал-демократов! И за то, что в 1906–7 г. на каком-то к. д. митинге, где выступал С. Ф., против него выступили с.-д. Это кажется смешным. Но именно так и было. Он начинал трястись от злости, вспоминая этот инцидент. Когда речь заходила о соц.-демократах, он начинал шипеть, плеваться и пропадало все его кажущееся добродушие. Это были моменты. Вообще же он был по лености своей равнодушен довольно ко всему и достаточно эгоистичен. Я много раз тщетно

пытался вырвать у него хоть самое незначительное пожертвование, когда мы, напр., делали в редакции какую-нибудь общую складчину для политических заключенных или по какому-нибудь другому аналогичному общественному поводу.

Степан Федорович был до последних своих дней аккуратным посетителем редакции: как при мне, так и без меня он каждый день заходил в определенное время почитать английские галеты. Для него это был как бы дневной клуб. Но вся жизнь редакции проходила, конечно, мимо него. Он в сущности ею не интересовался. Мне кажется, что в жизни он вообще интересовался только самим собою и никого не любил и ни к кому не чувствовал особой привязанности.

Во всяком случае такие типы встречаются не часто.

Тюрьма Особого Отдела ВЧК.
Лето 1920 г.

У Л. Н. Толстого
(Из тюремных записей)

Мое посещение Толстого летом 1905 г. неразрывно связано с моим изучением русского сектантства. Произошло это так.

Весной 1905 г. после указа 17 апреля о веротерпимости я по поручению редакции «Рус. Вед.» предпринял поездку по югу России[25]. Тогда я посетил знаменитое в летописях гонений русских сектантов с. Павловки Сумского уезда Харьковской губ., знаменитое по погрому церкви, произведенному здесь в 1901 г. и по последовавшему затем процессу.

И сущность дела, и то, с чем встретился я, попав в Павловки, описано мною было в «Рус. Вед.» (вошло в книгу «Из истории религиозно-общественных течений в России XIX в.»). Павловцы по официальной терминологии

---

[25] См. Работа в «Русских Ведомостях».

считались толстовцами, так как оформление нового религиозного духа, новых религиозных исканий, вылившихся в силу полицейских притеснений внешним образом так резко, было положено местным помещиком, толстовцем кн. Д. А. Хилковым.

Я получил от Толстого письмо, в котором он просил меня к нему приехать. Не надо и говорить, что от подобного приглашения я, конечно, не отказался. Увидать Толстого мне, как и всем, хотелось давно. Но никогда не являлось мысли о совершении такой поездки по собственной инициативе. Будучи очень далек от поклонения Толстому, как учителю и пророку современности, я отнюдь не хотел фигурировать среди массы назойливых любопытных, отравлявших в значительной степени жизнь Толстого. Права на посещение знаменитого писателя у меня, слишком молодого еще литератора, никакого не было. И если бы не случай, мое знакомство не могло бы Толстому представить какого-либо интереса. Говорю об этом потому, что попасть к Толстому мне не представляло затруднения, так как уже у меня установились хорошие отношения с некоторыми членами толстовского кружка в Москве, в частности с И. И. Гобуновым-Посадовым, руководителем «Посредника»[26].

Своей поездки я не стал откладывать и отправился в «Ясную Поляну». В сущности первоначально на хутор Черткова, где в то время жили Горбунов-Посадов и Н. Н. Гусев. Там, пообедав прекрасной вегетарианской похлебкой, редкой по вкусу, мы уже пешком направились в «Ясную». Встретив по дороге толстовца С. Д. Николаева, который тоже где-то жил в то время поблизости, прихватили и его.

Первое мое впечатление было неблагоприятное. Я в то время относился к Толстому как многие. Считал его великим

[26] Издательство.

писателем, высоко ценил его гуманную деятельность в защиту угнетенных сектантов, но крайне скептически относился к тому, что мне казалось противоречием между словом учителя и делом человека. Я видел противоречие в его образе жизни, и это отталкивало от личности. Казалось мне неискренним проповедь труда и опрощения. Последнее в это время, может быть, я ощущал особенно сильно под влиянием знакомства с некоторыми толстовцами на юге.

Так под Харьковом я посетил небезызвестного толстовца Алехина, брата курского городского головы и крупного местного общественного деятеля, человека зажиточного и не отказавшегося вовсе от своего состояния, но опростившегося в силу идейных соображений. Из беседы с ним многое то, что было искренне, все же при таких условиях казалось деланным и, следовательно, до некоторой степени лицемерным. Он жил хуторянином и сам по утрам развозил продукты своего огорода и молочного хозяйства по улицам Харькова и торговал. Хуторянин, конечно, он был зажиточный. И труд неизбежно подчас делался забавой. Меня главным образом возмущала подчеркнутая утрировка. Жил он, как крестьянин; даже не имел рукомойника, и вся семья умывалась тем упрощенным способом, который практикуется в самой бедной крестьянской среде, забирая воду в рот и оттуда поливая на руки. Эта утрировка тем более меня раздражала, что я все это время ездил по деревням и нигде уже не встречал таких первобытных обычаев. Над своей судьбой человек волен делать то, что он хочет. Но у Алехина было двое детей, подростков — мальчик и девочка. Никакого образования им не давали. Дети производили жалкое впечатление. Явно тяготились деспотическим фанатизмом отца. И мне печально рисовалось их будущее, когда эти богатые люди, мало склонные к практическому осуществлению толстовских идей, будут выброшены в житейское море и предоставлены самостоятельному существованию.

Таким образом приезжал я к Толстому в довольно оппозиционном настроении не только к его идеям, но, пожалуй, отчасти и к его личности.

И первое, что мне бросилось в глаза — Софья Андреевна, занимавшаяся физическим трудом. Мы прошли через сад, как свои люди, и увидели, что Софья Андреевна в белом батистовом хорошем платье, поддерживая его одной рукой, чтобы оно не запачкалось, другой красила какую-то скамейку, а человек, вида служителя, держал перед ней банку с краской. Не то что вероятно, но почти несомненно здесь не было абсолютно ничего искусственного, придуманного. Но при моем настроении это меня ударило, подчеркнув как бы фальшивую деланность домашнего обихода великого писателя земли русской.

Толстой встретил меня приветливо, расспросил про мою поездку и повел в свой кабинет. К несчастью день для посещения Толстого оказался неудачным. Было слишком много «толстовцев». А ведь недаром говорили, что менее всего толстовцем был сам Толстой. Пришлось сидеть в круге людей, с обожанием смотревших на своего учителя, боявшихся проронить каждое его слово. При таких условиях все слова Толстого становились каким-то вещанием. Конечно, мне интересно было другое. У меня мало что осталось в памяти от этих разговоров, вертевшихся вокруг общих тем. Я возражал Толстому, что, по-видимому, вызывало неодобрение круга. Зашел разговор и о социализме. Наши миросозерцания, конечно, слишком радикально расходились между собой, чтобы найти точки соприкосновения. Для меня утопией являлось все толстовское построение, для него утопией все выводы социалистической мысли. Неожиданно я нашел себе поддержку в одном из собеседников, с которым во взглядах расходился, конечно, еще больше. Таким своеобразным единомышленником оказался присутствовавший в комнате *Л. Л.* Толстой. Ко-

нечно, я поспешил отмежеваться от такого союзника, особенно в вопросах социализма — как раз сравнительно незадолго появилась брошюра Толстого-сына о социализме, преподнесенная им, кажется, даже царю.

После довольно продолжительной общей беседы Толстой повел меня в сад. Здесь мы довольно долго прогуливались вдвоем. И как-то сразу получилось другое впечатление. Большей интимности и простоты. В такой беседе Толстой очаровывал.

Толстой попытался было меня направить на путь истинный и советовал заняться исключительно изучением религиозных движений в России — может быть, единственное положительное и самое важное в современной общественной жизни. «Бросьте вы эту ерунду «Русские Ведомости», они вас совсем испортят!» — закончил он свою беседу. Дальше мы говорили только о декабристах. Толстой спрашивал про различные источники. Хвалил воспоминания Завалишина, и я постарался убедить Льва Николаевича, что это наиболее слабые мемуары среди всей декабристской литературы: воспоминания, грешащие неточностями, неискренностью и подчас даже лживостью. Завалишин один из наименее симпатичных декабристов.

Нас позвали пить чай. Общий стол, общая беседа. Я невольно забывал, что передо мною не только великий русский писатель, но и всемирная знаменитость, на поклонение которой, как в Мекку, приезжают люди из всех частей света. Я хотел видеть просто человека и невольно видел вновь оракула. Мне в то время было даже неприятно видеть тут же бюст Толстого. Все это смешно, наивно, но и просто молодо. Только тогда, когда Лев Николаевич начинал добродушно подшучивать над своей сестрой монахиней, опять он становился очаровательным в моих глазах.

Все детали у меня улетучились. Уже поздно вечером собрались мы возвращаться. Прощаясь, Толстой меня позвал приезжать. Но мне показалось, что это была только

форма, что я его далеко не очаровал. «На станцию вас отвезут» — заметил Лев Николаевич. Я решительно отказывался, но Толстой настаивал. Только лошадей все не подавали. Я отлично понял, что Софья Андреевна, не склонная вовсе мирволить толстовцам, отнюдь не собиралась нас отвозить, может быть, меня одного и отвезла бы.

В конце концов, пошли мы пешком. Я на станцию, толстовцы по домам. Явно и последние были недовольны результатами моего посещения... Больше я Толстого при жизни не видал.

Косвенно некоторые связи с Толстым, однако, продолжались. Как-то я получил от Н. Н. Гусева письмо с просьбой прислать для Льва Николаевича книгу отца «Первые уроки истории». Книга была послана, и через некоторое время Гусев сообщил, что Лев Николаевич отнесся с большим одобрением к книге, только считает с педагогической точки зрения вредным помещение некоторых иллюстраций, как напр., изображение царя ассирийского Ассаргона, выкалывающего пленным глаза. Он считает, что подобные изображения действуют на детей в смысле противоположном тому, которого хотят достичь. По существу это схематическое скорее изображение, конечно, никакого впечатления не могло производить. Тогда я не обратил должного внимания на замечание Толстого, но теперь думаю, что он был глубоко прав.

Другой раз, когда Лев Николаевич готовил свою статью о смертной казни, ему понадобилась крайне редкая книга «Литература партии Народной Воли», в свое время вышедшая заграницей под редакцией Льва Тихомирова. Изданная в 1900 г. в России, она была вся почти захвачена и сожжена. Толстой нигде не мог достать ни того, ни другого издания. Гусев запрашивал по этому поводу меня. Я послал с указанием, что крайне ценю это издание и, посылая, боюсь, как бы она (книга) не затерялась. Прошел, вероятно, год. Я несколько раз напоминал Гусеву письмами, но ни

книги, ни ответов не получал. Наконец, как мне ни стыдно было, я написал самому Толстому довольно решительное письмо. И только тогда мне книга была возвращена.

Немногое я таким образом могу сказать о своих личных сношениях с Л. Н. Толстым.

Вскоре пришла его смерть. Я был среди других и на похоронах в качестве представителя Учебного Отдела О.Р.Т. Зн. Похороны произвели на меня сильное впечатление своей большой искренностью, особенно в тот момент, когда вся толпа молчаливо упала на колени, когда из вагона стали выносить останки великого русского писателя, который не мог молчать и возвышал свой авторитетный голос против насилий.

Теперь как чувствуешь, что нет больше у нас таких могикан. Когда, как не теперь, должен был возвыситься такой голос. А его не слышно. Непротивленцы злу, которые так легко не только примирились с злом наших дней, но дают ему моральную поддержку, я глубоко уверен, встретили бы только резкое осуждение со стороны своего учителя, перед памятью которого они как бы благоговеют...

Я принимал непосредственное участие в тех собраниях представителей различных общественных учреждений, которые взялись организовать общественную сторону похорон Толстого. И не могу забыть одной сцены на первом же заседании в Литературно-Художественном Кружке под председательством П. Н. Сакулина[27]. Вопрос шел об обеспечении мест в поездах для представителей различных делегаций. Надо было в кассу железнодорожную внести несколько тысяч рублей — две или три. Предполагалось, что все расходы оплатят делегациям учреждения. Надо было иметь только аванс для взноса упомянутой суммы на другой день, иначе места не будут обеспечены. Было уже поздно, вероятно часов

---

[27] Историк литературы.

11. Где достать деньги? Говорили об этом час, если не больше. И вопрос разрешался безнадежно.

Меня это возмутило до бесконечности. Только перед этим произносились разными лицами патетические речи о понесенной русским обществом потере, говорилось с дрожью в голосе и со слезами на глазах. Среди собравшихся было немало людей, которые, тут же сложившись, могли бы обеспечить нужный аванс; были такие миллионеры, как А. А. Бахрушин, который один мог бы не только ссудить аванс, но и пожертвовать; присутствовали директора Литературно-Художественного Кружка — и мы более часа обсуждали вопрос, где достать деньги... Надо было только гарантировать, что они завтра будут, если понадобятся, т. е. гарантировать только временный заем. Сакулин решил закрыть собрание, так как очевидно необходимых источников найти нельзя. Приходилось надеяться на авось.

Все происходившее показалось мне при таких условиях столь деланным, столь театральным, что я смело заявил, что в таком случае я гарантирую необходимую сумму, потому что мне стыдно за то, что сейчас происходит. Сказал по этому поводу несколько соответствующих слов.

Никаких денег у меня не было. Но я был убежден, что тесть мой (известный доктор) даст их мне, чтобы выручить при выполнении легкомысленно сделанного заявления. Во всяком случае был уверен, что достану. А если часть их пропадет, то пополню своим бюджетом, в то время довольно скромным.

Денег, однако, и не понадобилось вносить. Начальник дороги согласился обеспечить всем депутатам места без какого-либо денежного обеспечения.

Разве не характерна эта сценка для обрисовки наших общественных настроений?

Особый Отдел ВЧК.
Июль 20-го г.

П. Д. Боборыкин[28]

Я познакомился с П. Д. Боборыкиным, как и с большинством представителей нашего литературного мира, в редакции «Рус. Ведомостей». Боборыкин был частый посетитель редакции в периоды своего пребывания в Москве. Неизбежно появлялись на столбцах газеты от времени до времени его фельетоны, едва ли не с каждым годом становившиеся все более и более незначительными и чрезмерно испещренными «словечками», к которым П. Д. любил прибегать. Это стало его стилем. Он измышлял новые характерные словечки и гордился, что он в сущности ввел в употребление слово «интеллигенция». От этого подчас читать Боборыкина становилось нестерпимо. Но Боборыкин был для «Р. В.» своего рода традицией, как традицией являлось его обязательный рассказ в январской книге «Вестника Европы». Часто редакторы бранили автора, помещая его произведение, помещали с некоторой натугой, но помещали. Особенно проклинал его всегда В. Ю. Скалон. Только В. М. Соболевский, при всем своем дружественном отношении к автору, занимался тем, что уничтожал у него излишние красные строки. Как ни любил их Боборыкин, однако он не доходил до виртуозности Дорошевича, у которого и отдельные слова стали разделяться красными строками. Манера, выгодная для автора с точки зрения гонорара, манера, которую так охотно восприняли некоторые наши литераторы. В «Русском Слове» этим просто щеголяли — те, которым, впрочем, позволяли такое щегольство в газете коммерческой.

Боборыкин делил свою жизнь между заграницей, Петербургом и Москвой, где он неизменно жил в «Лоскутной». В один из его приездов Соболевский познакомил и меня с ним. Боборыкин в это время собирал материалы для нового

---

[28] Было напечатано в «Голосе Минувшего».

своего романа, где в качестве действующих лиц должны были фигурировать представители старообрядческого мира. В. М. Соболевский и представил меня романисту, как человека, хорошо знакомого с интересовавшей его средой и имевшего в ней связи. На этой почве и завязались наши довольно частые последующие сношения, которые приобрели даже отчасти характер дружественный, несмотря на столь различный наш возраст: мне было 20, Петру Дмитриевичу больше семидесяти лет.

Мне трудно оценивать здесь так или иначе литературные заслуги Боборыкина, а тем более оценивать его беллетристическое дарование. Они далеко, однако, не были заурядными. Только Боборыкин слишком много на своей жизни писал, почему постепенно художественность изложения, глубина замысла, яркость характеристик и быта становились трафаретны. Как часто бывает, сама жизнь до некоторой степени привела к этому Боборыкина. Прогоревший в свое время издатель журнала Петр Дмитриевич, как немногие, с щепетильной честностью отнесся к своим долговым обязательствам. Все их выплатил. И, может быть, это побуждало его писать более, чем допускало художественное чутье.

Художественное изложение становилось своего рода фотографией наблюдаемого. С этой стороны долголетняя писательская деятельность Боборыкина является прямым историческим источником для бытописателя эпохи, для характеристики последовательной смены различных общественных настроений и наслоений. У Боборыкина было развито хорошо чувство наблюдательности, он подмечал все характерные признаки времени, подмечал явления, только намечавшиеся еще в жизни, и фиксировал их в своих повестях и рассказах. Им не пропущено буквально ни одного крупного сдвига в интеллигентских настроениях, бытописателем которых он преимущественно являлся. Его

кругозор захватывал все общественные слои, иногда, быть может, и поверхностно. Надо сказать, что Боборыкин был человек исключительно разностороннего образования. Не было вопроса, в котором он так или иначе не был осведомлен, может быть, неизбежно, как только хороший любитель. Не было ни одного течения философской и общественной мысли Запада, с которыми так или иначе не познакомился бы Боборыкин и не только по книгам, но и по непосредственным отношениям с крупными представителями этих течений. Сам он был западник до мозга костей и считал себя представителем так называемого позитивизма. Мистический идеализм был совершенно недоступен этому и по характеру своему человеку как бы практического склада. Принимая во внимание возраст Петра Дмитриевича, можно только было удивляться его жизнеспособности, жизнерадостности, работоспособности и легкой подвижности. И в восемьдесят лет он так же шумел, горячился, бегал, как, вероятно, это делал двадцать, тридцать и сорок лет перед тем.

Надо отдать ему справедливость, как ни поверхностны многим казались его наблюдения, он пристально и долго всегда изучал тот быт, к изображению которого приступал. В его работах заключено много этого реального быта, далеко не являющегося продуктом фантазирующего творчества романиста, когда воображаемое выдается за действительность.

Я могу судить об этом по тому, что проходило до некоторой степени на моих глазах, когда Петр Дмитриевич знакомился как бы с психологией старообрядческой среды. Только по складу всего своего характера, всех своих симпатий и даже, пожалуй, мировоззрения Боборыкин, конечно, не был способен объять целиком эту среду. Он ходил по верхам, не спускаясь в толщу. Для этого Петр Дмитриевич слишком мало был демократом. Сфера его наблюдения сосредоточилась преимущественно на московском купечестве, при этом на том его слое, который

только внешним образом продолжал прилепляться к старообрядческому миру по традиции, по своим экономическим отношениям. Другими словами модернисты старообрядческого мира — вот среда наблюдения Боборыкина. И роман его, посвященный этому быту, назван был «Обмирщение». Как раз в этой среде мои связи были невелики, и я помочь Боборыкину абсолютно ничем не мог. Он сам по себе был здесь желанный и почетный гость, так что проникнуть в эти старообрядческие «салоны» ему было не трудно: скоро он стал там своим человеком. Боборыкин познакомился со всеми более или менее видными деятелями этого круга; знакомства шли, конечно, шире, но никогда не углублялись в то, что я назвал толщей.

Мои личные связи со старообрядцами почти все пошли от известного в Москве букиниста С. Т. Большакова, торговавшего в маленькой конурке в стене Китай-города у Ильинских ворот. Это был книжник по наследию, и отец его был букинист. Наименование, впрочем, неправильное. Это был книжник лишь по старообрядчеству и не только книжник, но и продавец других различных молитвенных принадлежностей. Центром его торговли являлась Нижегородская ярмарка, где у него была и довольно большая лавка. Сюда со всех концов съезжались к началу ярмарки представители старообрядчества; здесь шла не только торговля, но и закупка книжного и иного богатства; здесь происходили различные совещания, прежде секретные, а потом и явные, здесь шли наиболее шумные публичные прения о вере, поскольку они терпелись или поощрялись местным полицейским начальством и духовенством. Нижний был как бы духовным центром некоторых разветвлений старообрядческих согласий, своего рола Приказ XX века.

Сам Большаков был крепкий держатель старой веры. В силу этого он сам, как типичная фигура, представлял значительный психологический интерес. А книжная конура

его была ярким уголком этого своеобразного быта; тут можно было встретить поистине людей, сохранивших весь облик еще XVII столетия и являвшихся как бы образцом живой истории... Я любил посещать эту конуру, где три-четыре человека едва могли поместиться. Сам хозяин вечно юркий, вечно в каких-то хлопотах, неизменно приветливый, нисколько не смущаясь, при входе почетного гостя брал с грязной полки свою вставную челюсть и пристраивал ее на глазах у посетителя. После этого начинались уже разговоры. Но никогда и здесь он не забывал своих коммерческих рассветов: всякую безделицу книжную продаст по цене хорошей. Торговаться мне не приходилось, так как я рассматривал и связь, и посещение лавки как место для наблюдения.

Приглашал меня С. Т. и к себе на дом, чайку попить, и знакомя таким путем с интересным мне людом. Раз даже я попал на какой то семейный торжественный обед с пирогом, винами и наливками. Впрочем, угощения я старался избегать. У хозяина все делалось с откровенной простотой. Так на моих же глазах все опивки из рюмок и стаканов сливались вновь в бутылку. Представляю себе, какие напитки должны были получаться в этих бутылках! Обиход Большакова был обиход зажиточного мещанства. У него, вероятно, деньги водились, так как он делал со своей конурой и на ярмарке недурные дела. Квартира была большая с гостиной, столовой и т. д. Семья С. Т. уже отходила от старого уклада, и на молодом поколении сказывалось все тлетворное влияние обмирщения.

С этими и некоторыми иными лицами познакомил я также и П. Д. Боборыкина. Я нередко в утренние часы заходил в Лоскутную, чтобы повидать Петра Дмитриевича. Типичная для него черта. Ни разу он не предложил мне даже чаю. По-видимому у Боборыкина к концу жизни были недурные средства, но скуп он был до чрезвычайности. Несколько раз предпринимали мы совместные

поездки на собеседования старообрядцев с представителями господствующей церкви. Раз на этой почве произошел большой курьез. Мы отправились в Сергиевскую церковь на Рогожской, где происходили в то время официальные беседы. Входим. Видим — народа масса... Но беседа, очевидно, не началась. Все в полутьме. Приглядываемся, Боборыкин обводит своим лорнетом, столь малоподходящим в данной обстановке, публику! Что-то странное. Публика какая-то своеобразная. Женщины в белых платьях. Все это мало подходит к обычной обстановке собеседований. Очевидное недоразумение. Спрашиваем, когда начнется собеседование. «Да вы не туда попали, — это во дворе. Здесь свадьба». И в этот момент осветилась церковь, грянул хор, — прибыл жених... Посещение вообще оказалось неудачным, так как в этот день беседы не происходило. Бедному Боборыкину было очень трудно собраться так далеко в большой мороз!

Роман из старообрядческого быта Боборыкин написал. «Обмирщение» не выходило отдельным изданием и печаталось бесконечно долго в «Русском Слове» в виде фельетонов. За «Р. Сл.» в то время я не следил и в сущности с романом не знаком — прочел только два-три фельетона. Как всегда у Боборыкина много фотографий, подчас слишком уже точных. Изображен в романе и я. Изображен в привлекательном более или менее виде, как сказал сам автор. Описана наружность, даны приметы, так что из Гунтена, из Швейцарии, мне писали, что читают роман, где одним из действующих лиц фигурирую я. Отсюда я узнал только о появившихся фельетонах. Конечно, тому, кто меня хоть немножко знал, нетрудно было догадаться, что речь идет обо мне, т. е. что я являюсь прототипом изображенного лица. Рассказывается о студенте-историке, интересующемся старообрядчеством и сектантством и работающем в большой, либеральной газете в Москве. Впрочем, дается и адрес газеты. Герой из Чернышевского переулка посылает какую-то лю-

бовную записку. Я изображен в виде репетитора в богатом старообрядческом доме, увлекающегося девушкой, дочерью хозяев, и пытающегося ее просветить. Финала не знаю. Но у Боборыкина, кажется, вообще была мысль во что бы то ни стало женить меня на какой-нибудь миллионерше-старообрядке. Трудно сказать, почему он так заботился в этом отношении о моей судьбе. Но я решительно уклонялся от каких-либо знакомств не только в этих целях, но и вообще: входить в богатые купеческие дома меня не очень привлекало — среда была слишком чуждая и для меня ни в каких отношениях не интересная.

* * *

С П. Д. Боборыкиным у нас создалось и другое общее дело, т. е. вернее он привлек меня к осуществлению одной своей идеи, из которой, впрочем, ничего путного не вышло. Это было уже вероятно в 909-ом и 10 году.

Петр Дмитриевич решил сорганизовать специальное общество, которое поставило бы своею задачею пропаганду положительных идей в противовес мистической и идеалистической философии, культивировавшейся отчасти в университете и становившейся модным общественным течением. В мистике, как я упоминал, Боборыкин видел вредное течение реакционной мысли. Такой кружок создался и состоял преимущественно из естественников. Устав получил официальное даже утверждение. Первое организационное собрание, созванное по инициативе Боборыкина, происходило в Лоскутной гостинице в одном из свободных, больших номеров. Дали даже на нем чай. Боборыкин выступил с докладом. И любопытно, как волновался этот восьмидесятилетний старик. Первое собрание, быть может, было и наиболее оживленное. Из уважения к маститому беллетристу на его призыв явились почти все приглашенные лица, человек тридцать, представителей науки, литературы и московской общественности.

Задачи нового общества были поставлены широко, но только все-таки дело оказалось мертворожденным. Прежде всего потому, что состав сделался чрезвычайно пестрым. Официальная философия сразу встала во враждебные отношения к Боборыкинскому начинанию и всячески его высмеивала. Я почти не бывал на собраниях, где доклады по преимуществу читали естественники. Помню только один доклад Н. К. Кольцова, посвященный нашумевшей в то время в Германии книге о мыслящих лошадях. Доклад никаких выводов не делал, а только информировал. Это было интересно.

Я входил в состав Совета нового Общества, но был членом бездеятельным, как, по-видимому, большинство. После же одного казуса почти перестал посещать собрания. На первых порах заседания кружка происходили в квартире Д. П. Рябушинского, ученого естественника, склонного к задачам, которые ставил боборыкинский кружок. Собираться так для беседы было уютно: хороший кабинет, мягкие кресла, чай со всякими аксессуарами. Но вскоре проявилась и воля хозяина, в сущности очень симпатичного человека. Указав как-то на необходимость привлечь к делу большее количество представителей гуманитарных наук, я рекомендовал в числе других А. К. Дживелегова. Хозяин по этому поводу заметил, что Дж. приглашать он считает неудобным, т. к. Дж. только что вышел демонстративно из редакции «Утро России», что по солидарности с братьями он не может согласиться на приглашение Дживелегова, тем более, что является сам пайщиком газеты. Как сильна бывает купеческая закваска! Аналогичный почти случай я рассказал в своих студенческих воспоминаниях относительно В. А. Морозовой. Понятно, что такая аргументация была совершенно недопустима, и кружок, пользуясь любезностью хозяина, состоявшего в дружественных отношениях с Боборыкиным, вовсе не был связан

территорией. Я счел необходимым отметить это и указать вместе с тем, что мне в таком случае совсем неудобно посещать эту квартиру, так как в 1906 г. у меня было довольно резкое столкновение с П. П. Рябушинским — вернее агрессивное выступление было с его стороны и со стороны проф. Озерова, который был недоволен моей статьей в «Рус. Вед.» по поводу крестьянского съезда, устроенного Советом Старообрядческих съездов, где он принимал близкое участие (См. книгу «Рел. общ. течения XIX в.»). Но, как всегда бывает в таких случаях, вопрос доброжелатели постарались замять. Я перестал бывать. Тогда заседания кружка были перенесены в помещение женской гимназии Брюхоненко, который считался секретарем кружка.

Самым энергичным, самым инициативным членом кружка был, конечно, сам Боборыкин. В связи с одним из его публичных выступлений с ним произошел курьезный казус. Беспокойный Петр Дмитриевич решил выступить с соответствующим докладом в Московском Психологическом Обществе при Университете, давнишним членом которого он состоял, выступить в значительной степени как бы во вражеском лагере. Было условлено, что на заседание пойдут некоторые члены кружка, чтобы в прениях поддержать и развить точки зрения докладчика. Боюсь, что немногие исполнили это обязательство и предоставили П. Д. ратоборствовать одному. Я был в числе отсутствующих.

Сижу я в редакции «Р. В.», как вдруг появляется после доклада (происходило заседание днем) П. Д. Боборыкин. В таком состоянии я еще никогда его не видел. Буквально багровый — я думал, что с ним сейчас сделается удар. Надо представить себе большую голову Боборыкина, лишенную уже растительности, в таком виде! Вид был поистине ужасный при его одном еще стеклянном глазе. Что случилось? Б. еле пришел в себя и заявляет, что ушел с заседания, не дождавшись окончания прений, — так он был

возмущен тем, что там происходило, и поведением председателя Л. М. Лопатина, который не счел нужным даже остановить. Никогда ничего подобного в научном обществе он себе представить не мог. В чем же дело? И Боборыкин с возмущением рассказывает, что во время доклада и во время прений в первом ряду сидел человек, который издевался над ним и высовывал язык, делая смешливые гримасы и паясничая.

Я сразу догадался, в чем дело — то был Бердяев. Я постарался разъяснить П. Д., что над ним, вероятно, решительно никто таким образом не издевался. Постепенно старик успокоился и даже стал смеяться.

А «враги» между тем праздновали победу. Докладчик, разбитый в прениях по всем правилам искусства академической науки, бежал с поля битвы. Если бы они знали истинную причину! Потом мне рассказывали некоторые подробности об этом заседании. Патентованные философы, конечно, несколько свысока отнеслись к любительству и постарались ловить докладчика на терминологии, не возражая по существу. Довольно обычный прием. Тут Боборыкин был слабее своих противников, несмотря на все свое образование, и схоластическими приемами нетрудно было обнаруживать методологические ошибки. Но академические жрецы были довольны и этой легкой победой. Надо сказать, что позитивизм самого Боборыкина был своего рода фетиш и, как всякий фетиш, становился отчасти сам метафизикой...

Были и другие встречи у меня с Боборыкиным. Как собеседник, это был человек исключительного интереса. В самом деле живая история. И, когда он рассказывал, как он завтракал с Луи Бланом или беседовал с другим каким-нибудь знаменитым современником, история воскресала в лицах. Долго только с Б. было трудно бывать. Слишком он был словоохотлив, критики не допускал и до

крайности самолюбиво относился к личной репутации. Он любил, чтобы его слушали. Я охотно это делал — вероятно, поэтому Б. относился ко мне с нескрываемой симпатией.

Как-то он был у нас в одну из наших «сред», когда обычно собирались наши друзья и знакомые. Боборыкин что-то повествовал. На другом конце стола сидела моя старшая сестра, любящая громко и авторитетно говорить. Боборыкина это раздражало и мешало: кто-то его не слушает. Он долго ерзал на стуле, наконец, не выдержал, подошел ко мне и спросил: «кто эта шумливая и неприятная дама?».

Тем самым сестра моя артистка, склонная несколько и к писательству, совершенно себя уронила в глазах Петра Дмитриевича...

Боборыкин усиленно звал меня в «Русское Слово», сулил большие выгоды...

В. Л. Бурцев

Это отнюдь не попытка даже дать мимолетный образ В. Л. Бурцева, а тем более оценить его заслуги в революционном движении, как общественного деятеля, как замечательного собирателя материалов и как очистителя нравов путем разоблачения всех омерзительных пут русской провокации. Это только штрихи или отблески встреч.

Я познакомился лично с Бурцевым уже поздно, в нашу поездку в Париж, кажется, летом 1910 г. Мы зашли к нему. Он был тогда в периоде раскрытия провокации Жученко–Гернгросс и, как всегда, горел тем делом, которое захватило его в данный момент. Рассказал он нам то, что считал возможным, говорил о других следах, на которые напал, и жаловался на равнодушие русского общества. Он здесь один, почти без денег. Вся его работа в силу этого идет кустарным образом. Ему нужен орган, где он мог бы осведомлять русское общество о фактах, которые не проникают в легальную периодическую печать. Этот старый

революционер в то же время высказывал глубочайшее свое убеждение в необходимости достигнуть известного единства всей русской оппозиции. Этим целям и должно было служить его «Будущее». Он будет издавать его, во что бы то ни стало. Но ему нужна помощь. Таков был предмет нашей беседы, которую я должен был передать в Москве и Петербурге.

Деятельности Бурцева я только сочувствовал. Те новые разоблачения, которые он должен был сделать, действительно должны были содействовать моральному очищению нашей революционной среды и должны были наносить сильные удары вконец развратившемуся режиму. Тогда начинала все шире и шире развертываться небывалая еще в летописях, не только русской, но и всемирной истории, эпопея, связанная с именем и деятельностью Распутина. Я сделал все, что мог; указывал на важность начинаний Бурцева, на необходимость организации ему доставки и материалов, и денежных средств. Должен сказать, что отношение было, однако, холодное. В революционной среде Бурцев был одинок; там не сочувствовали его компромиссам; там сектантски стояли на разъединении, а не объединении, о чем писал и говорил тогда уже В. Л. Бурцев, рассчитывая получить некоторую поддержку со стороны кадетов. Но его здесь так боялись, что достаточно было произнести одно имя Бурцева, чтобы не получить уже никаких денег. А вдруг обнаружится связь? С большим трудом мне удалось небольшими суммами у разных лиц в общем собрать несколько тысяч и переправить их разными путями в Париж. Получить те или иные секретные материалы было еще труднее. Действительно Бурцеву приходилось работать почти одному; но у этого человека железная воля и непреклонная настойчивость в достижении поставленных целей. Он никогда не падал духом, и никогда не ослабевала его энергия.

Настойчивость его проявлялась и на отношении ко мне. Он буквально бомбардировал меня напоминаниями о выполнении данных обещаний. Пользовался всяким поводом, всяким случаем, чтобы из Парижа дать о себе знать. Главным посредником при наших сношениях был доктор Цетлин, человек общественный и следовательно достаточно осторожный. Но меня поражал иногда выбор неожиданно являвшихся ко мне посетителей и посетительниц. Подчас я видел перед собой типичного, наивного обывателя, с которым иметь дело просто было опасно с точки зрения элементарной конспирации. Мне до сих пор непонятно, как представители политического сыска не разнюхали наших отношений — по крайней мере я никаких следов в архиве Охранного Отделения не нашел, кроме одного, относящегося к позднейшему времени, когда Владимир Львович был уже в России.

Этот тонкий наблюдатель, обладающий почти гениальным чутьем, так сказать, революционного сыска, опытный в изощренной конспирации, проявлял иногда детскую наивность. И в этом сказывался весь Бурцев — взрослое политическое дитя, как я его нередко мысленно называл. Наивный и доверчивый иногда до чрезмерности. Чистый, благородный, фантазер, верящий в осуществление своих общественных утопий и готовый фанатически добиваться их осуществления.

Я иногда получал и непосредственно письма из Парижа, подписанные вымышленными именами. Это все были различные мои любовницы, злостно мною покинутые. И все имена были чисто русские — что-то вроде Аграфены, Акулины и т. д. Одна сообщала, что уезжает к какому-то дядюшке, другая нечто подобное. Эти письма стоит воспроизвести, если только они сохранились от тех погромов, которые перенес не я только, но и мой архив в период многочисленных обысков и арестов. Если бы только

Охранному Отделению попалось несколько таких писем, не могло не броситься в глаза, почему у литератора Мельгунова так много любовниц именно в Париже, и почему они носят такие специфические русские имена, и письма написаны характерным, ужасным почерком Бурцева. Но наивность подчас спасает. Да и Охранное Отделение при всей своей блестящей постановке, как было на примерах показано в очерках, в свое время напечатанных в «Голосе Минувшего», проявляло удивительную иногда наивность.

Так или иначе Бурцев издавал свое «Будущее» и регулярно посылал мне по разным адресам. Далеко не все №№ и не все отдельные выдержки доходили до меня. Наиболее, пожалуй, аккуратно я все-таки получал по адресу редакции «Р. В.». Орган Бурцева вообще был в России почти невидимкой, и мало кто имел его в руках. Бурцев всем посылал. Посылал царю, великим князьям, министрам и т. д. Он мне рассказывал, что какой-то великий князь вернул с надписью «за ненадобностью». «А я все-таки продолжал посылать» — заявлял издатель. Едва ли ни у одного меня имелся если далеко не полный комплект «Будущего», то все-таки значительное количество этой газеты, дающее о ней достаточное представление, к тому же попали наиболее интересные №№. Моя коллекция сослужила впоследствии некоторую помощь самому Бурцеву, когда он вновь вернулся в Россию, был арестован и судим. Его защитнику В. А. Маклакову были необходимы некоторые №№ «Будущего» для сопоставления с ними материала обвинительного акта. Достать он нигде не мог, хотя сам Бурцев регулярно посылал свою газету, конечно, и в библиотеку Государственной Думы и Государственного Совета. Маклаков узнал через своего друга И. М. Чупрова о том, что некоторые экземпляры имеются у меня. Я дал и взял честное слово, что по использовании взятое будет возвращено. Но как у Толстого мне с трудом удалось вызволить

свою «Литературу Народной Воли», так и здесь я получил обратно после бесконечных и настойчивых требований.

Любопытно, что №№ «Будущего» не оказалось и в библиотеке Охранного Отделения в Москве. Правда, этот отдел наиболее пострадал от пожара в первые дни революции...

Когда началась война, Владимир Львович был в числе тех эмигрантов, которые психологически не могли больше оставаться за границей. Он открыто вернулся в Россию, был арестован и посажен в тюрьму. То была царская тюрьма, блаженной памяти тюрьма, о которой политическим заключенным теперь остается вспоминать почти с радостным чувством. Бурцеву предоставили полную возможность заниматься и, кажется, эту довольно обычную льготу не рассматривали, как особую милость. Правда, Бурцев — европейское имя: но и вины его были велики перед правительством; злость была за то, что Бурцев в «Будущем» выступил лично против главы и коснулся интимной стороны жизни. Охотнее готовы были простить разоблачения провокаций, злоупотреблений, но не это. Тем не менее без особых хлопот «льгота» занятий Бурцеву была предоставлена. Посредником по снабжению книгами являлся главным образом В. И. Семевский, дружественно относившийся лично к Бурцеву, ценивший его деятельность и всегда готовый служить политическому заключенному. Мало принимая непосредственного участия в политической жизни страны, занятый всецело своими научными работами, он в этом видел до некоторой степени выполнение своего гражданского, политического долга. Когда Бурцев был отправлен в ссылку, опять В. И. снабжал и книгами и делал необходимые справки и пр. Бурцев в тюрьме занялся Радищевым. И как все у него, это сделалось увлечением, в которое он уходил весь целиком — кроме Радищева, казалось, ничто больше его не интересует...

Наконец, Бурцев на свободе. Ему разрешили приехать на несколько дней в Москву. Конечно, он посетил и меня, как посещал потом в каждый свой приезд.

Он ходил, окруженный шпиками. Но ему все было ни по чем. Он опять готовил разоблачения, опять носился с мыслью об объединении оппозиции, устраивал «интимные» собрания, подготавливал почву для нового органа, который он затевал, намереваясь вновь уехать за границу. Рассказывал он мне такой любопытный эпизод. Он информировал о своих мыслях какой-то петербургский кружок, состоящий из деятелей партии к.-д. и тогдашнего пресловутого блока. Было человек 20, и вдруг Бурцев среди них видит человека, которого он считал находящимся в некоторых связях с Департаментом полиции... Но в сущности в общественном отношении Владимир Львович оставался так же одиноким, как и ранее. Мне никогда не было, напр., понятно отрицательное отношение к нему со стороны моих ближайших политических друзей и единомышленников.

Появляясь в Москве, он прибегал к нам всегда впопыхах, всегда не в назначенный час, всегда торопился куда-нибудь бежать на какое-нибудь деловое свидание. Он нисколько не стеснялся завязывать сношения с чистейшими охранниками. В этом отношении ради общественных целей у него не было никакой моральной брезгливости. Меня это поражало, и я много раз ему об этом говорил — ведь просто противно иметь дело с этими людьми. Но Бурцев, захлебываясь, рассказывал, что у него сегодня был такой-то и что он через него выведал крайне для себя важное. Думаю, что и охранники относились к Бурцеву не так, как к нам. Видели в нем своего человека, только работающего для революции. Соревнование профессионалов приводило, однако, и к интимностям. Почему Бурцеву иногда удавалось узнать то. что не удавалось ни-

какому исследователю. Он и в этом отношении был до крайности настойчив. Он хотел во что бы то ни стало увидаться с Зубатовым, который жил в это время на покое (умер в марте 17 г.). Ему нужен был Зубатов для проверки одного своего предположения. Каждый раз по приезде в Москву он пытался свидеться, но Зубатов решительно отказывался, ссылаясь на то, что он совершенно устранился от какой-либо общественной жизни. Однажды такой разговор по телефону происходил из моей квартиры. Получился лишь новый отказ. «Я хочу вам сказать только одно: пишите свои воспоминания» — заключил Бурцев. Но Зубатов воспоминаний все же не написал. Его архив в революционные дни попал ко мне. Он поражает своим буквально нищенским содержанием: очевидно или пропала часть, или в свое время была уничтожена. Едва ли не самое интересное там — это многочисленные письма В. Л. Бурцева.

Как-то мы условились, что Владимир Львович придет к нам обедать в 6 час. Обманул. И вдруг в 1½ часа ночи появляется Бурцев, не евший весь день, так как рассчитывал на наш обед. Он опоздал потому, что у него было крайне важное и интересное свидание с каким-то мелким агентом, вероятно, приставленным следить за самим Бурцевым. А затем, не желая этого агента привести в мою квартиру, он часа два колесил по Москве и запутывал следы. Это был единственный раз, когда мы могли спокойно более или менее поговорить, так как ночью Бурцеву бежать некуда было. И он нам с женой рассказывал много интересного из своих скитаний, встреч. Теперь я, в свою очередь, упрашивал его писать воспоминания. Исполнил ли он это? Его мемуары были бы интереснейшим документом сами по себе.

Раз только я посетил Бурцева в «Лоскутной», где он также неизбежно останавливался. Не пробыли мы и 5 минут, как являлся чрезвычайно «важный», но весьма

подозрительный субъект, и мне нечего было больше делать. Это и есть тот единственный случай моих сношений с Бурцевым, отмеченный в анналах московского Охранного Отделения.

Раз посетил я Бурцева на его петербургской квартире. Но здесь уже абсолютно нельзя было ни о чем говорить, потому что в каждой комнате его небольшой, беспорядочной квартиры, где все полы и стулья завалены были книгами и бумагами, так что и сесть-то некуда было, кто-нибудь уже сидел и дожидался очереди для «беседы». Вероятно, был и какой-нибудь бывший уже охранник, так как дело было после революции. К ним Владимир Львович чувствовал некоторую подчас нежность. Он по собственной инициативе предложил взять к себе на поруки Спиридовича, этого жандармского историка.

Судьбы людей неисповедимы. Наступило время, когда Бурцев и Спиридович сидели уже вместе в Петропавловской крепости, может быть, даже в одной камере. Многое, вероятно, Бурцев здесь узнал и того, о чем прежде не догадывался. Мне со слов Кишкина рассказывали о таком инциденте.

Играют в винт Кишкин, Бурцев, Авксентьев и Спиридович. Можно ли было прежде представить себе подобное сочетание. Жаль, что картина эта не запечатлена фотографией. (Бурцев любил сниматься. Он прислал мне как-то открытку, где он снялся при посредстве зеркал сразу в четырех видах.)

Авксентьев, незадолго перед тем арестованный, недоумевает, каким путем могли узнать его местопребывание, откуда он не выходил, куда доступ имели самые доверенные люди, люди только партийные. Попутно он рассказывает, что его несколько удивило, когда он в Смольном увидел одного из членов партии Ильинского (Сперанского), проходившего мимо. «Как объяснить это, Владимир Львович?» — пристает он к Бурцеву. Тот не знает. Тогда

Спиридович говорит: «а я разъясню вам очень просто». Оказалось, что это доверенное лицо давно уже состояло на службе в Департаменте Полиции и было приставлено специально к Авксентьеву. По наследству Департамента Полиции наблюдатель перешел к Смольному. Так обнаружено было местопребывание бывшего министра Временного Правительства. Правда же, хороший эпилог для моего маленького повествования.

В дни революции Бурцев оставался все также одиноким. И вновь попав в Париж, он, вероятно, там также одинок. «Один в поле не воин»... Если это верно, как правило, то Бурцев — исключение. Он и один в поле оставался воином, не клавшим свое оружие в самые трудные и, казалось бы, безнадежные минуты. Это — завет поколениям...

В июле 1920 г.

Записывал в момент своей тюремной болезни, чтобы заполнить время.

V. Эпизоды

Современное масонство

Еще до революции одни мои знакомые, имеющие отношение к шведской миссии, обратились ко мне с просьбой принять приезжего шведа, полковника или капитана не помню, который заинтересовался редактируемым мною изданием по истории масонства и желал бы побеседовать со мной на тему о масонстве. Конечно, я не возражал, и в условленное время этот офицер шведской службы прибыл ко мне. У меня сохраняется дома и его визитная карточка, свидетельствующая об его аристократическом происхождении. Фамилии же его сейчас не помню.

Мы обменялись несколькими общими фразами. Он заявил мне, что сам он масон, принадлежащий к одной из лож шведского капитула. У них масонство — тайна; это

своего рода рыцарский орден, все внешние ритуалы которого тщательно скрываются от профанов... Его здесь необычайно шокирует, что в Румянцевском музее он видит выставленными в открытых витринах масонские запоны и различные братские знаки. Его удивляет, что выходит даже целое издание, богато иллюстрированное редкими и сокровенными иллюстрациями, которые таким образом профанируются перед широкими кругами непосвященной публики. Его поражает, что у меня такое обилие разных принадлежностей масонского действия, и что я открыто показываю ему вещи, принадлежавшие моему предку екатерининскому масону. У них, в Швеции, подобное родовое наследие с большой тщательностью хранится от чужого взора.

В конце своей речи он заявил, неожиданно для меня — так его заявление не вязалось с тем, что он говорил, — что у него есть поручение приобрести исключительное право перевода редактируемого мною издания. Выходило так, что словно он с этой именно целью был как бы командирован из Швеции. При этом он упомянул, что могут предложить более или менее значительную денежную сумму (как будто бы даже назвал сумму около 30 т. крон) и вообще разрешение вопроса в смысле денежном не встретит никаких препятствий.

Вначале я ничего не понял и прежде всего спросил, зачем ему приобретать право на издание, к которому, как видно из его слов, он может относиться по существу только отрицательно и которое воспроизводить в Швеции, как ни занимательны для него сами по себе рисунки, он не будет, чтобы не профанировать великую масонскую истину.

— Буду с вами откровенен. (Собеседник свободно почти говорил по-русски). Мы хотим приобрести право на перевод этого издания именно в целях воспрепятствовать его появлению на иностранных языках, особенно на француз-

ском. Пока оно существует только на русском, оно не может получить широкого распространения в Европе. С русским изданием нам приходится мириться. — (Вероятно, он вспомнил старое изречение: опасная книга, написанная по-французски, равняется объявлению войны всей Европе).

— Согласитесь, что ни одному автору или редактору, вероятно, не приходилось продавать право на перевод своей вещи в уверенности, что оно приобретается для того, чтобы помешать распространению книги. Для всякого писателя, уважающего себя, такая постановка вопроса не приемлема. Но так как право принадлежит в сущности не мне, а издательству, то я во всяком случае могу передать ваше предложение.

Конечно, я сказал это только потому, что мне хотелось знать, чем же в конце концов может кончиться это смехотворное предложение, тем не менее чрезвычайно ярко характеризующее настроение и сущность современного шведского масонства.

Однако, я разъяснил тароватому представителю шведского масонства, что при такой постановке дела он очень легко может сделаться предметом простого шантажа. При отсутствии литературной конвенции, кто может пометать мне выпустить другую аналогичную книгу. Я пытался уверить его, что для заграничного читателя текст не может представлять интереса, и следовательно едва ли у кого даже явится мысль о переводе подобного издания. Приобретение исключительных прав перевода не может во всяком случае гарантировать от появления труда в тех странах, с которыми у России нет литературной конвенции. И здесь бессильна уже и воля автора, и воля издательства. Переведут, воспроизведут рисунки, не испрашивая даже на то разрешение.

Одним словом я хотел ему показать всю бессмыслицу его предложения даже со стороны тех реальных целей, которые он ставит. Между прочим, я ошибся, думая, что за границей это издание не может заинтересовать. Нам

удалось послать первый вышедший том на Лейпцигскую книжную выставку. Оказалось, что книгой заинтересовались в силу рисунков. И мы получили просьбу выслать немедленно издание, как только оно будет закончено.

Швед проявил, однако, упрямство и настойчиво просил выяснить вопрос в «Задруге». По его мнению закрепление права перевода увеличит шансы непоявления перевода и во всяком случае воспрепятствует нам проявить в этом отношении инициативу.

Условились, что он зайдет ко мне через несколько дней. В Правлении «Задруги», которая в то время еще только зачиналась в сущности и в деньгах нуждалась, я, шутя конечно, передал предложение и указал на возможность улучшить таким путем свои финансы. Вряд ли и надо говорить, что предложение единогласно было отвергнуто. Мы только хорошо посмеялись.

Мой швед пришел и второй раз. Я ему передал наше решение. Он был неугомонен. Он пристал ко мне, чтобы я продал хранившиеся у меня реликвии. Я ему указал, что, если не скрываю родовых вещей, то и не торгую ими. Мне самому интересно их сохранить. Остальные вещи у меня новейшей формации и куплены заграницей. Все остальное, за редким исключением, фотографии: смешно, если я ему за высокую цену продам копии, которые с меньшей затратой могу воспроизвести, раз мне известно уже, где находится подлинник, с которого сделана фотография. Кроме того фотографии, даже использованные, мне еще могут понадобиться. Если ему так хочется их приобрести, то по окончании издания, вероятно, «Задруга» их с охотой продаст — принадлежат они в сущности издательству, так как на его счет делались.

На этом мы и расстались. Больше я уже не видал этого своеобразного представителя шведской аристократии и шведского масонства.

* * *

Мог бы кое-что рассказать и о современных русских масонах. Это вовсе не фантазия досужая, а самый настоящий факт. Продолжают ли существовать теперь, не знаю. Но они были. Конечно, все это не имело ничего общего с тем «жидо-масонством», которому некто Нилус посвятил даже целую книгу; с той ерундой, над которой изощряли свои перья писатели даже «Нового Времени», не говоря уже о всякого рода «Русских Знаменах». Покойный Богучарский говорил мне, что Столыпин в свое время весьма заинтересовался русскими масонами и поручил департаменту полиции усиленно собрать о них сведения. По-видимому был припущен даже какой-то провокатор, как полагалось в то время. Богучарский уверял, что он наверное знает, что собранные материалы опубликованы были департаментом в особой книжке. Однако после революции нигде такой книги не оказалось, хотя я наводил справки.

В «Былом» были опубликованы только смехотворные донесения чиновника мин. внутр. дел, командированного в Париж со специальной целью изучить французское масонство и проследить связь последнего с русским. Богучарский говорил, что на основании этих материалов были составлены фельетоны о масонах, напечатанные в 1912 г. в «Новом Времени». Я нашел один такой фельетон — едва ли: просто какая-то чушь.

По распоряжению департамента полиции и московское Охранное Отделение занималось расследованием масонства. Кое-какие материалы сохранились и у меня скопированы. Хотел написать, да не успел. Приготовил по этим материалам статейку Н. П. Киселев, но сам какой-то полумасон сделал все крайне бледно, сознательно оставив все самое характерное. Вернее он изложил существование лже-ложи «Астреи», возникшей в Москве в 1907 г. по инициативе полупровокатора полуавантюриста некоего

Персина. В материалах московского Охранного Отделения есть любопытный список лиц, сопричисленных к масонству, между прочим один из теперешних предателей — С. Котляревский[29]. Среди масонов покойный М. М. Ковалевский и др.

В Москве, как полагается, у Баженова Н. Н. была так называемая столовая ложа — вероятно, не без шампанского. Все это члены ложи, для которых ложа — мать какая-то французская ложа.

Все это соответствует действительности. Со мной довольно прозрачно на эту тему говорил покойный В. П. Обнинский, желавший и меня привлечь к ложе. Я отнесся к этому только с насмешкой. Больше разговор не возобновлялся. Слышал от А. В. Пешехонова, что и его одно время привлекали в подобную таинственную ложу, но он также, конечно, отнесся только отрицательно. Его, вероятно, привлекали в другую группу, создавшуюся перед революцией. Под своеобразным масонством хотели объединить некоторые разнородные политические элементы. Эта «ложа» и ее отделения сохранили и некоторый ритуал, упрощенный. Может быть, на сцене фигурировали и некоторые старые масонские побрякушки. Этого не знаю. Объединению оппозиции очень всегда сочувствовал — можно сказать, идея эта была моим детищем, но не в отживших формах масонства, только смешных и ненужных в наше время. В состав этой «ложи» входили действительно самые разнородные элементы — знаю даже некоторых представителей социал-демократии. У них был устав, скрыто напечатанный в книге Сидоренко «Итальянские Угольщики».

С этой «ложей», если можно так называть настоящую фракцию русского современного «масонства», т, е. с ее

[29] См. дальше — «Дело тактического центра».

представителями у меня произошел любопытный инцидент. Я могу о нем сказать, не называя имен.

Как-то в кругу более или менее политических единомышленников, почти как бы накануне революции, я говорил на тему о необходимости объединения оппозиционных политических групп. В связи с этим сказал о существующей попытке такого объединения под таинственным флагом масонства. Говорил это, не представляя себе, что один из присутствовавших принадлежал к упомянутой фракции. На другой день он явился ко мне и сказал, что я не ошибся. И ему поручили узнать, откуда я мог это узнать. Говорю: догадался путем целого ряда сопоставлений и соображений. Он не поверил. Много говорил мне путано о Хираме, строителе Храма Соломона, и о прочей масонской символистике. Вначале он взял с меня честное слово, что я никому не передам того, что он мне скажет. Слово был взято наперед. Я никак не мог предполагать, что предметом беседы будет такая тема. И потом запротестовал. Заявил ему тогда же, что то, что я узнал не от него, я вовсе не считаю себя обязанным скрывать. Быть может, даже мне придется вступить в борьбу, так как я считаю вредным облечение подобными формами деятельности русской оппозиции. Поэтому то немногое, что я здесь рассказал, не выходящее за пределы мною узнанного раньше, отнюдь не является нарушением легкомысленно данного слова.

Поймал раз и другого «масона», неожиданно и прямо поставив ему вопрос. Он растерялся и ответил утвердительно. Правда, на другой день он отнекивался, что я его не понял, что он не то хотел сказать.

Пока все это однако для меня только полуизвестность.

* * *

С масонством у меня связан еще один глупый инцидент. Это было тогда, когда я был посажен в первый раз в тюрьму Особого Отдела ВЧК — в марте 19-го года. Когда

меня приехали арестовать, должны были по ордеру произвести и обыск... Комиссар решился просто запечатать мой кабинет. Этому я был несказанно рад, так как комиссар был человек совершенно неинтеллигентный, и я боялся, что он произведет у меня страшную мешанину. У комиссара оказался сургуч, но не оказалось печати. Как быть? У меня также не было. Тут я увидел лежащую на полке каучуковую печать той самой ложи «Астреи», которую организовал упомянутый Персин, и с наивностью предложил ею запечатать, указав и происхождение печати. Так и было поступлено: мой кабинет был запечатан провокаторской «масонской» печатью. Печать взяли с собой.

Я никак не мог себе представить, что из-за этого может загореться целый сыр-бор. В Ос. Отделе решили, что это печать современной ложи, с которой я имею какие-то таинственные связи. Заподозрено было и нахождение у меня многих масонских знаков. Мне пришлось разъяснять; жене моей пришлось привезти два тома, изданных под моей и Н. П. Сидорова редакцией «Масонство в прошлом и настоящем», чтобы доказать, что у меня имеется к масонству обычный литературно-научный интерес.

Дело не имело последствий.

Выйдя на свободу, я слышал однако, что неумный Черлунчакевич, представитель комиссариата юстиции, говорил, что обнаружилось, что контрреволюционеры в последнее время стали прикрываться масонскими ложами...

Кстати два слова о комиссаре, тогда меня арестовавшем. По дороге он с некоторым сокрушением, но с большой наивной откровенностью говорил что *прежде* было лучше арестовывать — по крайней мере знал, за что...

Охранники

Мне мало пришлось иметь непосредственных сношений с московским Охранным Отделением — в сущности только два раза в жизни. Но Учреждение это довольно

тщательно следило за моей деятельностью. В Архиве Охранного Отделения при его разборе я нашел довольно много материала о себе; достаточно пометок было и в личной регистрационной карточке. Между прочим целиком перлюстрировалась моя переписка с П. А. Кропоткиным. Но нигде нет и следа переписки с Бурцевым, происходившей, конечно, полулегально, причем она велась со стороны Б. с наивностью поражающей. При знакомстве с материалами обо мне, имевшимися у Охранного Отделения, сразу бросается в глаза одна особенность. Сообщаются заведомые пустяки, ничего существенного нет. И если появляется та или иная реальная черта, то это обязательно по связи с социалистами-революционерами. Только в одном случае происходит для меня непонятное. Есть указание, что я выбран в число редакторов сборника, проектируемого народными социалистами? Откуда они могли узнать, что происходило в довольно интимной среде. Единственное объяснение, что я рассказывал об этом в Москве. Среди московских н.-с. 1908–9 гг. было одно лицо, если и не возбуждавшее подозрений, то во всяком случае заставлявшее нас относиться к нему с большой осторожностью и даже в сущности неприязненностью. Он к нам слишком всегда льнул. Между тем он не нравился нам по своим выступлениям публичным еще в 1906 г. при выборах в первую Государственную Думу. Нападая на конституционалистов-демократов, он всегда как-то оставался на гарни как будто бы и расположенного к кадетам. Одним словом в нем была достаточная доза той демагогии, к которой, с гордостью могу сказать, мы относились всегда с большим отвращением. Так или иначе этот господин к нам примазался. Правда, мы сторонились от него, скрывали все более или менее интимное, никогда не звали на подобные собрания и во всяком случае весьма мало осведомляли. В начале революции он вновь появился у нас, но мы решили твердо не звать его на наше первое организационное собрание. Скоро он появился

в рядах социалистов-революционеров. Позже я узнал, что он перешел в большевицкую веру.

У меня нет основания для того или иного утверждения; но всегда на него у меня падало некоторое подозрение, тем более, что по Москве ходили темные слухи о каких-то его сношениях с различными полицейскими учреждениями.

Не удовлетворяясь общей информацией, Охранное Отделение не раз приставляло ко мне филеров, довольно однако неудачных по выбору. На филерском языке я значился «плисовый» по той бархатной куртке, которую имел неизменный обычай носить. С одним из таких филеров, приставленным специально ко мне в 1905 г., я проделал даже некоторую комедию.

Мы жили тогда с женой в огромном доме Курносовых на Кудринской площади. Почти наискосок от нашей квартиры помещался трактир, где имел обычай меня поджидать филер, которому было поручено наблюдать за мною. Наш швейцар, молодой, симпатичный и довольно интеллигентный человек, предупредил меня о нем. Филер не раз пытался не только расспросить швейцара, но как бы его приставить ко мне на роли доносителя. Швейцар указал мне и самого филера. Я проследил. Ясно было, что ходит он именно за мной. Ходил по пятам. Я в редакцию «Р. В.» — он за мной и т. д. Надоело мне это, что называется, до чертиков. У меня был «свой» извозчик. Решил я филера проучить и во всяком случае обнаружить. Как-то начал бессмысленно катать по Москве. Мой филер на другом извозчике за мной. Совершали мы эти объезды довольно продолжительное время. Наконец, я сказал извозчику остановиться. Вижу, и другой извозчик остановился. Я подошел тогда к сидевшему на нем молодому человеку и прямо сказал: «Знаете, давайте уже ездить вместе, все будет дешевле»...

Он совершенно растерялся и не нашелся даже, что сказать...

Так исчез с моего горизонта этот филер. Одно время приставили извозчика. Легко было распознать. С ним я не ездил, потому что у меня всегда появлялся «свой» извозчик, более или менее старый знакомый, приятный мне. С некоторыми из друзей-извозчиков я часто до последнего времени приветливо раскланивался при встречах...

Из архива Охранного Отделения я узнал еще об одном филере, имевшем поручение опекать меня своим оком. Это было, вероятно, в 1910 г. Я, между прочим, взял тогда несколько уроков в женской гимназии Щепотьевой. Не знаю, был ли так безнадежно глуп и недогадлив приставленный ко мне филер, но его ежедневные доклады о слежении при ознакомлении способны только раздражить своей полной бессмысленностью. Изо дня в день все крайне элементарные наблюдения сводятся к записям: вышел из Гранатного в таком-то часу, пошел на Кисловку (гимназия), пробыл там столько-то, пошел в Б. Чернышевский (редакция «Р. В.»), заходил на М. Никитскую (квартира тестя), вернулся в Гранатный.

И так в течение едва ли не нескольких месяцев!

Не понимал он, или здесь сказывался просто способ зарабатывать деньги. Тогда это безобидно и простительно.

Есть в записях пометка, что получал он за час наблюдения 60 или 75 коп. (сейчас не помню). Я же за час преподавания получал около рубля. Разница в заработке таким образом была невелика. Только я занимался делом, а он слонялся. Впрочем, второе, пожалуй, было скучнее.

Было ли слишком наивно предположить, что за тобой может быть подобное наблюдение, но только я никогда не обращал никакого внимания на моего неизбежного спутника.

Очевидно, и Охранному Отделению надоела эта бессмысленная слежка по местам службы... Она прекратилась. Не знаю, сколько заработал на мне этот филер.

Привидения

Около трех недель мне пришлось пробыть не одному, а в компании из трех человек[30]: О. П. Герасимова, В. Н. Муравьева и Виноградского.

Ни у кого из них книг не было. Мог заниматься только один я, получивший письменные принадлежности, бумагу и небольшое количество книг в период пребывания еще в одиночном заключении. В сущности и читать нечего было. Никто из них с собой не взял книг. Виноградский, как привилегированный, получил, впрочем, из местной библиотеки несколько книг для чтения: том Бальзака, том «Круга чтения» Толстого и сокращенное изложение книжки Сореля. Герасимов получил Евангелие. Оставалось спать или разговаривать.

Так как я, однако, желал продолжать свои начатые занятия по французской революции, а Муравьев — размышлять над обоснованием своего миросозерцания, поистине иезуитского, как я ему говорил в глаза, то мы распределили время и придерживались его довольно точно: такие-то часы для занятий, такие-то для разговоров. Виноградский, как истинный чиновник, написал соответствующую, хорошо составленную инструкцию.

В «часы молчания», когда один спал, а другой читал одну из имевшихся в моем распоряжении книг, мы с Муравьевым иногда играли в шахматы, которые сделали себе из хлеба. Попов[31] это увидел. Прежде всего заявил, что этого в тюрьме не полагается, и он должен их отобрать. Да и ½ фунта хлеба на это ушло.

«Хлеб мой» — заявляю, — «Игра серьезная, научная и в запрещенных по правилам играх не перечислена — там сказано «шашки».

---

[30] В камере внутр. тюрьмы Ос. Отд.

[31] Начальник тюрьмы.

Едва ли убедили его мои аргументы, но шахмат он не отобрал — ведь мы были явно на положении «привилегированных». Когда Виноградский арестовался, Агранов[32] сказал его жене: «поверьте, сударыня, что ваш муж будет помещен соответственно занимаемому им высокому положению». Виноградский занимал «пост» в Главтопе, и был там, по-видимому, главный фактический работник. Муравьев только что получил «пост» в комиссариате иностранных дел. У меня — общественное положение и протекция. Только один Герасимов[33] был поистине изгоем — ни того, ни другого с точки зрения представителей современной власти. Ему помогало только личное снисхождение Попова, и тем не менее он говорил, что чувствует себя, как в раю, попав в нашу 22 камеру.

Так проходили дни. Гадали: будем ли встречать Пасху здесь или нет. Я с уверенностью заявлял, что у меня во всяком случае будет здесь пасха и кулич. Как бы не пришлось только просидеть здесь лето? — вот о чем была печаль. Гадали, кто будет выпущен первым. Все таковым считали меня. Я утверждал, что выйду первым или последним. Так и вышло. Даже гадали на спичках по этому поводу, когда были еще втроем. И по гаданию вышло: первый Виноградский, второй Муравьев, я — третий. По вечерам установили обычай: около часа каждый обязан что-либо рассказать. Наиболее талантлив в этом отношении был Муравьев, — у него несомненный дар образного рассказа. Хуже всех был Виноградский, который почти всегда ссылался на нездоровье. Герасимов рассказывал эпизоды своего министерства. Но обыкновенно довольно длинно и монотонно. И я несколько раз, к стыду своему,

---

[32] Агранов — следователь Ос. Отд. ВЧК.

[33] Герасимов — историк педагог, одно время тов. министра народного просвещения при старом режиме.

засыпал к концу рассказа — получалось хорошее усыпительное средство. Некоторые эпизоды рассказывал и я. Кое-что из того, что здесь записано.

Однажды зашла у нас речь о привидениях. Думаю, что Муравьев и Виноградский серьезно в них верят. Муравьев самым серьезным образом повествовал о том, как он встретился с женщиной-вампиром в Вене. О вампирах существует исследование, которое читали оба мои сокамерника.

Я также видел самые реальные привидения, о которых и рассказал в один из вечеров. Рассказал о них и Муравьев.

С привидениями я сталкивался три раза в жизни. Впервые в детстве. Мы жили с матерью у ее братьев в имении близ Задонска. И вот однажды, в момент их отсутствия, в большом, пустом доме мы слышим отчетливо, как играют на рояле. Испуг наш был чрезвычайный. Разбудили денщика. И он слышит. Кажется, перепугался не менее нашего. Так провели мы ночь, изредка слыша рулады и боясь пойти в зал... Музыка продолжалась несколько дней, пока отсутствовали дядья.

По их приезде рассказываем. Они хохочут. И действительно с их возвращением рулады не повторяются...

Новый отъезд. Новые рулады. Это не фантазия, а совершенно отчетливое и ясное восприятие. Сами решиться на расследование мы не осмеливались. Ждали приезда людей мужественных, но со стороны их встретили только издевательство над нашим страхом и нашими предрассудками...

Один из братьев играл на гитаре. Однажды он обратил внимание, что все новые струны изгрызены. Тут только открылся секрет. В роли привидений выступали крысы, которых в доме было большое количество. Когда дядя был в отъезде, он гитару вешал на стену. Крысы подпрыгивали, хватались за струны зубами и обрывались... Отсюда рулады. Когда дядя был дома, гитара обычно лежала на рояле и

была недоступна крысиным попыткам... Концом, кажется, я разочаровал всех слушателей моих, заинтригованных началом.

Вторая и третья встреча относятся уже к периоду юношества. Дело происходит также в помещичьей усадьбе, только в Тамбовской губ., в имении жены одного из дядей.

В имении никто не жил. Только на лето в эти годы, конец 90-ых, приезжал я и как бы становился главным управителем. Жил один-одинешенек в большом доме. Всегда все было спокойно, и никогда никакие привидения меня не посещали.

В одно из таких лет дядя сказал, что разрешил прожить в имении лето одному небогатому своему товарищу, отставному полковнику со взрослой дочерью. Таким образом мое одиночество оказалось нарушенным. Не могу сказать, чтобы я этому радовался. Мне как-то нравилась такая одинокая жизнь. Время было все занято работой, и я не скучал.

Приехал я в Ивановское, когда полковник с дочерью уже там поселился. Не успел я обосноваться, как полковник заявляет, что он немедленно же уезжает, что они ждали только моего приезда, что совершенно извелись, живя одиноко в этом большом доме, что здесь по ночам ходят привидения и т. д.

Тут пришла моя уже очередь над ними посмеяться, попробовал я их стыдить. Все напрасно. Не подействовали никакие уговоры. И едва ли не в день моего приезда они уехали. Конечно, я не обратил никакого внимания. У меня была привычка, однако, в силу того, что в моем распоряжении всегда было много денег, иметь при себе заряженное ружье. Обыкновенно спал я в кабинете, заперев дверь, часто даже не обращая внимания, заперта ли балконная или наружная дверь. В доме никого больше никогда не было. Позже только появилась старуха кухарка, которую разбудить ночью было бы все равно невозможно.

Вдруг ночью отчетливо слышу, как в зале кто-то равномерно ходит. Беру свечу, захватываю ружье, тихонько отпираю дверь. Иду. Никого нет. Обошел весь дом... Никаких следов. Все заперто... Однако на следующую ночь повторяется то же явление. Кладу с собой двух солдат, думая ночью обозреть чердак — не залез ли туда кто-нибудь.

Ночью слышим шаги. При обходе решительно ничего не замечаем. Так повторилось подряд несколько ночей.

Но и здесь ларчик открывался просто. Новое разочарование у слушателей. Все те же крысы, столь ненавистные мне. Дело в том, что дом так и стоял неотделанным, хотя был построен уже порядочное время. Его и внутри не оштукатурили. Он был только обмазан глиной. И когда наверху бегали крысы, кусочки глины падали, и этот шум в пустом зале производил впечатление хождения.

Мы скоро дошли до этого объяснения.

Привидения все больше посещают помещичьи старые дома. В таком доме оно посетило меня и в третий раз. Это было в той же Тамбовской губ., в имении моей тетки Фроловой.

Я приехал к ней из Ивановского в какой-то торжественный день. Гостей была масса. Меня некуда было положить спать.

«Можно только в угловой гостиной — говорит тетя Женя — только в ней у нас никто никогда не спит. Часто там появляется та черная дама, которая иногда посещает наш дом, и которую видела моя мать».

Испытанный уже на привидениях, я, конечно, не испугался «черной дамы» и храбро залег спать в угловой гостиной. Как всегда бывает в такие моменты, ночь оказалась лунной, а так как эта комната не приспособлена была для каких-либо ночевок, то не было и занавесок. Свет луны обливал всю комнату.

Только что я задремал. И в полусознании скорее ощущаю, чем слышу и сознаю, какой-то шорох. Открываю

глаза... и вижу совершенно отчетливо, как ко мне медленной поступью приближается действительно «черная дама», седая, бледная, почти страшная при лунном свете...

— Кто это?

Молчание. А тень так же медленно продолжает приближаться ко мне. Окликиваю вторично. Глубокое молчание... Тень все двигается и двигается.

Наконец, вскакиваю. Вижу нечто реальное, а не воображение фантазии. Громко еще раз спрашиваю.

— А это я, батюшка, за сапожками пришла — раздается тихий старушечий полушепот.

Пришлось только рассмеяться. Это пришла старуха няня, которой было что-то более 100 лет... На другой день рассказываю с мрачным и ужасным видом, что ко мне приходила ночью «черная дама»...

Должен сказать, что все провидения, которые посещали Муравьева, были более таинственны и необъяснимы. О них он даже сообщал в журнал спиритов «Ребус». Сообщение его было напечатано с соответствующими научными и мистическими комментариями. Для Муравьева все это по меньшей мере явления необъяснимые. Он верующий спирит. Я им рассказал, как в юношеские годы и у меня стол не только вертелся, но отвечал на интереснейшие вопросы! И отвечал иногда ядовито...

Почти у папы

Когда мы осматривали с женой Ватикан, нам хотелось попасть в одну капеллу, интересную по своей живописи и недоступную обычному обозревателю. Нам сказали, что допущение в нее всецело зависит от монсеньера Пифферы. Как к нему попасть? Как проникнуть во внутренние папские покои?

Прежде всего натолкнулись на швейцарскую стражу, охраняющую внутренние покои святого Отца. Но, как

часто бывает, самое шаблонное средство является ключом от дверей рая. Две лиры оказались достаточными, чтобы один из представителей благородных швейцарцев нас пропустил. А дальше пошла инерция.

Пройдя первые запретные двери, мы легко проходили другие в поисках все того же монсеньера Пиффери. И все думали, что раз нас пропустила первая ограда, значит, у нас есть специальное разрешение. А мы шли, спрашивая, где нам найти монсеньера Пиффери, и нам указывали все дальше и дальше во внутренние папские покои. Казалось, вот-вот откроются еще двери, и мы окажемся перед самим римским папой. Мы готовы были задавать себе уже вопрос, что в таком случае нам делать? Еще двери, и мы неожиданно встретились с каким-то прелатом. Это и оказался монсеньер Пиффери. Он был, кажется, совершенно поражен, увидав нас там, где простым смертным, да еще чужеземцам, быть не полагается. Может быть, он был раздражен нашей, как ему показалось, назойливостью, но под каким-то предлогом он отказал нам в осмотре интересовавшей нас капеллы. Но все же мы выиграли, так как увидели многое, что обычно осмотреть нельзя.

Так мы были «почти у папы». Вообще с римским папой мне чуть-чуть не удалось завязать непосредственных отношений, почти не поступить даже к нему на службу. В печати мне приходилось уже упоминать об этом своеобразном случае в своей жизни.

Наше похождение относится к весне 1907 г. За год или полтора перед тем меня уже в Москве по своей ли инициативе или по предписанию посетил папский эмиссар, прибывший, по-видимому, со специальной целью позондировать почву о возможности привлечь притесняемых русских старообрядцев к признанию папского приматства.

Надо было совершенно не понимать ни психологии, ни всего бытового уклада старообрядчества, чтобы носиться с

подобной мыслью. Эмиссаром этим был униатский священник Зеркевич или Зяркевич, лицо близкое более или менее униатскому митрополиту в Галиции Андрею Шептицкому, о котором немало пришлось слышать русскому обществу в дни «великой войны», когда он наряду с другими униатскими священниками при захвате нашими войсками Львова был арестован и привезен в Россию в качестве заложника.

Еще раньше, до посещения Зяркевича, я неожиданно и непонятно для себя получил несколько книг гр. Шептицкого, между прочим о социальном вопросе, с довольно уважительной подписью-автографом.

Потом только я понял, что это было лишь подготовкой почвы для той беседы, которую должен был вести со мною Зяркевич. Последний при посещении, упомянув о моих связях со старообрядческим миром, о моих занятиях в этой сфере, слухи о которых, как оказывается, дошли даже до престола ев. Петра, развил подробно теорию о воссоединении церквей, мечты некоторых деятелей Ватикана, перед которыми рисуется всесветное владычество над религиозными душами мира, о воссоединении, первым этапом которого было бы признание папы русским старообрядчеством в форме, как это признает униатское вероисповедание. Довольно ясно мне намекнули, что я могу сыграть здесь большую роль, если поведу соответствующую пропаганду, что для этой цели могут быть предоставлены все необходимые денежные средства и т. д.

Мне, однако, пришлось только разочаровать папского эмиссара XX века, указав утопичность подобного начинания по отношению к старообрядчеству, а вместе с тем указать, что выбран очень плохой помощник, так как я к католической церкви, как организации, отношусь еще более отрицательно, чем к церкви православной. Моя цель — борьба с клерикализмом во всех его реакционных проявлениях. Если

для России этот клерикализм возможное будущее, то для Запада это фактор, на котором зиждется вся общественная реакция. Мое убеждение, что в силу прошлого и в силу настоящего скорее старообрядческий мир можно склонить на признание отделения церкви от государства, т. е. идеи современного демократизма, которую я по мере возможности провожу в своих статьях в «Русских Ведомостях».

Мой собеседник, конечно, произнес целую филиппику в защиту церковной организации католичества. Воспроизводить ее не стоит, да я и не помню каких-либо своеобразных деталей в обычной аргументации.

Мы дружественно в конце концов расстались, даже дали друг другу братский поцелуй. Конечно, не по моей инициативе.

На этом окончились и мои «почти» сношения с римским престолом...

Особый Отдел ВЧК. Июль 1920 г.

VI. Педагогическая работа (1909–1913)

Педагогический конфликт

Я сделался педагогом до некоторой степени случайно и пробыл им около четырех лет. Педагогических призваний у меня никаких нет, нет и интереса к подобной деятельности. Было несколько поводов, побудивших меня взять несколько уроков истории, и случай открывшейся вакансии в женской гимназии Гельбиг.

Я собирался уходить из редакции «Р. В.». Покойный А. В. Заремба всячески меня отговаривал, но мое решение было довольно твердо. В связи с этим намерением искал различные пути обеспечить себе некоторый хотя бы верный материальный заработок. Как бы постоянная работа литературная открылась в известном педагогическом

журнале д-ра Н. Ф. Михайлова «Вестник Воспитания». Здесь я взялся давать более или менее систематически отзывы о новых выходящих учебных книгах по русской истории, что и делал потом в течение ряда лет уже не из-за заработка, а из интереса и привязанности к этой симпатичной редакции. Конечно, сам по себе заработок был пустяковый. Но по зернышку собирается уже нечто. Мы с женой составляли в это время хрестоматию по русской истории. Я задумал составить нечто вроде учебника или книги для чтения по русской истории. В этих целях было необходимо хоть немного попрактиковаться и непосредственно в преподавании. Поэтому между прочим я подумывал поискать уроков. Но искать их не пришлось. Старый мой знакомый, друг Зарембы, один из лучших и известнейших московских преподавателей С. П. Моравский переезжал в Ростов Ярославский, где в это время открылась гимназия, куда его приглашали директором. Взаимная услуга. В силу личных связей с С. М. Леонтьевым и А. А. Титовым я мог оказать Моравскому некоторую даже протекцию, так как меня спрашивали отзыв о нем. Моравский предложил мне взять его уроки в гимназии Гельбиг. Было страшновато выступать преемником Моравского, пользовавшегося репутацией интересного учителя и рассказчика. У меня нет и не было лекторских талантов никогда, равно как и ораторских. Но, поколебавшись, я тем не менее согласился. Затруднение состояло в том, что у меня не было решительно никаких бумаг — все потерялось в бытность на военной службе. Даже паспорт мне удалось выправить без затруднения только в силу некоторого знакомства в участке, т. е. обычной соответствующей мзде письмоводителю. За четвертную[34] мне выдали паспорт на основании свидетельства церковного с смерти

[34] 25 рублей.

отца, хотя, конечно, никаких доказательств, что я сын покойного, не было. Не было у меня и свидетельства об окончании университета. В этом, впрочем, тоже не сомневались в гимназии. Так как штатного места брать я не намеревался, а хотел считаться по так называемому вольному найму, то обошлось как-то без утверждения в Округе. Могли быть такие случаи при старом все опекающем бюрократическом режиме. И пробыл я в этой гимназии три года без всякого начальственного утверждения. И все об этом как-то забыли.

Гимназия В. П. Гельбиг была в некотором отношении удивительная. Хозяйка гимназии была на редкость безалаберный человек. Для нее гимназия была коммерцией. Дела гимназии шли, по-видимому, хорошо, так как это была одна из немногих замоскворецких женских гимназий. Но хозяйка любила жить широко, любила поиграть в карты и очевидно часто хозяйственные гимназические деньги уходили на покрытие других расходов. Учителям задерживалась расплата месяцами. И хотя это делалось не злостно, но тем не менее беззастенчивость такая в денежных обязательствах способна была раздражать до крайности. Мне, вольнонаемному, да еще не нуждавшемуся, для которого педагогия являлась второстепенным, дополнительным заработком, действительно не платили месяцами. Меня так это возмутило, наконец, что я отказался. Хозяйка· упросила, однако, остаться. Часть денег уплатила, но так я и бросил гимназию, не получив платы за несколько месяцев. А каково было тем, которые только и жили на уроки.

Но человек В. П. Гельбиг была добродушный и благожелательный. Относиться к ней плохо нельзя было. Для нее формальностей не существовало — чем меньше их, тем лучше. Начальницей гимназии была добродушнейшая и безвольная кн. Львова, которая всех боялась — и начальства, и педагогов. Председателем педагогического Совета

состоял известный математик Ф. Е. Егоров, человек также мало склонный к формальностям и мало входивший в дела гимназии. При таких условиях со стороны какой-либо выдержанной педагогической системы дело обстояло плохо — вернее системы никакой не было. Гимназия была нищенски обставлена со стороны учебных пособий. Дело шло само по себе. Но состав преподавателей был хороший, поэтому и гимназия в сущности была не так плоха. Во всяком случае было то, что называется дух хороший. Для отдельных же преподавателей открывалась полная свобода действия.

Рассказывать мне о своей педагогии нечего. Ничего нового, ничего оригинального я, конечно, не проявил, да и проявить не мог. В сущности было ново проходить курс истории в классе, и на первых порах это даже заинтересовало. Вначале я готовился к урокам, потом и это прекратил за полным отсутствием времени, а класс, с которым начал курс, не хотелось бросать, не доведя дело до конца. Но все-таки думаю, что преподавателем я среди других был не плохим. Прежде всего у меня установились с ученицами самые дружественные отношения, что так помогает в классе и способствует в значительной степени даже поднятию интереса к преподаваемому предмету. Во мне видели прежде всего человека. Никогда я не прибегал к каким-либо репрессивным мерам, ни разу никому не поставил неудовлетворительной отметки. Отнюдь не могу пожаловаться на то, чтобы у меня не было авторитета, чтобы меня не слушались или не слушали в классе. Когда я сравнивал невольно тишину и внимание своего класса с классом соседним, где иногда одновременно шел урок истории моего друга В. Н. Перцова, этого великого философа в жизни, которого я уже рекомендовал в гимназию Гельбиг, то видел, какая в сущности дисциплина царила у меня; мне чуть ли не самому иногда приходилось открывать

дверь в соседний класс, и просить быть тише и не мешать мне заниматься. В. Н. поддерживать дисциплину был мало способен по своей натуре.

Я много рассказывал, и меня, по-видимому, охотно слушали. Преподавание мое, оценка исторических событий и явлений, было, конечно, свободно, я сравнивал часто с современной русской общественностью; никогда не скрывал своих взглядов, не боялся суждений. Думаю, что эта независимость создавала уважение; может быть, пробуждала интерес. Не думаю, что мои ученицы знали бы историю хуже, чем то знают обычно в средних учебных заведениях. Может быть, они слабее были в хронологических деталях, в которых я был сам слаб, но зато в понимании явлений и исторического процесса, на что я и обращал главное внимание, может быть, они стояли нередко и выше других, хотя гимназия по составу учениц была в общем довольно серая. Я получил некоторое все-таки удовлетворение от своего преподавания. Главную свою цель я видел в том, чтобы заинтересовать историей учениц. И смею сказать, что достиг до некоторой степени этой цели. Когда я уходил из гимназии, то, кажется, едва ли не в первый раз так много желающих заявило свое намерение в восьмом классе выбрать специальностью историю. Многие мои ученицы пошли на Высшие Женские Курсы на историческое отделение. Ведь это, как ни как, маленькое доказательство плодотворности работы. Уход мой вызвал сожаление. С некоторыми из учении у меня сохранились самые дружественные связи по сие время... Только лучшая моя ученица, Реутона, мне причинила горе — она оказалась теперь в большевицких рядах: попала на Курсы и начала заниматься у Сторожева, постепенно мое влияние выветрилось и заменилось специфически марксистским. Для меня это был некоторый удар.

В силу указанного атмосфера создалась в гимназии приятная, и я охотно давал свои шесть уроков в двух

старших классах. Эти часы три раза в неделю становились даже некоторым отдохновением от обычной литературной работы, разнообразя и занятия, и впечатления. Со стороны материальной мое преподавание было только для нашего бюджета сплошным убыткам.. Но заработок мне в сущности и не оказался нужным, так как я продолжал еще работать в «Р. В.» только на новых условиях, для меня предпочтительных, без обязательства посещения редакции. Гимназия Гельбиг в конце Якиманки, почти у Калужских ворот, от меня была далеко. Один трамвай занимал, не считая ожидания, более 25 минут. Часто, чтобы не опаздывать, я вынужден был ездить на извозчиках. А так как владелица гимназии притом не платила, то преподавание мое просто требовало от меня нередко приплаты из собственного кармана.

Так шло два года. Я должен сказать, что от молодежи оставалось самое хорошее впечатление. В то время так много говорили о ее развращенности — ведь это были годы увлечения «Саниным», годы так называемых «огарков» и т. п. Ничего подобного я не встречал в двух женских гимназиях, в которых преподавал. Скромность, нравственность, можно сказать, царили. В каждой гимназии я помню только по одной действительно развращенной девчонке, скоро однако ушедших из гимназий и вообще не имевших никакого влияния на товарок. Одна из них наивно пыталась меня «соблазнить» во время гимназического бала. Другая, дочь знаменитого певца, может быть, просто восприняла легкость нравов среды и этим как бы кокетничала. Но, повторяю, это были исключения. Зато очень много было вдумчивого, чистого и хорошего.

Над гимназией Гельбиг нависла некоторая угроза, когда Егоров по болезни отказался от председательства в Педагогическом Совете, и вместо него был назначен какой-то молодой математик, истинный педагог в футляре, который

занялся подтягиванием распущенной гимназии путем ввода всяких формалистик — смешно наблюдал, чтобы учителя не запаздывали на уроки и т. д. Не помню, по какому случаю у него произошел конфликт с Педагогическим Советом; связей у него не было, и оказалось возможным его устранить — он получил высшее назначение в провинцию.

Но променяли кукушку на ястреба. Председателем был назначен директор соседней мужской гимназии, шестой, также математик — Флинк. Нет хуже русского немца — сказал еще Герцен. Единственное счастье, что он слишком был занят подтягиванием своей гимназии, куда он был назначен незадолго перед тем и мог уделять женской гимназии, второстепенной с его точки зрения, время только урывками, вызывая к себе в гимназию преподавателей для соответствующего внушения. Педант, деспот, позволявший себе подчас недопустимые выходки по отношению к подчиненным. К сожалению таким людям многое спускают. И педагогическая среда в этом отношении не многим уступала среде чиновничьей. Напр., в его гимназии был такой случай. В учительской преподаватель истории читал газету, в это время входит Флинк и что-то говорит учителям. Историк продолжает читать газету.

«Потрудитесь не читать газету в присутствии директора» — грубо заявляет Флинк, и учитель молчаливо оставляет чтение.

В нашей гимназии один раз он проделал такой поучительный опыт. Случайно попав в гимназию, он увидел, что один из учителей опоздал на урок. Тогда он сам решает дать урок. Когда через пять каких-нибудь минут явился учитель, Флинк ему заявил: «не беспокойтесь, теперь я даю урок», и учитель глупейшим образом должен был час свой прошагать в учительской.

И по своему характеру и по независимому положению, которое я неизбежно занимал в гимназии, я не мог не дать

ему отпора при первом поползновении на свою самостоятельность. Это были стычки в Педагогическом Совете, протесты, возражения. Невольно Флинк меня возненавидел. Считал революционером, тлетворно действующим в гимназии. Конечно, в силу этого и не доверял моему преподаванию, обращал внимание на несоответствие моей программы с программой официальной.

Атмосфера понемногу накаливалась и разразилась шумным инцидентом во время экзаменов в восьмом классе. Но на всякого формалиста бывают свои прорухи. Флинк сам нарушил правило и тем ослабил свою позицию.

В восьмом классе у специалисток полагался письменный и устный экзамен. Письменный по русской истории. По правилам преподаватель намечал несколько тем из круга тех эпох и вопросов, которые он проходил со своими специалистками, передавал темы председателю, а тот уже выбирал из них по его мнению наиболее подходящую. Так я и поступил. Но, очевидно, Флинк и здесь мне не доверял и предвидел какой-нибудь сговор с ученицами. Однако все хранил в тайне... Наступил день экзамена... Флинк разрывает конверт и читает тему: «Почему Петра I назвали Великим?». Не говоря уже о том, что тема по своей наивной формулировке не подходила для «специалистов» по истории, это была эпоха, которой я почти не касался в этом году — был только один реферат. Одним словом тема, мною не помеченная, а Флинк не имел права браковать мои темы, во всяком случае без соответствующих переговоров со мной. Я не выдержал и громко сказал: «Но это не моя тема. Я решительно протестую. Вы не имеете права это делать».

Авторитету Флинка был нанесен как бы удар публично. Он заявил, что при ученицах объясняться не намерен и требует, чтобы я задал эту тему. Я отказался. Тогда ученицы на время удаляются. Мы, т. е. я и ассистент Перцов, вступаем в пререкание. Несчастная Львова, которую Флинк

допек своей формалистикой до последней степени, конечно, на нашей стороне, но не может и не смеет заступиться за учениц. Да, заступиться за учениц. Для моих, конечно, не представляло затруднения ответить на такую тему, но подобный произвол мог быть и чреват последствиями при некоторых условиях для учениц. Флинк уступить не пожелал и заявил, что в таком случае экзамен откладывается, и он переносит дело в Округ. Положение было трудное — все это отзывалось на ученицах. Уже чего стоит перенос ожидаемого экзамена и откладывание его на неизвестный срок! Как на всю эту историю посмотрит Округ? Все это могло отразиться на ученицах. Я заявил, что с протестом уступаю, требуя, однако, составления формального протокола происшедшего и представления его в Округ. Так и было совершено.

Мы с Перцовым написали обстоятельно мотивированный протест, к которому присоединилась и Львова. После этого только зовутся вновь ученицы. Прошло в этих передрягах по крайней мере часа полтора. Ученицы сами так взбудоражены, что им не до писания. Читаю флинковскую тему. Вижу у всех на лицах и недоумение, и протест — не ожидали, что я уступлю. Тогда без всякого сговора все кладут перья и заявляют, что на эту тему писать не будут. Новое осложнение. Флинк взбешен. Видит бунт. Мне пришлось употребить все свое влияние и авторитет, чтобы заставить учениц взяться за писание работы...

Наконец, экзамен закончен... Флинк встает, начинает прощаться и подает мне руку. Я, конечно, отказался после происшедшего от такой чести. Может быть, я и не должен был этого делать, соблюдая интересы своих учениц. Но это произошло почти инстинктивно. Новое осложнение — неподача руки начальствующему лицу при исполнении им служебной обязанности. Публичное оскорбление!

Флинк готов был использовать такой момент. Но здесь-то и оказалось, что я вовсе и не состою формально

на службе в Министерстве Народного Просвещения. И несчастный Флинк терпел целый год такое беззаконие! Новый удар его формализму.

Дело перешло в Округ, куда поступили и все работы. Произошел, конечно, конфликт и при их оценке. Кроме нас, историков, отметки должен был выставить и председатель Совета. Мы всем поставили по пяти. А одну работу оценили на пять с крестом. Для гимназистки, хотя бы и восьмого класса, эта работа действительно могла быть признана выдающейся. Это была дочь историка Селю, лучшая моя специалистка, пошедшая, однако, не по истории, а по медицине. Она как раз писала работу о Петре в течение года и, следовательно, по сравнению с другими была в значительно привилегированном положении. Флинк, однако, оценил эту работу только тройкой в виду, очевидно, «революционности» изложения — Петр действительно развенчивался. Я и Перцов написали обстоятельную мотивировку своих отметок, стараясь попутно обнаружить историческую безграмотность русского немца директора. С этими отзывами работы пошли в Округ.

Дело далеко не кончилось. Флинк, очевидно, считал, что вне сомнения он выйдет полным победителем в конфликте. Но у него даже не являлась мысль, что, мстя мне, он издевается над неповинными ученицами. И здесь он проявил много черствости. Прежде всего на Педагогическом Совете он заявил, что мои специалистки не могут быть допущены до устных экзаменов, так как не выяснены еще результата экзаменов письменных. Такая постановка вопроса грозила большими осложнениями — вплоть до возможности переноса экзамена на осень. Легко себе представить чувства учениц при таком повороте. Но педагогу Флинку, конечно, не было никакого дела до объекта его экспериментов. Против этого однако запротестовал уже весь Педагогический Совет — даже безгласные. И вновь пошло в Округ мотиви-

рованное постановление Совета, которое Флинк не желал вписывать даже в протокол.

В Округе были нажаты соответствующие педали и гимназией и мною, так при большом количестве связей все же Флинку не так просто было меня съесть живьем. Попечителем Округа в то время был проф. астроном Жданов, в общем довольно добродушный человек. Начальница гимназии ездила к нему. В конце концов Округ согласился с Советом; было только сказано, что на экзамен по истории не только 8-го, но и 7-го класса будет прислан представитель Округа, причем экзамен откладывался на крайний срок.

Наконец, наступил и этот срок. Из Округа прибыл небезызвестный окружной инспектор Смолянинов, прославившийся затем своими реакционными мерами в качестве попечителя одесского учебного Округа. Человек холодный, неприятный. Его внешность также не располагала к симпатиям — маленький горбатый рыжий, с чрезвычайно самоуверенным видом. Он считал себя историком, так как под его редакцией вышло несколько томов архива кн. Куракиных — именно томы, посвященные XVIII веку. В силу этих традиций он был немного вольтерьянец, немного даже масон — так по крайней мере сам себя представлял.

По-видимому из Округа он получил соответствующие инструкции. Он был холоден, но корректен. Никаких разговоров о конфликте не поднималось. Начался экзамен с седьмого класса. Отвечали в общем хорошо и без затруднений на те элементарные вопросы, которые вздумал задавать Флинк. Смолянинов не придирался. Я с самого начала дал ему понять опасность задавать какие-нибудь сложные вопросы, осадив его указанием, что точка зрения, высказываемая им на какой-то вопрос, давно признана устаревшей. После этого Смолянинов воздерживался от высказывания своих исторических точек зрения.

Экзамен прошел быстро. По окончании оба молчаливо удаляются, заявляя, что экзамен в 8-м классе переносится

на вечер. При том напряжении, которое было у учениц, ждавших уже с утра, такое решение вызвало протест, сопровождавшийся даже истерикой у некоторых. Под такой концерт оба педагогических аргуса спускались по гимназической лестнице. Но все-таки экзамен был только вечером. Я решил предотвратить возможный удар и заявил Смолянинову, что считаю такое жестокое поведение возмутительным издевательством и буду жаловаться в Министерство, где у меня достаточно связей. Смолянинов знал об этих связях, а он все-таки прежде всего был чиновник-карьерист. Как-то сразу он переменил тон. Зашла речь тут только о конфликте с Флинком. Из слов представителя Округа я понял, что там не считают Флинка правым, хотя Смолянинов и говорил, что мне не следовало выражать протеста при ученицах — это не педагогично (очень-то педагогично было их поведение!), разрушает дисциплину в школе и т. д. Затем речь перешла к работе Селю. «Я, знаете ли, сам славянофил — заявляет Смолянинов — и к Петру отношусь совершенно отрицательно. Но это император, и в школьной работе все-таки такая точка зрения неудобна». Я, однако, настаивал, что ни в коем случае не соглашусь на оценку работы в духе Флинка — работа блестящая, написана моей лучшей ученицей.

Экзамен прошел благополучно, отвечали ученицы блестяще. Я боялся за историю древнего мира, которую полагалось пройти дополнительно в восьмом классе, и которую мы обошли, согласившись, что ученицы пройдут ее по Виноградову. Но в этом отношении я оказался гарантирован. Для проформы я задавал те или иные вопросы, но Смолянинов мне с самого начала сказал, что не стоит затягивать такими вопросами экзамен — для чего девицам знать древнюю историю.

В дальнейшем, кажется, он задал мне один только вопрос: «Как фамилия этой хорошенькой барышни?». Задал и смотрел на «барышню» маслеными глазами, так что потом она меня спросила, что Смолянинов сказал про нее.

Относительно Селю мы сошлись на условии, что за письменную работу будет поставлено 4, но общий экзаменационный бал будет 5.

Так кончился мой конфликт. Конечно, оставаться в гимназии в дальнейшем при Флинке мне было невозможно. Нужно было утверждение. Флинк требовал, чтобы преподаватель был штатным и пр.

С девицами своими я расстался, однако, с большим сожалением.

Ушел и Перцов. В сущности наше место было как бы под бойкотом. Но его занял без всяких колебаний и без попыток выяснить вопрос с нами некий московский педагог Кун, отношения с которым у меня были довольно натянутые. Педагоги часто бывают нечутки. Из нелюбви ко мне он попытался дискредитировать меня в глазах учениц. Результаты получились однако иные. Он дискредитировал только себя, и его мой прежний класс не взлюбил.

После ухода из гимназии Гельбиг я взял несколько уроков в гимназии Н. П. Щепотьевой, куда меня давно звал тамошний историк, приятель мой Е. И. Вишняков, и где начальница гимназии была моей давнишней знакомой.

Гимназия Щепотьевой была по духу уже совсем иной. Для Н. П. Щепотьевой ее гимназия была делом идейным — делом ее педагогического интереса. Эта гимназия представляла собой как бы до некоторой степени семью, членами которой являлся и педагогический и учащийся персонал. Работать здесь в силу этого вдвойне было приятно, да и состав учениц был повышено интеллигентный. Отношения у меня и здесь установились самые лучшие, и за все три года решительно не было ни одного малейшего осложнения. Преподавание шло без всяких затруднений, излишних опек, контролей. Все основывалось на интересе и доверии.

Председателем Педагогического Совета был добродушнейший, незлобивый старичок П. Ф. Истрин, родственник академика. Человек политически крайне правый,

но по своему добродушию не могший проявлять ни педагогического формализма, ни вводить соответствующей политики в гимназический обиход. Обойти его ничего не стоило. Надо было только слушать его длинные и весьма скучные педагогические рацеи.

Он с самого начала имел со мною разговор как бы на духу. Сказал, что слышал о некоторых недоразумениях со мной в гимназии Гельбиг, но это не вызывает де, как он узнал, никаких осложнений в Округе. Но что я должен все-таки получить официальное утверждение. Он самым серьезным образом мне доказывал необходимость и писателю получить соответствующее служебное положение, связанное с чинами и т. д. «Вам нужно восстановить свои бумаги; я же пока в Округе поручился за вашу политическую благонадежность». Я обещался все это сделать, он несколько раз напоминал. Так и умер П. Ф., а я все утверждения не получал.

Вначале он все-таки мне не доверял и наивно пытался проконтролировать мои взгляды. Но все это делалось так добродушно, что сердиться отнюдь нельзя было — было только смешно. Вначале я не понимал, почему П. Ф. при встречах часто задает такие вопросы: «А скажите, В. П., не знаете ли, где находятся мощи такого-то святого?». — «Правда, не знаю, но могу навести справку». — «Пожалуйста, не беспокойтесь, я спросил потому, что думал, как русский историк, вы это знаете».

Таковы были приблизительно вопросы, которыми он меня контролировал. Но вскоре мне помог случай, и мой авторитет и исторический и даже политический встал высоко и незыблемо и глазах Истрина.

Однажды он пришел ко мне на урок. По счастливой случайности я рассказывал о роли монастырей в русской истории. П. Ф. остался такой темой так доволен, что долго потом жал мне руки и благодарил. После этого я не только

не контролировался, но раз попал в глупейшее положение. Надо было среди года проэкзаменовать какую-то вступающую ученицу по Закону Божию. Священника не было, а случившийся здесь П. Ф., который часто бывал в гимназии, так как другого дела у этого д. с. с.[35] уже больше не было, решил, что проэкзаменовать должен я. Попал в безвыходное, глупое положение — я все и молитвы-то забыл. Отказывался решительно... Тогда П. Ф. настоял, что экзаменовать будет он, а я должен присутствовать в качестве ассистента. От этого отказываться нельзя было. Но и тут пришлось плохо. П. Ф. все требовал, чтобы я задал какой-нибудь вопрос. Наконец, я попросил прочитать какую-то молитву...

Все в гимназии глубоко сожалели умершего вскоре своего председателя. Любили его и ученицы. Его заместителем явился проф. Грушка, также внесший много деликатности во взаимные отношения. Его племянница, между прочим, была одна из действительно лучших моих учениц. Я довел свой класс до перехода в класс специальный, передал его Вишнякову, а сам навсегда бросил педагогику. Мне и некогда было, да не было и любви. Второй раз проходить курс уже было и скучно и шаблонно.

19/VII. 1920 г.
Написано в феврале 1920 г.

VII. Из 1905 г.

На военной службе

Бурные годы 1905–1906 пали на время отбывания мной воинской повинности.

Я был всегда недостаточно активным революционером, чтобы всецело отдаться кипучей агитационной работе.

[35] Д. с. с. — действительный статский советник.

Едва ли дело было в темпераменте, который столь часто определяет политическую позицию человека. Темперамент как будто бы достаточный — характер холерический, как определяют друзья, утверждая, что я по складу своему не подхожу к нар. социалистам — более активен, чем полагается быть. Вероятно, большее значение имеет скептичность, тот анализ, который дается изучением истории и который обливает так часто холодной водой порывы душевной экзальтации. Наконец, с детства присущая тяга к науке, к академической работе, которая в сущности почти несовместима с активной практической работой агитатора, революционера и т. п. Этот академизм всегда входит в коллизию с долгом гражданина. Последний заставляет входить в общественную работу, отзываться на текущие вопросы. Первый тянет к кабинетному столу, отталкивает от толпы, «от человеческого стада», по выражению Кропоткина, внушает разочарование к людям, жалость отдавать себя, свои интересы практической деятельности. Кажется, что научная работа даст и большое удовлетворение и принесет большую пользу, т. е. как бы указывает лучший путь выполнения своего гражданского долга. Но жизнь своими безобразиями выбивала и выбивает из этой позы спокойного мудреца. Отсюда и столь распространенный именно у нас в России тип: и не политика и не ученого. Что же делать — такова судьба!

Итак, отбывание воинской повинности ставило меня до некоторой степени вне круга активной политической работы — во всяком случае вне перманентной активности. При том образе жизни, который приходилось вести, и при отсутствии природной склонности к массовой агитации, не было возможности принимать фактическое участие в митинговом периоде русской революции. Я отбывал воинскую повинность номинально в 3-ей гренадерской бригаде, стоявшей в Ростове Ярославском — фактически в Москве, так как был прикомандирован к 1-ой гренадерской бригаде.

Утром к 9 ч. должен был являться на Ходынку и проходить курс словесного и практического обучения, т. е. прыганья через кобылу, строя и т. д. Четыре часа таких занятий достаточно утомляли. Являлся домой разбитый. Час спал, как убитый, и отправлялся в редакцию «Р. В.», где работал во внутреннем отделе. Это был единственный источник материального существования. Надо было просмотреть 40–50 провинциальных газет, приготовить материал к следующему №. Работа кропотливая и утомительная. (Я только что в это время женился, буквально накануне поступления на военную службу.) Вернувшись домой, принимался за другую работу.

Была политическая весна. Я получил через Т. И. Полнера предложение взять на себя заведывание вновь создавшимся издательством Комиссарова «Народное Право» — в то время еще непартийным. Задача издательства была популяризация. На меня ложилось все дело: и редакционное и техническое — представлять из себя на первых порах и финансовый и конторский аппарат. Надо было создать серию популярных брошюр. В это время мы с Шестаковым затеяли и другое литературное издательство: «Свободная Россия». Популяризаторов не было. Надо было их отыскать. Мне было 25 лет, не было еще достаточного опыта, и я, вероятно, делал много организационных промахов. Так, напр., имел неосторожность отпечатать на ремингтоне список намеченных тем и кое-кому раздать. Началась буквально вакханалия на моих послеобеденных приемах. Собиралось иногда 40–50 человек, жаждущих литературной работы. Надо было со всеми переговорить, раздавать темы, просматривать ими приносимые рукописи, указывать пособия... Это было, конечно, совершенно бессмысленно с точки зрения практической, хотя, надо сказать, из этих неизвестных авторов как раз некоторые оказались лучшими популяризаторами в наших сериях.

При таких условиях некогда действительно было митинговать. А кроме того я всегда продолжал, хоть немного, заниматься наукой, а в те времена молодости, пожалуй, более чем когда-либо я хотел быть «человеком науки». Побуждало, может быть, мелочное самолюбие — случайные отзывы, случайные уколы самолюбия, но об этом я скажу в отрывках об университете.

Итак, в сущности, я положил начало организации «Народное Право», но, наладив дело, очень скоро от него стал отходить. Т. И. Полнер, как всегда, быстро охладел к делу. Появились новые люди в связи с общественной дифференциацией. Издательство стало понемногу принимать партийный характер, я же в партии становился изгоем. Очень скоро соредактором был приглашен А. Н. Максимов, с которым у меня никогда· не было близких отношений. Оставалась «Свободная Россия», своеобразная дружеская артель из четырех лиц. Издательницами были Е. Кожевникова и Е. Коломейцева. (Редакторами Шестаков и я).

Военная служба текла довольно однообразно. В первой гренадерской бригаде как-то не чувствовалось дыхания весны, что и обнаружилось в дни вооруженного восстания. Офицерство все было настроено консервативно, за исключением двух помощников, заведующих командой учебной К. и М. — и им обоим после декабрьских дней пришлось выйти в отставку. Совсем иное настроение было в 3-ьей Грен. Бригаде в Ростове, где я пробыл всего несколько дней. Там шло определенное брожение среди солдат, которые говорили, что не будут стрелять при усмирении беспорядков.

Настроение в бригаде было такое, что для охраны ее прислано было чуть ли не два пехотных полка. Вероятно, этим настроением и объясняется то, что нас[36] легко откомандировали в Москву в учебную команду, и затем по

[36] Вольноопределяющихся.

окончании курса отпустили в отпуск до экзаменов — так что отбывать воинскую повинность было нетрудно. С Ростовской бригадой я столкнулся лишь летом в лагере.

Правда, в Москве нас, вольноопределяющихся, держали особняком от солдат — мы совершенно не входили с ними в соприкосновение. Но, как показало последующее, и солдаты в бригаде были наиболее «верные» в московском гарнизоне.

О самой службе сказать буквально нечего. Приводили нас к присяге, причем мы должны были дать подписку, что даже *не знаем* о существовании каких-либо политических партий. Все текло таким образом благополучно до октябрьских дней.

17 октября и предшествующие дни как-то ничем не запечатлелись, следовательно на службе очевидно они прошли незаметно. Но день похорон Баумана ознаменовался у нас событием. Мы решили коллективно идти на демонстрацию и держаться всем вместе. Так и поступили, выстроившись в два ряда на Театральной площади. В это время подходила уже самая процессия. Один из распорядителей Н. А. Рожков, увидав нас, стал звать в цепь для организации порядка. Пользуясь своим знакомством, я указал ему на неудобство — мы были единственные солдаты на всей площади. Рисковать из-за этого пустяка не стоило. Но у Рожкова был сильный революционный зуд, и с обычной для себя в то время резкостью он громогласно выразил нам как бы порицание. Это подстегнуло, и все мы двадцать вышли в первый ряд и оглавили собой всю процессию. Может быть, и вышло помпезно, но могло быть для нас чревато последствиями. Должен сказать, что публика в нашей команде была довольно обывательская, за исключением двух-трех человек, совершенно не революционная. Таким образом это была простая молодеческая выходка и только.

Наше участие дало возможность в с.-д. листках писать об участии армии в демонстрации... Отозвались на наше участие и «Моск. Ведомости». В описании Баумановских похорон они говорили о группе революционеров, переряженных в военную форму, как можно было судить по их новому с иголочки обмундированию... Мы проводили тело Баумана до кладбища. Вернувшись домой поздно, я узнал о расстрелах около манежа. Мы бросили все и побежали помогать, перевязки делались в летучем лазарете, организованном в Университете.

Это была первая кровь...

На другой день нас ждала расплата у воинского начальства. Там, конечно, прочитали «М. В.», но не обратили внимания, или не желали обращать внимания во имя чести нашей части. Но на несчастье нас видел на Театральной площади врач казачьей бригады, казармы которой находились рядом с нами. Он и донес по начальству. Начался допрос. Мы изобразили из себя невинных людей, участвовавших случайно в демонстрации по глупости. Этим в своих собственных интересах начальство и ограничилось — кажется, даже не было никакого нам наказания.

После октябрьских розовых дней наступило мрачное время, когда в воздухе висел погром. Начали ходить патриотические манифестации, организованные полицией; происходили избиения на улицах студентов, не снявших шапок при прохождении мимо процессий с царскими портретами. Кого-то сбросили в реку с Каменного моста и т. д. Ожидали погрома редакции «Р. Вед.». И мы, сотрудники, готовились к встрече. Была выработана диспозиция на случай нападения, и служители вооружены. В печатной диспозиции определялось, что в случае нападения Леонтий (швейцар) с ружьем становится там-то, Петр там-то и т. д. Указывалось, кто куда должен звонить, бежать и пр. Одним словом наши стратеги секретарь редакции В. В. Романов и др. выработали

детальный план самозащиты. В подвальном этаже стали учиться стрельбе, были приобретены револьверы. Сотрудники оказались однако мало пригодными для таких целей. Шестаков, напр., приходил в ужас от одного вида револьвера и ни за что не захотел пробовать даже стрелять... Воспользовались практикой, кажется, только Дживелегов и я. Так мы готовились... Но нападения никакого не произошло. Закончилось все это трагикомически. В октябре и ноябре все покупали револьверы — не было никаких к тому препятствий. В магазины приходили испуганные люди, спрашивали револьверы, брали их трясущимися руками, не умея ни зарядить, ни прицелиться, так что их приказчики магазинов обучали первым приемам держания оружия. Когда началось усмирение восстания, когда оружие стали отбирать, и хранение его сделалось опасным, все старались спихнуть куда-нибудь ненужное средство самозащиты. Пришлось зарывать и свои и чужие револьверы. Все оружие, купленное в «Р. В.», передано было дворникам для зарытия в надежном месте. Так как у меня скопилось несколько револьверов и свой, и родственные, и приносимые на хранение, чтобы избавиться, то два из них я отдал тоже в хранилище «Р. В.». Позже однако выяснилось, что дворники поступили упрощенно: они взяли и продали все эти револьверы, нажив хорошие деньги.

В общем вся эта паника имела весьма детский характер или вернее чисто обывательский. Конечно, и самое вооруженное восстание носило далеко не серьезный характер. Были небольшие кучки активных выступальщиков, большинство же были просто при восстании. Но удивительное было настроение. Сочувствие всех на стороне восставших. Пока можно было, все помогали строить баррикады: и дети, и женщины, и Москва в несколько дней покрылась баррикадами. А так как почти препятствий к этому не оказывали, то появлялось уже и простое озорство:

свалить будку, сделать ненужную баррикаду и оставить. На большинстве баррикад, конечно, не было и защитников. И ночью странное зрелище представляла Москва. Пустые улицы, темнота и сплошь баррикады без людей. Можно было обойти целые кварталы, не встретив ни души.

Сила восстания, конечно, была в ненадежности войск — всю пехоту приходилось держать в казармах. Изредка появлялись казачьи разъезды, пытающиеся разбирать баррикады... Так Москва жила несколько дней до прибытия из Петербурга Семеновского полка.

Тогда только стали действовать и некоторые московские части, в том числе наша артиллерия. Настроение в ней не было революционное, но без пехоты она действовать боялась, как нам позже объясняли бравые унтер-офицеры, принимавшие участие в разгроме Пресни.

Мы, вольноопределяющиеся, просто не появлялись до конца восстания. И за это на нас не претендовали. Этому были только рады. И те несколько человек, которые пробрались на Ходынку, были отпущены начальством.

Центром очень скоро сделалась Пресня. Мы с женой жили в то время в огромном доме на Кудринской площади, и из наших окон как на ладони виден был весь разгром Пресни. Это было жуткое время, именно такое, какое мы пережили в октябре 1905 г. Из окон нашей квартиры видно было, как через Поповский сад напротив гуськом перебирались пресненские дружинники. И в доме Курносова мы должны были пережить много страха. Наш дом был объявлен под подозрением, и мы должны были ожидать каждую минуту артиллерийской бомбардировки.

Чуть ли не каждую ночь управляющий будил нас с предупреждением, чтобы мы были готовы, — так как через час ожидается начало расстрела дома. Получалось довольно своеобразное положение. Утром с 8-ми до 11-ти артиллерия уезжала. Свободно можно было выходить и

входить в дома — не было даже патрулей. Ровно в 11 ч. появлялись два орудия, Кудринская площадь наполнялась солдатами, начинались строжайшие обыски, никого не пропускали без документов и т. д. Так длилось довольно много дней.

Семеновцами вооруженное восстание было подавлено, шли массовые обыски. Дошло дело и до нашего дома. Здесь обыск производился в трех квартирах: П. С. Когана, редакции журнала «Правда» и у меня. Ко мне ввалилась целая орава — человек сорок во главе с двумя офицерами. Офицеры начали довольно непринужденно: вошли, куря папиросы, солдаты стали обыскивать, говоря нашей прислуге, что «если найдем оружие, тут же расстреляем!» Наша Ольга Семеновна была женщина бойкая, сметливая и кокетливая. Она моментально вступила в бой с солдатами и, думаю, что это отвлекло их внимание. Офицеры были несколько изумлены встречей. Дело в том, что я в это время всегда ходил в форме. В дни революции меня ни разу толпа не остановила, не снимала шашку, видя во мне вольноопределяющегося. Перед властями же военная форма давала некоторую гарантию. Например, мой товарищ по службе Прохоров только вследствие этой формы спасся. Он ехал с пуком прокламаций за пазухой на велосипеде по Тверскому бульвару и был остановлен перед домом градоначальника. Его подвели к самому градоначальнику, и тот отпустил. То же приблизительно произошло со мной. Семеновским офицерам, очевидно, донесли, что здесь живет революционер. Они никак не ожидали увидеть человека в военной форме. Они, видимо, растерялись, а всякая подобная неожиданность всегда помогает при допросах. Офицеры не знали, что сказать. Как-то сразу перешли они на другой тон, спросили у жены моей разрешение курить, и сказали, что желают посмотреть библиотеку. И здесь их ожидала неожиданность. В это время я

преимущественно занимался историей старообрядчества. Все у меня было наполнено старыми, главным образом, книгами. «Есть у вас новые книги?» — задали они мне вопрос. Я сказал, что мало, так как интересы мои почти исключительно в старине. И очень быстро они заговорили опять по-иному: «Вы давно здесь живете, так не можете ли указать, кто из революционеров живет в вашем доме?». Затем они вынули сумку с какими-то фотографическими карточками и стали спрашивать, не знаю ли я кого-нибудь. Знакомых никого, впрочем, и не было. Рассмотрели они и мой альбом, и им приглянулись две физиономии — моего брата и товарища Лабунского. Брат мой был в это время на Востоке, занимая административный пост, а у Лабунского была хорошая фамилия, т. к. он приходился кузеном известной танцовщице Лабунской, роль которой достаточно была известна петербургской гвардии. Поэтому обе фамилии я назвал. Этим в сущности и окончился обыск у меня. При обыске у меня исчез лежавший на столе хороший серебряный портсигар. Как это произошло? Могу лишь утвердительно сказать, что в кабинет кроме офицеров никто не входил. Так казалось, по крайней мере, мне и моей жене. Этот портсигар имел некоторый эпилог. Через год — другой Семеновский полк праздновал свой юбилей. Я получил от полкового юбилейного комитета официальное письмо об устройстве при полке музея и просьбу пожертвовать что-либо, т. к. один из моих предков служил в этом полку. Я ответил маленькой демонстрацией, написав, что у меня был родовой портсигар, который исчез во время обыска.

Из общественной деятельности своей за 1905 г. я мог бы лишь вспомнить об участии в союзе издателей...[37]

---

[37] О союзе издателей С. П. пишет в гл. «Работа в «Русских Ведомостях». (*П. М.*).

Прошли зимние месяцы. Наступило время выборов в Первую Государственную Думу. Тот подъем, какой был в этот день, показывает, какую ошибку сделали группы, бойкотировавшие выборы. В день 27 апреля на улицах Москвы и около выборных участков, и в самых зданиях царило большое оживление. И любопытно, не было в то время шумной плакатной кампании, не было митингов на улице, но куда более торжественное настроение было в этот день, чем даже в выборы в Московскую Думу в дни революции. Может быть оттого, что это были первые выборы, может быть, моя молодость, но у меня осталось от этого дня значительно более сильное впечатление.

За весной пришло лето, и я отправился в лагерь, пребывание в котором оказалось для меня чреватым последствиями. Военной службой нас не очень утруждали. Занятия практические происходили 2–3 часа, в остальное время мы были свободны. Строевые занятия притом были удивительно бесцельны. В августе нам предстояло держать экзамен на офицера. В учебной команде мы проходили теорию. Теперь, казалось бы, мы должны были пройти практику — практику офицерства. Между тем курьезно — нас заставляли быть простыми солдатами при орудиях, таскать снаряды и пр. Так до высшего обучения за все лето не дошли. Я скоро специализировался на полевом телефоне. Так как на полигоне постоянно происходила учебная стрельба и для офицерства, то наша батарея предпочитала иметь интеллигентного телефониста для передачи распоряжений. Только этому в сущности я и научился в области военной практики за период своих лагерных занятий.

Провел я в общем время недурно. Было прекрасное лето. Село Клементьево Можайского уезда, где расположен был артиллерийский полигон, довольно хорошее лесистое место. Была масса грибов, и мы с женой, которая сняла дачу рядом, ежедневно совершали большие про-

гулки. Я получил неофициальное разрешение и ночевать дома, так что жил хорошей дачной жизнью.

Но и здесь дело закончилось неприятным осложнением. У нас в лагере чуть ли не ежедневно появлялись прокламации, и начальство, не наше, а высшее, никак не могло найти их источник.

К нам с женой приехал погостить на несколько дней ее брат, только что окончивший гимназию. Как мы все, кончавшие гимназию, стремились надеть студенческую фуражку, официально не будучи еще студентами, так и он прибыл в студенческой фуражке. Возвращались мы из лесу втроем с корзинами, полными грибов, и на несчастье встретили урядника с двумя стражниками. Мне сразу показалось подозрительным, что урядник поздоровался с нами с чрезмерной предупредительностью. Урядник решил, что некому больше распространять прокламации, как студенту.

И ночью ко мне нагрянул комендант лагеря с солдатами для обыска. Жена с братом уехали, и я был один. Забрали меня, забрали книги и рукописи и отправили под арест.

Так как по правилам военного быта комендант лагеря без представителя гражданской власти не имеет права делать обыски у жителей, то я сейчас же заявил, что помещение это принадлежит моей жене, и что я считаю своим долгом заявить об этом. Комендант резко оборвал меня, но впоследствии это послужило мне в пользу.

Арестованным я был приведен по распоряжению коменданта к дежурному по части для посадки на гауптвахту. Офицер был либеральный и просто меня отпустил спать в мою палатку. На другой день я явился по ближайшему начальству с протестом против действия коменданта: как муж, я желал подать жалобу военному министру, как нижний чин, я должен был это делать по начальству.

Должен сказать, что начальство, по-видимому, несколько растерялось перед таким положением. В результате решили

вообще не поднимать историю. И все мои рукописи, опечатанные печатью начальника артиллерии, мне были возвращены...

Но все-таки благонадежность моя была под подозрением, что и отозвалось во время экзамена на офицерский чин.

Командующим войсками Сандецким было прислано специальное лицо, некто кап. Черный, для присутствия на экзаменах. Должен сказать, что теорию я вызубрил хорошо и сдал экзамены, что называется, блестяще, за исключением строя. К этому придрались, поставили мне по строю неудовлетворительную отметку, а при этом я не мог быть произведен в офицерский чин. Я ужасно негодовал, ибо чрезвычайно было обидно за потраченное время, убеждение, что я не хуже, если не лучше других, знаю теорию. Наконец, бессмыслица получить в среднем 11 и считаться провалившимся.

Я пытался обратиться к высшему начальству с жалобой, и с требованием переэкзаменовки. Пришлось действовать через жену, ибо я сам не имел права действовать как нижний чин. Но все было безуспешно. В верхах намекнули, что причиной служит неблагонадежность. Так я и остался младшим фейерверкером на всю жизнь.

Мне, впрочем, провал послужил на пользу. Для людей нашего типа отбывать воинскую повинность при старом режиме было слишком тяжело. Отбывать всякого рода лагерные сборы также нелегко. На меня по крайней мере угнетающим образом действовала дисциплина, чувство, что ты превращен в какую-то машину. Только попав на военную службу, я понял, что такое дисциплина, понял, почему солдат является всегда, при всех режимах, таким слепым орудием в руках власти.

Благодаря тому, что я остался нижним чином, я вскоре получил полное освобождение от военной службы по негодности.

Так прошел для меня революционный год в России.

VIII. Три эпизода[38] *(Из воспоминаний)*

Я хочу воспроизвести сделанную в тюрьме запись о своеобразном знакомстве с одним из своих отдаленных родственников и об эпизодах, связанных с этим знакомством. Они достаточно колоритны в бытовом отношении — это также черточка для обрисовки нашего прошлого.

Знакомство с родственником

Как-то в начале 1905 г. мне надо было получить в московском Градоначальстве свидетельство о благонадежности для моего товарища.

После тщетных попыток добиться этого обычным путем в канцелярии, я набрел на пожилого, любезного чиновника, согласившегося мне помочь в получении справки. Нелегкая меня попутала предложить ему некоторую мзду за быстрое осуществление просьбы. Кредитка мне была тотчас возвращена с репликой:

— Не все чиновники берут взятки. Позвольте вам представиться — Мельгунов.

Легко себе представить мое смущение при таком неожиданном совпадении.

— Вы не сын известного педагога-историка Петра Павловича?

— Да.

— А я брат музыканта Юлия Николаевича. Очень рад с вами познакомиться. Для ближайшего знакомства хотел бы вас увидать у себя и побеседовать.

---

[38] Очерк этот написан С. П. 20/II. 20 г. тотчас после ареста (17/II), написан обломком красного карандаша на обрывках бумаги и им самим переписан начисто дословно заграницей в первые годы эмиграции. (*П. М.*)

Так началось своеобразное знакомство двух родственников.

Алексей Николаевич Мельгунов был неудачником в жизни, страдая пороком, присущим, по-видимому, многим из рода Мельгуновых. Молва такая идет, по крайней мере, со времени известного мецената и вельможи екатерининских времен Алексея Петровича. Собутыльник Петра III, преданный ему человек, сумел сохранить расположение и Екатерины, называвшей его «очень и очень умным человеком», и сделаться одним из наиболее действительно видных провинциальных администраторов конца XVIII века. О нем мне придется говорить ниже, так как с его именем связан один из тех эпизодов, где пришлось фигурировать моему новому родственнику.

Итак попросту А. Н. страдал запоем... Это несчастье испортило ему административную карьеру, которая началась по окончании царскосельского лицея службою в Болгарии в эпоху освободительной войны в роли русского губернатора. А. Н. грозила опасность сделаться кандидатом в обитатели «Дна». Спасла его только встреча с самоотверженной женщиной, швейцарской гражданкой, Эмилией Ивановной, которая служила гувернанткой в одном знакомом ему доме. Эмилия Ивановна, по-видимому, пленилась аристократической внешностью неудачного отпрыска рода Мельгуновых, его французским прононсом и, может быть, при этих внешних данных, у нее явилась жалость к погубившему себя человеку. Так или иначе Э. И. сделалась его женою. Этот факт имел благотворное влияние. А. Н. перестал пить. Так сам он мне рассказывал.

Но карьера была уже испорчена, и новое служебное поприще пришлось начинать со скромной должности столоначальника или его помощника в канцелярии московского градоначальника, куда А. Н. удалось пристроиться по рекомендации одного из своих высокопоставленных однокашников по лицею.

Здесь и застало его наше неожиданное знакомство... Сконфуженный происшедшим инцидентом я счел своим долгом сделать визит новоявленному родственнику, хотя никогда не стремился поддерживать подобные родственные отношения... Появление лица, служащего в градоначальстве, притом враждебном и недоверчивом отношении ко всему, что было хоть косвенно связано с полицией, могло бы вызвать только смущение в той среде, в которой я вращался. Я был юн, только что кончил университет и обстановка среди моих друзей и знакомых была совсем иная.

Алексей Николаевич при ближайшем знакомстве оказался удивительно милым и хорошим человеком, хотя и не отличавшимся большой умственной прозорливостью. Наши отношения продолжались вплоть до его смерти. Он очень тактично и скромно держался всегда в кругу наших знакомых и чрезвычайно гордился тем, что его родственник литератор и близкий сотрудник «Русских Ведомостей», которые он и сам стал читать с момента нашего знакомства.

И это знакомство, вероятно, не ознаменовалось бы ничем таким, что стоило записать, если бы случайное повышение по службе А. Н. не сделало его весьма и весьма полезным человеком именно тому кругу людей, среди которого я вращался.

За знание иностранных языков А. Н. был переведен в отделение канцелярии ген.-губернатора по выдаче заграничных паспортов. По этой новой должности и началась безбожная эксплуатация его с моей стороны. Некоторым, напр., лицам, которым надо было выехать из России по соображениям политического характера, удалось получить паспорта, не имея всех нужных удостоверений. Приходилось придумывать равные предлоги, и А. Н. под моей как бы ответственностью выдавал документы. Думаю, что он делал только вид, что не догадывается, почему у про-

сящего лица нет тех или иных бумаг. Веря в мою добросовестность, он был доволен, что оказывает помощь человеку общественному. Он сочувствовал прогрессу, хотя, конечно, его личное миросозерцание имело довольно-таки сумбурный характер.

Как я был цензором

Такой подзаголовок повергнет, вероятно, в полное недоумение лиц, знакомых хоть несколько с моей биографией. А между тем я действительно был одно время как бы фактическим, но, конечно, закулисным цензором при московском ген.-губернаторе Гершельмане. История этого изумительного «цензорства» также была· связана с личностью и должностью, которую занимал Алексей Николаевич.

Он скоро получил повышение. Гершельман сделал его одним из своих чиновников по особым поручениям — вероятно, за изысканность манер и тот самый французский прононс, который прельстил в свое время швейцарскую гражданку. У Гершельмана А. Н. сделался своего рода persona grata по особым основаниям. На приемах и официальных вечерах московского генерал-губернатора он стал выполнять обязанность как бы распорядителя — придавать им соответствующий положению Гершельмана тон.

От политики таким образом А. Н. стоял далеко, будучи приставлен, по-видимому, главным образом лично к генерал-губернатору, а может быть, даже к генерал-губернаторше. Но одна из генерал-губернаторских фантазий возложила на нового чиновника особых поручений неожиданно и политические функции.

Гершельману показалось недостаточным существование обычного цензурного комитета. Кто знает этих цензоров! Надо приставить к делам печати для проверки своих людей. И вот генерал-губернатор поручает своим чиновникам особых поручений контролировать на основании

действовавшего в Москве военного положения цензорские решения. Дело шло о пересмотре изданных в революционное время брошюр. Такие цензорские функции были наложены среди других и на А. Н., весьма непривычного к писанию.

Однажды приходит он ко мне в полном отчаянии, заявляя, что не знает, что делать, как приступить к цензурованию книг. Цензор поневоле умолял меня ему помочь.

Вначале я решительно уклонился от такой чести, ибо не имел никакого желания, хотя бы из родственных и дружеских чувств, помогать удушению книг. Он убедил однако меня тем, что моя помощь может даже спасти ту или иную книгу. Я взялся ему составить проект подходящих отзывов.

А. Н. вручил мне на первых порах несколько брошюр, из которых, помню, одна была известной книжкой В. А. Кильчевского о богатстве и доходах православного духовенства, другая носила порнографический характер — что-то вроде рассказов кушетки... Как ни старался я подладиться под административный вкус, мой отзыв скорее звучал насмешкой, понятной для всякого размышляющего человека... Так, например, возражая цензору, который требовал полнейшего изъятия книжки Кильчевского и привлечения автора к уголовной ответственности, я доказывал скорее полезность книги, делая выводы, противоположные выводам автора. Я — «цензор» доказывал, что исчисление богатств православного духовенства служит лишь на пользу церкви, показывая, как уважается в России вера и ее служители и т. д. Теперь по памяти уже не передать характер этой рецензии.

Были еще две-три брошюры, которые я отстаивал с приемами аналогичной «тактичности». Но нельзя было все защищать. К счастью среди переданных книг, как я говорил, одна или две носили определенно порнографический характер. — Это имело в то время также издательский

успех наряду с модой на революционный дух. Рассказ велся от имени какой-то кушетки, много повидавшей на своем веку... Я воспользовался этим и с чистым сердцем, что называется, разделал ее под орех. Я нападал на мягкость суждений цензора (в чем она заключалась, теперь не помню) и требовал решительного запрещения книги.

Отзывы были готовы и на другой день переданы А. Н. Я ему указал, что это как бы канва для его собственных рецензий.

Прошло несколько дней. Ко мне является сияющий А. И. с заявлением, что он подал рецензии в том именно виде, как я их написал. И когда я пришел от этого в ужас, полагая, что поставил генерал-губернаторского чиновника в глупое положение, он с торжеством объявил, что Гершельмац пришел в восторг от рецензий и при всех других чиновниках заявил, что это — лучшие отзывы, написанные прекрасным, литературным языком. Таким образом А. Н. получил благодарность, а мне оставалось лишь хохотать в душе над административной тупостью, не сумевшей разглядеть белыми нитками шитую иронию. Так я стал писать рецензии на книги для представления их московскому генерал-губернатору.

Выйдя из тюрьмы, в своем архиве я нашел несколько черновиков написанных мною отзывов. Привожу их, как своего рода курьез.

Сборник рассказов Новикова

Большинство рассказов в сборнике г. Новикова «К возрождению» довольно безобидно по содержанию. Автор изображает молодежь, стремящуюся к «новой, светлой жизни». Эти искания проявляются в самых разнообразных формах; они проявляются и в жажде хорошей, чистой любви. Этому вопросу автор посвящает несколько своих

очерков. Например, в одном из них проститутка, столкнувшаяся со студентом, под влиянием последнего перерождается — на нее нахлынули воспоминания далекого прошлого. Настоящее ей кажется тяжелым кошмаром. Рассказы Новикова не блещут большой яркостью, талантом изложения и глубиною психологии. Подчиняясь модным ныне течениям, автор затрагивает в некоторых своих очерках и современные общественные вопросы. Именно в тех рассказах, которые инкриминируются Комитетом по делам печати. Но характеристика существующего строя, симпатии автора к «борцам за освободительное движение» — все это изображается до известной степени в символистической форме и довольно бледно. Автор не иллюстрирует свои мысли фактами. Посему в изложении г. Новикова вряд ли можно находить признаки преступных деяний, предусмотренных п. п. 2 и I ст. 129, 133 Уг. Улож. Нельзя не видеть некоторой тенденциозности автора, но среди массы книг, находящихся в обороте на книжном рынке, сборник «К возрождению» будет одним из наименее вредных. Принимая во внимание цену сборника — 1 рубль, недостаточно яркое изложение, во всяком случае нельзя рассчитывать, что сборник г. Новикова привлечет внимание широких кругов читающей публики. Поэтому не нахожу препятствия дозволить его к продаже.

Роман Блэчфорда

«Утопия — говорится в предисловии г. Борового к переводу фантастического романа Роберта Блэчфорда — стремление уйти от настоящего несовершенного мира»... «Утопия — не только мечта о будущем, но и об очень далеком, *реализуемом лишь в нашем сознании,* будущем»... Процитированные слова уже сами по себе говорят, что вряд ли можно применять к издателю романа Блэчфорда § 6 ст. 129 Угол. Улож. Здесь нет преступления ни против

места, ни против лица. Английский романист не рисует какой-либо *реальной* программы, а предается «социальной фантастике». Последняя, конечно, нисколько не подрывает непосредственно существующего в России общественно-политического строя, не может заключать в себе ничего криминального. Утопия есть давняя форма выражения известных философски-общественных мечтаний. Знаменитая «Утопия» Томаса Мора (XVI в.) является ныне уже предметом специальных научных исследований. С западно-европейскими утопистами XVII в. — Бэконом, Компанелли, Гаррингтоном, Морелли и Руссо XVIII в. и с позднейшими, как Кобэ, Беллами, Уэльс, знакомятся даже ученики в гимназии. За всеми подобными фантастическими романами, в сущности в своем направлении не отличающимися от произведения новейшего английского романиста, давно признаны, так сказать, все права гражданства. Между тем роман Блэчфорда, пожалуй, наименее вреден, так как он глубоко не затрагивает социальной проблемы. Поэтому нахожу, что нет оснований к запрещению книги.

№ 2 юморист. журнала «Венера»

Среди аналогичных изданий, появившихся за последнее время в продаже в большом количестве, журнал «Венера» мало чем отличается от других, как по содержанию текста, так и по иллюстрациям, в нем помещенным. Он бледен и не оригинален: за исключением, быть может, изображения графини Дюбари в слишком уже откровенном виде на обложке, трудно в сущности указать даже места, которые могли бы быть уголовно инкриминируемы — так все здесь шаблонно и обычно для всех так называемых «юмористических» журналов, свободно обращающихся на книжном рынке. Ввиду этого мы думаем, что судебное ве-

домство вряд ли усмотрит в тексте журнала наличность состава преступного деяния, предусмотренного ст. 1001 Ул. о нак. Книжку ввиду отсутствия грубого цинизма трудно будет квалифицировать как восхваление и призыв к разврату.

Однако обращение ее в продаже далеко нельзя признать желательным. Она является отзвуком ныне модного течения в нашей литературе, с которым нужно бороться всеми средствами и путями. Порнографические произведения и близкие им по духу становятся самыми распространенными. Приходится, к сожалению, констатировать, что этот новый развращающий дух проникает даже в нашу изящную, художественную литературу. Ввиду последнего соображения мы полагали бы желательным *не допускать* означенный журнал к обращению в продаже.

Я написал таким образом немало отзывов. И кое-какую пользу приносил — спасая беззаконным действием администрации книгу.

Скоро дело однако осложнилось. Алексею Николаевичу, как лучшему рецензенту, было дано ответственное поручение, крайне щекотливое для меня лично. Ему было поручено просмотреть за год «Русские Ведомости» и дать отзыв на предмет их закрытия (об этой угрозе рассказывал, между прочим, Д. Н. Анучин в своих воспоминаниях, напечатанных в юбилейном сборнике «Русские Ведомости»). Мне, постоянному сотруднику «Р. В.», быть причастным, хоть косвенно, к их закрытию было невозможно, отказаться же от составления отзыва, принимая во внимание бывшие прецеденты, которые подчас давали благоприятные результаты, также не хотелось по соображениям чисто общественным. Все думалось, а, может быть, каким-нибудь кунтштюком удастся провести мудрого ген.-губернатора. Покорпев несколько дней над этим весьма щекотливым отзывом, я передал его А. Н. Рассуждения были элементарны: «Р. В.» газета не

особенно вредная, умеренная оппозиция даже необходима, как громоотвод от общественной революционности. Отзыв мой произвел должное впечатление и, может быть, в том, что в то время «Р. В.» не были закрыты в административном порядке — генерал-губернаторским усмотрением, есть известная доза и моего участия...

Покушение на Гершельмана прикончило мое литературно-цензорское творчество.

«Казна недостаточно богата»...

Третий характерный эпизод, связанный с именем А. Н., относится уже к моменту, когда бывший чиновник особых поручений вышел в отставку, получил по болезни и протекции маленькую пенсию (что-то около 50 руб. в месяц) и уехал по настоянию своей Эмилии Ивановны в любезную ей Швейцарию.

Летом 1910 г., попав в Швейцарию, я побывал в Лозанне у А. Н.

В России готовились к празднованию столетнего юбилея Царскосельского Лицея. Ожидались какие-то «милости» бывшим воспитанникам Лицея. У А. Н. явилась мысль просить об увеличении пенсии... Шутя, я ему сказал: попросите, чтобы вам дали бесплатное помещение во дворце на Елагином Острове, часть которого наш предок Алексей Петрович подарил Екатерине Великой. Правда, он получил хорошую компенсацию в виде поместий в Костромской губернии в бытность свою генерал-губернатором Северного Края. Но и заслуги его перед отечеством большие. И стыдно, что потомок славного предка живет теперь на какую-то мизерную пенсию.

Гордясь своим происхождением, А. Н. имел тем не менее весьма смутное представление о деятельности предков... Я ему рассказал о заслугах Алексея Петровича: как он, будучи сам несколько литератором, создал в России пер-

вый провинциальный журнал «Уединенный Пошехонец», где наряду с восхвалением доблестей наместника, помещались и статьи самого наместника по археологии; как он создал в Ярославле на свои средства ряд просветительных и благотворительных учреждений. И не только на нужды народные тратил свои деньги А. П., но и на угощение великой, премудрой матери отечества. Его пышные празднества в «Мишине» (Елагин Остров) в честь Екатерины воспеты были даже Державиным. «Попросите компенсацию в день юбилея Лицея» — шутил я по поводу ожидавшихся «милостей». — «Вы имеете на это полное право, так как в Оружейной Палате в Москве хранится до сих пор подарок Алексея Петровича, презентованный им Екатерине, в виде золоченой кареты...».

Наивный А. Н. весь этот шутливый разговор принял всерьез... Возвращаясь месяца через два в Россию, я вновь увидел его в Лозанне и узнал, что после моего отъезда он тотчас же послал прошение на высочайшее имя, в котором, изложив, на основании моего рассказа, о заслугах рода Мельгуновых перед Царским Домом, о подарках, в свое время сделанных, просил вдовствующую императрицу о некотором вознаграждении по случаю юбилея Царскосельского Лицея, воспитанником которого он был... Жаль, что у меня не сохранилась копия этого любопытного документа.

Оказалось, что к моему вторичному приезду он получил уже ответ на свое курьезное прошение. Писал ему лично весьма высокопоставленное лицо, его однокашник по лицею. Его запрашивали, что он желал бы получить. И теперь А. Н. спрашивал меня, что ему просить.

Я был совершенно поражен таким оборотом дела, казавшимся совершенно невероятным. Очевидно, к заявлению А. Н. отнеслись серьезно. Что тут было советовать? Для меня это был лишь эпизод, заслуживавший места на страницах

юмористического журнала. Но раз мне суждено было уже сделаться виновником этой бюрократической юмористики, пришлось и советовать... Только значительная сумма могла бы обосновать серьезность претензии на компенсации за старые подарки и старые заслуги. Я рекомендовал просить по крайней мере 200 т. рублей на лечение.

Скромный чиновник ужаснулся такой сумме и, конечно, не решился предъявлять столь больших претензий. Он попросил прибавки к пенсии 50 руб. в месяц. Именно эта скромность и погубила успех всего дела. Конец был трагикомичен. В сферах решили, очевидно, что человек, предъявляющий столь скромные пожелания, не имеет никаких прав... Может быть, впрочем, в конце концов поняли всю глупость этой истории. А. Н. получил новое письмо уже лишь от секретаря министра финансов с извещением, что его просьба не может быть удовлетворена за отсутствием денег в казне.

«La bourse de l'impératrice est trop pauvre» — хорошо запомнилась мне фраза, мотивировавшая в письме отказ просителю...

А. Н. продолжал жить в Швейцарии на свою пятидесятирублевую пенсию и на те маленькие средства, которые скопила в России швейцарская гражданка в период своего гувернантства.

В начале революции А. Н. умер. Это дает мне право рассказать о житейских анекдотах, связанных с именем моего родственника, с которым я так случайно познакомился в канцелярии градоначальства и которого искренне полюбил за его хорошее сердце.

Камера 33. Внутренняя тюрьма
Особого Отдела ВЧК.
20 февраля 1920 г.

Часть вторая
Дневники

I. Записи 1914–1916 гг.[39]

23 Августа 1914. Опять пытаюсь записывать. При теперешнем отвратительном настроении это совершенно необходимо. Много интересного для характеристики общественных настроений. Происходит полная путаница в представлениях. Патриотизм не отделяют от верноподданничества. Слышал, что Бродский (Н. Л.) ходил в Судаке с царским портретом. Титов (А. А.) счел необходимым поехать на вокзал на встречу царя. Таких фактов бездна. Все потеряли как-то сознание. Лишились критики. Напр., повсюду видишь почти поголовный восторг от объявления главнокомандующего относительно Польши. Неужели действительно верят? Конечно, если Польша в результате войны будет объединена, то вынуждены будут дать автономию или признать даже ее независимость. Сейчас же все призывы к Польше простая демагогия. Характерно, что редакторы московских газет вызывались к градоначальнику. Им разъяснили, что в объявлении от имени Ник. Ник. подразумевается лишь земское самоуправление. Редакторы спрашивали — можно ли разъяснить это читателям. Ответ: нет, это только к вашему сведению.

Со всей печатью творится нечто безобразное. «Речь» с момента объявления войны начала с критики. Ее закрыли. Через несколько дней к.-д. орган вновь вышел и заговорил иным тоном: о единении царя с народом. Такая быстрая

---

[39] Печатается с копии, сделанной самим С. П. в 23–24 г. перед отправкой подлинника в Русский Архив в Прагу, захваченный потом большевиками.

метаморфоза понятна была со стороны сытинского «Русского Слова». Всем памятно, как неприлично оно изменилось после подавления московского восстания в 1905 г. Но Милюкову и Петрункевичу как будто бы должно быть несколько стыдно!

«Русские Ведомости» под редакцией Мануйлова в свою очередь не могут найти подходящего тона. И они говорили при посещении царем Москвы о единении царя с народом. Передовая статья была написана Кизеветтером. Теперь дикие суждения слышишь в связи с пресловутыми зверствами немцев. На днях редакторы газет вновь вызывались к градоначальнику. Адрианов говорил о готовящемся погроме мирных немцев в Москве и просил редакторов воздействовать на общественное мнение. В ответ господа редакторы произносили поистине погромные речи. Нечего, конечно, ожидать от гг. Казецких и К°., но «Утро России», зачисляющее себя в ряды органов прогрессивных. Орган гг. Рябушинских именует немцев не иначе, как мерзавцами. Слова «немецкий стервятник» и пр. пестрят на столбцах «Утра России» и «Русского Слова». На собрании у градоначальника одиноким оказался Н. М. Иорданский. И представителя оппозиционного органа поддержал только сам московский градоначальник. Но сами «Р. В.» пишут сегодня о «тевтонских» зверствах и о том, что тевтонская техника спасует перед силой русского штыка. Можно ли предположить такую наивность со стороны Мануйлова? Сообщать что-либо «положительное» о немцах цензура не позволяет. Но никто не может заставить так безудержно глупить.

Тянутся за другими и доктора во главе с Гриневским — протестуют против поведения немецких врачей. «Русские Ведомости» пишут о немецких гелертерах, которые не протестуют против немецкого вандализма. Но разве есть в Германии свобода печати? Разве не штык, как и у нас, предписывает общественное поведение? Как хотелось бы самому написать... Но разве можно? Разве есть где?

Приходят извещения, что казаки наши вырезали все население в Эйдкунене. Я не очень всему этому верю. Преувеличение и в сторону немцев и в сторону русских. Но все же нашим радикальным и либеральным публицистам не мешало бы помнить, как тот же ген. Рененкампф разделывался после 1905 г. со своими собственными русскими.

В общем, чувствую себя общественно так отвратительно, что ничего не могу делать в дни войны в общественных организациях. А надо было бы. Все делается скверно. Ничего не готово. Сегодня в Москву привезли 9.000 раненых. Распихивали их кое-как. Валили на солому в лазарете Университета Шанявского. Нет пищи, нет врача. Все обещают на завтра.

Организация плоха потому, что она в сущности не носит общественного характера. Земство и город держат себя с третьим элементом, как барин с наймитом. При таких условиях и нет охоты прилепляться в работе к этим общественным организациям. А людей у них нет. Сегодня Валевич рассказывал, что повсюду предлагает себя на роли бесплатного работника. Всюду записывают, но этим дело и ограничивается. Аналогичным образом поступили с ним и в Университете Шанявского. Тогда Валевич самовольно прошел к раненым, увидел их беспомощность и стал их... кормить!

Вчера было заседание Пироговской Комиссии с представителями различных обществ. Рассказывали прямо анекдотические случаи. В одном госпитале, напр., чуть ли не 500 сестер милосердия, которым нечего делать; в другом сотни раненых — и только 4 сестры. Эвакуация поставлена безобразно. В Шуе госпиталь готов, а раненых не присылают.

В конце концов жена и я предложили свои услуги Т. И. Полнеру. Он пришел в восторг, но тем дело и ограничилось. Пироговское Общество пытается создать общественную организацию помощи раненым. Хорошо, если

это удастся. Необходимо и полезно для будущего. Приму ли я деятельное участие в ней? Пока еще нет подъема для того, чтобы отдаться делу с головой.

24 августа. Сегодня Л. А. Тарасевич рассказывал, что получил телеграмму от сына из Германии — из Любека. Товарищ сына в Баден-Бадене. Отец последнего также получил письмо. Содержат хорошо в казармах и кормят хорошо. Доктор А. Титов беседовал с унтер-офицером, который попал в плен. Обращались очень хорошо. Потом русские его отбили. Очевидно, не везде жестокость, о которой только и пишут. Очень полезно было бы прочитать современникам воспоминания гарибальдийца, напечатанные в «Отечественных Записках» в 1871 г. Увидали бы, что такое беспристрастное суждение. Думаю написать по этому поводу статью в «Гол. Минувшего».

Сентября 5. Пробовал написать статью в «Рус. Вед.». Не поместили. Так и следовало ожидать.

П. Е. ведет дневник более или менее систематично. Просил ее записывать факты[40]. На всякий случай зарегистрирую и с своей стороны кое-что.

Н. П. Огановский рассказывал, что в госпитале, в котором работает его жена, лежит техник-солдат, сошедший с ума. Причина такая. Он натолкнулся на лежащего офицера австрийца. Тот обратился к нему на русском языке: «товарищ, пощадите». Техник в ответ — три раза ударил его штыком. Таково озверение даже у интеллигентного человека на поле битвы. Воспоминание позднейшее о совершенном производило на него такое сильное впечатление, что в конце концов на этой почве у него создалось полное нервное расстройство. Сыроечковский Б. Е. со слов

---

[40] В конце этих «Записей».

брата доктора рассказывал такой факт. Пленные немцы и австрийцы поругались между собой. Австрийцы упрекали немцев за то, что те их втянули в войну и не помогают. «Да вас все равно все всегда бьют». Началась свалка, во время которой убили русского конвойного. Вывели пленных из вагона и всех 40 тут же расстреляли. Огановский полагает, что поступили правильно: нельзя-де допускать, чтобы пленные убивали конвойных.

П. Е. раненые говорят, что сжигают деревни, когда из них раздаются выстрелы. Стесняются, но рассказывают, что грабили при наступлении в Вост. Пруссии. Их ужасает немецкая техника. Приходят — вдруг начинают рваться фугасы. В 20–30 шагах загорается стог сена. Соединен электрическим проводом. Это — сигнал. Сейчас же начинается обстрел места. Ад. Отсюда рождается ожесточение. Тенденциозные сообщения о немецких зверствах содействуют еще большему озлоблению. Горько, что даже «Р. В.» не хотят понять, что подобное озлобление очень далеко от подлинного патриотизма, который желают возбудить.

Брат Сыроечковского, д-р, рассказывает, что прусаки плюют в лицо тем, которые их перевязывают: поистине озверелый патриотизм...

Начинаются еврейские погромы в Западном Крае. Громят казаки. Писать, конечно, нельзя...

«Русское Знамя» остроумно вышутило Пришвина по поводу его утверждения, что в деревне с началом войны исчезли хулиганы и черносотенцы. «Черносотенцы» остались, но дело в том, что вся Россия превратилась в черносотенную. И профессора в «Рус. Вед.» пишут только черносотенные статьи. А ведь это, пожалуй, верно.

В связи с воззванием Верховного Главнокомандующего любопытно отметить статью Милюкова в «Речи». Милюков не может «придти в себя от силы впечатления». Наивный

же человек, по-видимому, наш историк! В такие минуты он слышит «ход истории» и чувствует «биение ее сердца». Можно думать, что русское правительство никогда не сеяло вражды между национальностями.

Кстати, чтобы не забыть, надо отметить один факт. Может быть, он будет полезен историку, который вздумает заняться определением виновников войны. В прошлом году весной, когда назревала уже война с Австрией, было в Петербурге собрание: правительственные сферы интервьюировали А. И. Гучкова, как специалиста по общественным настроениям: начинать ли войну или нет. Интересовал вопрос: если будет война, не произойдет ли революция. Говорят, что только командиры гвардейских полков ручались за свои полки. Чрезвычайно поучительно.

Кстати: еще 12 июля можайская артиллерия была двинута к германской границе. Лично присутствовал при выступлении.

Октября 4. К несчастью, у меня совершенно не хватает времени записывать слышанные рассказы. Между тем характерные черты отмечают эти рассказы. Напр., С. В. Петерсен со слов Перфильева (находится в армии) передавала, что солдат секут за мародерство. Мародерство, между прочим, отмечают почти все. Рененкампф нещадно расстреливает мародеров (Сивков со слов офицеров). Мануйлов беседовал с Витте. На верхах господствует желание мира: за мир Сама, Распутин, Маклаков (министр). Надо де заключить сепаратный мир и идти с Германией: Вильгельм — опора самодержавия (та же точка зрения проводится в «Русском Знамени»). Маклаков говорит: и теперь будет революция и после. Только теперь-то мы справимся. А после — неизвестно.

От Л. слышал о приезде в. кн. Ник. Ник. в Петербург: грозит диктатурой.

Октября 5. Казачий офицер говорил Б. Сыроечковскому: приканчиваем всех пленных. Таков девиз. То же подтверждал казачий офицер, родственник Никитиных. Сестра доктора Кабанова (Н. А.) работает на Курском вокзале. Рисует ужасные картины. Запрещают оказывать какую-либо помощь военнопленным. В военных госпиталях запрещено военнопленным что-либо читать — особенно русские газеты: чтобы не узнали чего. Велено сидеть в госпиталях без штанов — чтобы не убежали.

Знаменательное заседание в Литературно-Художественном Кружке было в сентябре для выработки воззвания русских писателей по поводу немецких зверств. Воззвание написал Бунин в выспренном стиле. Возражавших было мало. Возражал Сакулин и, к удивлению моему, все-таки воззвание подписал. Возражал и я. Конечно, воззвания не подписал. Прежде всего факты, которыми приходилось оперировать, подчас более чем сомнительны. Чего стоит, напр., сообщение «Нового Времени» о зверствах немецких сестер милосердия... Но убедить мало кого можно теперь, хотя писатели, казалось бы, более других должны были подходить критически. Заседание в Кружке более подробно должна с моих слов записать П. Е.

Октября 20. Не менее характерно было чрезвычайное общее собрание Литературно-Худож. Кружка, созванное 10 октября для изгнания немцев из среды членов. Было это довольно глупо, ибо шла речь о таких «немцах», как придворный фотограф Фишер, едва ли не родившийся в России. Но наши «патриоты» страшно стремятся выявить свой патриотизм. Произносились в полном смысле слова погромные речи. Главными заправилами выступали «Федька-дурак» (по постоянному выражению Сытина) — формальный редактор «Русского Слова» (зять Сытина)

Благов, архитектор Кузнецов, прис. пов. Варшавский, Кожевников, директор театра. Не совсем уместно примкнул к ним С. Л. Толстой, что подало повод С. В. Яблоновскому напомнить сыну, кто был его отец. Речи были таковы, что неожиданно для меня решительно возражал Пазухин, ссылаясь на несвоевременность такого выступления Кружка, когда на Мясницкой происходят «антинемецкие» погромы. Поговорили и при содействии председателя Брюсова «немцев» изгнали. Мне не оставалось ничего больше, как уйти из состава членов кружка. Но, кажется, ушел я один. Кишкин публично давал честное слово, что уйдет, но не уходит. Вересаев обещался послать заявление негласное, так как-де он состоит на военной службе.

Сегодня Фриче говорил мне, что по поводу моего ухода из Литер.-Худ. Кружка в одной из вечерних газет было напечатано, что я изменник отечеству, и что русское общество никогда этого не забудет. Другие вечерние газеты острят, что я, конечно, буду избран почетным членом всех берлинских литературных обществ.

Сегодня у меня было собрание «народников» разных оттенков. Цель — попытаться добиться единения и общими усилиями издавать газету. Настроение совсем другое, чем в интеллигентских кругах Лит.-Худ. Кружка.

31 октября. Б. Д. Никитин со слов родственника офицера рассказывает о расстреле 100 солдат и 2 офицеров за мародерство в Синявах (разгром евреев). Евреям приходится за все отвечать своими боками. Армия проникается антисемитизмом. (Не является ли целью в эту испытанную область направить революционную энергию, которая накапливается в войсках?). Солдаты говорят, что офицеры читают лекции об евреях. Можно не сомневаться, что среди евреев в пограничных областях может быть развит шпионаж. Имеется он, конечно, и среди поляков. Но

последние всегда все сваливают на евреев и доносят на них (так утверждали многие из бывших в Польше). Вот пример шпиономании, передаваемый Френкелем. Казаки поймали группу евреев и избивают их. Налицо вещественное доказательство — обрывки телефонной проволоки. Ф. поговорил с пойманными по-еврейски. Оказалось, что у синагоги сломана стена. Так как евреи не могут молиться без стены, то обвели пролом проволокой. Ф. уговорил офицера вернуться к месту преступления. Оказалось в действительности так, как описывали евреи.

Между тем два старика были загнаны на смерть и забиты прикладами...

В центре также немало дикости...

В военных госпиталях полная недохватка всего. В госпитале, где работает Е. А. Никитина, делают перевязки на кроватях. Раненые лежат полуголые. Земский Союз прислал белье в госпиталь д-ра В. Н. Князева — военное начальство запретило им пользоваться!! Т. И. Полнер передавал о беседе по этому поводу кн. Львова с представителями военного министерства. «У нас все имеется, и ни в какой помощи не нуждаемся. Будем предавать суду тех, кто обращается за помощью к общественным организациям». Из рассказов Полнера: отмечает больший подъем в армии по сравнению с японской войной. На австрийском фронте хорошо сражаются венгерцы: офицеры застреливаются, но в плен не сдаются. Австрийцы-славяне сдаются массами. Бывает, что из окопов выйдут наши, подойдут к вражеским окопам и добровольно приводят оттуда «пленных», сдавшихся после уговоров. Полнер говорит о панике, вызываемой аэропланами. Стреляют и по своим. Запрещено без распоряжения стрелять в какой-либо аэроплан. Поляки не желают допускать чужих «местных деятелей» и ходатайствуют о непосредственных ассигнованиях из казны. Грабят все: в земском поезде были

поставлены беженцы — так и эти ухитрились на одной остановке явиться с мешками награбленного добра.

10 ноября. Небывалый факт в литературном мире. В «Киевскую Мысль» прислана была корреспонденция о безобразиях казаков в Галиции. Корреспонденция напечатана и повсюду вместо «казаки» поставлено «немцы». Когда редактора спросили по этому поводу, он ответил совершенно изумительно: «живем мы в России, и все знают, что под немцами надо подразумевать казаков»!!!

Был прежний редактор «Закаспийского Обозрения» — Федоров, писавший о Чернышевском. Он только что вернулся из Франции... Рассказывает, как на его глазах в Марселе били немецких пленных.

Австрийский офицер в лазарете Е. А. говорит, что русские обращаются с пленными прекрасно, а вот бельгийцы мучают ужасно, обливают кипятком и пр.

Возмутившее всех письмо Шнитцлера (см. «Рус. Вед.») газетами *выдумано.*

По поводу сообщения об «измене» соц. демокр. к градоначальнику были вызваны все редакторы с предупреждением: не сметь комментировать это известие. Конечно, никто не сказал ни слова.

17 ноября. Собрание Общества Единения Народностей по поводу польско-еврейских отношений, с каждым днем чрезвычайно обостряющихся. Ледницкий хитрит: не вмешивайтесь. Своим вмешательством вы подрываете почву под теми из нас, кто работает против польского антисемитизма.

Другие поляки: дайте у себя свободу евреям, тогда и мы дадим в будущей автономной Польше. Точка зрения «Русских Ведомостей» — (Кокошкин, Ордынский): нельзя касаться евреев. Обращение Общества заставит прави-

тельство выступить с официальным извещением. В Мин. Вн. Дел имеется специальный стол, где регистрируются все измены евреев. Точка зрения «Р. В.», однако, на собрании провалилась.

Продолжение собрания с докладом К. Д. Кусковой. Собрала много фактов, иллюстрирующих национальную вражду поляков к евреям. Евреи в Польше неизбежно как бы являлись русификаторами: люди русской культуры, русского языка были проводниками русского начала. Теперь все евреи взяты под одну скобку. Словно исполнилось предположение Плеве (1883 г.) — бросить евреев на растерзание полякам. За докладом Кусковой следовала нелепая речь члена Гос. Думы Новикова. Он был, между прочим, две недели в Галиции и видел там только евреев и поляков. Сей мудрец не заметил даже украинцев.

Ледницкий вновь хитросплетал. Он во всем согласен с Е. Д. Кусковой. Но все его усилия были направлены к тому, чтобы собрание не выносило резолюции. Едва ли не в этих целях председателем был избран Б. И. Сыромятников, всегда и везде сидящий между двумя стульями. Ему, однако, не удалось смазать дело. Огромное большинство присутствовавших требовало резолюции. Тогда произошло довольно неожиданное. Встала В. А. Морозова, в доме которой происходило собрание, и заявила, что она в своем доме не может допустить резолюции. По моему предложению собрание решено продолжить и перенести в другое помещение. Устроители целовали ручку хозяйки за гостеприимство.

Поляки — большие националисты. Даже Л. С. Козловский. Его статья в «Киевской Мысли» специально говорит о московских собраниях, изображая дело так, что некоторые представители русской интеллигенции желают вмешаться в ссору и сделать выговор, как старший младшему.

Л. Андреев в «Отечестве» выступил со статьей против Бунинского воззвания. Обвиняет в проявлении излишней

любви к Германии и т. д. Глупее трудно придумать. Андреев обиделся, что ему не предложили подписать с самого начала. Бунин желал быть оригинальным — составил воззвание. Андреев пожелал быть оригинальным — моментально изменяет свою точку зрения и выступает с контр-воззванием.

«Русские Ведомости», начавшие так рьяно нападать на немецкую культуру заграницей, взяли почему-то под свою защиту внутренних немцев — прибалтийских баронов, этих монархистов-феодалов. Забыли, что эти господа делали в 1905 г.

Письма из Галичины — о подвигах Евлогия, казаков и пр.

10 декабря. По случаю приезда царя полная мешанина в военных госпиталях. Всех немцев свозят в один госпиталь. Вывозят ночью. Даже тяжелораненых — в результате в госпитале П. Е. масса с воспалением легких. Вывозя ночью, не давали теплой одежды, отправляли босиком. Усиленная эвакуация была из главного госпиталя, рассчитанного на 1400 человек — в действительности там более 6000. Ввиду возможности посещения госпиталя царем устанавливается «норма». Не делают исключения и для русских — их отправляют также полуголыми.

Был донос на госпиталь Баженова — пленные якобы устраивают какие-то торжественные обеды. Сандецкий назначил ревизию. Кстати, в госпитале Баженова особенно плохо — он ничего не делает ни для русских, ни для немцев. А. М. Шуберт рассказывала о массе безобразий: выводят русских полуголыми, отнимают туфли и босиком ведут до трамвая.

В госпитале № 16 офицеры заявляют, что будут стрелять, если к ним в палату положат пленных офицеров. Этого требует национализм. Прокурору Степанову жалуются на то, что доктор М-шин оказывает послабление

пленным. Вызывают доктора и заявляют, что если пленные не околели на поле битвы, то пусть околевают здесь.

Заседание Совета Общества Един. Народностей заканчивается скандалом: из-за резолюции из Совета выходят Сыромятников, Устинов и К-о.

Собрание у Ледницкого — поляки в сущности лишь лишний раз подтверждают свой антисемитизм.

«Бирж. Вед.» и др. продолжают свою малодостойную кампанию о немецких зверствах. Не стесняются печатать всякую ерунду... Почти аналогичную ерунду пишет в «Р. В.» Брюсов. Полнер свидетельствует, что Брюсов кроме гостиницы «Бристоль», нигде в Варшаве не появляется. Не был и в Белостоке, откуда пишет корреспонденции.

Гг. профессора от нечего делать продолжают заниматься протестами против немцев. Издано правительственное распоряжение об изгнании немцев из общественных учреждений — хороши те, кто это сделал еще раньше по собственной инициативе.

Брат Клаши, солдат, пишет о грабежах в Восточной Пруссии — ограбляют не только частные жилища, но и все общественные.

В Галиции опечатаны все учреждения. Приказано конфисковать всю украинскую литературу. Через Шахматова обратились к вел. кн. Константину Константиновичу. В ответ сказано, что до окончания войны украинские учреждения не будут уничтожены.

1915 год

Января 12. И «ученые» выпустили воззвание против немцев. Любопытно, что многие одновременно подписали два воззвания (см. мое письмо в «Нашу Жизнь» — конфискованную; посылал предварительно в «Р. В.»; не напечатали). Подписывали одно воззвание. Затем некоторые либералы запротестовали — уж очень были густо положены краски.

Было составлено другое воззвание. Некоторые либералы (Корнилов, Виппер и др.) подписали оба воззвания. Трогательная солидарность; А. А. Корнилов и член Союза Русского Народа Борис Никольский.

Вл. А. Розенберг говорил, что в Лефортовском госпитале во время приезда царя была построена стена, отделявшая тяжелобольных, дабы царь не видел их. Из Лефортова было вывезено несколько тысяч человек: они в течение нескольких дней лежали в вагонах на запасных путях. Масса больных на Николо-Угрешском распределительном пункте; раненые замерзали. Сам комендант рассказывал, что замерзло 25 человек.

Кадетское заседание, на котором присутствовали Струве, Новгородцев, Котляревский, Булгаков и пр. — порешили упразднить Львовский университет и перенести его в Вильно. Говорил д-р И. М. Чупров, сам бывший на собрании.

Распоряжение военных властей. Сандецкий, посетив Лефортово и найдя на месте русских офицеров, вышедших из палаты, приказал с них снять штаны. Мера о штанах прививается. В госпитале П. Е. сняты штаны с военнопленных врачей, которые помогают нашим врачам. Ходят в подштанниках. После долгого обсуждения сестры на свой счет сшили им теплые белые штаны. Мера о штанах применяется даже на театре военных действий. С пленных турок, которых вел небольшой конвой, сняли штаны и отрезали пуговицы у нижних. Так что они должны были маршировать, поддерживая подштанники — мера пресечения возможности бегства.

В Астрахань отвезена масса арестованных униатских священников — за нежелание обратиться в православие.

Самарину предложен пост министра вн. дел — отказывается; не в традиции семьи Самариных служить.

Января 20-го. «Наша Жизнь» закрыта до выхода первого №. Арестованы издатель и редактор. Ответственным редактором был молодой с-р И. Штейнберг. Его жена пришла ко мне в совершенно истерическом состоянии. Грезились всякие ужасы. Отправился к Н. Н. Щепкину, как к члену Гос. Думы от Москвы, с просьбой выяснить дело. Градоначальник Щепкина не принял. Обратились к В. Маклакову. Его градоначальник принял и должен был признать незакономерность арестов — аресты были произведены 1-го января ночью, а № журнала только печатался днем 2-го января. Очевидно, или имелся осведомитель в типографии, или среди с-ров...

Еженедельник «Наша Жизнь» явился результатом нашего народнического совещания — попытка объединенного литературного действия. Фактическим редактором избран был Пешехонов. Первый блин оказался комом, но возможность появления такого журнала вызвала уже переполох у инакомыслящих социалистов. С-д. стали готовиться к изданию газеты в целях бороться с «Нашей Жизнью», как говорили на собрании у Кусковой. Чудно, так как с.-д., собирающиеся у Прокоповичей, также оборонческого типа. Нас всех вызвали в Охранное Отделение по списку пайщиков издательства. Жандармский полковник был отменно вежлив и любезен.

В Юридическом Собрании П. Н. Малянтович читал доклад о польско-еврейских отношениях. И доклад и прения носили уже характер какой-то травли поляков. Перехожу на положение защитника поляков.

Марта 5-го. Мясоедовская история. Говорят, что она раскрыта французским контр-шпионажем. По слухам в связи с этим приезжал По. Мясоедов будто бы уже расстрелян для того, чтобы скрыть следы. Утверждают, что заметаны высокопоставленные лица.

Распутин вновь в фаворе: у больного (на него налетел автомобиль) бывают Он и Она.

Рассказывают о записке Щегловитова и Н. Маклакова по поводу необходимости окончания войны:

1. Германия — единственная опора самодержавия.
2. Разгром Германии вызовет революцию в Германии, которая отзовется и в России.
3. Отмечается рост революционного движения у нас.
4. В качестве первой меры рекомендуется приостановка роста общественных учреждений, работающих на войну. После войны Земские и Городские Союзы уже не введешь в должные рамки. В. кн. Ник. Ник-чу необходимо предложить обходиться услугами интендантства и Красного Креста.

Во французских газетах напечатано обращение социалистов к царю по поводу Бурцева. Бурцеву намекают, что надо подать прошение — и его охотно при этих условиях помилуют.

В разных местах появились эпидемии. И немудрено. Напр., д-р Князев рассказывал, как в вагонах, в которых привезли пленных турок в сыпняке, отправили тотчас же солдат. Турок везли в запломбированных вагонах. Везли недели — живых вместе с трупами.

Торгашев пишет Вас. Ив. (Семевскому), что в Красноярске сам видел «груды трувов пленных, сложенных, как дрова, в поленицу в ожидании очереди своего погребения».

Апреля 26-го. Деталь для современности. Опер Вагнера давать нельзя, так как Вагнер — немец. Но когда немец неизвестен, то его произведения прекрасно фигурируют. Был на днях на дурацкой оперетке «Его Светлость Ф...» (из быта евреев). Заинтересовался узнать: чья это оперетка. Подошел к оркестру, а там на пюпитрах открыто лежат немецкие ноты.

Дальгейм в частном концерте пропела на немецком языке. Доброволец донес. Происходило специальное полицейское расследование инцидента.

Произошли волнения. По словам очевидцев (между прочих Н. Б. Костецкий) дело было так. Привезли на Преображенскую площадь картофель. Продавали по 50 коп. Лавочник стал скупать по 60 коп. Толпа (преимущественно женщины) возмутилась, бросилась за приказчиком, тот в лавку — стали громить магазин. Прилетел помощник градонач. Модль. Начал разгонять и бить баб. Толпа захватила его автомобиль. Он — в трамвай. Выволокли, избили прутами и потащили «топить» в Яузу. Модль на коленях вымолил пощаду. Вместе с тем вызваны были солдаты. При приказе взять на прицел — ружья поставили к ноге. Вызвали стражников. Последние хотели стрелять. Солдаты навели ружья на стражников, которые и бежали с поля битвы. Если все происходило и не совсем так, как рассказывают очевидцы, то все же общий характер волнений чрезвычайно показателен. Это — первое предостережение.

Обыски — в Киеве у Ефремова и у Белоконского в Харькове.

Имел длинный разговор с Керенским на тему о современных масонах. На собрании «народников», бывшем у меня, я сказал, что имеются попытки создавать политические объединения под масонским флагом... Они занимаются масонской эквилибристикой, ничего в ней не понимая. Я все-таки немного занимался историей масонства, и кое в чем разбираться могу...

Из Киева, по-видимому, идет самая идея этого объединения, куда входят и некоторые соц.-дем. большевики. О современных русских масонах рассказывал мне со слов Кедрина и Пругавин. В среду масонов многократно звали меня Обнинский и Урусов. От них слышал, что не приняли В. Бобринскую, которая проявила себя юдофобкой. Меня

мало прельщают подобные формы политического объединения и еще меньше участие в масонских обедах Н. Н. Баженова. Современные масоны, по-видимому, люди вообще своеобразные[41].

Кое-что из академической среды. Сакулин всячески стремится попасть в академики. Вероятно, ему удастся, так как он удивительно умеет при своем внешнем радикализме лавировать между правыми и левыми.

Был у Кизеветтера. При мне пришел Веретенников, не утвержденный в Харькове (назначен Клочков). В. сделался прив.-доц. в Москве. Кизеветтер встретил его прямо жестоко: «у нас уходят из Университета, а не приходят». Почему же Кизеветтер так снисходителен к Бочкареву, который именно теперь вступил в Университет? Казалось бы, ему это неприлично, ибо он историк Московский. Может быть, здесь сказывается слепота Бочкарева — ему прощают то, чего не прощают другим. Только что Бочкарев сам предложил себя для чтения лекций на женских курсах. Слышал, как возмущались Богословский и Кизеветтер. Пичета с истерикой доказывал, что предложенный Бочкаревым курс безграмотный. Тем не менее официально курс утвердили.

Опять скандал в Исторической Комиссии. Васютинский плакал, Перцев не спал всю ночь. Какая им охота туда ходить: совершенно ясно, что Бочкарев, Кун, Гинзбург и Ко — люди, с которыми нам не по пути.

28-го апреля. Почему «Рус. Вед.» наступление немцев на Либаву называют «наглым?» Глупо — словно уличная печать. Ужасно портятся «Р. В.» под руководством Мануйлова. И как изменился сам Мануйлов. Но все-таки «Рус. Вед.»

---

[41] См. в тюремных воспоминаниях 20 г. отрывок: «Современное масонство».

газета единственная среди других. «Утро России» не стесняется делать просто доносы (напр., по поводу изданной «Задругой» книги «Галиция»).

Пресловутый Папасюк дал интервью в «Бирж. Вед.»: немцы мучили его в комнате в присутствии 10 офицеров. А в «Рус. Вед.» Брюсов со слов того же Панасюка писал, что мучили его на площади на глазах толпы...

В лазаретах читать разрешено только «Московские Вед.» и «Русское Слово».

Мая 5-го. Был на юбилее старика Ф. И. Митропольского — короля московских репортеров, долголетнего сотрудника «Р. В.». У него был один исключительный талант — он с легкостью воспроизводил все речи, словно записывал их стенографически. Славный и незлобивый он человек. С большой охотой пошел на его юбилей. Говорились горячие речи о 60-ых гг. и прочие благородные слова. Митропольский по пьяному делу целовался с небезызвестным Борисом Ивинским, редактором Суворинских «Вечерних Известий». Вот и «заветы» 60-ых гг.! Ивинский шантажист самой плохой марки.

И сейчас же реальное подтверждение. В этом поганом листке появилась статья «Преступное милосердие» — с недвусмысленными намеками на преступную деятельность частного кружка, работающего в военных госпиталях, обслуживающего и пленных. Грязный намек на деньги, полученные из Германии. Это тот самый кружок, где работает И. Е. Казалось бы, так элементарно: плохое обращение с военнопленными неизбежно должно отразиться на положении наших пленных в Германии.

Распутин в Москве. Рассказ Б. Е. С. На собрании был градоначальник Адрианов. Очевидец присутствовал при такой картине. Входит великосветская дама... Подносит Распутину рубашку — «у меня их тысячи». Тут же стал

раздеваться. Видя смущение дам, говорит: «ничего, у меня тело пречистое». Снял все, за исключением исподних портков. Лепит его скульптор Аронсон. Распутин говорит, что отменит черту оседлости для евреев. Жалуется на то, что от «дантистов» осталось ему всего 10 тыс. рублей.

28-го Мая. В Москве творится полная неразбириха. Накануне начались забастовки — не желают работать на немцев. Утром перед Хамовнической частью был молебен в присутствии большой толпы. Л. М. Васютинский спрашивал, по какому случаю — против немцев. Открылось шествие с флагами и пр. При пении «Боже царя храни» шествовала тысячная толпа во главе с людьми со значками Общества «За Россию». Сзади начинались погромы. Предварительно во всех московских газетах, кроме «Русских Ведомостей», печатались списки высылаемых немцев. Накануне усиленно раздавали листки с перечнем и адресами немецких торговых фирм. Все газеты трубили о зверствах немцев. Решили, очевидно, поднять настроение по растопчиновскому методу ввиду неудач на войне. Дорогомиловская чайная служила местом сбора какой-то особой дружины. Староста платил манифестантам 3 руб. в день (рассказывал «манифестант» Вас. Мих. Кудрявцеву). Погром разросся и превратился в нечто совершенно небывалое — к вечеру разгромлены все «немецкие» магазины. Вытаскивали рояли и разбивали. Полиция нигде не препятствовала погромщикам. Некоторые банды предводительствовались даже полицейскими. (На Мясницкой видел во главе шествия какого-то крупного чина, а сзади громили и выбрасывали вещи из третьего этажа). Были и убийства. Началось с Цинделевской фабрики. Управляющий велел запереть ворота. Толпа полезла через ворота. Управляющий стал стрелять. Его схватили, били камнями, поволокли и бросили в канаву. Он переплыл. Тогда толпа с другой стороны изловила его и побила камнями. Зятем

толпа пошла к фабрике Шрадера. Выволокли хозяина, жену и двух дочерей — истерзали и голыми потопили в канаве... Б. Е. Сыроечковский был у Арбатских ворот. Здесь громили человек 30. Кругом стояла толпа в несколько сот человек, в общем несочувственно относившихся к погрому. Но никто даже не попытался убедить погромщиков. А. М. В. пытался урезонивать толпу в Газетном пер. — его хватили по шее и утащили во двор. Во дворе был пристав с полицейскими. Арбат был прегражден двойной цепью городовых. И так было почти везде. Тащили вещи узлами, и никто не останавливал. С. П. Симеон видел сам, как на Мясницкой в разгроме участвовали студент и реалист, выкидывавшие вещи из верхнего этажа. П. Е. М. видела дам в шляпках на Тверской, подбиравших куски шелка. Ночью начались пожары. Усиленно охранялась полицейскими нарядами Марфинская обитель — в народе распространяются слухи, что у вел. кн. Елизаветы Федоровны найден подземный телефон для сношения с немцами.

Власти, очевидно, не ожидали, что погромы примут такой масштаб. Ночью стали разгонять толпу. Действовали жандармы с нагайками. На другой день грабеж продолжался. Днем появились войска — стали стрелять. Ряд улиц оцеплен кордонами. И. видела сама шесть трупов.

В этот день ни одна газета не обмолвилась ни единым словом. Появились только воззвания Юсупова и Челнокова[42] (в воззвании за подписью последнего, между прочим, говорилось, что Дума борется с «немецким засилием»).

Вечером кое-кто собрался у нас. Я решительно запротестовал против предложения идти смотреть. Если при нас начнут громить, мы должны вступиться, и нас в лучшем случае только изобьют. Быть простым зрителем невозможно. П. С. Попов и некоторые другие всетаки пошли... Да и все ходят.

---

[42] Челноков — городской голова, к.-д. (*П. М.*).

3-го Июня... Спор с Е. А. Никитиной. Она в страшном раже. За газы готова бить всех немцев. Я и С. П. Симеон доказывали, что на войне все возможно. Война возмутительна сама по себе. Чем одно хуже другого? Можно удивляться лишь тому, что человеческий ум изощряется на изобретении таких вещей. Если бы мы изобрели газы, патриоты говорили бы, что это геройство. Е. А. упрекает нас в антипатриотизме.

В Алексине много пленных австрийцев. Отношение населения самое доброжелательное.

Надо навести справку о больном в 6-ом госпитале. Врач Гальперин отказывает — могут заподозрить в сношениях с немцами.

Брат Симеона судебный следователь в участке фабрики Цинделя. Говорит, что попал на погром вместе с Адриановым. У последнего наблюдалась полная безучастность и растерянность. Симеон удивлялся зверству, с которым толпа расправилась со своими жертвами. Он приказал арестовать 40 человек. Пристав: у меня нет распоряжений. С.: Вы обязаны, раз происходят беспорядки и убийства. Арест был произведен. Толпа явилась к участку с требованием выпустить арестованных. Пристав: «выберите делегатов, я не знаю, кого именно арестовали». Затем вместе с делегатами пристав осматривал камеры. Заодно выпустили воров и мошенников.

С. В. П. лично видела на Мясницкой Адрианова, когда громили Жирардовскую мануфактуру. По улице проезжал Муравьев. Толпа кричала «ура», он кланялся.

Модль за три дня до погрома просил разрешение ликвидировать дело. Не разрешили.

По сообщению следователя в субботу на окраинах убито более 200 человек.

Характерно, что и в данном погроме было убеждение, что три дня можно громить безнаказанно. Корякин сооб-

щает, что в Лосино-Островском были даже планы, по которым производить погромы. В одной квартире в доме, где живет Л. С. Козловский, обнаружено, что квартирант понаграбил во время погрома. Часто участвовали в грабеже разгромленного дамы. Симеон видел офицера, который разрывал саблей кучу у Гараха и положил в карман подстаканник. Видели в роли участников грабежа университетских студентов и студентов Коммерческого Института. Громили частные квартиры и дачи. Хотели громить в Петровском-Разумовском. Студенты не дали.

Гебель рассказывает, что у них в Саввином пер. в четверг вечером пытались разгонять толпу. Толпа отвечала камнями. Кричали: «и до вас очередь дойдет». Вообще можно отметить усиление вражды к правящим. Елиз. Феод. называют не иначе, как «Лизка» — даже швейцар в доме ген.-губернатора.

В армии Обнинский наблюдал, как поносили власть офицеры. Солдаты слушали.

Юсупов как бы расписался в погромах, заявив в Думе: «я не могу в один месяц исправить то, что сделано за 10 месяцев. На одного русского в Москве 3 немца. Я вполне на стороне рабочего люда, который протестует против немецкого засилия». Слух, что Юсупов будет уволен — не хотят сразу. Обнинский утверждает, что погромы допущены по распоряжению из Ставки.

Знакомые Н. боялись. Пристав их успокоил — вас в списке нет...

В Мытищах обыски и аресты.

Вызвали вчера в Комитет по делам печати редактора «Украинской Жизни». Предложили печатать этнографические очерки и беллетристику.

6-го Июня. Вчера по телефону из Петербурга передавали, что уходят Горемыкин, Маклаков и Щегловитов.

Назначаются Родзянко, Гучков. Но зато не будет созвана Дума. Газетам запрещено писать о созыве Думы.

28-го Июня. Говорят, что в Комитете Гос. Обороны на вопрос Хомякова представитель американской компании, взявшей подряд на снаряды, указал, что без посредников подряд вместо 19 мил. стоил бы 30, т. е. 19 мил. идет на взятки.

Доклад Демидова и Некрасова, приехавших с фронта: нет ружей. Бывает, что солдаты идут в атаку, наполовину вооруженные, остальные должны подбирать ружья у выбывших из строя. Снарядов у нас 2 % на 100 немецких. В свое время харьковские заводы предложили делать снаряды — с начала войны так им и не ответили (доклад гор. гол. Кузнецова на съезде). Говорят о больших растратах в артиллерийском ведомстве. Называют имена вел. кн. Сер. и Мих. Мих.

Родзянко в Москве. Передает слух, что правительство склонно покончить игру с Земским и Городским Комитетами. Все зависит, конечно, от успехов на театре военных действий. Перед правительством трудно разрешимая дилемма: воевать — придется дать конституцию; заключить мир — боятся армии.

Настроение в деревне в связи с призывом 2-го разряда. В Серпуховском у. ряд сельских приговоров: если возьмут ратников, не давать денег. Послали депутатов к становому с тем, чтобы тот доложил по начальству о сельских приговорах. Исправник собрал всех становых приставов. Все, кроме одного, заявили, что опасно производить набор.

Собрание инженеров нар.-социалистов. Полный разброд в нашей интеллигенции. Говорили о том, что надо использовать современную ненависть к немцам. Это должно быть выкинуто на партийном (!?) флаге. Говорили, что большинство сочувствует московским погромам. Нашелся один, который восторгался «Вечерними Известиями».

Прекрасная газета: травит немцев. Не понимают даже, что это самая низкопробная демагогия. Черт знает что!

Гучков А. И. кричит, что немцы дойдут до Москвы; приехавший из Петербурга Тан (Богораз)[43] доводит немцев уже до Омска. Сеятели паники.

Кадетская конференция. Большинство склонно изменить тактику: «чего изволите». Струве вышел из Центр. Комитета, В. Маклаков ушел со съезда. Интересно, как обернет все Милюков.

П. П. Рябушинский нахально держится. По-видимому, поворачивает фронт. Заявил Львову: понимаю, что вы нас хотите повернуть на политику...

Июль. Петербургские совещания.

14-го Августа. Беженцы заполнили все. Огромный процент их вовсе не беженцы, а выселяемые. Делают 1812 г. Населению оставшемуся также приходится бежать поневоле — при отступлении все сжигается. К. сообщает о ряде вооруженных столкновений выселяемого населения с солдатами.

В Варшаве по приказу ген.-губ. Енгалычева заложены мины под электрической станцией, водопроводом и пр. Любомирский был у ген.-губернатора и указывал на то, что среди населения, оставшегося без водопровода, разовьются эпидемии. Возможна холера и пр. Енгалычев: «остаются свиньи, забота о них нас не касается». Любомирский и Четвертинский телеграфировали в Ставку. Распоряжение генерал-губернатора было отменено.

Собираются отдельные представители Союзов для намечания лиц в ответственное министерство. Хотят *потребовать.* Любопытно, что будет.

---

[43] Писатель.

Гр. Петров в «Русском Слове» пишет, что только слабонервные дураки думают, что наши войска могут оставить Варшаву. На другой день — официальное извещение об оставлении Варшавы. «Русское Слово», конечно, тут же пишет, что оставление Варшавы само собой разумелось.

Ставка на «двенадцатый год» все затормозила. С беженской волной справиться не могут. Вчера в Петербург пошло только два поезда. Товарный груз в северную столицу не принимается.

Волнения в Иваново-Вознесенске. Давно уже были недоразумения на почве дороговизны. Появились прокламации с.-д. против войны. Демонстрация. В результате стрельба. Убито более 40 чел. Некоторые объясняют волнения провокацией «Черного блока».

Военно-промышленный Комитет постановил требовать изменения правительства — министерство из общественных деятелей. Львов в Земском Союзе на попятный — надо подумать. Подвезут снарядов, что будет? Все пойдет насмарку. Сейчас промышленники действуют под влиянием страха. Львов поехал понюхать воздух в Ставке.

Некрасивая история с Дживелеговым. Григ. Ландау (тот самый, который в октябре писал в «Утре России»: бей немцев) приглашен Устиновым (отв. редактором) в секретари для «Известий военной обороны». Затем Ландау удален за «еврейство». Место его занял Дживелегов. По этому поводу появилось открытое письмо Ландау в «Утре России», оставленное пока Дживелеговым и Устиновым без ответа.

Совещание с.-д., с.-р. и н.-с. о создании оборонческой общедемократической газеты...

Тарасевич пишет с юга: на местах с дрекольями встречают беженцев.

В Павловский Посад приехал Дм. Сироткин. Произносил патриотические речи — надо помочь правительству. Предложил павловским кустарям делать лопаты. Штанге

предложил делать по 76 коп. штука. Переполох у патриотов. Нельзя сбивать цены — установлено 95 коп. Так патриотизм идет рука об руку с наживой.

Леня[44] да и другие говорят, что многие армейские части в тылу вооружены только палками.

29-го Августа. По поводу перемены в Верховном командовании у обывателей слагаются разные версии: 1) потребовали союзники; 2) царь поехал, чтобы сдаться и добиться сепаратного мира. Вернее — это попытка поднять династический престиж. Так объяснял в Москве Кривошеин. Говорят, что на этот акт напутствовал Распутин, вопреки мнению всех министров. По этому поводу было созвано совещание московских к.-д. Решили не посылать верноподданнической телеграммы, так как они приветствовали в. кн. Ник. Ник. Поднимали вопрос о выражении сочувствия Н. Н...

Совещания в Петербурге и Москве по поводу создания объединенной газеты. Просили меня съездить к Юрицыну в Николаев — позондировать о возможности получить деньги. Я ездил. До Харькова в скором поезде было прекрасно, как всегда. Но путь от Харькова до Николаева был очень тяжел. В Николаеве еле-еле достал в гостинице маленькую комнатушку. Поехал к Юрицыну, но видел только его отца — местного крупного купца. Сам Ю. живет в деревне и хозяйничает. Пришлось ехать туда за 30 верст. Он довольно холодно отнесся к нашей затее. Своих денег у него нет. Производило впечатление, что он отрекся от общественных начинаний.

4-го Сентября. Определенно утверждают, что нашим пленным в Германии хуже потому, что Россия ничего не

[44] Леонтий Ник. Тугаринов, муж сестры С. П.

пропускает для немецких пленных. Человек умеренных взглядов прис. поверенный Навашин, ездивший в Данию, свидетельствует, что французам и англичанам в плену хорошо — о них заботятся их правительства. Мне доставлена фотография из Мурманска, изображающая груды неотправленных посылок родственников пленным в Германию. Из авторитетного источника слышал, что имеется по этому поводу секретный циркуляр. Хотят, чтобы в Германии русским пленным было плохо — поднимает патриотизм, и не так охотно будут сдаваться в плен...

Роспуск Думы. Начались забастовки. Боятся, что будет запрещена деятельность Земского и Городского Союзов. Сами общественники ни на что не решаются, хотя ясно, что с ними ничего не посмеют сделать. Фактически власть у них. Алексеев, помимо военного министерства, обратился к Львову с просьбой прислать 40 тыс. рабочих рыть окопы. Земцы боятся радикализма городов, а еще более промышленников. Последние в данный момент стали очень решительными — поговаривают даже о превращении Съездов в Учредительное Собрание (без демократии?). Кадеты также отмежевываются от демократии. Маклаков при обсуждении в Комиссии законопроекта о военной цензуре предложил увеличить наказание (статья Кузьмина-Караваева в «Бирж. Вед.»). Усиление правительственной реакции, очевидно, под влиянием слухов о соглашении Англии и Голландии и о десанте в 1.200.000 чел.

От имени в. кн. Ник. Ник. распространяется письмо: «Мне дана отставка, это победа немецкой партии во главе с Распутиным». Кон.-дем. долго совещались — не выбрать ли Ник. Ник. почетным гражданином Москвы. Решили только «игнорировать» новое назначение.

Нет вагонов для самого необходимого, а все пути заняты тысячами вагонов, в которых неделями и месяцами живут беженцы!

Лапицкий: окопы, блестящие на вид, пришлось отдать за негодностью.

11-го Октября. Больше месяца ничего не записывал, а события разыгрываются.

Прежде всего стрельба 9–10 сентября в Москве. В газетах история эта изложена в малом соответствии с действительностью. Началось со столкновения городового с солдатом георгиевским кавалером на Страстной площади. Городовой ударил солдата. Был ли солдат пьян или нет — все равно. Собравшаяся толпа бросилась на городового. Тот спрятался на трамвайной станции. Толпа стала осаждать станцию. К 11 ч. утра накопилась на площади толпа в несколько тысяч человек. Войска (или городовые?) стали стрелять залпами. Толпа отвечала камнями и баррикадами. Говорят, много раненых и убитых. Говорят также, что в столкновении на стороне толпы принимали участие прапорщики. Настроение самое повышенное. На следующий день опять собралась огромная толпа. Опять стреляли.

Стрельба становится довольно обычным явлением у нас: в октябре можно отметить ряд столкновений с полицией на почве дороговизны. Только что произошел разгром всех лавок в Богородске. Есть убитые...

На Никитской трамвай раздавил человека. Сейчас же собралась буквально тысячная толпа. Были вызваны пожарные.

Увольнение Щербатова и пр. приписывается влиянию Распутина. Полное разложение на верхах.

Разговоры о газете. Невозможность фактического осуществления дела независимо даже от денежных средств. Некто в сером в виде старых традиций мешает общественной работе.

«Биржевые Ведомости», в которых теперь участвуют Н. А. Морозов, Пантелеев, М. М. Ковалевский и др., поют

дифирамбы назначенному мин. вн. дел Хвостову. Ведь это тоже разложение. Кстати, о печати. По поводу проекта введения предварительной цензуры было собрание Общества Деятелей Периодич. Печати. Выступил и я, указав, что сама печать виновата, сама стала посылать в цензуру, чтобы обезопасить себя. Указывал на общее понижение морального уровня печати. Совершенно неожиданно литературная шпана яростно мне аплодировала.

12-го Октября. Сегодня неожиданное происшествие. Днем спокойно сидел в кабинете и читал полученные воспоминания Иллиодора (на ночь на всякий случай я их уношу в другое совершенно безопасное с точки зрения возможности полицейского налета место). Не слышал звонка. Поднимаю голову и вижу в дверях судейского, пристава, околоточного, старшего дворника и пр. Первая мысль — обыск в связи с нахождением у меня записок Иллиодора. Но почему днем? И почему судебный следователь? Быстро прикрываю газетой лежащую на столе рукопись. Судебный следователь (Резников) сказал мне, что в сущности у него дело не ко мне, а к моей жене. Он желает выяснить деятельность кружка по оказанию помощи военнопленным в госпиталях. Вот в чем дело — запоздалый отклик на донос в «Вечерних Известиях». Меня это возмутило донельзя, и я в очень резкой форме стал говорить со следователем. Как не стыдно по доносу малограмотных «Вечерних Известий» (всем известно, что газета занималась шантажем и брала деньги с немецких фирм, чтобы не упоминать о них) являться с таким идиотским обвинением — нечто вроде шпионажа. В конце концов Резников должен был признать, что у них неверные сведения. «Я нашел у вас такую истинно русскую обстановку — заключил следователь — что обыска не буду делать». Что «истинно-русского» нашел в нашей обстановке следова-

тель — не знаю. Как и в 1905 г., когда в нашей квартире делали обыск семеновские офицеры, по-видимому, произвели впечатление книги и бумаги.

Свободно я вздохнул, когда ушли непрошенные гости. В сущности меня мало беспокоил «шпионаж», но я очень был встревожен судьбою рукописи, которая лежала у меня на столе. Ведь ее усиленно искали в правительственных верхах — на ней хотел сделать карьеру Хвостов.

И в то время, когда он думал о покупке воспоминаний Иллиодора «Святой Чорт», рукопись давно уже была приобретена мною для будущего «Голоса Минувшего». Сама по себе история покупки этой рукописи характерна для наших общественных нравов. Распутин — символ правительственного распутства. Это самая, казалось бы, ненавистная фигура. А между тем А. С. Пругавин при всех своих связях не мог достать 2000 руб., за которые Иллиодор продавал свои воспоминания. Пругавин обращался к ряду членов Государственной Думы. Несомненно, эти записки давали огромный обличительный материал. Но 2000 руб. в Петербурге Пругавин найти не мог. Он обратился ко мне. С великой предосторожностью перевез рукопись В. И. Семевский. У меня лично, конечно, денег не было, не было их и в редакции «Голоса Минувшего». Я попытался обратиться через Доброхотова к известному Шахову. Тот захотел рукопись прочитать. Захлебывался от восторга, но... денег не дал. В конце концов дала нужные деньги С. В. Петерсен — рукопись была приобретена с целью использовать ее в будущем в журнале. Я снял копии и хранил их в разных местах. В момент посещения нас Резниковым я делал выборки, чтобы прочитать в избранном кругу друзей и знакомых. Большое затруднение было в том, как переправить деньги Иллиодору и таким образом закрепить право пользования рукописью. Нам удалось это сделать через О. П. Тюрина, уезжавшего в Лондон от

Городского Союза и могшего остановиться в Норвегии, где жил в это время Иллиодор. Чуть-чуть дело не расстроилось из-за того, что неуместно вмешался Бурцев. А потом было бы уже поздно — хвостовские посулы смутили Иллиодора.

Собрание с В. Маклаковым по поводу нашумевшей его статьи в «Русских Ведомостях» о сумасшедшем шофере. Между прочим, несколько ранее в Брянчаниновском «Новом Звене» под видом дел несуществующей республики Никоракуи описаны были все современные неурядицы.

16-го Октября. Кн. Львов имел беседу с Хвостовым в Петербурге. Хвостов так бранил всех министров, что Львов, не удержавшись, сказал: мы браним министров, но до таких выражений не доходим.

При разговоре о беженцах — на кого возлагать заботы о них, Хвостов, вызвав Плеве, высказался за передачу заведывания беженцами Союзам, мотивируя свое мнение так: «если правительство возьмет в свои руки, и какая-нибудь девчонка умрет, газеты поднимут вопль, будут бранить правительство, поместит портрет девочки и т. д.; если Союзы будут ведать беженством, и умрет 2000 человек, все будут говорить: вот как мало погибло при миллионах беженцев». Плеве с подобной аргументацией согласился. Когда Плеве вышел, Хвостов сказал: «со всяким человеком надо говорить его аргументами. Плеве — дурак и по-другому не поймет». Хвостов вообще фиглярничает. И Барк дурак, и Горемыкин дурак. Всех разгонит Хвостов. Последний, как известно, ставленник Распутина. Как же он относится к нему? Он говорит, что Распутин прекрасный гипнотизер. «Представьте себе, я всегда грыз ногти и не мог отстать от этой скверной привычки. Отвык под влиянием Распутина». Любопытно, как на сцену появился проект о восстановлении предварительной цензуры. Николай II сказал: «не желаю, чтобы больше писали о Рас-

путине». Как же сделать? Щербатов говорит, что только путем предварительной цензуры можно устранить писания о Распутине. «Вводите, что хотите» — отвечал царь — «но чтобы о Распутине больше не писали».

Хвостов, по-видимому, неглупый человек, но проходимец, не стесняющийся в средствах. Бывшие вологодские ссыльные рассказывали мне, что у Хвостова в бытность его вологодским губернатором произошло столкновение с политиками. Он не знал, как ему дискредитировать вожаков и удалить их, не возбуждая осложнений... И вот «лидеры» стали из Московского Охр. Отделения систематически получать деньги, а губернатором под шумок в публике распространялись позорящие политиков сведения.

30-го Октября. От С. П. С. слышал, что в Могилевской губ. поймано до 50 т. беглых солдат.

12-го Ноября. Говорят, что в Земском и Городском Союзах обнаруживаются покражи. А ведь там сидит уже не бюрократия. Кудрявцев, Петлюра и др. с Западного фронта пишут о неурядицах в работе Союзов — никакого толка в делах.

Тесленко подтверждает рассказ Иллиодора о некоторых странностях в деле убийства Столыпина. Тесленко говорит, что тогда уже упорно ходили странные слухи...

Об объединенной газете все еще говорим и заседаем. Я даже по поручению собравшихся ходил к Коновалову. Не у всякого капиталиста можно брать деньги на демократическую, социалистическую газету. Наше организационное собрание дошло до того, что стало баллотировать капиталистов, которые пока еще не проявили склонности дать деньги.

В газетах сейчас много пишут о бедственном положении наших военнопленных. И никто из газетных мудрецов

даже не подумает о том, чтобы поставить (хоть косвенно) вопрос: а почему именно русским хуже всех приходится... Правительство чинит всякие препятствия для сношений, ставит преграды и для помощи немецким военнопленным. Вот уже два месяца в Метрополе живут 30 американских сестер милосердия и докторов — и до сих пор их никуда не пускают в лагеря.

18-го Ноября. Беседа с Некрасовым по поводу организации общедемократического союза.

Проф. Тимофеев, химик, директор Харьковского Коммерческого Института был вызван в Петербург на совещание о разгрузке. Рассказывает немало любопытного. Когда дошла до него очередь, он посоветовал прежде всего узнать, что именно находится в скопившихся на железнодорожных путях вагонах. На другой день получил приглашение явиться в Комиссию по вскрытию вагонов. Стали вскрывать 50 вагонов, стоящих уже давно на путях. В первом оказалась детская колясочка, во втором — ванна, две пары женского белья и т. д. Откуда пришли эти вагоны, начальник дороги не знает, высказывает предположение, что ходили эти вагоны уже по всей России и, наконец, докатились до Петербурга, где живет «начальство». Никто этих вагонов не принимал, пломбы же вскрыть не рисковали. Очевидно, где-нибудь при наступлении немцев начальство захватило вагоны для своих вещей, предполагая их нагрузить, а до времени клали что-нибудь и запечатывали. При неожиданном наступлении вагоны были двинуты.

Племянник Белоконского, офицер, рассказывал о Харькове. Ему нужно было для своего отряда погрузить 300 пудов сала. Ничего не выходило. Обращался ко всем. Встречает еврея... «не беспокойтесь, завтра же будет погружено. Дайте 130 руб.». Утром, действительно, сало было погружено и отправлено.

А. Н. Быков рассказывает о таком случае на фронте около Пинских болот. Только одно шоссе — по обеим сторонам болота. Все шоссе запружено тысячами беженцев. Вдруг приказ — двинуть артиллерию ввиду наступления немцев. Двинули — остались лишь трупы раздавленных или же погибших в болотах.

Он же со слов ген. Рузского: всего мобилизовано 9.000.000; из них 2 милл. в плену, 3 выбыло из строя; 1.800.000 на фронтах; 2 милл. в бегах. Вероятно, последнее преувеличено. — Но в то же время я слышал из Штаба, что в одной Подольской губ. поймано более 59 тыс. беглых. По Москве ходят команды, которые ловят беглых. Воинский начальник говорит, что к нему ежедневно приводят несколько десятков. Белоконский видел в Харькове, как по ночам ловят беглых. Беглые образуют даже шайки с атаманами, которые грабят тыл. Бегут преимущественно старые, когда проходят через свои губернии. Среди молодых побегов меньше. Леня рассказывал такой случай с его товарищем Марковым. Вел маршевую роту в Харьковской губ. Стал замечать, что солдаты один за другим спрыгивают из вагонов. Марков стал стрелять и одного ранил. Его тотчас вытащили и буквально растоптали.

Бытовая сценка: в коридоре бабы; им монашек рассказывает: все дело в Дарданелле. Стреляешь, а она исчезает. Если поймать, и война кончится.

В Петербурге видел В. А. Жуковскую — племянницу проф. Жуковского. Это та самая, которую Пругавин описал под фамилией Гончаровой в «Старце Леонтии». Жуковская — немного писательница. По-моему форменная истеричка. Валандается она со старцем уже второй год. Не живет ли с ним? Сама утверждает, что ее цель направить его влияние в другую сторону. Тут же показывает кинжал, приготовленный на случай какого-либо насилия со стороны старца. Рассказывает сама, как «старец» тащил ее в

спальню. Она решительно отказалась, заявив, что не ляжет на такую грязную постель. Говорит об эксперименте и всячески завлекает и разжигает, по ее словам, старца. Добавляет — я аморальна. Живу сейчас у подруги. За мной ухаживает ее муж. Ничего не имею против того, чтобы отдаться ему. Не все ли равно, если хочешь. Вероятно, у Распутина немало поклонниц такого типа.

Между прочим, в Твери у губернатора есть фотография дебоша старца в Москве.

8-го Декабря. Мразовский (командующий войсками) вызывал к себе Н. И. Астрова. Говорил, что прислан в Москву для успокоения, что Астров своими агитационными речами в Городской Думе возбуждает московское население, что если это впредь будет продолжаться, то он должен будет принять соответствующие меры.

Самарин рассказывает. Доложил царю, что ему необходимо говорить откровенно по важному делу. Получил разрешение. Указал на необходимость во избежание соблазна удалить старца. Царь соглашался удалить Распутина на две недели. Самарин настаивал на полном удалении. Николай II: неужели народ не может оставить в покое того, кто дает ему душевное спокойствие. Эпилог: Заседание Совета Министров. Горемыкин получает письмо. «Mon cher, это касается вас» — обращается он к Самарину. Письмо заключало в себе отставку Самарина.

Меня и др. вызывали в Комитет по делам печати. Нельзя ничего писать о старце. Между прочим, в некоторых кругах была сделана неудачная попытка заменить старца, репутация которого становится слишком скандальной.

Слышал от лиц, приехавших из Варшавы, что там ходят упорные слухи о мире на таких условиях: Польша получает самостоятельность; немцам отходит часть Прибалтики;

Россия получает Галицию. Что-то тут есть, иначе откуда такой определенный, реакционный курс. Утверждают, что Бюлов и Коковцов оба лечатся в Швейцарии.

10-го Декабря. Была В. А. Жуковская. О старце рассказывала приблизительно то же, что и в Петербурге. Распутин ненавидит Иллиодора и ругает всех бумагомарателей... Влияние Распутина основано на том, что в нем видят спасение от революции (а это ведь, очень правдоподобно). А. Ф. психически заболела после 9 января — так повлияла на нее паника в Зимнем Дворце. Для нее Распутин — представитель народа, поэтому за него так и держатся...

У себя дома Распутин окружен дамами — всегда Шаховская, Муня Головина, Сана Пистолькорс. Около него всегда два стула — сидят две; он кладет руки на животы их и гладит рукой по подбородку. Это-де большое наслаждение. Каждая готова умолять, чтобы старец своими руками положил ей сахар в чай. У Распутина около 70 дамских телефонов. По очереди вызывает. Сам лежит на постели, а рядом с ним на постели сидят 4 дамы. День у Распутина весь нарасхват: то завтрак, то обед. На квартиру посылается всякая живность и сласти.

Сейчас он занимается банковскими аферами. Руководит им Митька Рубинштейн. Барк — самый близкий человек. Каждый день приходят письма с пасквилями. Генеральша Головина их громогласно читает, а Распутин бросает в печку.

У старца какие-то особые изумительные глаза. Серые, вдруг загорающиеся красным. Глаза неотразимы — в них внутренний магнетизм. При женщинах загораются необычайной страстностью, и всегда, сколько бы не было этих женщин, он готов на любовные утехи утром, днем и вечером.

Жуковская так понравилась старцу, что он умолял ее остаться у него ночевать. Делал это открыто при Муне

Головиной. Жуковская отказалась. И после Муня ей строго выговаривала. Старец хватает ее за ноги и целует чулки, гладит шею и грудь. Но в губы — гордо заявляет Жуковская — старцу ни разу не удалось ее поцеловать...

Женщины совершенно испортили Распутина. Им создана теория: надо грешить внизу, чтобы наверху было светло. Выработаны и особые приемы. Посылает причаститься, а вечером явиться к нему. Наэлектризует и требует отдаться ему. Если следует отказ, начинается молитва: молится сам и заставляет молиться обольщаемую...

Дочери Распутина обучаются во французском пансионе. Живут у тятеньки и осведомлены о всех его делах.

Распутин сказал, между прочим, Жуковской, что он уничтожит черту оседлости для евреев, но равноправия не даст. Уверял, подвыпивши, что за это он получил большой куш.

19-го Декабря. Слышал сегодня от священника Н., знакомого пристава той части, где находится ресторан «Яр», о посещении Распутиным этого учреждения. Из Яра позвонили в участок о том, что старец скандалит. Пристав говорит: «успокойте». Вновь звонят: «старец продолжает дебош; сейчас приведем его в участок». Пристав всполошился. Вызвал помощника градоначальника Модля. Модль в сопровождении пристава отправился в ресторан. Составили протокол. Разрастается большое скандальное дело...

Рассказ бежавшего из плена офицера. Обходились в лагере хорошо. В лагере был даже лаунтенис. Проскочил благополучно через Австрию. И только попав в Румынию, оказался в условиях, несравнимых с теми, в которых был в Германии.

Даже на собрании по национальному вопросу рассказывали о разгромах, делаемых нашими войсками — все разоряют... Между прочим, солдаты разграбили всю дачу Фидлер (в Быкове), поселившись в ней.

26-го Декабря. Был на докладе П. М. Толстого. На него война оказала весьма ощутительное влияние. Стал жесток. Нельзя обходиться без смертных казней, нельзя без телесных наказаний. Последние, по его мнению, даже гуманны — иначе должно следовать предание военному суду. Говорит о недостатках нашей армии и о преимуществах немецкой. Там хорошая организация и сознание долга. У нас последнего нет, поэтому такая масса отдается в плен. У нас дезорганизация во всем. Пример: была конная железная дорога в их отряде, при отступлении ее угнали в Вологду. Она вновь понадобилась, пришлось слать ее из Вологды, причем получили только половину состава. Поставили на 50 верст... Требуют в другую часть. Разбирают и 25 верст отправляют в другую часть. И так во всем. А начальство занимается приказами на тему о том, чтобы офицеры не ухаживали за сестрами милосердия.

Мы очень гуманны: умирающих военнопленных везут теперь из Сибири в Москву для отправки на родину. Чуть ли не все венгерцы в Сибири получили туберкулез — не могли вынести сурового климата, особенно в условиях, при которых происходит отправка пленных в далекий путь.

С. В. Петерсен ехала в Петербург в одном купе с некоей Ежовой, одной из клевреток Распутина. Он иногда у нее останавливается в Москве. Глупая (красивая) женщина рассказывала незнакомой ей Петерсен, как муж ее все проиграл в карты. Теперь они зарабатывают на Распутине. Устраивают различные дела, являясь посредниками. Но Распутин не всегда все может сделать. Так за одно дело давали 100 тыс. руб. Ничего не вышло. Когда Распутин бывает у них, они поставляют ему певичек.

В Петровском Парке появился новый «старец». Растлил малолетнюю. Отвезли в больницу. Мать отправилась к митрополиту. Последний посоветовал: «если дорожите головою, держите язык за зубами». Дело касалось,

очевидно, Распутина. Жуковская утверждает, что его нет и не было в Москве. По моим сведениям, он только что приезжал в Москву. Просил Жуковскую позвонить по телефону к Решетниковым — купеческая семья, где по преимуществу останавливается Распутин. Ответили, что он только что уехал в Петербург.

1916 г.

1-го Января. Опять о Распутине. Очевидно, вопрос о распутиниаде — это наипервейший вопрос нашего времени. Отовсюду приходится слышать только о Распутине.

Был у священника Востокова, который все время открыто выступает против старца. Востоков по поводу своих выступлений в журнале «Отклики на Жизнь» (систематически конфискуются) был вызываем к Климовичу и Мразонскому. Те требовали, чтобы Востоков прекратил свои выступления. Он решительно отказывался — это его долг. Он убежден, что никакие административные кары в отношении его не будут приняты, так как и Мразонский и Климович сами возмущаются. Климович говорил Востокову, что надеются, что Хвостов уберет Распутина, так как все министры против. Он же говорил о возможности покушения на старца.

У Востокова для Москвы хорошая протекция — он преподаватель у детей Самарина... Востоков утверждает, что... Распутин — хлыст, который все делает, чтобы разрушить церковь и таинство брака. Востоков писал уфимскому епископу Андрею о том, что необходимо отторгнуться от официальной церкви, которая, благодаря Распутину, совершенно дискредитирована. Епископ Андрей убеждал Востокова повременить, но писал, что и он и другие с ним.

По словам Востокова, собрал богатые материалы о Распутине Новоселов. Востоков говорит о необходимости обзавестись типографией для издания документов о Рас-

путине. Священник заговорил о нелегальной типографии! Еще более знаменательно то, что Востоков говорит о необходимости переворота вроде тех, которые были при Екатерине, Павле. Нужен переворот, а не революция — последней, как духовный пастырь, он проповедовать не может. Если учесть связь Востокова с кружком Самарина, то станет ясным, что в этих кругах говорят определенно о перевороте. Опять всплывают «иды», как говорил на собрании М(аклаков).

В бюджетной Комиссии задали вопрос о Распутине. Хвостов ответил, что до конца войны этого вопроса нельзя поднимать. Востоков возмущается этим и говорит, что надо отбросить иезуитскую оговорку: «до конца войны». Эту оговорку делал ему и московский митрополит.

Встречали новый год у Шуберт. Там была дама, много рассказывавшая мне о Распутине. Рассказывала, как тот добивался любви от ее подруги Б. Рассказывавшая сама врач, поэтому не очень стеснялась в подробностях. Б. встречалась с Распутиным у кн. Голицыных. В этом салоне якобы подготовляются все темные делишки, в которых замешан Распутин — через этот салон идут и уплачиваемые взятки. Б. — дама лет 40, переживающая вторую молодость. Оставшись с нею наедине, Распутин стал ее хватать повсюду. Б. не протестовала, так как он мог ей понадобиться, но к себе его не пустила, так как он очень противен.

5-го Января. Опять прежде всего о Распутине. Вчера проф. Яроцкий рассказывал о своей знакомой. Ей нужно было видеть Распутина. Позвонила по телефону и была принята. Распутин привел ее в спальню. — «Ну, раздевайся». Ошарашенная, она вырывается из объятий старца — «Не хочешь? Так зачем же ты пришла. Не хочешь, не надо, но смотри, приходи в 10 час. веч.» — Дама эта потом поехала обедать в ресторан с мужем и знакомым доктором. Ъ

К 10 час. веч. она стала проявлять сильное беспокойство и наконец, заявила, что поедет к Распутину. Никакие уговоры не действовали. Доктор ее загипнотизировал — так только удалось отклонить ее от свидания с Распутиным. Она говорила, что на нее неотразимо действовали глаза старца.

Собрание по польско-русскому вопросу у Лузиной. Бабянский читал доклад на тему: может ли Польша экономически существовать независимо. Евг. Трубецкой и Маслов (П. П.) стали доказывать, что следует говорить об объединении всей Польши. Раз этого нельзя будет достигнуть, то русской Польше давать независимость нельзя — иначе ее съест Германия. Маслов (сод. дем.) высказался против независимости русской Польши и потому, что он, как русский, не может допустить того, чтобы потеряла одна Россия. Я напомнил ораторам о 1863 г. В заботах о будущем Польши слишком много фальши. В русских людях еще много шовинизма. Недаром Чернышевский говорил полякам про русских радикалов: не верьте нам, обманем.

6-го Января. А. Ф. Ярмолович (Глебова) говорила о Вырубовой, которую хорошо знает, — что она· подлинная ханжа, слепо верит в Распутина. По поручению царицы ездила по России для ознакомления и изучения юродивых.

Арест Мякотина.

Объявление ректора Университета о замученных «тевтонами».

18-го Января. Был на заседании «Кооперации». Удивительно нудно. Старые партийные споры, бесконечные слова и слова. Большевики и кадеты все время занимаются обструкцией друг против друга. Говорят, говорят и говорят. 20 человек по поводу того, надо ли обсуждать вопрос;

столько же по поводу постановки вопроса, еще столько же к баллотировке. Наконец, решают, что вопрос надо обсуждать. А на предварительные прения ушло уже более 4 часов. Надо иметь слишком много мужества для того, чтобы продолжать ходить на эти собрания.

Приехал Полнер с Зап. Фронта. Между прочим, рассказывает, как пленных австрийцев заставляют рыть окопы... Чего же возмущаются против немцев «Рус. Вед.» и другие? Пленным на прокорм выдается что-то вроде 11 коп., т. е. держат их полуголодными. Когда Зем. Союз ходатайствовал перед военными властями о том, чтобы платить пленным больше и выдавать одежду, власти этого не разрешили. При повторной настойчивой просьбе ген. Данилов заявил, что не может разрешить, так как имеется по этому поводу Высочайшее повеление. На третье ходатайство все-таки разрешил платить 44 коп. (Окопным рабочим Зем. Союз на прокорм выдает 45 коп.)

Ген. Эверт приказал удалить из Земского Союза всех евреев. Распоряжение не выполнили, так как Вырубов указал, что у него все врачи — евреи.

Кн. Львов и Челноков были в Ставке. Челноков пролез к Самому. Львов все время просидел в вагоне. У него был Алексеев. Они имели беседу глаз на глаз в течение часа. Алексеев возмущался Горемыкиным. Говорил, что ставит своей задачей примирить Львова с царем. Царя все окружают прохвосты. Алексеев один и ничего не может сделать. Единственный человек, который может теперь руководить политикой, по мнению Алексеева, — это кн. Львов.

Хвостов сейчас усиленно насаждает своих людей в Земский Союз для того, чтобы те собирали данные о злоупотреблениях в Союзе: отдача под суд дискредитирует общественность. Неурядиц в Союзах много. Ссоры и кляузы. Конечно, немало швали.

Б. Е. С. говорит, что на одной фабрике у них образован лагерь для пленных: на прокормление выдают 7 коп.

— Сокольский (миссионер), за которым ухаживает Распутин, приятель Новоселова. Говорит, что Распутин после назначения Питирима устроил празднество в ресторане «Медведь». Он же: когда митрополит Владимир допрашивал Варнаву, как-де он объявляет Святых без ведома Синода, тот ответил, что сделал это по телеграмме. — «По какой такой дурацкой телеграмме?». — «Самого». Владимир прикусил язычок. Во дворец сообщили об этой «дурацкой» телеграмме. Вместо Владимира был назначен Питирим. Последний нравится во Дворце своим кликушеством.

17-го Февраля. Рассказывала Ярмолович. У Роде кутили Преображенские офицеры. Распутин подходит к Орлову и говорит, что желает принять участие в их пиршестве. — «А я не хочу с вами». — «Как смеешь так говорить. Я прикажу все чины отобрать». Орлов схватил стул и послал Распутина к черту. Распутин, в свою очередь, схватил стул. Началась драка. Сын Орлова выхватил шашку и нанес Распутину ряд ран. Распутина унесли всего окровавленного.

Н. И. Романов выпустил открытку с картины Иванова «Благовещение». От министерства приказ: изъять во избежание соблазна.

Собрание по еврейскому вопросу в связи с последними циркулярами. Трайнин огласил удивительные распоряжения военных властей.

18-го Февраля. Много говорят о сенсационном аресте Бориса Ржевского. На основании некоторых документов дело представляется так. Хвостов поручил Ржевскому организацию убийства Распутина. Надо устроить так, чтобы убийство носило характер мести или что-либо подобное.

За это Хвостов предложил 60 тыс. Ржевский отправился к Иллиодору. Последний согласился. Белецкий выследил поездку и организовал вокруг посланца Хвостова шпионаж. При вторичной поездке было поручено арестовать Ржевского. С этой целью один офицер из пограничной стражи в Белоострове устроил скандал, закончившийся протоколом. При обыске у Ржевского отобрали документы — в том числе письма Хвостова. Ржевский упрашивал отобранное отправить Хвостову или Штюрмеру — только не Белецкому. Было послано именно Белецкому. Во время ареста из тюрьмы Ржевский отправил два письма: одно Хвостову, другое — Александре Федоровне. Первое было не доставлено, второе доставили — в нем излагалась вся история. Хвостов призвал Белецкого и требовал выдачи письма. Между ними произошел такой приблизительно диалог:

Б. Вы юрист и знаете, что письмо попало к прокурору.

Хв. резко требовал и стал кричать.

Б. Я сенатор и не позволю с собой так обращаться.

Пока по распоряжению из Ставки Белецкий удален. В это время Иллиодор прислал телеграмму Распутину с изложением подготовки к убийству. В связи с письмом был сделан контр-доклад с требованием удаления Хвостова. Царь будто бы сказал: «Хвостова поставил Распутин, а теперь требует отставки этого мерзавца». Хвостов никуда не показывается. Хорохорится и говорит, что его не сломят.

В Петербурге переполох. Никто не знает, до каких пределов может дойти новая азефщина.

26-го Февраля. Ю. М. Кожина обещалась познакомить меня с секретаршей Распутина. Уверяют, что она является участницей в прибылях, о чем говорит довольно откровенно — говорит, сколько Распутин получил за то или другое дело.

Версия Хвостова. Узнав, что у Иллиодора имеются компрометирующие сведения, он хотел купить Иллиодора. Иллиодор потребовал 5000 руб. за год молчания. Для переговоров и был послан Ржевский. А Иллиодор стал говорить, что его подговаривали к убийству.

Мой доклад в заседании Общества Деятелей Периодической Печати о литературной этике. Зал был переполнен. Собрались почти все, о ком я говорил. Доклад мой носил немного характер «скандала», так как я решил не теоретически рассуждать о добрых литературных нравах, а взять быка за рога и говорить о фактах, называя имена и органы печати. В присутствии Раецкого я говорил о его подхалимской статье, приветствовавшей Хвостова и т. д.

11-го Марта. Над Белецким и Хвостовым наряжено следствие. Белецкого хотят судить, как Лопухина, за разглашение правительственной тайны.

С. Н. Серпинский знаком с присяжным пов. Розиным, состоящим поверенным компании «Компас» — это темные дельцы из числа распутинцев, концентрирующиеся около салона кн. Голицыных. «Компас» весьма таинственная организация. Имеет разрешение на три клуба в Петербурге, где проигрываются бешеные деньги. Полиция ничего не может сделать, ибо лица, владеющие этими притонами, неприкосновенны. В этой компании теперь и Рубинштейн. Уловили его так. Рубинштейн купил 5 рафин. сахарных заводов. Решили под него подкопаться. У Розина были гости — среди них Серпинский. Играли в преферанс — между прочим. Скворцов, издатель «Колокола». Составили записку о необходимости уничтожения рафин. заводов. Предложили Рубинштейну откупиться. Первоначально он отказался. Тогда в «Колоколе» была напечатана в виде статьи упомянутая докладная записка... Рубинштейн предпочел вступить в эту компанию и делиться барышами.

Распутин явился на квартиру к жене члена Гос. Совета Н. и заявил: «ты мне понравилась». Был выставлен, но для Н. пока никаких последствий не было.

Отстранение Коковцова объясняют интригой того же Распутина. Царь попросил Коковцова познакомиться с Распутиным. Последний явился к Коковцову и шокировал его своею грубостью. Отзыв Коковцова был неблагоприятен. Тогда распутинцы потребовали увольнения Коковцова. У Коковцова перед тем было столкновение с небезызвестным финансовым дельцом Манусом — из той же компании: Коковцов вычеркнул Мануса из списка членов Биржевого Комитета.

Маклаков баллотировал в Думе за исключение Чхенкели за слово «хулиган», но не предлагал, однако, исключение Маркова 2-го и др., когда те допускали худшие ругательства во время обсуждения еврейского вопроса. Вместе с Маклаковым баллотировал Аджемов.

20-го Марта. Циркуляр об удалении евреев из армии. Управцы Земского Союза постановили об увольнении в двухдневный срок. Любопытная черта: распоряжения управ были изданы 8-го; съезд земский происходил 13, и на съезде об этих постановлениях не было сказано ни слова, хотя и принимались резолюции об евреях...

22-го Марта. Хвостов был у Дерюжинского. Спрашивал совета, куда ему поместить имеющиеся у него деньги 600 тыс. (Носится слух, что Хвостов получил 2 милл. за молчание в Гос. Думе). Дерюжинскому свою отставку Хвостов объяснял так. Он имеет документы о шпионстве Распутина — будто бы тот сообщает о передвижениях войск. По долгу монархиста он доложил об этом царю. В результате — отставка. Царь... никуда не отправляется без одобрения Распутина. Хвостов уверяет, что у него имеются

материалы, и о Штюрмере — по поводу его дружбы с гр. Пурталесом. Он обещается через полгода выступить в Гос. Думе с разоблачениями. Говорит, что во избежание осложнений Распутин был увезен из Петербурга, но на первой же станции ему был подан автомобиль. Распутин теперь в Павловске, где ему приобретена особая дача.

24-го Марта. По телефону сообщили, что Петербург взволнован слухом об убийстве Распутина. Говорят уже о переменах в составе министров...

Удивительно пошлый фельетон написал Дорошевич по поводу самоубийства В. П. Обнинского: нельзя сейчас кончать самоубийством. Тот, кто желает покончить с собой, пусть отправляется на фронт, по крайней мере прихватит с собой пару немцев. — Дальше идти некуда.

30-го Марта. З. Г. К. сообщил, что издан специальный циркуляр, запрещающий пропускать письма русских пленных, в которых говорится о хорошем обращении. Запрещен, конечно, пропуск немецких писем, где говорится о тяжелых условиях плена. По большей части немецким пленным, находящимся в лагерях, очень плохо. Например, в Самарском концентрационном лагере погибло 17.000 человек.

18-го Мая. Видевшие Тома рассказывают, что у него нет никаких надежд на наступление. Нет снарядов. Во Франции делается 180.000, Англия производит 80 тыс., Россия только 40. Германия имеет 400 тыс. в день. Дело лишь в изморе. Когда немцы наступали на Верден, французы очень боялись, что не выдержат. Лишь на 8-ой день пришли к убеждению, что кампанию выиграют, так как могут сдерживать немцев. Цель приезда Тома выяснить, подготовлена ли Россия выдержать войну со Швецией. По-

следнюю необходимо вывести из состояния нейтралитета для того, чтобы блокировать Германию и иметь возможность проникнуть в Балтийское море. Тома смотрит на дело довольно пессимистично: много возможностей, но очень мало сделано. Во Франции нет тыла — все мобилизовано; в России нет военной зоны — все тыл. Впечатление от Штюрмера: c'est catastrophique. Был принят царем. Николай II удивлялся, что во Франции при республике достигнуто такое единство в организации. — «А у вас» — спросил Тома. — «У нас анархия власти».

Тома говорит, что во Франции нет ни одного завода, равного Тульскому...

Говорят, что царь готов отказаться от престола в пользу сына под регентством Мих. Ал.

Ведется определенная кампания за удаление в. кн. Н. Н. с Кавказа, где тот создает себе «базу».

Распутин находится у себя на родине. Должен вернуться в конце мая. Жуковская определенно говорит о взятках, получаемых старцем: за дворянство — 25 тыс.; за крест — 3 тыс. Говорит, что сама давала. Но она форменная истеричка, к ее словам приходится относиться с большим недоверием. По-видимому, между Распутиным и Иллиодором произошло примирение. Лахтина утверждает, что получила от Иллиодора письмо о том, что он скоро будет.

10-го Июня. Милюков говорил в Швеции, что у нас перед войной стушевались все внутренние вопросы. Общий девиз — война до конца. Целью является завладение Дарданеллами.

Ольденбургский издал приказ о безобразиях в каком-то лазарете Земского Союза. Женщина-врач посажена под арест на месяц. Нарочно распубликовали этот приказ. Почему, однако, Ольденбургский не обращает внимание на военные госпиталя — здесь по истине творятся безобразия.

Но и в Союзах далеко не все благополучно. Львов говорит о развале всего дела. О полном расстройстве говорит и И-ч — отряды работают очень плохо.

Поездка Тарасевича в Париж. Он говорит, что во Франции не любят англичан. Англичане даже обиделись за шумные приветствия, которые устраивали во Франции нашим войскам. Тома и Клемансо объясняли неприязнь французов к англичанам тем, что Англия мало делает для войны и тем, что французы боятся, что англичане после войны не уйдут из Калэ.

Франция напрягла все силы. Клемансо: «для нас это вопрос быть большой державой или нет». Отмечает Тарасевич полное незнакомство во Франции с русскими общественными делами. К общественным силам чувствуется даже некоторое презрение — они ничего не стоят; ради спасения Франции надо идти с теми, кто силен. О России вообще знают очень мало — все печатается лишь с одобрения Извольского. Цензура строжайшая. Любопытно, что при единстве и организованности во Франции было немало волнений и бунтов в армейских частях.

Цензура и в Англии. Кропоткин послал телеграмму в Америку с изложением своей точки зрения на войну (эта точка зрения вполне приемлема для власти) с маленьким заключением, где указывались отрицательные стороны современных внутренних порядков. Телеграмма не была пропущена цензурой.

О Распутине и во Франции, и в Англии ничего нельзя писать. Между прочим, он появился в Москве и, как говорят, опять скандалил у Яра.

— Иллиодор уехал в Америку для продажи (? !) своей рукописи.

20-го Августа. Волнения в Туркестане в начале августа на почве призыва.

Запрещены всякие обращения о помощи русским пленным. Мотив: чтобы не сдавались, если будут знать, что о них хлопочут.

Видел шведских сестер милосердия. Они были и в Германии. Там очень жалуются на отсутствие хлеба. В России положение пленных очень разно: местами очень хорошо, местами невыносимо плохо. Рассказывали, напр., про Сретенск. Здесь 9000 пленных. Тифозная эпидемия и нет врачебного ухода. Поселили пленных в летних переселенческих бараках; повсюду внутри бараков лежал снег. В этом лагере была ужасающая смертность. Теперь все изменено. Говорят сестры, что убийственное впечатление производят те, которые вернулись с работ из Колы — это в полном смысле слова скелеты.

В Кожухове (под Москвой) мириады блох и вшей. Сестры роздали уже на 40 мил. марок вещей и несколько миллионов денег. Все это получено ими из Австрии и Германии.

Поехала в Германию и наша делегация от Кр. Креста (в их числе Тарасевич). На всех дали 200 т. руб. Какая мелочь по сравнению с Австрией и Германией. Во Франции хотели устроить день русских пленных. Извольский не согласился — это-де дискредитирует русское правительство. Почему же в таком случае сами не дают денег? Мало того, обманывают своих. Уже несколько месяцев не отправляют посылок в Австрию. Посылки принимаются и лежат они без движения. Слышал об этом из первоисточника — непосредственно от К.

27-го Сентября. Из самого достоверного источника (А. Ф.) слышал: приехали из Германии наши калеки. Приказ — домой их не отпускать. Будут ездить по фронту и рассказывать, как плохо обращались с ними в плену...

Банковская газета. Слышал совершенно определенно, что основные деньги даны Международным Банком. Так

как Протопопов министр, то следовательно газета будет официозом. Вызывали в редакцию Белоконского, но он отказался.

1-го Ноября. Беседа Протопопова с Львовым. Протопопов знает, что к. л. имеют план выкрасть царя из Ставки, привезти его в Москву и коленопреклоненным заставить его присягнуть конституции. Уверял Львова, что только теперь познал, какой в действительности гений сидит у нас на престоле. Протопопов вообще несколько фиглярничает. Говорят, что у него прогрессивный паралич. Можно поверить. В Думу он явился в мундире шефа жандармов и расспрашивал (может быть, в шутку), где и что помещается. На заседании на бумажке пишет Милюкову: «что вы смотрите на меня злыми глазами».

Протопопов — это опять означает: вся власть Распутину.

На Зап. Фронте. Генерал О. говорил о потере 600 тыс. за летние месяцы. Гибнут полки в бессмысленных атаках. П.: немцы сожгли огненными струями 10 тыс. чел.: при прорыве неделю назад погибло более 120 тыс. Солдаты ропщут и отказываются идти. Говорят о бунте в одной из дивизий под Ковелем. Настроение повсюду повышенное — и в офицерских кругах. Происходят какие-то таинственные собрания. П. определенно говорит о возможности «крупных событий».

Секретарша Распутина — Вера Ивановна Трегубова, — рассказывала Ю. М. Кожиной, какой % получает с каждого дела. Уверяет, будто бы и Вырубова пользуется деньгами...

15-го Декабря. Я почти уже ничего не записываю. Со смертью Василия Ивановича (Семевского) увеличилась работа и по журналу. Один очень знаменательный, по моему мнению, факт хочу все же отметить. В объявлении о подписке на «Голос Минувшего» в 1917 г. перечислили и

воспоминания иеромонаха Иллиодора. После убийства Распутина не так уже будут охранять его имя. Хотели похвастаться публично, что прославленные, главным образом, действиями Хвостова, записки в нашем распоряжении; хотели и остановить возможность использования этих записок по могущей существовать копии. Напр., А. С. Пругавин без моего согласия поместил в «Русских Ведомостях» два фельетона по поводу этих записок.

В связи с появившейся публикацией по требованию Мразовского я был вызван в Комитет по делам печати. Впервые я предстал перед всем синедрионом. Давал объяснения в самом заседании Комитета. Объяснение мое было просто: я напечатаю из записок Иллиодора то, что не может вызвать цензурного запрета. Кроме того, записки предназначены для напечатания только в мартовской книге журнала. Имеется еще четырехмесячный срок. Комитет этими моими объяснениями удовлетворился — очевидно, их интересовала только формальная сторона дела. Официальное заседание кончилось, и тут произошло довольно необычное для правительственного учреждения. Все меня обступили и стали расспрашивать про записки Иллиодора. Особенно интересовал гг. цензоров вопрос об отношениях царицы с Распутиным. Спрашивали это люди, одетые в форменные мундиры при всех своих регалиях и орденах. Очевидно, что-то неладное творится уже в самом правительственном аппарате.

Отведя меня в сторону, председатель Комитета Сидоров спрашивал: не соглашусь ли я в частном порядке дать эти воспоминания ген. Мразовскому для прочтения. Мразовский очень ими интересуется и гарантирует полную дискретность. Я ответил, что сейчас уезжаю на месяц на фронт.

Я, действительно, туда уезжаю, так как мне предложено через Т. И. Полнера сделаться как бы историографом

Западного Фронта, т. е. работы Земского Союза на Зап. Фронте. Я склонен принять это звание...

Вырубов организует мою круговую поездку по фронту для непосредственного ознакомления на местах с деятельностью земских учреждений.

К Записям 1914–1916 гг.
Отрывки из дневника П. Мельгуновой

Сентябрь 1914 г. Соня попала в военный госпиталь, находящийся на Екатерининской площади. На 600 раненых — 8 сестер и 3 доктора. Перевязочного материала нет, белья нет, одеял и кроватей нет — ничего нет. Пакля вместо ваты. Хочу перейти туда. Через Москву переслано уже 200 тысяч раненых. С. П. был в том госпитале. Доктор Светухин вчера звонил Соне, что готов к нам приехать, чтобы чего-либо добиться. Он сам достал белье, сам выклянчил перевязочный материал. Оказывается, это два полевых госпиталя для передовых позиций; накануне выступления они получили приказ развернуть тут лазарет, а у них нет инструментов; им прислали тяжелораненых. Они в полном бессилии. Доктор добрался до Малинина (член Управы) и выпросил инструменты, а теперь, когда город поссорился с военным ведомством, то потребовал уплаты за инструменты — 500 руб., и так как военное ведомство не считает нужными для «полевого» лазарета эти инструменты, то оно отказывается платить, придется платить доктору. С. П. обещал содействовать неплатежу.

15-го Сентября. Вчера я была в военном лазарете (206–207) на Екатерининской площади, где д-р Светухин. Сразу попала в гущу. Там стоит вопль от боли, так как все делают без наркоза. Приехали туда по приглашению С. П. Титов и Малинин осмотреть от города; подробно осмотрели и все обещали. Через час-другой уже Светухин звонил С. П., что все прислало военное ведомство — про-

слышав, что город вступился, поспешили послать. Секретарь Думы звонил С. П., что все инструменты по вчерашнему постановлению Думы останутся в госпитале даром «в долг без возврата».

17-го сентября. Вчера у нас было собрание организуемого д-ром Светухиным и мною кружка «пробивания» в военные лазареты. Светухин рассказывал ужасы про устройство своего и про давящую их канцелярщину и законность, на основании которой они выпускают голых людей, потому что предписано выпускать в том, в чем они явились.

24-го Сентября. Вчера заседал кружок наш военно-лазаретный, выработали план действий — помогать всем и всем возможным, учредились одним словом и уже начали работу — накормили партию отбывавших в 80 человек и т. д.

10-го Октября. А госпиталь наш, который только что устроился, отправляют в Могилев — он только что оборудовался хорошо.

3-го Ноября. Давным-давно не писала. С госпиталем нет времени. Наш 206–207 услали, теперь новый опять заново оборудовали. Все, все увезли, а теперь: опять все пришлось приобретать.

31-го Января. 1915 г. Русских раненых выпускают раздетыми из госпиталей № 6 и 10. В 6-ой прислать можно только на имя старшей сестры и не официально, а в 10-ый на имя старшего врача. То же и в 19-ом и 15-ом...

Под *9-м сентября* в дневнике П. Е. значится: Третьего дня С. П. был на интересном заседании писателей, ученых,

общественных деятелей и артистов, собравшихся с целью выразить протест против немецких зверств. Заседание открыл Ю. Бунин, заявив, что его брат Иван составил воззвание к русскому народу или ко всем, и что все собравшиеся, конечно, не могут молчать и должны подписаться. Южин, председатель, предложил всем высказаться — молчание. Тогда О. П. сказал, что раньше обсуждения надо знать воззвание и попросил прочесть: Ив. Бунин прочел лирическое воззвание. Грузинский заявил, что прекрасно, и надо только 2–3 слова вставить, потом Ледницкий патетически вопиял, что надо протестовать и т. д. Швецов, потрясая кулаком, кричал: «наша армия должна на штыках нести это воззвание». Тут встал Сакулин и, воздав великую хвалу таланту Бунина, раскланявшись и расшаркавшись перед ним, сказал «НО», если бы был жив Л. Толстой, он бы сказал свое слово, и его услышали бы все, но, к сожалению, среди нас «нет Толстых» и «все мы вместе не можем составить Толстого», поэтому он предложил бы говорить в воззвании не о немецких зверствах, а о зверствах вообще, о зверствах войны со всех сторон. За ним О. П. начал с того, что с ним согласен и что, хотя и не знает еще, надо ли вообще воззвание, не будет ли оно играть в руку желтой прессе, но, если и будет воззвание, то оно должно быть обращено ко всем и выставил два пункта, разрешив которые можно выступить с воззванием: 1) доказательство зверств немцев и 2) уверенность в истине того, что русские этого не делают. После него Вересаев высказался еще сильнее против всякого воззвания, говоря, что это желтая пресса подцепит. Ив. Бунин оскорбился. Тогда их троих стали называть «защитниками немцев», но настроение уже изменилось. Выступил поляк — австрийский подданный Тедеуш Мицинский, который вопил, что С. П. и окультист, и эстет, и смотрит мистически, а что тут жизнь, и надо рвать горло

пруссакам, что он своих родственников, которые теперь в прусском мундире, сам убьет при встрече. Ледницкий: «да, хорошо С. П. говорить, сидя в своем кабинете, а что было в Каменце!» «Вы там были?», спросил С. П. «Нет, но у меня сидят беженцы оттуда, это ужас, беда» и т. д. Южин тоже: «я согласен с С. П., но когда сама жизнь вопиет в лице этого польского представителя, надо протестовать», а сам Южин, по словам П. С. Попова, не подал руки артисту немецкому подданному. Постепенно большинство склонилось против протеста, выбрали комиссию для выработки к 13-му проекту; у Бунина попросили, как материал, его воззвание, он с негодованием отверг это. Ледницкий подошел к С. П. и спросил: «вы меня осуждаете?» С. П. «я уже 3 недели (с воззвания к полякам, на которое Ледницкий ответил чувствительной статьей) удивляюсь вам», Ледницкий: «конечно, и я ничему не верю, вы не понимаете, это политика, надо кричать, чтобы потом вырвать то, чего не дадут». С. П. «ну, в таком случае — дело другое».

Под 17-м сентября. 13-го было опять заседание ученых, писателей и т. д. в Художественном Кружке. Пришла совсем новая публика. Комиссия несколько исправила Бунинское воззвание. С. П. опять говорил против, потом водворилось глубокое молчание и Южин заявил: «У нас два взгляда — кто захочет, тот подпишет». С. П. ушел.

Под 1-м октября. В Художественном Кружке сегодня предварительное совещание членов об изгнании немцев и австрийцев. Оказывается, оных всего четыре, из них первый — Кнебель за границей; второй оказался швейцарцем, третий — сам ушел из членов, и четвертый — фотограф Фишер, только что получивший за фотографии от царя благодарность. Кого же будут изгонять?

II. В Петербурге 25–28 февраля 1917 года[45]

25-го февраля. Приехали с Т. И. Полнером 25-го. Были в небольшом количестве носильщики. Ходили в поисках комнат. Трамваи не шли. Извозчиков было мало, и те не хотели ехать по Невскому — опасно. Тем не менее извозчика нашли. В меблированных комнатах Сан-Ремо нашли номер. Это было около 2-х часов.

Из окна увидели большую процессию человек 5000. Было 5–6 больших, крупных знамен. Я мог прочитать лишь одну надпись: революция и хлеба. Толпа шла к Знаменской площади. На площади, как потом рассказывали, произошло убийство пристава казаками при таких обстоятельствах. Казакам было приказано разогнать толпу. Они отказались. Тогда обратились к каким-то полицейским. Здесь вступились казаки, и один какой-то в лоб убил пристава. Вообще повсюду казаки держались хорошо — не стреляли. Стреляли тогда, когда выступала толпа. Говорили: если у вас провокаторский выстрел, выдайте нам — мы расправимся. Войска везде встречались криками «ура». Можно сказать, что шла подготовка войск. Толпа не разгонялась — словно правительство выжидало. На Выборгской стороне убили помощника пристава: на Петербургской разгромили несколько пекарен. По дороге к Адмиралтейству встретили драгун. Затем в 5 часов около Казанского Собора говорили речи, толпу разгоняли выстрелами. Были раненые и убитые.

Так было повсюду в городе, но стреляли преимущественно холостыми выстрелами. Никто не верил в очень крупные события, хотя забастовка разрасталась. Не было организации, все было не подготовлено, случайно, на почве хлебного кризиса.

---

[45] Печатается в том виде, как записано Сергеем Петровичем кратко, наспех, карандашом на листочках маленького блокнота.

26-го. Утром на Невском попили кофе. Толпа на панели. Масса войск во дворах с офицерами. Говорят, много переряженных в войсковые одежды полицейских. На Невском отряды конных драгун. К вечеру стрельба. Начало перехода войск. Телеграмма Родзянко, что опасность братоубийственной войны, «да не падет вина на венценосца»[46].

На Невском, по-видимому, сильное столкновение. Ночью на Невский не пустили, освещая рефлектором; пришлось идти через Литейный. Встречали большие патрули, войска у костров.

27-го. Утром на Невском приблизительно такая же картина. Шли пешком на Петербургскую сторону — ни одного извозчика. Только ломовики с публикой. На мостах не пропускали и требовали паспорта. На Литейном в этот момент происходил разгром Арсенала, убийство начальника, а равно и начальников двух артиллерийских заводов. Бой на Выборгской стороне. Перед Государственной Думой. Вторая телеграмма Родзянко — династия в опасности. Временный Комитет и Совет Раб. Депутатов по 1 на 1000 рабочих и по 1 солдату на каждую роту.

Положение становится грозным. Телефон работает безостановочно. К вечеру частично прекращается...

С 11 часов известия о полном восстании, о присоединении все новых и новых частей войск; о сражении между *старыми* и молодыми солдатами, о разгроме тюрем, освобождении арестованных, об освобождении заарестованных военных частей, не захотевших стрелять. Их освобождение, обезоружение офицеров, убийство некоторых командиров и т. д. Ночью канонада — даже пушки. Не пошли с квартиры Каррика, так как кругом шла стрельба — кое-где раздавались взрывы криков: ура! Дошли до

[46] Печатается в том виде, как записано Сергеем Петровичем кратко, наспех, карандашей на листочках маленького блокнота.

Невы, встретили солдат, сказавших, что восстал гвардейский экипаж, что полиция на Невском стреляет из пулеметов с крыш домов.

28-го. В 9 час. к Каррику, где ночевали, вбегает взволнованный Зайцев (П. И.), сообщающий, что идет братанье войск с народом: от умилительной картины публика плачет. Сейчас присоединился к восстанию на Васильевском Острове Финляндский полк, который долго отбивался. Все офицеры положили оружие, кроме одного капитана... Полковник и батальонный убиты...

Вышли на улицу. Толпа и солдаты, которые салютуют выстрелами. Идут автомобили, наполненные вооруженными солдатами и рабочими с красными флагами, которые встречаются криками ура! Дальше число автомобилей увеличивается — десятки легковых, грузовых, бронированных. Объезжают круг по Невскому в стороне. На льду солдаты, которые опровергают слух, что идет какое-то пьянство[47]. У Исаакия стрельба — берут Асторию, которая отстреливается. Ура! — взяли. У Адмиралтейства любопытная картина, 3 моряка ведут 3-х офицеров без оружия, один, очевидно, раненый. Подводят их к Адмиралтейству и обращаются к встретившемуся своему полковнику, куда бы их поместить. Полковник «не знаю, у нас много места, спроси тех, кто теперь завладел». Солдат — «Да я хочу все устроить по лучшему, чтобы их благородиям было бы получше». Полковник отказывается пойти указывать помещение. В заключение все: офицеры, полковник и восставшие матросы отправляются в Адмиралтейство.

Прошли по Невскому до Знаменской. По Садовой выезжает автомобиль, объявляющий, что за ним идут с музыкой вновь присоединившиеся три полка. Дикий энтузиазм. За-

[47] При взятии Астории.

тем встречаем с музыкой хорошо выстроенную юнкерскую школу. Перед Аничковым дворцом — только один дворник. Какой-то интеллигентный рабочий держит речь толпе: «нам не нужен Николай Романов и вел. князья; когда устроим свою власть, тогда придем сюда — пусть выходят вел. князья».

Масса вооруженных берданками, саблями, но не в большом количестве. Иногда с чердаков раздаются выстрелы, сейчас же начинается расстрел и обыск. Тут легко могут быть недоразумения, начинают палить во все стороны, а в публике начинается паника. Но раненых я видел только двух, видел убитых двух лошадей. На улицах показались невооруженные офицеры, даже генерал. На автомобилях вместе с рабочими и солдатами изредка офицеры...

Хаос на Знаменской площади. Горит вокзал. Накануне сожгли весь участок Александро-Невский. Горит, как фитиль, верхушка сброшена. Провозят арестованного полковника в санях, окруженных конными солдатами. Ведут двух жандармских офицеров, железнодорожных и говорят, что поймали при поджигании вокзала·. Правда ли? Лица бледные — так и думал, что толпа их растерзает. Их охраняют солдаты и проводят. Вдруг начинается стрельба из пулеметов. Все бегут, площадь пустеет, и мы заходим во двор. Говорят, стреляют полицейские из соседнего дома. Выступают солдаты, обстреливают дом — мне там виделись и женщины. Но стрельба действительно идет планомерная (как выяснилось затем с крыши гостиницы Савойя). Отвечают все в разные стороны.

Не удалось подойти к вокзалу, обошли с Лиговки. Вход в ворота свободный. Касса заперта, но поезд отходит. Садимся и едем. В вагоне разговоры *очень* разнообразные. В Любани обычная обстановка. В Малой Вишере встречаем какой-то воинский поезд — они разграбили лавки; буфетчик все убрал. Чая даже не было. Пахнет петербургским духом.

В Петербурге нет ни полиции, ни священников.

Солдаты говорят — вы, рабочие, становитесь на работу, а мы сделаем.

Первый день русской революции прошел спокойно. А что будет дальше?

Москва

27-го. Редакторы были у Мразовского. Мануйлов говорил, что революция делается мальчишками.

Удаление Якушкина из «Р. В.» за то, что пришли солдаты и захватили типографию для печатания бюллетеня...[48]

[48] По-видимому, приводились войска извне, — они или уходили или сдавались.

Часть третья
Воспоминания весна и лето 1918 года

Я должен был бы начать свои воспоминания с осени 1918 года — с того момента, когда среди немногих народных социалистов, вошедших в центральную группировку «Союза Возрождения», я единственный из президиума ЦК партии остался в Москве. В. А. Мякотин уже охарактеризовал в печати ту обстановку, в которой складывалась наша политическая позиция весной и летом 1918 года. Для получения подлинной картины того, что было, необходимо дополнить очерки Мякотина, но я почти не могу этого сделать, оставаясь в рамках воспоминаний. Трудно отрешиться от того, что знаешь теперь и не ввести коррективы в искажения, подчас попавшие в мемуарные тексты других. Почти невозможно отделить то, что воспроизводит память от того, что почерпнуто уже в историческом изыскании. Но тем не менее я должен отметить некоторые черты, характеризующие первую половину 1918 года, когда складывалась та позиция, которую неуклонно занимали мы, оставшиеся в Москве.

Когда мысленно обращаешься к этому безотрадному прошлому жизни в России под тяжелым гнетом советской власти, каким-то убийственным прозябанием представляется отрезок времени с осени 1918 года до выезда осенью 1922 г. Из этих четырех лет лично для меня полтора года в общей сложности пришлось на тюремное заключение в подлинном смысле этого слова. Но все-таки первый год — был годом не только надежд, но и уверенности, что пути России будут иными, чем те, по которым она пошла в итоге длительной гражданской войны. Я не мог не участвовать в ней, ибо всей душой был в лагере тех...

Записки «внутреннего эмигранта» (1918–1921 гг.)

Бухарин ли в Советской России или Кускова и Пешехонов в эмиграции стали называть «внутренний эмигрант», но термин этот довольно верно определяет настроения некоторых общественных кругов после октябрьского переворота — никакого политического соглашения с партией большевиков, никакого участия в административной власти. Когда неизбежно окончился героический период организованного саботажа широких слоев служилой интеллигенции, для нашей политической группы вопрос разрешался просто — мы считали, что никто из наших членов не должен был занимать ответственных постов. Мы оставались на положении непримиримых врагов советской власти. Ригористичность в этом отношении приводила к известным осложнениям. Едва ли не самое значительное стояло в связи с брест-литовскими переговорами.

Это был момент, когда небольшая наша политическая группа — тр.-нар.-соц. [49] партия, отличавшаяся спаянностью, могла расколоться. Немцы, не признавшие формулы Троцкого — ни мир, ни война, — наступали на Петербург, в советских рядах было смятение. Левые с.-р. и часть коммунистов говорили о революционной борьбе с германским империализмом. Власть склонна была делать авансы офицерскому составу и звать в ряды зарождающейся красной армии во имя выполнения своего патриотического долга. (Соответствующие воззвания появились, например, на улицах Москвы.) Это оказывало свое влияние. В ЦК нашей партии, находившемся еще в Петербурге, был поднят вопрос по инициативе едва ли не Станкевича о

[49] Трудовая народно-социалистическая.

возможности согласованной работы с большевиками для противодействия немцам. 10 февраля я был в Петербурге, когда поставлен был этот вопрос. И у них получилось коренное расхождение, показывающее, что в партии не произошло органического слияния между двумя группами, объединившимися в июне 1917 г. — трудовиками и народными социалистами. Это психологическое расхождение замечалось и раньше и сказывалось у трудовиков в стремлении приблизиться к тактике левых групп революционной демократии. Я лично склонен был объяснять это тем, что большинство трудовиков объявило себя социалистами только в мартовские дни революции и, как неофиты, были очень чувствительны к скептическим замечаниям о сомнительном социализме народных социалистов.

Так и в февральские дни патриотизм облекался до известной степени в левую тогу. Точки зрения в февральском заседании резко разделились по признаку именно двух групп. Народные социалисты, говоря о необходимости призвать население к борьбе, не допускали никакого совместного действия с большевиками, трудовики за исключением Н. В. Чайковского и В. В. Водовозова требовали компромисса. Положение было очень острое. В ЦК все же прошла незначительным большинством резолюция н.-с. части. Я уехал в Москву. На другой день происходило совместное заседание Ц. Комитета и петербургского. Неожиданно точка зрения трудовиков одержала верх. Мякотин, Пешехонов и др. заявили о своем выходе. Выход лидеров фактически означал развал партии — слишком велика была общая солидарность и авторитет руководителей партии. Опять было собрание, и вопрос вновь был перерешен в смысле эн-эсовском. Расхождение могло бы углубиться, но жизнь тут же дала наглядную иллюстрацию. Станкевич, человек по своей экспансивности неуравновешенный, в качестве бывшего верховного комиссара,

вопреки постановлению ЦК предложил свои услуги Крыленко и был арестован. Станкевичу пришлось уйти из ЦК — тем дело и ограничилось. Я привожу этот пример как иллюстрацию к тому расхождению, которое стало проявляться в кругах интеллигенции и очень понижало тонус борьбы с большевиками. Если первоначально к большевикам пошла, по выражению Бухарина, «худшая интеллигенция», то теперь стали появляться группы, идеологически обосновывающие необходимость зарывать рвы, вырытые октябрьским переворотом, и водительство в этих группах принадлежало видным кооператорам, и как бы официозом их в Москве, где стала с конца февраля с переходом правительства концентрироваться руководящая общественная жизнь, явилась кусковская «Власть Народа», подходившая в сущности к точке зрения официального меньшевизма. Таких, шедших в «Каноссу», становилось больше. Я употребляю термин того времени. Это, конечно, не была Каносса принципиальная, это была та тактика, которая впоследствии поддерживала инициативу Горького, взявшего на себя неудачную миссию примирения интеллигенции с большевиками. Я помню свой разговор с Хижняковым, вернувшимся из Украины, который обуславливал необходимость работы с большевиками в кооперации соображением, что Россия гибнет. Это было очень далеко от примирения с большевиками. Мы с этим не соглашались и считали, что со злом надо активно бороться, и что саботаж власти продолжает оставаться сильным тараном против нее. Противоагитация наша имела несомненный успех и противодействовала проповеди зарывания рвов. В Москве кроме д-ра Л. Тарасевича, Диатроптова и нескольких кооператоров, я не мог бы указать ни одного видного народного социалиста, пошедшего работать к большевикам в качестве руководствующего лица. Я не знаю, на чьей стороне была правда в смысле так-

тической верности методов борьбы. Но тогда психологически иной позиции мы занимать не могли.

Проповедь компромисса до бесконечности ослабляла борьбу с большевиками, ибо масса всегда более или менее нейтральна и пассивна. Проповедь политики «малых дел» всегда понижает активность и оправдывает тех, кто стремится идти по линии наименьшего сопротивления. Может быть, нигде большего вреда не принесла эта проповедь, как в военной среде, которая неизбежно должна была играть наибольшую роль в активной борьбе с большевиками, и обезвредить которую было в интересах большевиков. Эта проповедь удерживала пассивную массу от самотека в добровольческие организации.

Надо сказать, что в нашей среде, в среде левых, стоявших на непримиримой точке зрения в отношении большевиков и проповедующих активную борьбу с ними, в первые месяцы не было конкретного плана. От Учредительного Собрания оставалась большая оскомина. Вовсе не потому, что люди будто бы не проявили достаточно героизма и не сумели красиво умереть во имя проблематичного будущего. Я не думаю и не думал тогда, что правовая жертва могла бы пробудить чью-либо совесть и вызвать бурное движение против большевиков. Еще задолго до созыва У. С. поблекли все надежды на него. Слишком ясно было всем, что большевики, оказавшиеся в меньшинстве, его разгонят. И следовательно, вопрос сводился к тому, чтобы за короткий срок, оставшийся до созыва У. С., сорганизовать вокруг него общественное мнение и дать ему вооруженную силу. Это не было утопией. Конечно, состав У. С. не вызывал восторгов, но воспользоваться этим знаменем было необходимо. Едва ли многие в то время были загипнотизированы мыслью, которая родилась позже, что с большевиками народ. Наоборот, господствовало убеждение, что эта эфемерная власть, опирающаяся на

преторианские штыки, может существовать только в силу пассивности населения. Население выйдет из этого состояния, если окажется возможным сорганизовать силу для противодействия большевикам. Где найти эту силу? И здесь всякое организационное начинание упиралось в партийный тупик.

Мне пришлось принять самое близкое участие в деятельности Московского Комитета Защиты У. С., быть одним из редакторов Известий Комитета и т. д. Сколько копий полемических переломил я в бесплодных заседаниях, доказывая, что для защиты всенародного У. С. должны быть призваны все элементы страны, а не только социалистические силы, в соответствии с составом Собрания. Эсеры не пожелали допустить в комитет даже представителей партии народной свободы, члены которой состояли полноправными членами. Учр. Собрания. Этого требовала уже простая логика. Когда же нам удалось в Комитете все же получить в этом отношении маленькое большинство, эсеровская фракция заявила, что она выходит и создает свой Комитет. Получилась бессмыслица для существования Комитета на защиту У.С., где подавляющее большинство принадлежало партии с.-р. Оставалось только примириться без надежды что-либо сделать, участвовать во внешних демонстрациях и ждать бесславного конца. Учредительное Собрание превращалось в партийное дело. Организовать защиту партийного дела было невозможно, ибо силы, фактически могшие организоваться для защиты У.С., были очень далеки от этого партийного дела. Повторялось то, что было в октябрьские дни, и что совершенно обессилило защиту Временного Правительства. В связи с этим и вся тактика У. С. казалась мертворожденной.

По первоначалу думалось, что У. С., хоть и партийное по своему составу, сумеет занять общенародную позицию.

И, казалось, один только вопрос стоял перед нами. Пользуясь своим авторитетом, которого не было у Временного Правительства, У. С. провозгласит новую власть, которую поддержат те вооруженные силы, которые удастся создать. У. С. отложило вопрос о власти (может быть, потому что чувствовало себя в безвоздушном пространстве) и занялось декларированием партийных прокламаций. Они никому в это время не были нужны. И 5 января У. С. умерло в сознании всех решительно, за исключением партии соц.-революционеров. Поэтому столь бесплодны были все последующие собрания, в которых пришлось принимать участие и мне ввиду малочисленности н. с. фракции, олицетворявшейся в Н. В. Чайковском — разговоры о возможности где-либо собрать охвостье У. С. и объявиться. Повторялась та же история, что и с Временным Правительством, которое после 25 октября бесполезно пребывало в подполье, — с той только разницей, что несоциалистическая часть Вр. Пр. пребывала тогда в казематах Петропавловской крепости. Учредительное Собрание перестало быть лозунгом борьбы.

Мысль многих в это время обращалась на периферию, где, казалось, было более здоровое национальное чувство. Там по областям может создаться крепкое государственное начало. Федерация — путь к объединению и спасению России и ликвидации большевицкой авантюры. Для пропаганды этой идеи в Москве по инициативе П. Кропоткина была создана Лига Федерации, председателем которой он был избран. Под редакцией же Кропоткина было предпринято большое коллективное издание, где теория должна была соединиться с практикой, и где должен был быть показан образ федерированной России. Привлечены были крупные литературные силы к изданию, которое должна была выпускать «Задруга», разработан детальный план, распределены статьи. Все это не получило

осуществления, ибо жизнь вскоре разметала и авторов и средства для осуществления этого дела и самую идею отодвинула куда-то на задний план. И все-таки от этих вечеров на квартире Кропоткина (он жил у друзей для уплотнения, спасая одновременно этот дом от реквизиции), где собирались люди в сущности очень разных политических взглядов, осталось радужное впечатление от того времени. Удивительный старик. С рвением юноши выполнял он свою редакторскую работу. Много задушевных разговоров было у нас в то время. И старый анархист всегда говорил, что он ближе всего себя чувствует к позиции народных социалистов. С нашей точки зрения он был государственник в лучшем смысле слова. Терпимый к чужой мысли, он был подлинным врагом большевизма.

Наша работа была пропаганда для будущего. Но настоящее висело дамокловым мечом. Были и в нашей среде голоса, высказывающие убеждение, что ex oriente lux должен прийти с периферии. Так в январе или феврале Л. С. Козловский — верный сын Польши и друг России, один из борцов за нее в рядах народно-социалистической партии, открыто в одной из аудиторий Университета выступал с докладом о юго-восточном союзе, где может быть заложено начало новой русской государственности. Помню себя в числе ему возражавших — удар должен быть в центре. То, что было на Дону, Кубани, было для нас далеко, и сведения наши были ограниченны. Добровольческое движение только зачиналось, общественные контуры его были неясны. Военное предприятие с одиозным именем Корнилова, без определенного общественного лика не рисовало перспектив того объединения, которого казалось необходимым достигнуть для того, чтобы побороть большевизм.

В конце января с Дона приехал Савинков. Он делал доклад в избранной среде в Юридическом Собрании. Он рисовал оптимистические перспективы того национального

движения, которое возглавляется Алексеевым. И, выслушивая традиционные возражения — помогая генералу, не рискуете ли вы помочь реставрации, Савинков отвечал: я хочу спасать Россию, а не демократию. Левая общественность в своем большинстве заранее обособляла себя и ставила реставрационное тавро на движение, которое в данный момент подняло открыто знамя борьбы с большевизмом, одно представляло некоторое организующее начало. Имя Корнилова для революционной демократии было слишком одиозно и поэтому безнадежно было думать о возможности ввести в одно русло различные течения антибольшевицкого движения. В отношении левых кругов скорее результаты достигались иные, подобно тому, как в октябрьские дни миф об угрозе калединской реакции понижал способность борьбы революционной демократии и скорее толкал ее на путь соглашательства и попыток переработки большевизма.

Савинков считал себя связанным с алексеевской организацией и действовал отчасти как бы от ее имени. Впоследствии мемуаристы из добровольческого лагеря изобразили это своего рода самозванством. Мне несколько раз приходилось в это время встречаться и подолгу беседовать с Савинковым. Производило впечатление, что он должен был уехать с Дона, где не пришелся ко двору. Вероятно, здесь играла роль не столько левизна взглядов (Савинков всегда подчеркивал большую демократичность Корнилова), сколько участие Савинкова на ролях петербургского губернатора в подавлении августовского движения. Мне это тоже казалось непонятным после всего того, что Савинков знал о Корниловском движении. И его объяснения никогда не казались убедительными — он должен был отстраниться от активной роли в эти дни. Уехав с Дона, Савинков оставался верным другом добровольческого движения. Здесь в Москве он пытался играть самостоятельную роль. И, вероятно, неудача, которую он

потерпел, заставляла так отгораживаться от него — он отвлекал силы от основного. У Савинкова был вполне реальный план, казалось бы осуществимый в обстановке весны 1918 г., — покончить с большевиками в центре. Если позже многим все эти планы казались утопиями, они квалифицировали их словом «авантюра», то только потому, что совершенно забывалась реальная обстановка нашего бытия в первую половину 1918 года, и большевики представлялись силой, опиравшейся на сочувствие народных масс. В нашем представлении этого не было, и я не думаю, что мы ошибались. Произвола было много, но в сущности власти в центре не было. Поэтому и произвол носил характер бессмысленных эксцессов — в административной сфере приблизительно творилось то, что делалось на улицах. Это была анархия, и удивительно, что эта анархия нас не захлестнула. На мой взгляд, здесь можно найти яркое свидетельство тому, как преувеличенно представление о разбушевавшейся стихии, охватившей Россию. Так легенда создавала всевозможных прыгунов в белых саванах, нападавших и грабивших прохожих, предпочитавших поэтому по вечерам ходить группами по улицам неосвещаемой Москвы. Были ли по вечерам ходить группами по улицам неосвещаемой Москвы. Были ли ни разу не пришлось столкнуться с каким-либо уличным осложнением и испытать какую-либо опасность. По-старому по средам собирались наши знакомые и друзья, и я знаю один только случай, когда с Анисимова сняли часы. Да И. П. Алексинский рассказывал, как на него напали на Зубовском бульваре двое хулиганов, и как он, по-хирургически схватив одного за позвоночник, а у другого, нажав какие-то косточки на локте, повлек их в комиссариат, и как они взмолились их отпустить...

Память не зафиксировала ничего трагического в эти первые месяцы властвования большевиков. Эта власть грабила население. Может быть, с известной системой и идеей.

Что получалось на практике? Примером может служить «Задруга». Как мы существовали? Платили проценты комиссару. Так приблизительно шла вся жизнь. Типография «Задруги» не может быть характерна для определения отношения рабочих к большевицкой власти. Печатники — передовой слой. Специфичность типографии «Задруга» — никогда никаких недоразумений. В революционные дни типография образцово работала. Среди рабочих один был только, если не сочувствующий коммунистам, то явно желающий сделать карьеру. И надо отдать ему справедливость, он все время отдавал самообразованию. Впечатление о настроении рабочих соответствовало прокламациям с. д. оборонцев: активности сопротивления никакой в мае 1918 г.

Не слишком большим преувеличением будет утверждение, что с весны 1918 года Москва была окружена кольцом то там, то здесь вспыхивающих крестьянских волнений. Красная гвардия совершенно разложилась. Солдатские банды в значительной степени распылились. Распылились и матросы. Реально защищать Сов. Нар. Ком. [50] могли или наемные китайцы, или интернациональные группы из военнопленных и латыши, сплоченность и единство которых значительно ослабели. Совершенно естественно, что сами большевики считали себя на волоске и не только в дни Бреста, когда Ленин давал три недели существования, если не будет подписан мир. Совсем не фантастичны записи П. Е. М. о готовности большевиков уйти и передать власть монархии[51].

---

[50] Совет Народных Комиссаров.

[51] Выписки из дневника 18 г. П. Е. М.

1/I. Были несколько дней у А. на даче. Там, на Поповской фабрике постановили, идти просить «Сергея Максимовича (Попова) вернуться и ввести все по-старому», п. ч. нет хлеба, и рабочие и крестьяне очень испугались. Кроме того, там в потребиловке (местный клуб) говорили, что «вся Россия уже решила к старому режиму вернуться, не соглашаются только 2 губернии — Московская и Петербургская» (!?). Были мы у С.,

В таких условиях не требовалось значительных сил для переворота в центре. Действует всегда активное меньшинство, и весь вопрос в том, какой резонанс находит оно в массе. В 1918 году это было скорее всего безразличие, усталость, апатия. Активных элементов, готовых выступить против большевиков, находилось достаточно в военной среде. Совершенно произвольно и подчас самостоятельно возникали военные организации, и их было немало к весне 1918 года. Формально не объединенные, персонально они нередко переплетались между собой. Это была сторона положительная и одновременно отрицательная. Положительная в том смысле, что при таком составе легче было достигнуть объединения. Но эта слитность могла иметь чреватые последствия в силу создавшихся своеобразных политических условий. Совершенно неизбежно все эти группы искали как бы политического руководства и прилеплялись к тем или иным группам в зависимости от слу-

---

она рассказывала, что видела Толстую — бабушку Вырубовой, и та ей говорила, что у нее была мать Вырубовой — Танеева и была весела, как никогда. О Вырубовой же С. слышала следующую версию: когда Колонтай и Ленин изверились в социалистической революции, Колонтай решила отыскать Вырубову, явилась к ней, и они вдвоем составили план возведения на престол Алексея при регентстве Леопольда Баварского и в. кн. Павла Александровича.

31/I. С. П-чу говорили (через К-ва), что большевики 2 часа уговаривали в. кн. Михаила Ал. принять корону, — он отказался, потому что не на что опереться — армии нет, а на немцев он не хочет.

15/II. К.-д. еще не кончили обсуждать вопрос о монархии — на сегодня 7 ораторов. Симеон встретил жандармского офицера с Александровского вокзала в штатском, — очень весел и говорит, что через 5 дней они наденут форму, и что все время получали жалованье и прибавки на дороговизну от Вр. Прав.

18/II. С. П. думает, что большевики в переговорах с монархистами и октябристами и дадут им захватить власть — им нет выхода. Это, очевидно, из слов Левенсона, большевика присяжного повер., бывшего у Симеона: он говорит, что дольше двух недель они не продержатся, так как у них полный развал.

чая или от своих личных связей. В рядовой офицерской массе не было политического водораздела — был лишь принцип борьбы с большевиками[52]. Одна из больших организаций, возглавлявшаяся Ткаченко, с которой позже мне пришлось иметь дело, была сцеплена с с-рами в своих верхах — и в то же время с правыми политическими группами. Аналогичное было и с латышской офицерской группой, легшей в основу савинковской организации.

Такое положение, возможно, получилось в силу того, что организации после октябрьского переворота начали создаваться в связи с идеей защиты У. С., а после неудачи и разочарования мысль шла по другому пути.

В январе инициативу проявили те слои, которые почти отсутствовали в дни захвата власти большевиками. Из кругов московских «общественных деятелей» вышла попытка военной организации для захвата власти. Уже в январе образовался тот правый центр с его секретной девяткой, около которого сорганизовались монархически настроенные элементы, монархисты ка-де[53]. Связанные

---

[52] 26/II. Ив. П. Алексинский говорит, что взрыв в Офицерском Общ-ве был не от анархистов, а что там помещался штаб Рузского; явились его арестовать. Чтобы спастись, они бросили бомбу и среди паники скрылись; арестовали одного офицера.

[53] 6/III. Кривошеин субсидирует девятку (Леонтьев и др.) из немецких денег, ибо Кривошеин связан с немецким банком. Общая ориентация крупной буржуазии немецкая. Игорь Кистяковский играет двойную роль: он немецкой ориентации, получает немецкие деньги и в то же время поддерживает союзническую организацию.

Везде и всюду немцы. Кремль охраняется военнопленными, а между тем, туда свезена масса вооружения. — Они переряжены русскими солдатами. Ростов-на-Дону взят изнутри, также будет и Москва — тут 6 800 штыков и 6 броневиков у большевиков и 30 000 штыков и 18 броневиков у немцев.

8/III. Через Кривошеина они (немцы) связаны и с к.-д., а через старую охранку с монархистами. Они через монархистов входили с предложением к Адрианову быть во главе Москвы. (9/III. Адрианов внезапно

с торгово-промышленными кругами, они располагали известными денежными средствами и следовательно могли более широко повести организованную работу, создав даже военный штаб в целях объединить и руководить разрозненными военными организациями. У правого центра были шансы тем более, что им намечен был популярный, авторитетный для военной среды ген. Брусилов, может быть, и не принимавший непосредственного участия в организации, не оправившись еще после октябрьского ранения. Но внутри организации, формально возглавляемой ген. Довгертом, не делалось из этого секрета — по крайней мере я это имя знал уже тогда. В силу указанных выше персональных связей, которые устанавливались в различных военных организациях, я был осведомлен до некоторой степени о внутренней жизни этих организаций. Не только Савинков, у которого установились некоторые связи с девяткой, — у меня был и другой источник информации в лице инж. Жилинского, возглавлявшего одну из военных организаций. В своей книге об октябрьском перевороте я рассказал о роли Жилинского в октябрьские дни в Москве. Человек огромной и кипучей инициативы, изумительной решимости и смелости — человек не без склонности к авантюризму, как это всегда бывает у людей такого типа, он принадлежал в свое время к боевой с.-р. организации.

Жилинский создал свою военную организацию; он, конечно, преувеличивал и свои силы и свои связи, и, может быть, в его рассказах, отчасти записанных в дневнике

скончался от разрыва сердца. За несколько дней до смерти он был с Жилинским на заседании по вопросу о борьбе с немцами).

Немецкий генерал уже в Москве с 5-ью батальонами ударников из Минска. Оружия у них очень много, больше, чем у большевиков. Большевицкие вожди едут в Нижний-Новгород. Немцы хотят захватить власть через монархистов. (Дн. П. Е. М.).

П. Е. М.[54], следует сбавить кое-что. Но последующее подтвердило подлинность многих его сообщений, и его связи с Савинковым, и связи с монархистами, — проникновение в разведку не то немецкую, не то немецко-большевицкую. Через него я получал секретные апокрифические документы, подлинность которых впоследствии уже не оспаривалась, и о которых скажу потом.

Уже тогда было ясно, что правый центр совершенно бессилен объединить нужные военные силы. И суть была не в политической стороне, а в психологической. С самого начала правый центр ориентировался на немцев[55]. Эта тенденция довольно определенно выражалась задолго до приезда Мирбаха, до переговоров, которые повели представители этого центра с немецкими представителями. Практическая целесообразность была ясна. Немцы могли

---

[54] 26/II. К Жилинскому на днях явился немецкий офицер Ш., который прямо заговорил по-немецки. Он сказал, что у них есть контр-разведка, как и у Жилинского, что по сведениям своей контр-разведки Жилинский знает, что у них 28 тысяч вооруженных военнопленных, но фактически больше и предлагал войти в контакт и действовать сообща для свержения большевиков. Жилинский заявил, что не желает разговаривать, но тот, не унывая, оставил ему адрес своего штаба (так и сказал) на углу Поварской и Скарятинского пер. и просил подумать.

[55] 22/II. Говорят, что в Псков к немцам ездили монархисты для обсуждения восстановления монархии. Германия хочет ввести неограниченную монархию. Говорил Титов, что многие прежние сановники приглашены в Петербург немцами.

6/III. Странности некоторые есть: Волк-Карачевский встретил на Арбатской площади человека, державшего в руках солдатскую форму и по-немецки спрашивавшего у окружавших, как пройти в манеж, но никто не понимал; Волк заговорил по-немецки и предложил пойти вместе, т. к. он туда же идет; дорогой разговорились, и тот, очевидно, из благодарности сказал: «Да вы не беспокойтесь, нас много, и мы 17-го все устроим — будет порядок; мы тут стоим в манеже», и указал верно адрес своего штаба на Поварской (Дн. П. Е. М. О Жилинском и о немцах, см. вып. I «Приложение»).

покончить с большевиками в два счета, а после Брестского мира стало ясно, что вопреки немцам и нельзя свергнуть большевиков. Правые хотели убедить немцев, что им выгодно свергнуть большевиков. Какой ценой будет достигнуто это свержение? Казалось, хуже большевиков быть ничего не может. Эта психология находила поддержку в обывательских кругах, но оказывалось решительное отталкивание в рядах политических. Я помню только один голос, раздавшийся в рядах нашей группы, это мнение П. П. Лидова, что приход немцев установит порядок — голос, подавленный общим протестом. Эта психология примирения с немцами была неприемлема для подавляющего большинства военных. Слишком неприемлемо было чувство сепаратного мира, обостренное национальное чувство от столь позорного конца по вине только большевицкой демагогии. Мало того, в сознании так определенно стояла дилемма единства немецко-большевицкой проблемы. Немецкая ориентация не могла объединить людей для борьбы с большевицкой властью.

Таким образом проходил второй психологический раздел русской общественности, не менее глубокий, чем первый, т. е. отрицавший идею вооруженного свержения большевицкой власти. И он углублялся по мере того, как после Бреста немцы в Москве превращались в направляющих политику большевиков, и мы все склонны были рассматривать гр. Мирбаха, как дающего директивы. Если на первых порах получалось вопиющее противоречие, когда головка стала определенно делать ставку на немцев, а Кистяковский, посредничествующий[56] между девяткой и

[56] 10/III. По сведениям Астрова немцы отложили захват на 2 недели, т. е. до будущего воскресения. По сведениям Титова они переменили план и решили, отрезав юг, заставить голодом народ свергнуть здесь большевиков. Все это скоро выяснится. По словам Жилинского к нему являлись монархисты и предлагали выступить вместе, а их, мол, под-

военным штабом правого центра, вербовал офицеров для отправки к Алексееву, столь же определенно занимавшему враждебную немцам позицию, то позднее, когда немцы заняли резко враждебную позицию к добровольческой армии, немецкая ориентация некоторых общественных кругов, поскольку дело шло об организации противобольшевицких сил, становилась почти провокацией, уже опасной при наличии своей немецкой разведки, частично во всяком случае связанной с большевиками.

Я должен отметить, потому что литература сделала ссылку на меня, что у меня нет никаких определенных данных для доказательства, что немцы предали большевикам военные организации союзнического толка, пользуясь своими связями с русскими общественными кругами. Но такие факты, как увидим ниже, могли быть, и это удручающе должно было действовать на концентрирующиеся военные силы. Могу иллюстрировать индивидуальным трагическим случаем, который, может быть, косвенно произошел, к великому моему горю, отчасти по моей вине с человеком довольно мне близким по работе в «Задруге». Я считал нужным предупреждать военную молодежь, с которой приходилось встречаться, об опасности, которую представляли тогдашние военные организации,

---

держат немцы. Алексеев, не ведая того, работал на немецкие деньги, а немцы, давая одной рукой, другой разрушали его организацию, чтобы, стянув, погубить все способные к сопротивлению силы. Это шло под видом банковской субсидии через Б. Кистяковского.

4/IV. Сегодня в Москву приехал Мирбах — немецкий посол, по приказу которого в прошлую пятницу ликвидировали анархистов.

13/IV. Перед Мирбахом многие снимают шапки. Говорят, что максималисты постановили убить его.

23/IV. Е. А. Н. рассказывает очень много интересного про Киев. Сейчас там царят немцы. Эйхгорн издает приказы, не считаясь с радой, улицы называются по-украински и по-немецки. Фактически они хозяева, они и на выезд дают разрешение. (Дн. П. Е. М.).

и с какой осторожностью приходится к ним относиться. Я не могу сейчас, вспомнить, какую конкретную иллюстрацию я привел, но случайно она попала прямо в цель. В интимной беседе мне было раскрыто участие в одной из ячеек, подведомственных ген. Дренеру (заместителю Довгерта). И мой собеседник, молодой пылкий человек — страстный враг немцев — вскоре застрелился. Время было нервное, люди были издерганы. Может быть, этот конец — так хочется думать — и не стоял в связи с раскрывавшимися перспективами.

Такова была обстановка, которая заставляла задумываться даже тех, которые считали по существу возможным и выполнимым внутренний переворот в Москве. Было еще одно слагаемое, которое возможное превращало в невозможное, т. е. делало переворот авантюрой, моральную ответственность за которую брать было нельзя. Риск мог оказаться впустую. Это слагаемое были реальные немцы в Москве, заставившие и Савинкова отказаться от организации выступления в Москве. Савинков, быть может, являлся наиболее подходящим лицом, которое могло бы вокруг себя объединить военные организации. Демократ и социалист, ставящий патриотические и государственные цели на первом плане, волевой человек без интеллигентских предрассудков, опытный конспиратор, привычный к авантюрам и приключениям в жизни. К сожалению, его политический авторитет не был высок в обоих лагерях — и в правом и в левом. В правом он был опасным демократом, которому не верили, в левом боялись его авторитарности и его «авантюризма». Поэтому «артисту авантюры» Савинкову приходилось идти самостоятельным путем. Ему удалось в конце концов создать наиболее мощную военную организацию, которая, вероятно, могла бы при известных условиях не без успеха выступить в центре, тем более, что в нее входили популярные среди латышских стрелков командиры; свои

силы исчисляла она в 3.000 человек, а силы большевиков в 600 человек. Но ее останавливало скопление в Москве немецких военнопленных, их насчитывалось, может быть и преувеличенно, более 30 тысяч — сила, которая могла быть брошена против них. Может быть, среди немцев и были интернациональные батальоны, о которых говорили большевики, и на которые они могли рассчитывать. Но подавляющее большинство это были просто немцы солдаты, которыми гораздо больше могло распоряжаться немецкое представительство. На улицах Москвы они появлялись со своими офицерами, обряженные в русскую форму, как это систематически отмечает дневник. Весной 1918 года нам казалось, что Москва всецело в руках немцев[57].

Эта слитность немецко-большевицкой дилеммы являлась решающим моментом, который определял стимулы нашего поведения. Может быть, это единство мы слишком преувеличивали, не учитывая те острые разногласия, которые происходили у большевиков, и которыми надо было и можно было воспользоваться для создания атмосферы продолжения войны. Впрочем, эта идея многим казалась утопичной. После пережитого развала на что можно было рассчитывать?

Когда я во французском консульстве передавал по поручению товарищей наше заявление о непризнании нами брестского мира, Гренар меня спросил: что это пустая бумажка или учет реальных сил. Я ему ответил исторической справкой: национальное чувство может пробудиться тогда,

---

[57] 29/IV. Третьего дня закрыты «Нар. Сл.», «Родина», «Вперед» и «Земля и Воля» — закрыты за помещение ультиматума Мирбаха о концентрации в Москве пленных, о разоружении латышских стрелков и об улучшении положения царской семьи, т. к. Александру Феодоровну он берет под свое покровительство.

Вчера якобы к Мирбаху явилась депутация черносотенцев с просьбой «не томить и поскорее покончить», говорил В. Оболенский (Дн. П. Е. М.).

когда враг появляется в центре России. И по мере проникновения немцев национальное чувство будет расти. Утопично было думать о возможности создать свою реальную силу для противодействия немецкому штыку, но свои силы мы можем объединить с попытками союзников или вернее идеей воссоздать восточный фронт. Мы достаточно были знакомы с теми переговорами, которые велись представителями союзников с большевиками и довольно безошибочно предсказывали их итог фантастических возможностей восстановления восточного фронта по соглашению с большевиками. Совершенно ясно было, что победит Ленин.

Русская общественность, раздробленная, оказалась бессильной выступить с единым протестом против похабного мира и призвать к борьбе с ним. Такой призыв мог бы иметь огромное значение — прежде всего, как воздействие на аморфную массу офицерства, незначительное меньшинство которого активно по собственной инициативе ввязывалось в борьбу с большевиками. В такой атмосфере выковывался план сотрудничества союзников с русскими общественными силами для продолжения борьбы с немцами и воссоздания русской антибольшевицкой государственности[58]. Две задачи стояли на очереди — надо было договориться с союзниками, дабы интервенция не носила характера оккупации и убедить их в бессмысленности все продолжать разговоры с большевиками. А для договора с союзниками надо было создать какой-то единый общественный фронт — сцепить левых с правыми. В воспоминаниях Мякотина рассказаны те трудности, с которыми

---

[58] 26/II. Наше заседание Ц. Ком. высказалось вчера определенно против вступления союзных войск в Россию без согласия России, считая это вступление (Япония) оккупацией. Только Чайковский у нас настаивал на опоре для Учредительного Собр. на Японию (тыл из них), но все против. (Дн. П. Е. М.).

проходило это сцепление, как в отношении союзников, так и русских общественных группировок. (Собрание с соц.-демократами. Препятствие в Учр. Собрании. Излишняя конспирация.) В конце концов некоторая договоренность была установлена, и было выработано подобие единого плана действий между представителями союзников и двумя объединенными группировками: Союзом Возрождения и Национальным Центром, выделившимся из Правого Центра в силу слишком определенного курса на немцев в последнем. Московские представители союзников, среди которых руководящую роль играл Гренар, склонялись к конструкции, выработанной Союзом Возрождения. И это, конечно, повлияло на уступчивость Нац. Центра, отказавшегося от идеи личной диктатуры. Соглашение с союзниками было зафиксировано той вербальной нотой, которая была сделана в июне от имени Гренара Союзу Возрождения. Она была вручена одним из представителей французской миссии на квартире Титова. Утопия могла претвориться в дело, но к сожалению договоренное носило довольно призрачный характер — то, что мы принимали за договоренность, являлось лишь благожелательным отношением. То, что мы хорошо знаем теперь по документам, совершенно неясно было весной 1918 года. Мы были уверены, что последует более или менее мощный десант, около которого могут сгрудиться русские силы; мы были уверены, что выступление чехов является как бы выполнением выработанного плана. В действительности было нечто колеблющееся, неопределенное, двойственное и противоречивое. Московский договор отнюдь даже не признавался таковым. Савинков послал в Вологду, информируя по-своему свое правительство. Как-то курьезно вспоминать теперь свои «споры» с проф. Мазоном. Я не принимал непосредственного участия в переговорах своих товарищей с миссиями, судил больше по их уверениям. Позже в августе участвовал с

Гренаром — это было заговорщическое собрание, в котором на равных правах участвовал Гренар. Осторожный Мазон подчеркивал, что вопрос решен, но нельзя обольщаться, что десант произойдет скоро и т. д. Мне казалась бессмысленной такая тактика, я не допускал ее возможности и старался «убедить» Мазона в противоположном.

Если неопределенность общесоюзной политики мешала созданию восточного фронта в широком масштабе, то расплывчатая политика на месте препятствовала более узкой задаче подготовки русских сил. Здесь союзников меньше можно обвинять. Разбросанность русской общественности заставляла их делать ставки на разные стороны, и сама русская общественность их провоцировала идти по этому пути. Но все-таки недоговоренность у них была удивительная. Каждая из миссий стремилась самостоятельно делать что-то на русской почве и подчас пускаться в самостоятельные авантюры, к которым были склонны военные миссии. Эти военные рассуждали довольно элементарно: все, что делаешь в тылу врага, занявшего западную и юго-западную Россию, — на пользу союзникам. Отсюда и собственные авантюры, которые подчас больше били общее дело и разрушали то, о чем договаривались политики, разрушали его и авантюры, на которые они подбивали русские организации.

Единый фронт русской общественности был, конечно, очень относителен. Это были лишь зачатки и в силу этого уже недостаточно авторитетные в глазах тех, кто поднимал знамя борьбы. Некоторое единство дипломатических переговоров было достигнуто только у Союза Возрождения и Национального Центра. Но их авторитет не склонны были признавать даже те, кто являлся их союзниками. Прежде всего появившиеся в Москве представители Добровольческой Армии. Может быть, естественно, что они не пытались завязать связи с левым Союзом Возрождения, но у них

были связи с Национальным Центром — не только персональные, но и общественные. И тем не менее они желали иметь непосредственно отношения с представителями союзников и убеждали последних иметь дело и давать деньги, минуя московские организации. Не знаю, достигли ли они чего-либо, но общий фронт они разбивали (как видно из воспоминаний Казановича, он делал это по собственной инициативе).

Самостоятельно хотел действовать и Савинков, не сливаясь и не подчиняясь образовавшимся политическим центрам, но имея с ними связи. Он был главным образом связан с военными миссиями. Клином врезалась и работа ЦК (эсер), который в своем большинстве не сочувствовал организации Союза Возрождения и хотел идею восточного фронта провести под знаменем Учредительного Собрания. В действительности это означало партийный флаг и шло вразрез с общей работой. Впоследствии ЦК партии решительно отгораживался от связи с интервенционным планом союзников и от непосредственных сношений с союзными миссиями. Я могу утверждать только то, что Гренар определенно говорил мне о своих связях с ЦК партии, что ему был передан меморандум Чернова в связи, очевидно, с решениями 8-го Совета партии. Впоследствии, осенью, когда мне пришлось вести недолго совместную работу с с.-р. — о чем ниже — у меня не было никакого сомнения в некоторых связях военной комиссии партии с.-р. с военными союзническими миссиями.

Ставя вопрос о возобновлении борьбы с немцами, естественно ставили вопрос и о денежных средствах. От них зависел в значительной степени успех начинания. Нужны были деньги, чтобы содержать военные организации, подготавливающие кадры, нужны были деньги на отправку людей на создающиеся фронты. Если Нац. Центр мог рассчитывать на получение некоторых денег с буржуазии,

то Союз Возр. мог рассчитывать на кооперативные организации. Эти свои деньги, вероятно, могли бы быть значительны, если бы установилось большее единство. Нац. Центр имел конкурента в Правом Центре, Союз Возр. — в партии с.-р. Чайковскому удалось собрать через Л. Б. и Цен. несколько сот тысяч. Конечно, главные деньги должны были дать союзники. Но и в этой области позиция союзников была весьма неопределенна и двойственна. В миссиях были деньги, но они расходовались без всякого плана, по принципу ставить ставку на все лунки.

И это становилось совершенно бессмысленно, когда жизнь создала восточный фронт прежде, чем в центрах было принято окончательное решение, и когда теория сговора стала переходить в дело.

С выступлением чехов и движением в Сибирь восточный фронт стал реальностью, и следовательно план приходилось осуществлять с наличностью тех сил, которые имелись. Союзники материально поддерживали партию с.-р., Союз Воз., Нац. Ц., Савинкова, Добр. Армию — каждый самостоятельно получал свое — и тем самым способствовали распылению сил. Между тем, при договоренности и объединении материальные силы союзников могли бы содействовать сплочению внутренних сил. Это было бы вмешательство во внутренние дела. Нет, то была бы лишь концентрация сил. Деникин в своих исторических воспоминаниях очень неодобрительно отнесся к такому распылению. Но он рассматривает вопрос лишь с точки зрения интересов Добров. Армии, которая является для него центром. В то время она могла быть лишь одним из слагаемых, ибо в силу окружающих условий не могла быть центром противогерманской борьбы. Деникин говорит о миллионах, полученных общественными организациями Москвы от союзников и истраченных на организацию филиала, своих военных организаций, контрразведки и пр.

«Миллионы» были весьма относительны. Союз Возрождения получил, вероятно, один миллион с небольшим. По словам Федорова, приблизительно такая же сумма получена была Нац. Центром. Савинков говорит о двух с половиной миллионах, полученных от союзников. Гренар говорил мне, что им передано было с.-р. несколько миллионов. Я думаю, что Гренар все объединил в одно. В сущности, все это были гроши для того начинания, которое предполагалось осуществить.

В июне я принял близкое участие в организационной работе Союза Возр.[59] Союз Возрождения сам никаких военных организаций не создавал. Его задача была переправлять силы, главным образом, на восток, отчасти на север, где ожидали десант, и в связи с этим началась организационная работа и требовала расходов (для переговоров приезжал С. Маслов из Вологды). Но С. В. отправлял и на юг тех, которые желали ехать в Добров. Армию. Это была одна из главных функций военной комиссии — проконтролировать лицо, снабдить деньгами, добыть документы, дать связь. Контроль не только с точки зрения

---

[59] 7/VII. С мая не писала ничего, живя под вечной угрозой обыска, особенно теперь, когда С. П. вошел в Центр Союза Возрожд. и взял на себя определенное дело. И так-то немцы наступают — Орша взята совсем, идут к Смоленску, который якобы эвакуируется — это ответ на убийство Мирбаха, по поводу которого Совету был предъявлен ультиматум — ввод отряда в Москву для охраны посольства — официально Ленин при всеобщем одобрении отказал в этом, но вчера через Москву проходили (гов. Симеон) переодетые немцы, якобы к Ярославлю для подавления тамошнего восстания, — там восставшие свергли большевиков, многих расстреляли, и захватили власть. От Москвы подошли с артиллерией, заняли вокзал и стали громить другой берег, где засели восставшие. Бежавшие оттуда говорят, что город пылает и центр разрушен. Мост взорван...

Странно — большевики не берут налогов: на днях принесли от одной фабрики единовременный налог в казначейство, говорят: «не вносите, нам не до этого, не стоит»; они понесли в банк — там то же. (Дн. П. Е. М.).

добросовестности, но и политический — с точки зрения ориентации — это была конспиративная работа. Сам я непосредственно принимал в этом участие недолго. Ген. Болдырев, уезжая на восток, оставил в Москве заместителя полк. ген. шт. Иванова, который и должен был взять на себя посредничество с военными и связь с военной организацией, состоящей при Нац. Центре. В сущности последняя и была в основе той самой организацией, которая создалась при Правом Центре и ушла из-под политического руководства последнего при раскрывшейся немецкой ориентации. Военные организации Правого Центра сошли на нет, чему содействовало несколько провалов, которые обнаруживали немецко-большевицкие связи и следовательно провокационную работу. (Милюков). Против желания Союзу Возрождения все же пришлось обзавестись своей военной организацией.

Дело было так. В редакцию «Народного Слова» ко мне явился некий полк. Ткаченко, которого я несколько знал по первым дням революции, когда он состоял помощником командующего войсками Грузинова. Затем Ткаченко в бытность мою редактором сотрудничал в качестве военного обозревателя во «Власти Народа». Но тогда мы постарались избавиться от него, так как обнаружились какие-то темные его дела до революции.

Ткаченко мне сообщил, что он стоит во главе многочисленной военной организации, создавшейся в дни защиты Уч. Собр. и состоящей при военной комиссии Д.К. партии с.-р. По словам Ткаченко, его организация, примкнувшая к с.-р. в действительности тяготится этой зависимостью и хотела бы встать под иное политическое руководство. Союз Возрождения нигде официально не фигурировал, но всякий наблюдательный человек того времени легко мог догадаться о существовании подобной, если не организации, то позиции, так как в «Народном

Слове» были опубликованы результаты наших переговоров с партийным комитетом. Ясна была позиция «Народного Слова», его призывы — в моей, например, статье за подписью «Борьба до конца» весьма определенно и открыто делались призывы. Я не могу определить в точности, в какое время лета происходил этот разговор — очевидно, в первую половину, когда еще военная комиссия Союза Воз. правильно не функционировала, так как мне пришлось вести разговоры об организации Ткаченко с соц.-рев., не входившими в Союз Возр. Я сказал Ткаченко, что должен поговорить с с.-р. И действительно имел беседу — мне кажется, с Тимофеевым, в течение которой выяснилось, что с.-р. скорее тяготятся этой организацией, явно идущей не в их фарватере. Я предупредил Союз Возр., что личность Ткаченко не возбуждает большого доверия; было решено материально организацию поддержать, проверить и черпать из нее людской элемент для отправки на фронт. Вероятно, около 100 тысяч в месяц на это пришлось ассигновать — для того, чтобы организация не распалась. По опубликованным уже данным, отчасти выяснившимся во время с.-р. процесса, организацию Ткаченко надо признать одной из самых крупных в то время, и во всяком случае это была основная организация с-ров. С Ткаченко еще придется встретиться.

Из сумм, полученных из миссий, Союз Возр. поддерживал отчасти и Савинковскую организацию. На суде Савинков сказал, что его много раз звали в «левый центр», но он уклонился. Едва ли это было так. К Савинкову отношение было, как я указывал, довольно отрицательное. Я не знаю, конечно, какие разговоры вел Савинков со своими бывшими товарищами по партии, и каковы у него были в этом отношении связи. Связь была, например, с Моисеенко, — это несомненно. В нашей среде за Савинкова приходилось вести борьбу. Я лично считал необходимым

привлечь его организационно в общее дело — ввести, так сказать, в центр. Савинков был один из немногих среди нас, способных вести работу. Но его боялись — боялись его «авантюризма». Вероятно, и Савинков не очень склонен был идти на положение подчиненное и предпочитал вести разговоры с политиками и делать свое собственное дело. С его организацией нельзя было не считаться, тем более, что при общем плане надо было всячески избегать сепаратных выступлений, которые могли быть только со стороны Савинковской организации. В силу этого и Титов и я не раз видели Савинкова на его конспиративной квартире. Наши ли убеждения или сознание невозможности выступить в Москве вследствие наличия немецкой силы заставили Савинкова отступить от первоначального плана и в сущности влиться в русло восточного фронта. Савинков стал перебрасывать свою организацию в Казань. Вероятно, этому содействовал и провал в центре штабной квартиры, при котором только случай спас главных деятелей Союза Р. и Св.[60] — Бредиса, Перхурова, Гайнера.

В связи с этим провалом был арестован и член нашей партии, входивший в Союз Р. и Св., Виленкин. Виленкина, конечно, трудно назвать нар.-соц. Входил Виленкин в Союз Р. и С. без нашего официального ведома, но некоторым было известно участие его в военной организации. И был там не один Виленкин. По-видимому, участвовал и погибший вскоре петербургский трудовик Туровский. Участие наших членов отнюдь не могло служить гарантией правильного, на наш взгляд, пути, по которому следовал Савинков. Поэтому-то мы и пытались вступить в контакт с самим Савинковым. Материальная поддержка служила средством для такого контакта и особенно в первое время, когда организация нуждалась в этой поддержке, и когда

[60] Союз «Родина и Свобода», основанный Савинковым.

сумма, полученная от чехов, была едва ли не единственной ее материальной основой. Во всяком случае, через меня из денег Союза Возр. дважды была передана на моей квартире Савинкову довольно крупная сумма — в общем, вероятно, около 300 т. К сожалению, самостоятельная работа военных миссий, толкавших Савинкова на авантюры и снабжавших его деньгами, совершенно разрушала возможность планомерной работы. Приведу один характерный эпизод, который, вероятно, надо отнести к началу или середине июня. Однажды Жилинский, имевший связь с Савинковской организацией... сообщил мне о подготовляемом при содействии воен. иностр. миссии акте выступления против большевиков. Это взрыв пороховых складов в Лосиноострове. Мне показался акт этот чудовищным. Он мог повлечь за собой массу жертв, и эффект его совершенно парализовался бы впечатлением, тем более, что фронт начинающейся гражданской войны был очень далек. Могло случиться так, что он толкнул бы общественное мнение только в сторону немцев. Я стал настаивать на том, чтобы переговорить с кем-либо из ответственных руководителей. Жилинский в тот же день сообщил мне, что на другой день меня посетит такое ответственное лицо. И я был совершенно поражен, когда увидел у себя... меньшевика Шера!! Я так был далек от подобной возможности, что до некоторой степени растерялся. Мне казалось неудобным расспрашивать про конспиративное дело, несмотря на старое знакомство с Шером. Так участие Шера для меня осталось и остается загадкой. Шер сказал мне, что мои сведения неверны, что ничего подобного не затевается и т. д. Во всяком случае, появление Шера могло только свидетельствовать, что поле окружения Савинкова более широко, чем это казалось, или что Жилинский ошибочно приписал Савинковской организации дело, которое затевалось какой-нибудь

эсеровской организацией, участвовавшей в октябрьские дни, с которой более естественно мог находиться Шер в организационных сношениях. Этот эпизод как нельзя лучше характеризует трудную обстановку того времени.

Я хочу однако продолжить рассказ о том, как Союз Возрождения тратил деньги, полученные от иностранцев. Союз отнюдь не игнорировал и Добровольческую Армию. Я говорил уже о том, что мы немало военных переправили на юг. Посылались ли туда деньги? Я этого не знаю. Титов говорил, что деньги не посылались. Возможно, что здесь было разделение функций — и Добровольческая Армия была как бы на попечении Национального Центра. Но вот что регистрирует моя память, опирающаяся на запись в дневнике моей жены. По поручению Союза Возрождения в силу личных связей с И. Г. Коганом — директором местного отделения А.Д.Б.[61] я выяснял у него возможность перевода денег на Юг — очевидно в надежде, что мы действительно будем получать деньги от союзников. И Коган ответил, что они всемерно заняты этим вопросом, и что им удается уже переводить каждый месяц около 4-х миллионов. По воспоминаниям Деникина выходит, что, как будто бы, никаких денег Добровольческая Армия из Москвы не получала. Я останавливаюсь на этом вопросе, чтобы подчеркнуть, что о противодействии Добр. Армии не могло быть и речи. С самого начала допускалось, что кандидат Национального Центра Алексеев получит первенство перед Болдыревым, если только согласится вступить в намеченную Директорию, которой предстояло по всем складывающимся обстоятельствам действовать на Востоке[62]. Уже в июне на юг для выяснения обстановки выехал

---

[61] Азовско-Донской Банк.

[62] 4 августа (ст. ст.) Алексеев хотел идти на Москву. Ему указано, что лучше идти на Волгу, чтобы не разбивать сил. 15 милл. ему переправлено — это то, что надо было для начала движения. (Дн. П. Е. М.).

Титов, приславший мне письмо[63]. (Другая делегация Союза Возрождения в лице Аргунова и Кроля выехала на восток.)

Я взял слова Деникина для характеристики того, как тратились деньги московскими организациями. И здесь еще один вопрос требует разъяснения. Никаких контрразведок мы не заводили — во всяком случае Союз Возрождения. Думаю, что ее не было и у Нац. Центра. При Савинковской организации такая контрразведка существовала, и создал ее Бредис. Без такого шпионажа не могла существовать организация, замышлявшая переворот в самой Москве. С Бредисом работал офицер, считавший себя н.-с., и связанный узами личного знакомства с некоторыми из нас — Осколков. От него я получал некоторые материалы, за которые и платил деньги, правда, весьма незначительные. Это были даже не тысячи, а сотни. На меня часто производило впечатление, что деньги эти идут на выпивку самому Осколкову — может быть, впрочем, с теми, от кого материалы добывались. Я к этим данным невольно относился с некоторой предвзятостью, хотя и знал о связи Осколкова с Бредисом, с которым я встречался, и который производил на меня впечатление человека серьезного. Получал я материалы и от Жилинского — ему я никогда ничего не платил. О двух чрезвычайно важных документах я буду говорить ниже. Объективно должен отметить, что мы были особливо скрупулезны в тратах тех денег, которые получили от союзников. По нашему мнению, они должны были идти только на военные нужды, на орга-

---

[63] Приблизительный текст этого конспиративного письма Титова, из Ростова-на-Дону: Дорогая Тетушка! Был по нашим семейным делам у дяди Миши (ген. Алексеев. П. М.). Он считает, что мы все должны вложить наши капиталы в одно общее русское дело, например, паточное; показывал он мне письмо дяди Паши (Милюков. П. М.), который зовет его вложить капитал в пивоваренный завод, что это всего выгоднее, но дядя Миша ответил и показал письмо мне, что считает это дело невыгодным, а меня просил только уговорить дядю Колю (Н. Чайковский, завед. деньгами Союза Возрождения. П. М.), поместить все в одно место. (7/VII 18 г. Дн. П. М.).

низацию армии. Все наши организационные расходы должны были покрываться из тех русских источников, к которым мы имели ход...

Я не буду останавливаться на организационной работе, хотя в ней были и специфические черты. Это была работа нелегальная, но я все-таки скорее назвал бы ее полулегальной. В некоторых мемуарах (Зензинов) подчас слишком сгущены черты того, что было в действительности. Поправка из личных переживаний. Столица сильно отстала от тех эксцессов, которые были в провинции. Для столицы не наступила еще пора террора, который развивался на местах. Сыск был очень плохо поставлен. Наша военная комиссия собиралась почти открыто в помещении Учебного Отдела. Приходили люди, подчас мало знакомые, — и ни одного провала. Выехать из Москвы с фальшивым паспортом не представляло никакого затруднения. И особенно легко на юг через территорию немцев, пользуясь украинскими паспортами, которые доставать было очень нетрудно. Даже самая ЧК имела примитивный характер. Хорошо помню при аресте Сыроечковского, сидевшего с к. д., сношения с волей были чрезвычайно просты. Мы могли открыто объявить об этом аресте на митинге в Университете, где выступал Мякотин.

Осень

Текут дни... Стираются впечатления, иногда яркие и жуткие, иногда убийственно серые от тюремного бытия в Советской России. Их надо записать...

Пять раз в течение истекшего пятилетия[64] я наблюдал современную тюремную действительность. Это было в

[64] В тексте ниже, при описании своего второго заключения, С. П. отметил так время написания этой части воспоминаний своих, начиная с 1918 г.: «Январь 1923 г. записано». (П. Е. М.).

разные эпохи — 1918, 1919, 1920–1921, 1922. Я был в тюрьме, когда у власти не было налаженного «государственного» аппарата, когда не было системы и действовала традиция; я был в тюрьме, когда создавалась система; я был в ней, когда тюрьма действовала по новой регламентированной системе, являвшейся уже продуктом коммунистического творчества.

Эти разные периоды носят и разные характерные черты.

Я был всегда в тюрьме «привилегированным». Это важно помнить — только тогда можно ощутить подлинную действительность советского тюремного быта. Писатель — демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель. Здесь уравнение было только относительное. Столичная тюрьма, столичный произвол — это нечто весьма далекое от того, что делалось в провинции.

Я буду описывать только то, что видел и при том в хронологическом порядке. Возможно, что обобщающая картина дала бы и большую яркость изложения, и большую изобразительность для пережитой реальности. Но хронологическая канва лучше очертит эволюционные этапы, пережитые тюрьмой, и послужит более надежной опорой для воспоминаний.

Эти страницы будут только воспоминаниями.

I. После покушения на Ленина

Я был арестован по ордеру ВЧК в первый раз на другой день после покушения на Ленина, в ночь на 1-ое сентября 1918 г.[65] Из памяти изгладились подробности условий, при

---

[65] 5 авг. (ст. ст.). Факт покушения на Троцкого — стрелял лучший московский стрелок в его автомобиль, убил адъютанта, Троцкого не было. Сообщники расстреляны, один ушел из-под расстрела. Троцкий и Ленин знали о готовящемся покушении и нигде не появлялись (Дн. П. Е. М.).

которых проходил обыск и самый арест. И понятно — 23 обыска я пережил в течение советского пятилетия; немного меньше, так как два обыска приходятся уже на то время, когда я выехал из России. Руководители полицейской политики советской власти, очевидно, не могли забыть проторенного пути! Ни достаточного опыта, ни разработанных инструкций еще не было. Я помню лишь, что представители ЧК — почти исключительно латыши — явились в 3 часа; до 6 час. производился обыск, после чего меня увезли.

На другой день, уже в мое отсутствие, приехали опечатывать помещение, но, конечно, в то же утро все, меня компрометирующее, было вывезено. Полуграмотные латыши растерялись при виде моей большой сохранившейся библиотеки и архива, что всегда спасало меня при последующих обысках. Опыта у тюремщиков было еще мало. И не трудно было при аресте пронести с собой и карандаш, и бумагу, и даже столь необходимый в тюремном обиходе маленький перочинный ножик.

Царство латышей! и при том латышей, почти не говоривших по-русски! Сразу чувствуешь себя беспомощно оторванным. Кругом латыши и китайцы на низших должностях охранителей. Что-нибудь разъяснить, что-нибудь сказать нет возможности. Лишь грубый окрик можно получить в ответ. Помню, какое затруднение вызвало обычное заполнение анкеты, уже тогда введенной любителями всякого рода регистраций. Комендант не желал признать моей принадлежности к народно-социалистической партии на том основании, что народными социалистами являются большевики.

Так или иначе процедура кончена, и я ввергнут в предварительную камеру для арестованных ВЧК на Лубянке 11. Ею было занято помещение бывшего Страхового Общества «Якорь». По-видимому для предварилки было эксплуатируемо какое-то складочное помещение, судя по тому, что стены заполнены были стойками, разгороженными на от-

дельные маленькие ящики. В этой огромной комнате стояли рядами нары. Но народу было так много, что люди заполняли полы, влезали на верхушки полок, сидели, стояли. В помещении, рассчитанном, вероятно, человек на 100, по крайней мере было 300. Было грязно, было зловонно, порой до-обморочно душно, но все же со стороны внешнего обихода это была идеальная пора советского тюремного быта...

Тот, кто не сидел впоследствии в так называемой внутренней тюрьме Особого Отдела ВЧК, не поймет, какое удовлетворение для заключенного могло представить то обстоятельство, что не было ограничения в пользовании уборными, расположенными тут же около страхового ящика. В былые годы в царской тюрьме политики голодали за право чтения книг и за другие тюремные привилегии, здесь скорее приходилось голодать за права более элементарные. Но об этом позже.

В дни сентябрьского террора не было речи о протестах, ибо казалось, что ящик Страхового Общества «Якорь» лишь временное и случайное узилище, вызванное неустройством власти, непривычной еще к произведенным экспериментам в виде массовых, тысячных арестов.

Собранных в ящик власть не считала нужным кормить. Нельзя же считать едой ту отвратительную баланду, которую давали в небольшом количестве в 12 часов, 1/8 ф. черного хлеба и кусочек сахара. Это все, что полагалось на день. И опять блаженство — кипяток можно было получать в течение дня и ночи в неограниченном количестве. Допускались передачи из внешнего мира. А главное за тюремными стенами не была произведена еще национализация всего, что только было возможно. Существовали лавочки, где молено было приобретать соответствующую пищу и папиросы, без которых курильщику мучение, а в тюрьме двойное. Для этого существовал старостат.

Выбирал ли его кто-нибудь — не знаю. Думаю, что он был самозванен, или назначаем ближайшим тюремным начальством. Но и против этого никто не протестовал. Старостат были люди «свои» для администрации, которая по всей видимости принимала непосредственное участие в деловых коммерческих операциях старостата. Это был грабеж заключенных. Но кто имел деньги охотно примирялся с грабежом ради благ земных, а кто пенязями не обладал, тот все равно щелкал зубами на счастливых «буржуев» и вынужден был ограничиваться подачками или голодать на баланде. Никакого коллектива не было и не могло быть, так как публика в ящике представляла собой текущую реку: десятки ежедневно отвозились и привозились из Бутырок. Деньги не только не отбирались, но даже ежедневно с воли разрешалось получать керенку, т. е. 40 тогдашних рублей. Старостой при мне был отвратительного вида нахальный матрос, человек, обвиняемый в уголовном преступлении, а, может быть, и просто советский провокатор. Через этот старостат можно было отправлять и письма. И немало людей попадали впросак, с обывательским доверием отнесясь к добровольным почтальонам.

Я не познал сразу всех прелестей пребывания в ящике, потому что на другой же день был вместе с товарищами отвезен в Бутырскую тюрьму. Нас, знакомых между собой, оказалось немало.

Когда со свежего воздуха попадаешь в обстановку и атмосферу Якорьского ящика, прежде всего обалдеваешь. Не найдя себе места, где-нибудь приткнешься и замрешь до утра. Ждать недолго. Аресты обычно происходят ночью, и лишь часам к 4 попадаешь на свое место в предварилку. Чувство этой растерянности ощущает каждый — даже не новичок по тюремным сидениям. Так ясно это видно по лицу. И действительно, сразу попасть как бы на пересыльный этап трудно. Освоившись, видишь знакомых. Вот

лежит грузная фигура кооператора Беркенгейма, арестованного в связи с принадлежностью его к с.-р. партии. Постепенно различаешь и других. Уже не так одиноко себя чувствуешь — все же ты среди латышей и китайцев, как бы в своей среде.

Попадаю в небольшую компанию знакомых: дашнакцюн Назарьянц, с.-р. Копытовский, «большевик» писатель Каржанский. Этот возмущен своим арестом. Очевидное недоразумение! Он уже подал заявление в президиум, написал друзьям из большевиков. Конечно, он сегодня же будет освобожден. Посмеиваюсь и злю его утверждением, что буду выпущен скорее, а он обречен посидеть в ящике недели две, пока не выяснится его приверженность большевицкой власти.

Вечером всех нас вызывают для отправки в Бутырский замок. Старое, знакомое для многих место. Собираемся с легкостью — лучше в обычной, налаженной тюрьме, чем в этом «ящике» с неопределившимся еще и произвольным режимом. Решаем держаться вместе, чтобы попасть в одну камеру. Везут нас в открытом грузовике. Кто лежит, кто сидит на корточках так, чтобы голова не высовывалась, ибо стража, рассевшаяся по краям и состоящая преимущественно из матросов с «озверелыми» лицами, как принято выражаться в мемуарах, грозит стрелять, если кто приподнимет голову: кто поднимется — убьем. Везут партию — словно на убой.

В Бутырках все, как полагается в тюрьме. Отбирают деньги, драгоценные вещи — дают расписки. Вы можете этими квитками платить за забор товаров в тюремной лавочке. Поверхностный обыск, и нас проводят в соответствующий коридор. Мы все оказываемся в одной камере.

Она заслуживает особого описания. Это штрих для устанавливающегося режима под знаменем рабоче-крестьянской власти.

В камере, рассчитанной на 25 мест, лишь одно свободное место. А нас пять. Четверо должны устроиться или на обеденном столе или на асфальтовом полу, имеющем в образцовой тюрьме одно свойство — от сырости он всегда мокрый. Нас, пришельцев, местные аборигены скоро устраивают и довольно комфортабельно. Мы маленькая группа интеллигенции среди 24 красноармейцев, арестованных за какое-то буйство или «заговор» во Владимире и сидящих уже три месяца без предъявления обвинений. Мы «буржуи» по виду, но никакой враждебности по отношению к нам в камере нет. Красноармейцы ложатся попарно на одной койке и нам уступают целую койку. Беркенгейм и Назарьянц в первую ночь устраиваются на столе. Уже поздно — 10 часов, когда захлопнулась за нами дверь в камеру. Перед сном старые обитатели камеры повествуют нам о том, как каждую ночь вывозят на расстрел. Если в два часа ночью в коридоре шаги, камера просыпается и с трепетом ждет, где щелкнет замок. Взяли из такой-то камеры. Щелкает замок и в эту ночь... Тревожно дремлешь, вскакивая при каждом шуме.

— Сегодня еще у нас взяли ночью. Так и освободилась койка.

Никто из нас не ждал расстрела. Слишком очевидно, что мы не повинны, ни косвенно, ни прямо в покушении на Ленина; расстреливают, как стало уже известно, за покушение на вождя пролетариата представителей старого чиновного мира и полиции. Жандарм старого режима отвечал за покушение на Ленина, произведенное членом с.-р. партии. Очевидно, расстрел — форма устрашения. Только такой логикой можно объяснить то несуразное, что творится открывшейся эрой террора.

В первую ночь, как всегда, не спится. Да и непривычно еще спокойно переносить переживания, связанные с сознанием, что здесь около тебя берут на расстрел людей. Сердце потом очерствело.

Помните ли картину переживания тюрьмы перед казнью, нарисованную в «Бытовом явлении» В. Г. Короленко на основании письма пережившего это чувство, ужасное чувство бессилия, когда вся тюрьма не спит и прислушивается к тому, что происходит за стенами.

Мы проводили потом ночи в таком сознании. Нервы выдержали только потому, что притупились...

Не спишь и сквозь дрему прислушиваешься... Шум в коридоре. Все насторожились. Шаги ближе... У наших дверей. Щелкнул замок. Входят к нам.

— Мельгунов здесь? Без вещей по городу. — Пришли за мной. «Без вещей по городу» — означает расстрел по тогдашней тюремной терминологии. Слишком неожиданно, поэтому и не реагируешь. Чуть сильнее забилось сердце. Вижу растерянность товарищей, вижу ужас и сожаление на лицах остальных сокамерников. Красноармейцы уверены, что берут на расстрел; каждый из соседей старается помочь и ободрить. Но я уверен, что не расстрел. Но что такое? Почему вызывают ночью? Мы еще не привыкли тогда, что именно ночью входит в обычай вызывать на допрос. Сбить и смутить полусонного растерянного человека, приготовившегося идти на расстрел, легче. Это система ЧК; система, дающая иногда блестящие результаты.

Обыватель по миросозерцанию, не чувствую себя обывателем в жизни. Поэтому спокоен. Выводят и сажают в легковой автомобиль. Со мной везут еще одного. Куда? зачем? — не говорят.

Автомобиль поворачивает не на Ходынку. Явно везут назад на Лубянку. Зачем же привозили в Бутырки в этот вечер? Для того, чтобы увезти назад уже без вещей, без кружки, без подушки, без всего самого необходимого для неприспособленного тюремного быта. Привозят и молчаливо отправляют в ящик. Думай и делай, что хочешь. Сразу уже чувствуешь никчемность буржуазной личности.

Через час вызывают однако на допрос. Допрашивает сам Скрыпник — я прежде всего поинтересовался узнать, с кем имею честь разговаривать, ибо с анонимами вообще беседовать не охочь.

Срыпник — крупная фигура. Следовательно или я сам по себе крупная рыба, или за мной числится крупное противосоветское деяние.

Расспрашивают меня о моих знакомствах. Знаю ли я, например. Н. Ив. Астрова и других. Указываю на наивность таких вопросов по отношению к человеку, который по своему положению и по своим естественным связям лично знаком с большинством видных общественных деятелей. Так вокруг и около ходит допрос. И не уразумеешь, в чем дело.

Не выдерживаю и сам ставлю вопрос определенно. Наконец, после получасового допроса выясняется, что обвиняют меня в связи с делом Локкарта[66]. Я участник этого заговора. Им доподлинно известно, что я был вызван на совещание к Локкарту, был вызван отчасти в качестве эксперта. По неудачной формулировке г. Скрыпника выходило так, что моим мнением как бы интересовалось само английское правительство. Такой чести я не ожидал, ибо не мог предполагать за собой такого авторитета. Мораль — никогда не надо пытаться остроумничать на допросе. Я неудачно сострил и скоро почувствовал на себе неприятность неуместных острот.

Не помню, что именно записано в протоколе допроса, мною подписанном. Близкое к тому, что с Локкартом никогда не был знаком, никогда его не видел и о самом заговоре узнал только из допроса.

На неудачную формулу следователя я неудачно ответил приблизительно так: «Я был бы польщен, если бы английское правительство интересовалось моим мнением.

[66] Английский консул.

Но к сожалению этого не было». Во время допроса в комнату вошел небольшого роста, пожалуй, приземистый бритый человек во френче, с неприятным лицом, холодными глазами и с какими-то жестокими чертами лица. Он молчаливо присутствовал при конце допроса. Впоследствии я узнал, что это был Петерс — его я увидел однажды при высочайшем его обходе ящика. Позже, значительно позже узнал, что и юмористический ответ мой ему не понравился. Не то что не понравилась неуместная юмористика в устах «арестанта», — он все принял всерьез. Я не знаю прошлого Петерса. О нем ходило много достоверных легенд. Одно несомненно, это прошлое не способствовало быстрому освоению мысли Петерса, в руки которого была передана судьба стольких людей. Он не понял иронии моих слов. И позже, как мне передавали, сказал: «Но ведь он сам сказал — «К сожалению»...» Не ясно ли, что я антантовский шпион. Мне это стоило вскоре нового полуторамесячного ареста уже без всякого повода и основания — покушение на Ленина все же был повод для ареста оппозиционных интеллигентов и особенно представителей враждебных большевизму политических партий.

Закончилась наша беседа со следователем утверждением его, что я арестован, не как народный социалист, так как очевидно н.-с. не причастны к покушению на Ленина, а по связи с делом Локкарта. Нужно навести еще некоторые справки и, если выяснится непричастность моя к этому заговору, то я буду освобожден.

Тогда я поинтересовался узнать, почему надо было для подобного допроса вызывать меня ночью из Бутырок, куда я был препровожден всего только за несколько часов до допроса; подвергать меня всем тем ощущениям, которые связаны с мыслью о возможности расстрела.

— Это недоразумение. Вас отправили прежде, чем я успел вас допросить.

Так как мне предстояло вернуться в отвратительный ящик и пребывать в нем уже без всяких самых элементарных удобств, хотя бы умывания, я взмолился о возможно скорой переправке в Бутырки. В первый же день моего пребывания в ящике я увидел примеры, как арестованные, вызванные из Бутырок без вещей для допроса, днями ожидали своей очереди для отправки назад.

Перспектива такого прозябания не улыбалась, особенно при сознании, что жена моя будет уже знать, что я отправлен в Бутырки. Обещание о немедленной отправке мне было дано и действительно выполнено. Уже утром с некоторым даже почетом, ибо не со всеми, а в одиночном автомобиле, я был препровожден назад в Бутырки. При некоторой настойчивости попал в ту же камеру, где оставлены были мои вещи. Вам кажется это естественным. Нет, по какому-то своеобразному закону люди, привозимые с допроса, длящегося, правда, иногда несколько дней, попадали почти всегда не в свою камеру. И начиналась длительная история с добыванием своих вещей. Со мной так случилось однажды — и я более 10 дней вещей своих не мог получить. Хорошо, что моя жена, скоро получившая соответствующий опыт, догадалась на всякий случай доставить второй комплект всего необходимого.

Я в старой камере с теми же красноармейцами, устроившими мне довольно радостную встречу — они были убеждены, что меня уже нет в живых. Дорогие мои сокамерники сообщили, что соседи меньшевики, уже сорганизовавшиеся и завязавшие связи с волей, сообщили, что меня ночью увезли, вероятно, на расстрел. Хорошо, что этот слух не успел еще дойти до моей жены, которая, обладая какой-то исключительной энергией и уменьем добиваться мне передачи съестных припасов при самых исключительных обстоятельствах, уже проникла в Бутырки и передала то, что мне было надо. Без этих передач мое положение было бы действительно трагично, ибо по сво-

ему здоровью я не мог есть ни тюремной баланды, ни черного хлеба. Тюремный режим не воспринял еще коммунистических строгостей. Посему сношения с внешним миром устанавливались довольно просто. Три или пять рублей тому, кто принес передачу, и можно было передать записку. За керенку легко было отправить письмо непосредственно на квартиру.

Расстрел нескольких надзирателей, и опасность пользования их услугами при развивающейся системе провокации, не позволяли однако широко сноситься с волей такими способами.

Тюрьма носила все признаки еще старой тюрьмы. Утром в 6 час. совершалась проверка, все должны были выстраиваться в шеренгу в два ряда, и старший проверял наличность заключенных. Вечером такая же процедура. Позже, значительно позже, была введена демократизация — когда происходил счет, можно было сидеть на койках. Койки в течение дня поднимались. Впрочем, мы, интеллигентская группа, с первого же дня ввели новшество, пользуясь болезнью Копытовского; койки не поднимали. На такой протест остальная «пролетарская» часть камеры не решалась даже тогда, когда наша вольность получила все права гражданства со стороны тюремной администрации. Насколько просты были нравы, показывает такой эпизод. Я спорил с товарищами, что из тюрьмы легко удрать. Так как удирать я не был намерен, зная, что к делу Локкарта не имел абсолютно никакого отношения, и что едва ли меня расстреляют без реального, конкретного повода, каким является заговор, и что у следствия не имеется никаких данных о существовавшем уже тогда Союзе Возрождения в России, в котором я принимал участие, — то я хотел указать лишь путь возможного бегства.

В тюрьме существовала церковь, куда водили по воскресеньям желающих. Тогда еще церковная политика

большевиков не носила своего антирелигиозного характера, и тюремная церковь не была превращена, как то случилось впоследствии, в столярную мастерскую или в интендантский тюремный склад. Брали в церковь по пяти человек из камеры. Я вызвался пойти в церковь, хотел замешаться в толпу выходящих жен и родственников администрации. Так и сделал и неожиданно очутился в сборной. Еще шаг, и я на воле... Впрочем, этот шаг и был самый трудный. Это было озорство, опасное в другие времена, и я быстро ретировался назад.

В тюрьме была внешняя строгость, но не было той всеподавляющей нивелировки, при которой особенно тяжело переносить тюремный режим. Камеры запирались, но в камерах мы чувствовали себя свободными. Нам без затруднения передавали книги; мы захотели шахматы, нам из дому прислали их. Одним словом, тюремный режим был вполне сносен, особенно при довольно безразличном отношении администрации, в которой не было еще коммунистических ячеек. Любопытна психология этой тюремной администрации. В числе ее было много служителей еще царского времени. Она охраняла революционеров в те времена, она их охраняла при новом режиме, но также добросовестно и, может быть, даже с большим удовольствием она охраняла бы и теперешних правителей, если бы судьба превратила их из властей в заключенных. Такая психология показывает, как ошибочно представление о необходимости при изменении форм государственного строя производить изменения и всего персонального состава учреждений. Служба — профессия. И в каждой профессии есть свой служебный долг. Тюрьма не представляет в данном случае исключения.

В сентябрьские дни в тюрьме, может быть, было даже лучше, чем на воле. Если бы только не ужасные ночи, когда насторожившийся слух невольно болезненно воспринимает

каждый посторонний звук, когда напряженная мысль безостановочно рисует картины смерти, которая витает кругом.

Ужасные, бесконечные ночи, которых так много проведено в месяцы своих сидений в советской тюрьме! Каждый этап воспоминаний будет возвращать мысль и память к этому бытовому явлению «пролетарской» диктатуры.

Мое первое сидение, совпавшее с первой кровавой полосой террора, было наиболее слабое по впечатлениям в этом отношении. Нужна здесь непосредственность. К счастию мы были в такой камере, которая по своему составу исключала эту непосредственность. Из нашей камеры никто уже ночью больше не уводился. И только по освобождении мы узнали о том кровавом разгуле, которым ознаменовала власть покушение на жизнь своего партийного лидера. Уничтожались по разным городам и весям России сотни невинных в данном случае людей!

Первые дни сидения для нас были тяжелы в другом отношении. Мы были материально обеспечены, так как о нас достаточно заботились наши родственники. Но подчас кусок в горло не мог идти. Кругом 24 изголодавшихся красноармейца, молчаливо, только глазами следящих за каждым новым жестом. Удивительная застенчивость и скромность — ни разу не было случая, чтобы у нас что-либо попросили. Эти голодные, оборванные, грязные от трехмесячного сидения без белья и без бани были трогательны подчас по своим заботам. Они видели в нас людей иного порядка, иной культуры; они понимали, что мы не «буржуи» и «капиталисты», что мы боремся идейно и за интересы большинства. Сказывалось это в мелочах: мне, писателю, ни за что не позволяли, да, не позволяли выносить парашу, чистить камеру и т. д. Благодаря энергии моей жены и кооперативным связям Беркенгейма, нам удалось организовать специальные передачи — хлеба, сахара, мыла, белья для всей нашей камеры. Мы не жили коммуной, но мы обеспечили всю камеру самым

необходимым. Я достал для них книги и убежден, что эти люди никогда уже не были с большевиками. Установлению тесной связи с этой группой содействовало случайное обстоятельство — один из заключенных оказался моим сотоварищем по работе, как он гордо заметил. Я, конечно, этого не знал. Он был разносчиком одной из газет, в которой я участвовал. И позже от него и от многих других я получал письма. Я не отвечал, ибо знал, что мои письма для них только вред.

Наша маленькая интеллигентская коммуна, пополненная Фейгиным, жила дружно. Только впоследствии обнаружилось, что и здесь была доза лжи и приспособляемости в отношении одного из наших сочленов, именно «большевика» Каржанского. Его все забыли, несмотря на его письма и напоминания о себе. Я оказался прав, — он вышел на свободу после меня. Ему не делали и передач — кормила его коммуна. У него не было денег — давала коммуна, или вернее Беркенгейм и я.

Как-то мы решили отправить через надзирателя на имя моей жены письмо. Написал и Каржанский с просьбой доставить ему необходимые вещи — у него ничего не было. Впоследствии я узнал, что он писал своего рода политический донос на нас: он сидит в мало подходящей для него компании контрреволюционеров и т. д. Этот неприятный человек в камере умел приспособляться к общему настроению.

Так мы просидели две недели. Первым вышел Беркенгейм, у которого умер брат, и которому разрешено было временно отправиться домой. Назад он уже не возвращался. Вскоре пришли и за мной.

Уже днем однажды меня вызвали без вещей. Я понял, что вызывают для допроса. Отвезли меня с торжественностью, которая могла несколько смутить. За мной с Лубянки был прислан шикарный автомобиль, который сопровождал шикарный юноша во френче, по внешности отнюдь не

напоминающий собой стража для арестованного. Вышел я за ворота при полном свете дня и попал в толпу ожидавших очереди передачи родственников заключенных. Вероятно, меня приняли за какого-нибудь комиссара. Впрочем, в толпе оказались мои знакомые, которые просто недоумевали о причине моего торжественного выезда, о чем немедленно и сообщили моей жене.

На Лубянке ящик меня миновал. Я сразу попал в кабинет следователя. И по всей внешности было очевидно, что меня будет допрашивать лицо важное. Передо мной был человек, одетый в черный реденгот, напоминающий собой врача и вообще представителя интеллигентной профессии. Первое впечатление было благоприятное. Оказалось, что это был сам Дзержинский. Допрос свелся скоро к спору, отчасти теоретическому, отчасти на злобу дня. Я негодовал на террор. Тогда Дзержинский очевидно еще не вошел в свою роль. Может быть, он чувствовал тяжелую, моральную ответственность, которая ложится на него. Но он, возражая мне, волновался, несколько раз вскакивал и бегал по комнате. Спор зашел и о только что убитом Виленкине — большевики его расстреляли, несмотря на официальное обещание сохранить ему жизнь. Виленкин вошел в это время в нашу партию, был действительно связан с какой-то военной организацией. Многие из нас хлопотали за него при его аресте. Нам определенно сказали, что его не тронут и тем не менее расстреляли. Когда я указал на этот обман, Дзержинский заявил, что поводом для расстрела послужила организация его освобождения, хотя сам он непосредственно в этой организации не принимал участия. Попытка освобождения делалась помимо его воли. Точных подробностей я не знаю. Но суть дела заключалась в том, что однажды за Виленкиным приехал (в Бутырки) автомобиль с подложным ордером взять его на Лубянку. Ордер показался подозрительным, навели справку и обнаружили его подложность.

Во время допроса я, пожалуй, вновь смальчишествовал. В один из моментов, когда взволнованный Дзержинский вскочил со стула, я увидел у него на столе документ, касающийся «Союза Возрождения», и я его тут же очень ловко спровадил в свой карман... Часто я гордился потом своей ловкостью.

Вернее, власть и мы не чувствовали еще того психологического водораздела, который потом нас разъединил. Дзержинский не забыл еще своего интеллигентского прошлого, а я... все-таки видел перед собой человека, вышедшего из одного круга со мной, с теми же психологическими основами, как у меня. Я не видел перед собой жандарма, который воспринял всю психологию полицейского сыска, который пропитался атмосферой, навыками и идеологией Охранных Отделений, с которым мы так недавно еще боролись совместно. Дзержинский был для меня еще недавним каторжанином, шедшим по этапу вместе с моим приятелем беллетристом Чулковым. И мне хотелось показать ошибочность пути, по которому идет Всероссийская Чрезвычайная Комиссия; ошибочность террора, его аморальность. Хотелось убедить фанатика, скоро превратившегося в циника.

Я хотел обрисовать перед ним режим демократической тюрьмы. Хотел воспользоваться благоприятным случаем, помочь своим красноармейцам, о которых очевидно власть забыла. Посадили без достаточного основания и забыли. Сиди! Бесполезно подавать заявления. Помнится приблизительно и ответ Дзержинского, характерный для представителя власти, определивший принцип, внедрившийся прочно в тюремный обиход:

— Какая беда, если эти красноармейцы просидят месяц, другой лишний. Нам нет времени заниматься пустяковыми делами. Вы сами согласитесь с тем, что им полезно немного посидеть в тюрьме, если узнаете, что они во Владимире пытались организовать еврейский погром.

Конечно, обвинение Дзержинский придумал во время беседы, так как он едва ли мог знать о существовании 24 красноармейцев, находившихся со мной в камере. Но он должен был знать, что власть, сажая для педагогии людей в тюрьму, не считает нужным их кормить!

Вспоминаю и еще один штрих, характерный для беседы. Мне пришлось указать по поводу каких-то слов Дзержинского на своеобразную демократизацию печати, которая усиленно проводится в советских органах: «сволочь» становится не только излюбленным, но, пожалуй, и одним из наиболее мягких ругательных эпитетов по отношению ко всем противникам советской власти.

— Я сказал не демократизация, а пролетаризация печати, — возразил шеф советской полиции. Демократизация и тогда уже была пугалом для коммунистов...

Беседа наша, продолжавшаяся около трех часов, закончилась тем, что Дзержинский заявил мне, что я буду освобожден, так как за меня дал поручительство Дауге. Не рекомендуя возвращаться в тюрьму за вещами, где меня арестуют, Дзержинский лично написал пропуск для выхода из комендатуры ВЧК. В заключение, уже не в следовательском кабинете, разыгралась такая маленькая сценка.

Провожая меня в коридор, Дзержинский спросил: не поинтересуюсь ли я узнать, кто второй из коммунистов поручился за меня (полагалось два поручительства), и сказал: «я»! Последовала молчаливая сцена, так как я решительно не знал, что следовало сказать по этому поводу. Для Дзержинского это был красивый жест!

У Бонча[67]

Меня освободили вследствие хлопот большевиков. Возбудили ходатайства Бонч-Бруевич, Керженцов, Дауге

---

[67] Вл. Д. Бонч-Бруевич, наш давнишний знакомый, был в это время управляющим делами Сов. Нар. Ком. (П. Е. М.).

(написал Петерсу), Подбельский, Фриче, Рязанов, Луначарский, Ландер и др. Пошел я к Бончу поблагодарить и похлопотать о других н.-с. Назначил он мне свидание в Кремле. Пропустила девица по паспорту, — не застал Бонча. Второй раз не пропустили. Наконец, в третий — при входе в Кремль была оставлена записка. Удивило, что в Кремле только латыши. (Бонч **ска**зал, что здесь их 1.000 квалифицированных коммунистов). Встретил, как будто бы ничего не произошло. Передает привет жене. Беседа бестолковая. Работает-де над выпусками новых томов своих материалов. Презентовал новые свои книги. Я отказался — «я враг», — «Так и напишу». Я взял книги, чтобы он не надписывал.

— Ваш арест — просто недоразумение. Каннегиссер назвал себя народным социалистом. Вот вас и арестовали. Теперь все выяснилось. Вы совершению гарантированы...

Мы знаем, что кругом нас злоупотребления. Ведь 80 % у нас мошенники, примазавшиеся к большевизму. Происходит худшее, чем творилось в Ш-м Отделении.

— Но ведь это цинично.

— Что же делать. Мы боремся. Наша задача умиротворить ненависть. Без нас красный террор был бы ужасен. Пролетариат требует уничтожения всей буржуазии. Я сам должен был после покушения на Ленина быть для успокоения на 20 митингах. Сейчас уничтожены все свободы. Наша задача — укоротить период диктатуры. Наши дела плохи. Нас обманули немцы. Мы ждем наступления с юга и взятия Петрограда. Вы не поняли патриотизма Ильича. Старая армия должна была разложиться. Он собирал новую на Урале, которая должна была двинуться на немцев. Мы творим новую жизнь. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания. Оставлю их вам. Прочитав, вы поймете нас.

— Ну, меня раньше успеют расстрелять. Нас бьют и те и другие. Вы отдаете немцам золото и пр.

— Все это пустяки.
— А что вы организовали?
— У нас прекрасно организовались кожевенники!!!..

II. Второй арест

Но не долго мне пришлось погулять на воле: я не успел даже вытребовать из Бутырок свои вещи, как вновь уже попал в Бутырки месяца на 1½–2. Условия, при которых был произведен мой новый арест, довольно характерны.

Во время обыска при моем первом аресте были забраны у меня кое-какие бумаги, преимущественно статьи, предназначенные для помещения в «Голосе Минувшего», адресная книга сотрудников и т. п. Я подал заявление в ВЧК с просьбой вернуть отобранное и в особенности то, что могло представлять интерес только для редакции журнала.

Через несколько дней с удивительной предупредительностью, которая впоследствии исчезла из обихода ЧК, я получил бумагу, предлагающую мне *лично* явиться и получить документы. *Личный* вызов объяснялся тем, что необходимо просмотреть вместе со мной, так как мои бумаги спутались с другими. Я проявил некоторую наивность и в назначенный день и час направился в ЧК, не захватив с собой ни денег, ни подушки, ни прочих тюремных причиндалов. Ведь я был освобожден под поручительство самого шефа. Не мог я ожидать провокации, ибо тогда совершенно бессмысленно было мое освобождение. Явившись в комендатуру с пропуском, который со сверхлюбезностью был прислан мне при бумаге на дом, я направился в назначенную мне комнату и спокойно ждал, беседуя с одним из с.-р., проводившим время заключения со мной и также пришедшим за документами, ждал, когда меня вызовут.

Ровно в 1 час дня, как было назначено в бумаге, появился товарищ и громко вопросил: «Здесь ли гражданин Мельгунов?» Я откликнулся и тотчас же был арестован по ордеру,

подписанному уже Петерсом. Позднее я узнал, что Петерс был противник моего освобождения, он не мог мне простить фразу об английском правительстве и, как только Дзержинский куда-то уехал, отдал предписание о моем аресте.

Говорят, у меня холерический темперамент. Провокационный способ моего ареста так меня возмутил, что я довольно шумно стал проявлять свое возмущение, сопровождая его громкими и нелестными эпитетами: называл их провокаторами.

Мне показалось, что и латыши в комендатуре были как-то смущены.

Может быть, непривычны были еще в достаточной степени провокаторские приемы, распустившиеся потом пышным цветом в практике ЧК; может быть, комендант знал о том, что я был освобожден вне обычного порядка лично Дзержинским, и видел во мне лицо, имеющее связи. Не знаю! Но вышло как-то так, что меня некоторое время оставили в покое и занялись обыскиванием другого арестованного, которого в это время привели.

Я был действительно вне себя. И так соблазнительно около меня была открыта дверь из комендатуры; так соблазнительно окружающие латыши на меня не обращали внимания, что я почти инстинктивно оказался за порогом. Не понимаю, как латыши в первое время этого не заметили... Я знал уже расположение комнат и направился к выходу, для чего надо было пройти через коридорчик, подняться на парадную лестницу и по ней спуститься к входной двери... По дороге стоял на внутреннем посту часовой. Здесь помог мне пропуск, сохранившийся в кармане со времени освобождения меня Дзержинским. Я сохранил его на всякий случай, когда у меня его не отобрали при выходе из ЧК. Стоило теперь мне показать этот пропуск, как часовой свободно меня пропустил. Наивные и простые еще были времена. Я, не торопясь, чтобы не возбуждать

сомнений, прошел коридорчик, поднялся на площадку парадной лестницы и уже подходил к входной двери, как меня окликнула какая-то женщина, присутствовавшая при моем аресте.

— Товарищ! Вы, кажется, арестованы? — Был большой соблазн сказать, что нет; но с другой стороны проскользнула мысль, что жена моя дома, что она будет арестована раньше, чем я успею ей дать знать, что едва ли мне что-либо угрожает. Я не стал отказываться.

— Зачем же вы сюда попали?

— Иду к Дзержинскому с жалобой на возмутительное поведение по отношению ко мне.

Недоумение и переполох! Меня водворяют в комендатуру. Что лопотали латыши, я не понял. Но, очевидно, они сами были смущены своей служебной небрежностью и предпочитали не поднимать истории...

Я был вновь водворен в ящик. Здесь я застал многих из старых знакомых; увидел многих из тех, которых видел в первый день своего ареста. Некоторые сидели уже неделями здесь в этом шумном ящике, где почти невозможно было спать и от клопов и от гама, — и ожидали допроса. Другие были привезены из Бутырок на допрос, конечно, без вещей — ведь допрос длится самое большее несколько часов, — и ждали днями этого допроса. Часто бывало, что привезенного на допрос через несколько дней отправляли в Бутырки, не допросивши. Это было такое издевательство над личностью арестованного, что большее трудно себе представить. У всех нервы напряжены и издерганы до последней степени. А здесь ночные сцены с увозом куда-то людей.

Когда ночью вызывали сразу несколько человек и уводили в сени перед ящиком, где пребывала стража, причем закрывались двери, тогда говорили, что это повезли на расстрел. Не знаю, так ли! Я ни разу не слышал борьбы, протеста, шума. Но, может быть, молчаливо все шли на

заклание и молчаливо предоставляли связывать себе руки? Меня всегда удивляла эта пассивность у людей, для которых все равно наступал конец. Очевидно, теплилась надежда до самого последнего момента! Вдруг какая-нибудь случайность, и останешься жив!.. Такие случайности бывали.

Я знаю одну из них, так как слышал непосредственно от Ив. Пав. Алексинского, принимавшего участие в спасении одного из таких случайно уцелевших после расстрела. Это был юноша 18–19 лет. Его повезли на расстрел куда-то за город. Тогда расстреливали, по-видимому, не специальные палачи, кончавшие со своими жертвами в подвалах ЧК револьверным выстрелом. Расстреливали красноармейцы — русские или китайцы? Не все ли равно.

Он был только подстрелен. Ему удалось ползком куда-то проползти и спрятаться. С рассветом он добрался до жилья. Попал на хороших людей и был перевезен в больницу...

Вывозили ли этих людей ночью из ящика на расстрел, или то была только молва — для психического состояния заключенных было безразлично. Все знали, что еженощно где-то идут расстрелы. Шумит ночью автомобиль. Это пустили нарочно, чтобы заглушить выстрелы: расстреливают здесь в сарае на дворе напротив окон ящика, где мы сидим. Может быть, и это не так было в то время, о котором я говорю. Может быть, так казалось расстроенному воображению. Насколько тяжело ощущать такую смерть вблизи, почти при ней присутствовать. Отвлеченная жалость, отвлеченное негодование далеко не равнозначущи тому чувству, которое испытываешь при непосредственном наблюдении несчастья. Разве в обыденной жизни каждый из нас не ощущал этого много раз!..

Я видел здесь людей, душевно истерзанных, порою невменяемых, способных не только выдавать, но и выдумывать несуществующие заговоры. Их тем не менее по использовании в целях политического сыска расстрели-

вали. Но система достигала своей цели. Особенно ярко стоит в моей памяти фигура одного шт.-капитана, арестованного где-то в Смоленске. Его все чуждались, потому что шла глухая молва, что он предатель. После двухмесячного сидения в страховом ящике, без копейки денег, без возможности положить голову на подушку, переменить белье и вымыться с мылом, освободиться от съедавших его вшей, — это было жалкое и несчастное существо. Голодный, он ходил и попрошайничал у всех: папиросы, кусок хлеба. Нервно вмешивался во все разговоры, всех раздражал. И особенно немногих французов, в то время арестованных. Среди этих французов был и мой хороший знакомый проф. Мазон, автор известной работы о Гончарове, некогда бывший преподавателем в одном из московских средних учебных заведений, имевший некоторое отношение к французской миссии, но главным образом занимавшийся собиранием материалов о революции для Парижской Национальной библиотеки. Французы получали прекрасные передачи от своего Красного Креста. Естественно, к ним льнули все голодные. Это чрезвычайно раздражало иностранцев. Они нередко с раздражением отмахивались от назойливых мух. Было горько видеть русского офицера в таком положении, а в то же время до некоторой степени было психологически понятно состояние французов.

Должен сказать, что как-то инстинктивно с брезгливостью относился и я в тюрьме, когда видел человека, роющегося в помойке и выбирающего там куски съедобного. Это преимущественно делали китайцы. Сознание говорило, что голод превращает человека в животное, и все-таки чувство отталкивало.

Поэтому я решительно отказывался от всего, что мне предлагали французы, хотя и пришлось два дня голодать, так как при неожиданном аресте я не был подготовлен для тюремного сидения...

Тюрьма, как это ни странно, не развивает добрых товарищеских чувств; скорее, как никогда, усиливается эгоизм, может быть, от сознания того, что пятью хлебами нельзя накормить пять тысяч человек. При товарищеском дележе ты сам обречен на полуголодное прозябание. И все-таки господствующий эгоизм поражал — каждый думал только о себе.

Была и юмористика. Например, при мне уже несколько недель сидел какой-то молоденький подпоручик на том основании, что он-де великий князь Игорь Константинович. Ничего великокняжеского в нем не было — весь демократический облик подпоручика тому был свидетелем. И тем не менее он сидел, а, может быть, и погиб за свое кажущееся сходство по представлению какого-нибудь комиссара.

Юмористика в тюрьме всегда сопряжена с драматическими тонами. Как-то днем к нам привели странную фигуру, арестованную якобы на Кузнецком Мосту. Фигура была в состоянии явно невменяемом и звали ее Китом. Такова была фамилия этого вновь прибывшего. Он был весь избит и в крови. Вскоре он впал в обморочное состояние. Пришедший фельдшер привел его в чувство и заявил, что Кит просто пьян. Для отрезвления его отправили в одиночку, в одну из тех двух одиночек, которые находились в преддверии к ящику. Он буйствовал в этой одиночке всю ночь, распевая песни. И какие песни! Вдруг мы услышали блестяще выполненный на губах гимн за царя! Получивши соответствующее количество колотушек, он замолк. Тут началась комедия, действующими лицами которой явились и представители тюремной администрации. Бывают от природы юмористические фигуры — один вид которых возбуждает смех и желание у некоторых подтрунить над человеком. Даже незлобивая насмешка в тюрьме становится издевательством над беззащитным арестантом, если насмешка идет со стороны властью располагающих.

Надзирателями были два типа, отличавшиеся своей грубостью. Идеал «пролетаризации» был вполне достигнут. Один из них — латыш; другой — русский, о котором мне еще придется говорить. Это был до некоторой степени знаменитый «комиссар смерти» Иванов, впоследствии расстрелянный, кажется, за какое-то значительное воровство. Среди его функций был и вывоз людей на расстрел...

Оба стража решили позабавиться над Китом, присмиревшим после «отрезвления» и молчаливо взиравшим в небольшое решетчатое окошко, проделанное в тёсе. За столом сидел привилегированный заключенный, следователь ЧК Ильяшевич, посаженный за какие-то коммерческие аферы с одеколоном. Единственно, в чем сказывалась демократизация тюрьмы! — и свои попадали при аресте в те же условия, что и противники советской власти. Ильяшевич был явно человеком ненормальным, производившим впечатление прогрессивного паралитика. Как привилегированному, как члену коммунистической партии и следователю ЧК, впоследствии вновь вернувшемуся к выполнению своих обязанностей (надолго ли? — не знаю), Ильяшевичу была дана бумага и разрешено было писать объяснения начальству. Он сидел целую ночь и строчил, строчил с упоением, вскакивал, ерошил волосы, бегал, присаживался, вновь вскакивал. И писал, писал всю ночь! Те, кто не мог спать, видели это усиленное творчество через отворенную дверь.

«Это он на тебя строчит донос» — подзуживает Кита «комиссар смерти». Кит входит в раж, но одиночка заперта, и Кит бессилен противодействовать доносу. Под утро открывают одиночку.

— Смотри! сколько он на тебя настрочил.

Освобожденный Кит, тихонько подкравшись к увлеченному писательством следователю, быстро выхватывает листы и рвет их на мелкие кусочки. Пропал весь ночной труд. В ярости бросается Ильяшевич на Кита, и начинается

потасовка, вызывающая хохот у администрации и, к сожалению, у части заключенных.

Существовало когда-то предрассудочное убеждение, что будто бы советская власть обрушивалась преимущественно на буржуазию. Будущая тюремная статистика, конечно, покажет иное соотношение цифр. Уже тогда, когда я только что начинал эру своих тюремных сидений, едва ли 10 % интеллигентных сидельцев набралось бы среди всей массы арестованных[68]. Эта толпа была в достаточной степени некультурна и охоча до развлечений в серой, будничной тюремной обстановке.

Ильяшевич и Кит сделались объектами посмешища и издевательства не только скучающей администрации, но и скучающих заключенных. Сказывалась и другая черта толпы, приспособляющейся ко вкусам начальства. Последнее веселилось; веселье происходило по его инициативе — следовательно, участие и потворство его выходкам будет своего рода подлаживанием под начальственный тон. Таким образом значительная часть многошумной камеры приняла участие в комедийных действиях.

Ильяшевичу вновь дана была бумага, вновь он писал свои бесконечные объяснения. А Кита подзуживали:

— Это он на тебя пишет донос! — Ловкий скачок! вновь написанное в руках торжествующего Кита, и вновь все подвергается уничтожению. Так было до трех раз. Последняя схватка стала переходить уже границы возможного, так как боевые настроения слишком навалились.

---

[68] На Лубянке сидели: 1) осужденные за воровство; 2) задержанные за пьянство; 3) фальшивомонетчики; 4) политические; 5) преступ. по должности; 6) спекулянты. Спекуляция — очень часто сознательная провокация: являлись к кому-либо с спекулятивным предложением от ВЧК. Шедшие на это арестовывались. Бывало тоже, что представители ВЧК были фальшивые. Когда это выяснялось, то тем не менее арестованные продолжали сидеть.

— Ну, довольно!

Но грозный окрик начальства уже не способен был остановить петушиный бой.

— Расходись по местам! Вы, сволочи! Будет драться!

Комиссары растащили вцепившихся друг в друга Ильяшевича и Кита.

Уже не помня себя, Кит бросается на комиссара:

— Что же и тебе захотелось!

Был поруган авторитет начальства. Бедный Кит! Тут же на месте началось жесточайшее избиение Кита револьверными рукоятками. Оба комиссара проявляли достаточно энергии. Толпа, только что участвовавшая в комедийных действиях, служивших для ночного развлечения скучающих комиссаров, молча взирала на расправу. Я не мог больше выдержать! И вмешался, потребовав прекращения безобразной сцены. В противном случае я немедленно требовал вызова коменданта.

— Ну ты, молчи, не в свое дело не вмешивайся!

Несмотря на сей грозный окрик, избиение прекратилось, и Кита потащили в одиночку. Избиение прекратилось! Как действительно опасно вмешиваться при бессилии что-либо сделать. Затворили дверь. Мы не знаем, что там происходило за нашими глазами. Слышались только раздирающие душу крики Кита, стоны. — Наступила тишина...

Когда через час, другой мы проходили в уборную мимо одиночки, где заключен был Кит, мы видели только его залитую кровью рубашку...

Не знаю, что было дальше... Меня вскоре увезли в Бутырки.

До перевоза в Бутырки я был допрошен «следователем», неким Шпаровским, довольно тупым господином. Он, по-видимому, не знал об условиях моего ареста и допрашивал меня только внешне, чтобы выполнить формальность (я принадлежал всегда к числу тех немногих, по отношению к которым соблюдались эти узаконенные

формальности), пользуясь протоколом моего первого допроса. После обычного вопроса, который задавали следователи: в чем вы обвиняетесь? следовали вопросы об иностранном десанте, о Локкарте и т. д. Была и отсебятина у Шпаровского: «Как вы относитесь к социальной революции?» — спрашивает Шпаровский.

— Окончимте официальный допрос, и я охотно расскажу вам о своих точках зрения.

— Допрос окончен.

— Я не верю в возможность социальной революции в Европе.

— А как же об этом пишут «Известия». Следовательно, вы не верите им?

Я мог только расхохотаться на эти наивные следовательские сентенции, которые, по-видимому, были произнесены с полной искренностью и убежденностью...

Увезли меня в Бутырки уже в общем порядке, в закрытом тюремном автомобиле, где, как сельди в бочонке, были напиханы арестованные. Двадцать минут переезда были мучительными минутами для некоторых — один пожилой военный впал в обморочное состояние от духоты в карете, где люди стояли, сидели и лежали друг на друге вперемешку с вещами. Из кареты вылезли совсем обалделыми...

В Бутырках я попал в так называемый пересыльный корпус, наименее приспособленный для долгого тюремного пребывания. Здесь не было коек. Лежать приходилось на сплошных, низеньких деревянных нарах, расположенных на ½ аршина от пола. Состав камеры семьдесят пятой, по своему социальному положению крайне пестрый, был небезынтересен с бытовой стороны. Прежде всего целый штаб какой-то красногвардейской части — человек 7–8. Это громкое наименование можно было применить только с большой осторожностью к группе, которая предстала мне; во главе полуинтеллигент лево-эсеровского направления и ряд типичных писарских физиономий старого полицей-

ского участка. Далее рязанский губернский политический комиссар — разудалый молодой матрос; латышский стрелок — следователь по делу Кокошкина; областной, кажется, тверской комиссар — молодой латыш; еще 2–3 латышских стрелка и среди них «племянник» самого Стучки. Три типичных, мелких уголовника, три представителя буржуазии — инженер, занимавшийся шоферным делом, помощник бухгалтера — тип молодого человека из галантерейного магазина, едва ли имевший хоть косвенное отношение к политике, думающий только о прическе и своей невесте; конторщик мебельного магазина.

И, наконец, три представителя старой полицейской власти. Немолодой уже жандармский полковник, командовавший полицейскими нарядами при императорских театрах; помощник пристава — разбитной паренек, по виду продувная шельма и латыш — исправник в одной из прибалтийских губерний.

Группа латышских стрелков в коммунистической тюрьме являла собой исключительный интерес. Упомянутый областной комиссар, попавший, по-видимому, в тюрьму за свои комиссарские художества, обладал значительными деньгами. Он сам хвастался, что при аресте у него отобрали 100 тыс. — в то время деньги еще весьма значительные. Он получал с воли огромные передачи. Ему приносили целые сиги — для того уже времени являвшиеся редкостью и деликатесами в Москве. Он все это поглощал один, изредка делясь с «племянником» Стучки. Вообще латыши коммунисты проявляли в тюрьме весьма относительный коммунизм. Моим соседом по нарам был как раз тот матрос, который состоял рязанским политическим комиссаром. Здоровый малый отвратительно себя чувствовал на голодном тюремном пайке. Пришлось мне его подкармливать, за что рязанский комиссар, недавний областной помпадур, бегал для меня за кипятком, был подобострастно и назойливо услужлив без надобности, так

что это было только противно. Он мне рассказывал, как у него все было хорошо — никаких насилий; поэтому он и пострадал. Позже я узнал, что этот матрос был взяточник, прославившийся своими действиями в Рязани. Это был зверь, расстреливавший собственноручно в Елатьме заподозренных в контрреволюции. В тюрьме это был зверь ручной. И при встрече с такими людьми не знаешь, где граница хамства природного от наносного влияния тлетворной демагогии, где подлость людская граничит со слепым непониманием... Но во всяком случае это был один из вершителей судеб отечественных, один из исполнителей всякой власти, один из тех, на которых власть вынуждена была опереться.

Не менее типичен был латыш-исправник. Он изводил меня своими расспросами: расстреляют ли его или нет.

Кто побывал в большевицкой тюрьме, тот поймет, как тяжелы эти расспросы политических обывателей. Суждения писателя и общественного деятеля им кажутся более убедительными и авторитетными. И вот начинается выпытывание, способное измочалить всю душу. — «Нельзя расстреливать только за то, что я был исправник. Я всегда защищал коммунистов». И тут же рассказ о том, что вчера расстреляли такого-то. «А меня, как вы думаете, расстреляют или нет?» Его не расстреляли, — он сумел приспособиться к режиму и занять соответствующий пост. Когда сидишь в камере с людьми, являющимися кандидатами на расстрел, чувствуешь не только моральный ужас, но и всю бессмыслицу террористической системы, и особенно в том ее виде, как она с самого начала применялась большевиками.

(Январь 1923 г. записано)

Запомнилась отчетливо фигура театрального жандарма. Молчаливо сидит он на своих нарах и вяжет чулок. Более безобидную фигура трудно себе представить. Помощник пристава за ним ухаживает, как за больным дитем. И вдруг вызов в город без вещей днем. Побледнел, но все

его успокаивают — раз днем, то это на свободу. То же подтверждает и страж... Перекрестился старик. Вчера от жены получил записку, что ей обещали скоро его выпустить; ведь он не политический жандарм. Почему без вещей? копошится в сознании. Но ведь днем — следовательно на допрос...

На другой день пришли за вещами полковника, его освободили; жена пришла за вещами. А через день узнаем, что наш сосед расстрелян. Почему? и почему именно он, когда страдная пора расстрелов уже прошла?

Мне хотелось уйти из этой камеры. Я уговорил надзирателя свести меня в ту камеру, где я был, где остались мои книги и вещи. Пошел за погребцом. Красноармейцы были на месте, но Назарианц переведен был в одиночку. Пошли и туда, и неожиданно появился перед форточкой камеры Н., немного поговорили. Я решил искать возможности быть помещенным в одиночку. Но это очень трудно было — нужна была протекция, болезнь или особое предписание о заключении в одиночке.

За керенку удалось снестись с женой. От нее записка — «переходи в больницу, подай заявление старшему врачу»[69]. Я привык слушаться того, что предписывают с воли. В больницу не хотелось идти. Все рассказывали о ней ужасы. Придется быть вместе с уголовными. Тем не менее к врачу пошел. Он был уже предупрежден и, когда я сказал о болезни, был отправлен в больницу. Врач намекнул, что там будет не так плохо.

Итак, с одного двора на другой — через глухую стену, которая отделяет тюрьму от больницы. В ней свой штат, своя администрация, свой заведующий. В первый момент страх взял, когда пришлось раздеться, отдать башмаки, надеть рваный, отвратный, грязный халат и пр. Смерили температуру, и фельдшер направил в палату № 10.

---

[69] Ныне покойный доктор И. А. Голубенцов, очень много делавший для заключенных (*П. Е. М.*).

Здесь я все понял. Это была привилегированная палата для политических заключенных, которую создал врач. Как это терпелось до поры до времени — Аллах ведает. Я сразу увидел знакомых: Флерова[70], молодого К., еще двух врачей, бывшего губернатора, бывшего жандармского начальника, молодых офицеров и т. д. Я получил хорошую койку у окна, принесли мне чистый халат, и я почувствовал себя человеком. Вскоре переведен был сюда А. А. Кизеветтер. Зажили мы сообща.

Была прекрасная осень. По утрам нас водили гулять в садик при больнице. Было холодно в туфлях, в халате; с большим трудом удалось получить свои башмаки. Остальное время читали и работали. Иногда мы чувствовали, какой ужас попасть в камеру с уголовными, которые помещались под нами. Однажды ночью они так разбушевались, что стоны и крики были слышны несколько часов. Казалось, что кого-то убивают, но никто не приходил утихомирить волнение...

Но я хочу говорить только о тех специфических чертах, которые выявляла большевицкая тюрьма. Прежде всего о составе камеры и о других соседях. На прогулке мы встречались с этими соседями[71]. Можно отметить колоритные фигуры двух «коммунистов». Один из них «художник» Селезкий, кажется, нарисовавший какую-то символистическую картину большевицкого рая, назначенный вначале «комиссаром» по делам церковным, а затем заведовавший банями на фронтах. Над этой юмористической фигурой издевался другой коммунист — небезызвестный Кремнев,

---

[70] Случай с директором гимназии Флеровым: арестовали педагога Баркова, он написал открытку с Лубянки Флерову. Арестовали Флерова. Баркова выпустили через неделю, а Флеров сидит два месяца. Дело потеряно.

[71] Например, Ремнев — инициатор всех протестов. (Провокация перед празднеством — предложение голодать).

первый покоритель Киева, попавший в тюрьму за какие-то художества и, кажется, за чрезмерность насилий в дни своего командования. Здоровый, ражий мужчина, который в компании занимался тем, что раздевал догола Селезкого и пускал его в мороз гулять. Гоготали и коммунисты-арестанты, гоготала и «коммунистическая» стража.

С нами в камере сидел один примечательный человек: Варнава... Иван Александрович Варнава убеждал, что он не тот Варнава, что с Распутиным. Передачи ему были через Решетниковых[72]. Он служил по субботам всенощную. Поминал большевиков. Я указал ему на это — «Да эта власть от Бога, власть народная. Подлая власть Временного Правительства». Все время сам подходил ко мне с крестом...

Однажды меня вызывают в контору. Там встречаю я незнакомого мне человека вида просвещенного европейца с комендантом ВЧК. Человек приподнимается при моем входе и говорит:

— Позвольте вам представиться. Вот при каких обстоятельствах я имею удовольствие с вами познакомиться. Я получил от В. Г. Короленко письмо с просьбой о вас. Я с удовольствием беру вас на поруки. Через несколько дней вы будете освобождены. За мнения наше правительство не преследует, а то бы пришлось держать десятки тысяч людей.

Это был Раковский.

Беседа наша была незначительна, но она имела магическое действие на окружающих. Свидание было при коменданте. Заключенный, у которого в тюрьме был сам министр, чего-нибудь да стоит. Через несколько дней я получил вызов в ЧК с вещами. Приезжает сам комиссар смерти Иванов. Он, как я говорил, возил людей для «земли и воли», так именуют в тюрьме расстрелы. Любезен до

[72] У Решетниковых нередко останавливался Распутин, приезжая в Москву (*П. Е. М.*).

чрезвычайности; сам помогает донести вещи до автомобиля. — «Я должен был вчера ночью приехать, но не хотел беспокоить: не за одними расстрелами я приезжаю».

И вот я опять в ВЧК. Тот же комендант встречает, как своего друга.

— Товарищ Мельгунов к товарищу Козловскому. — Некому меня вести. Есть одна только женщина.

— Ну, товарищ Мельгунов свой, он может и один дойти.

Меня повела женщина. Эта вольность позволила мне присутствовать при интимной сцене. Привела меня эта женщина наверх, ввела в какую-то комнату и пошла доложить. Там сидело 3–4 «товарища». Видя меня в сопровождении женщины, приняли почти за своего. Они вели оживленную беседу.

— Отчего был переполох сегодня? Не знаешь, в чем дело?

— Да все эта статья в «Еженедельнике» о пытках.

Я не понимал в чем дело и слушал, ожидая интересного (дело касалось знаменитой статьи в № 3 «Еженедельника», наделавшей шума, как я понял). Заметив это, они спросили, кого мне надо. Я сказал — никого. Я арестован.

Каково было их смущение!

— Зачем же вы здесь?

— Не знаю.

— Пойдите в коридор и ждите там.

Я минут 15 ждал в коридоре один, и опять был соблазн улизнуть. Но казалось это глупым.

Наконец, ко мне вышел толстенький «буржуйчик» довольно неприятного вида. Это и оказался Козловский, которого я увидел в первый раз[73]. Его хихиканье, его ласковость со

---

[73] Козловский — представитель комиссара юстиции Курского в ВЧК, т. е. в Контрольной Комиссии. Контрольная Комиссия могла не утверждать арестов, но не имела права вмешиваться в приговоры.

стремленьем подсидеть производили столь отвратительное впечатление, что я еле сдерживался, чтобы не сказать дерзость.

— Я должен вас дополнительно допросить. Надо выяснить один вопрос, оставшийся неясным после первого вашего допроса. Поэтому и вынуждены были вас еще раз арестовать. — Когда он стал говорить, что н.-соц. призывают иностранцев, я не мог удержаться от того, чтобы не сказать, что это делают большевики, которые опираются на немцев и латышей[74]. Задавая те же, что раньше, вопросы, он вытащил какую-то стенограмму, найденную у меня при обыске. Никакой стенограммы в действительности у меня не было. Я так и не знаю, случайно ли она попала в мою папку или сознательно.

— Раковский сказал, что я буду освобожден.

— Да, но надо выяснить еще некоторые детали.

— Неужели опять идти в этот клоповник?

— Хе, хе! Ну, на несколько часов, может быть, до завтра.

Опять я в клоповнике. Он, конечно, мало изменился. Вот сидит молоденький офицер, которого принимают за в. кн. Игоря Конст. Здесь я увидел Малиновского. Он похож был на водовозов в своей шерстяной вязаной рубашке. Он все писал объяснения и не ожидал, что будет расстрелян. Он им поверил, что простят.

Проходили дни, меня не вызывают и не освобождают. Ужасные пять дней. Наконец, назначают на отправку в Бутырки. Но комиссар по собственному почину оставляет — «что вас возить, ведь вас сегодня, завтра освободят. Наведу справку».

Очевидно, навел и отправил опять в «черном вороне» без почета. Но все-таки слухи шли со мной. Мне удалось

---

[74] Это и было роковое. Если прежде ни за что не хотел меня выпускать Петерс (буржуазная мысль Раковского по его мнению), то теперь явился Козловский...

избежать чистилища дезинфекционной и опять сразу попасть на старое место в больницу.

Опять началась старая жизнь, которую нарушали неприятные осложнения — обыски, появления комиссара смерти Иванова и т. д.

Пришел, наконец, момент, когда меня выпустили.

III. В Особом Отделе

Начало весны 1919 г. Привычно ждать обыск и арест ночью. Поэтому вечером сидишь спокойно. Канун шестой недели Великого Поста. Звонок... И сразу определяешь, что тебя пришли арестовать. Невзрачного вида комиссар — типа из сыскной полиции — с двумя красноармейцами.

— Руки вверх.

Личный обыск.

— А мы вас ищем с пяти часов.

Предъявляют ордер об «аресте служащего в «Задруге», находящейся по Крестовоздвиженскому пер.». Приехали туда и постепенно в поисках указанного «служащего» добрались до меня. Необычайный ордер свидетельствует о чем-то странном. Меня слишком хорошо знали большевики, чтобы писать об аресте «служащего» «Задруги». Совершенно очевидно, что арест не связан с моей непосредственной политической работой.

Опять библиотека и архив ставят исполнителей власти в трудное, непредусмотренное положение. Как обыскать? Ведь здесь просидишь неделю. Звонят в Особый Отдел за инструкциями, но там по раннему времени никого еще нет. Как быть? Предлагаю, по примеру бывшего прецедента, просто запечатать комнаты до выяснения обстоятельств. Я знаю, что это, может быть, лучшее средство избегнуть тщательного обыска. После некоторого колебания и поверхностного обыска соглашаются. Но возникает затруднение. Не предвидели возможность такого казуса —

не захватили печать. С некоторым легкомыслием и поспешностью предлагаю запечатать печатью масонской ложи «Астрея». Это оказалось, как я уже рассказывал, чреватым последствиями. Возникло подозрение, что я масон.

Формальность совершена. К счастью к этому времени приходит жена и быстро собирает нужное в дорогу — длинную или короткую, кто знает. Комиссар, как всегда, считает нужным советовать — ничего не брать:

— У нас кормят хорошо, не как в ВЧК. Да ваше дело пустяковое — через 2–3 дня выпустят.

То, что у комиссара нет автомобиля, и сам комиссар какой-то общипанный, убеждает еще больше, что тот, кого хотели арестовать, в сознании властей не ассоциируется со мной. Приходится плестись пешком с тюком вещей. У Никитских ворот попадается извозчик, который к своему несчастию должен нас везти даром. Впрочем, недалеко.

Особый Отдел, в то время только начинавший развертывать свою деятельность, помещается близко к Знаменке в Малом Знаменском пер. в доме Петрово-Соловово. Дом хорошо знакомый, там в нижнем этаже жил историк Готье.

По дороге комиссар, типа старого служащего из сыскного отделения, вступает в откровенную беседу.

— Прежде лучше было служить. Знаешь, за чем посылают.

— А вы где служили?

— В контр-разведке.

Механически из старой контр-разведки перешел в Особый Отдел, ведающий политическим сыском в армии, поэтому и помещающийся около Александровского Училища — Главного Штаба.

В Особом Отделе все еще примитивно, патриархально. Принимают арестованного какие-то заспанные юноша и девица с весьма поверхностным обыском. Время — полночь; ведут в тюрьму.

Патриархальная тюрьма Особого Отдела в то время была своеобразным учреждением. Представьте себе небольшую комнату в маленькой чистой квартирке во дворе в три комнаты с кухней — вероятно, прежняя домовая контора. Тюрьма — не тюрьма. Население, как всегда, смешанное. Стража исключительно латышская — грубая, жестокая, но в то же время и добродушная.

Все уже спят или лежат на койках. Вижу близкого человека Н. А. Огородникова. О своем знакомстве не показываем вида. Через некоторое время подходим к друг другу только обменяться впечатлениями.

Н. А. Огородников, связанный непосредственно с военной организацией, влип совсем глупо со своей психологией человека, далекого от конспирации, с психологией нежелания скрываться. Этот предрассудок у многих из нас был силен. Он жил в Трубниковском пер. один в квартире. Возвращаясь ночью, видит свет у себя. Ясно, что там засада. И все-таки идет. Оставить тюрьму ему уже было не суждено. Очень заносчивый первые дни, уверенный, что его выпустят, через неделю он был совсем уже другой... По отношению к Кедрову[75] Н. А. Огородников был в особом положении. Он спас его брата когда-то. Может быть, это и спасло его жизнь в то время. Он был увезен в Бутырки для того, чтобы через ½ года быть расстрелянным попутно в связи с делом Н. Н. Щепкина...

С нами сидит военный герой, арестованный за какие-то недоразумения. Его Огородников пытается распропагандировать. Он кажется ему честным воякой из новых людей... Здесь же какой-то старый артист — из какого-то увеселительного учреждения. «Коммунист», ухитрявшийся из Особого Отдела ездить с латышами к себе на квартиру. Он был большой их друг и веселил стражу. Он,

---

[75] Начальник Особ. Отдела.

действительно, неподражаемо пел интернационал. В соседнюю комнату привели женщину-латышку, жену одного из служащих в Особом Отделе, обвиняемую в службе в Охранном Отделении. Ее навещал муж, друзья его, служащие в Отделе. И иногда они в тюрьме устраивали пьяную какофонию; помню, решили печь блины. И всю ночь шло гулянье в соседней комнате.

Как это мало напоминал Особый Отдел через ½ года.

Когда нас было пять человек, сидеть было сносно. Но когда в эту малюсенькую комнату приехало несколько десятков арестованных в Твери курсантов, легко себе представить, что это было.

Дело подходило к Пасхе. Была чудная погода. Нас выводили гулять во дворик Петрово-Соловово, чтобы наколоть дрова — сами топили, — заставляли чистить двор. Как впоследствии оказалось, это была обязательная работа. Чистку двора мы принимали за своего рода любезность (легко себе представить атмосферу в нашей переполненной комнате), и с чрезвычайной охотой 2–3 часа работали.

Патриархальность сказывалась во всем... также патриархально расстреливали...

Почему меня арестовали? Из допроса на другой день следователя Ивановского, допроса чисто формального, выяснить не могу.

Во главе Особого Отдела стоял тогда Кедров. Через день меня вызывают к нему. Тут выясняю, что арестован я по оговору полковника Ткаченко[76], который показал, что через меня у него и его организации установились связи с московскими политическими кругами. Кедров со своей откровенностью дает прочесть показания Ткаченко. Он погиб, и ничего плохого теперь о нем говорить не хочется.

---

[76] О Ткаченко С. П. говорит в первой половине своих воспоминаний 1918 г.

Но, прочитав показания Ткаченко тогда, я решил, что мне нечего его особенно оберегать. Его показания, перемешенные с ложью, с явным желанием получить искупление выдачей другого, заставили меня сказать правду в тех пределах, которые были известны следователям. Эта правда облегчала мое положение и отводила от опасных для меня подводных камней.

Я не отрицал знакомства моего с Ткаченко. Этот полковник появился на горизонте московском в дни революции. Проявлял активность... Постепенно он исчез с влиятельных постов. И после захвата власти большевиками вновь выплыл во главе уже военной организации, которая примыкала к с.-р. Как я говорил уже раньше, с рекомендацией с.-р. Ткаченко явился ко мне для того, чтобы я его свел с другими общественными организациями. Я это сделал, оговариваясь, что Ткаченко мне лично не внушает полного доверия. Он был у меня раз, был в сущности в редакции «Нового Слова», помещавшейся в нашем («Задруги») помещении.

Приблизительно это я и показал, отметив, что едва ли можно доверять показаниям Ткаченко. В силу некоторой несуразицы в его показаниях, мне удалось поколебать Кедрова. Одновременно с показанием Ткаченко поступило другое показание. В помещении, соседнем с «Задругой» и объединенном с ней одной общей входной дверью, была обнаружена какая-то «конспиративная квартира», весьма сомнительного свойства — скорее спекулянтского характера. В сознании Кедрова оба доноса, обе квартиры объединились в одно, и мне нетрудно было показать территориально несуразицу всего этого.

Мое дело осложнилось пресловутым масонство...

Мне удавалось довольно просто переписываться с женой. Кедров разрешил получать книги. Я писал несуществующие названия книг, упоминая какие-нибудь понятные для жены слова в заголовке. Она понимала, что надо спрятать. В этом отношении я был счастлив и в это

время и в будущем. Большевики были еще неопытными сыщиками и всегда дрейфили.

При запечатывании комнат им никогда не приходило на мысль, что они оставляют лазейку... Пять комнат у нас были заняты архивом и библиотекой. Я всегда хранил у себя всю нужную переписку, хранил в третьей комнате, не без основания думая, что, дойдя до третьей комнаты, обыскивающие устанут, потонут в груде бумаг. Действительно, надо было сидеть две недели нескольким человекам.

Из второй комнаты в переднюю выходила дверь со стеклянным верхом. Дверь с обеих сторон была заставлена шкафами с книгами. И эта дверь никогда при 21 обыске не была обнаружена. Пролезать через нее нельзя было, ибо пришлось бы отодвигать шкафы, которые естественно можно было бы поставить на старое место только с одной стороны. Но можно было вынуть стеклянный верх двери и пролезть через него на верх шкафа с другой стороны двери. Это и делалось систематически, и систематически моя жена изымала то, что не должно было попадаться в руки большевиков.

Из Особого Отдела я давал ей соответствующие указания. Всегда мы хотели условиться о шифре и всегда забывали это сделать. Но к счастью потом у меня ничего не попадалось, что могло бы инкриминироваться. И то, что большевикам могло быть интересно, впоследствии мне еще при себе удалось переправить заграницу.

Мое сидение в патриархальной тюрьме, именно в силу ее патриархальности могло бы закончиться трагически, если не подоспело бы освобождение.

Я просидел 10 дней, и меня выпустили под поручительство Степанова (Скворцова) и Керженцова, взяв обязательство о невыезде. Как это ни странно, в моем освобождении большую роль сыграл Г. Алексинский, сам только что выпущенный после долгого, мучительного сидения, голодовки, болезни и пр...

IV. Год в тюрьме

Я пишу свои воспоминания о тюремном быте и о том, что связано было с тюрьмой. Мое участие в борьбе с большевиками когда-нибудь будет описано в ином месте и в другой конъюнктуре. Моя деятельность была тесно связана с Н. Н. Щепкиным, хотя лично я никогда никакого непосредственного отношения к каким-либо военным организациям не имел. С лета 1919 г. мы все ходили под угрозой. Провал петербургской организации[77] ставил нас под удар. Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком беспечно и открыто, как показывает дело Н. Н. Щепкина. На его квартире, бывшей штаб-квартирой «контрреволюции», несмотря на все предпринятые предосторожности, попалась масса людей. (Щепкин был убежден, что погибнет.)

27 августа 1919 г. арестован был Н. Н. Щепкин. Я собирался поехать на другой день отдохнуть в деревню к знакомым. Но пришел один из друзей предупредить, что Щепкин арестован. Я хотел остаться, ибо уверен был, что в ближайшую ночь меня арестуют. Не являлась даже мысль о переходе на нелегальное положение, бегство. Но жена уговорила все же не откладывать нашей поездки. Мы не ошиблись: на другой день мы получили известие, что ночью из ВЧК и МЧК, очевидно, не сговорившись, приехали меня арестовать, и на квартире оставлена засада. Нетрудно было догадаться, где мы. Не желая доставлять беспокойство хозяевам... мы тотчас же снялись с места и отправились пешком в ближайший монастырь, где были знакомые. Через час, другой после нашего отхода прикатил действительно автомобиль с чекистами. Напали на наш след... но дальше следы наши затерялись.

---

[77] Арест Штейнингера, председателя этой организации, и ряда других членов ее в засаде на его квартире (*П. Е. М.*).

Через несколько дней приехали в Москву[78].

Узнали, что в наше отсутствие был обыск в «Задруге». Арестовали более 60 человек — искали, конечно, только меня — их выпустили. Разгром петербургского отделения «Задруги». Обвинение в сношениях с Антантой. На квартире сидела засада. Если бы сняли засаду, мы вернулись бы к себе. Но идти и добровольно отдаваться в ЧК как-то психологически было невозможно.

Решили меня отправить подальше в деревню[79], где я бы прожил до времени. Здесь навещали меня некоторые друзья, жена. Это было тревожное время. Подходил Деникин. Мое пребывание могло казаться подозрительным. Большевизм качался. Расправа с Н. Н. Щепкиным (и другими в подвалах ГПУ)... Устроил себе паспорт на чужое имя и, прописав его, я решил переехать в Москву. Так началось мое нелегальное бытие, продолжавшееся ½ года.

В те дни жить в Москве на нелегальном положении было трудно. Шли массовые повальные обыски, оцепляли целые кварталы по очереди и производили поголовный обыск. Оцепляли районы и проверяли документы. Ловили дезертиров. Ходили проверять по квартирам. Накладывали функции слежки на домовые комитеты, которые арестовывались за малейшие провинности. Одним словом, сыск опутал все. Первые месяцы приходилось тщательно скрываться. Мы сняли с женой 2 комнаты у знакомых наших друзей. Старшие (хозяйка квартиры и ее золовка) знали, почему и кто мы. И это был подвиг с их стороны в те дни. Для упрочения решили вновь жениться. Я был

---

[78] Мы сошли на последней перед Москвой остановке, так как нас предупредили, что на вокзале в Москве нас поджидают чекисты. Через Петровско-Разумовское мы вошли в Москву, минуя московский вокзал (*П. Е. М.*).

[79] Под Серпухов, к знакомому доктору, заведовавшему земской больницей.

бухгалтер, числился на заводе и в другом учреждении, жена курсистка (тоже с чужим паспортом). Страшно было прописывать паспорта. Но сошло благополучно. Я совершенно изменил свою физиономию — вид англичанина. Выходил по вечерам. Днем работал. Книги по александровскому времени у бухгалтера, — как-то все проходило благополучно. Наступила ранняя зима. Принудительные работы. Большое знакомство — большая опасность. С зимой стало тяжело. Маленькая комната. (В большой в углах лежал снег). Мороз. Дым от печурки с трубой, выведенной в форточку.

Поддерживал общественные отношения — хотя делать было ничего нельзя. Бессмысленность нелегального положения. Бессмысленность бегства...

Поражение Деникина.

Поддерживали сношения с квартирой. Жена каждый день ходила к своим. Я — по воскресеньям. Оттуда возили дрова — у нас не было. Жгли книжные полки. Сестра сидела у нас на квартире в засаде, оттуда ходила девочка прислуга. Никто никогда ее не видел, ни разу не остановили... Написал письмо Степанову (Скворцову) — можно ли появиться?..

Снятие засады. Осмелел. Стал появляться в «Задруге». Даже у Воровского (в Госиздате) был. Дело, говорит он, ликвидировано.

Смерть в Бутырской тюремной больнице В. В. Волк-Карачевского[80].

---

[80] Василий Васильевич Волк-Карачевский, наш друг, член народно-соц. партии, был арестован в засаде у Ник. Ник. Щепкина при разгроме штаб-квартиры последнего 27 августа 1919 г. Вас. Вас. спасло от расстрела в сентябре то, что он явился к Н. Н. с тестом, чтобы по соседству испечь хлеб — у Волк-Карачевских печки не было. Он попал в тюрьму. Но сердце его не выдержало ночных допросов, на которые его возили из Бутырок чуть ли не еженощно (П. Е. М.).

Стал я появляться на квартиру. Мы праздновали Рождество, устроили елку, и даже были гости. Решили, что переедет жена. Ничего. Я стал через день приходить. Ничего. Прописалась жена. Ничего...

Посещение Керженцова...

Посещение Рязанова...

На этом обрываются воспоминания С. П.

Посещение Керженцова, которое С. П. уже не записал, но о котором он тогда же рассказал мне, привожу с его слов: зашел он на службу к Керженцову (Платону Лебедеву, близкому товарищу по гимназии) с просьбой узнать, можно ли вернуться к легальному бытию. Керженцов предложил сейчас же позвонить Дзержинскому. На его телефонный вопрос Дзержинский что-то очень энергично ответил, так что С. П. увидел, как густо краснеет Керженцов. Повернувшись к С. П., он сказал: «Уходи скорее, он требует, чтобы я тебя арестовал!..»

Чтобы закончить намеченное С. П. описание: «Год в тюрьме» и «Пятый арест», мне приходится, выполняя волю его, привести отрывки из своих воспоминаний, написанных тоже в 1923 г. и прочитанных Сергеем Петровичем.

Продолжение по воспоминаниям П. Е. Мельгуновой

Приблизительно 10 февраля (20 г.) были арестованы Щепкин Дмитрий Митрофанович и Леонтьев Сергей Михайлович. С. П. толковал этот арест в связи с процессом Самарина. Он решил «проверить свое положение через Рязанова». Последний назначил ему свидание 17 февраля... От него С. П. должен был пройти в «Задругу», а потом решил идти домой, где мы с А. ждали его. Около 9 час. он пришел и сообщил, что Рязанов считает, что он может спокойно легально жить на своей квартире, что он (Рязанов) наводил справки.

Около 10 часов раздался звонок, я открыла — ...высокая блондинка. «Дома С. П. М-в». «Он в это время не принимает». «Мне по спешному делу»...

«Это латышка чекистка» — сказал С. П., выпроводив ее. «Уйдем через черный ход». — «Нет, все равно, авось так скорее все выяснится, и можно будет жить легально», — не успел он кончить, опять звонок. За мною следом в переднюю выходил С. П., за нею — входил комиссар ЧК, «Вот гражданин Мельгунов», — указала она ему на С. П. «Меня нечего было опознавать, я у себя на квартире и не скрываюсь», — заявил С. П.

Комиссар вытащил бумажник и протянул ей «косую» (так назывались ленинские тысячные билеты). «Мало!» — «Довольно, и вы мне больше не нужны», — ушла, недовольная. «Где у вас телефон?» — звонит: «Застал здесь, пришлите стрелков, я жду!»

Уселись мы все кругом чайного стола, комиссар против меня, положив револьвер на стол. Водворилось глубокое молчание. Наконец раздался властный звонок, комиссар бросился открывать, через минуту на пороге в театральной позе, держа руку на рукоятке нагана, остановился следователь или особо-уполномоченный Особого Отдела ВЧК. Он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчугой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами. Немедленно он попросил С. П. перейти в кабинет. После краткого опроса там они вернулись. Всюду толклись солдаты. Тут он предложил собрать все необходимое в тюрьму. Спросила его фамилию, — Агранов, фамилия, мне ничего еще не говорившая. Наконец, все было собрано, мы простились, не подозревая, конечно, что на целый год. Агранов взял с собой своих стрелков, оставив с нами того первого комиссара-латыша и двух солдат. Комиссар должен был произвести тщательный обыск...

Наша печурка к утру напустила такой дым в комнату, что комиссар окончательно ошалел, а предстояло обыскать еще 6 комнат. Я сказала ему, что у нас обыкновенно все просто опечатывали. Он опять стал звонить по начальству, сказал, что совершенно болен и предложил опечатать. Там последовала санкция.

Часа в 4 дня, наконец, опечатали все комнаты, кроме спальни, ванной и кухни, проглядев большую дверь из спальни в столовую, завешенную ковром.

После каждого такого события, после ночи, суток или нескольких суток обыска, как было в последний (5-ый) раз, натянутые до крайности нервы всегда как-то падали, и трудно бывало сразу войти в новую колею, а это было необходимо и как можно скорее.

С первого же утра после ареста надо было добиваться права сделать передачу. Я прошла в этом отношении через все стадии ЧК первого пятилетия и, должна сказать, чем дальше, тем становилось хуже, хотя постепенно все более и более отливалось в какую-то форму, но форму нелепую, нарочито жестокую.

От первоначальных условий, когда, правда, царил полный произвол, веяло чем-то доморощенным, там всегда, понаблюдав немного, можно было найти более податливого, более мягкого человека и, претерпев крик и ругань, все же добиться своего; тогда не приходилось, как в 20-м году, путем огромных усилий доходить до высшего начальства, чтобы сделать внеочередную передачу. Ну, а летом 22-го года в комендатуре просто не отвечали — стена выросла до верху, и заглянуть за нее, не было никаких сил. То же происходило и с техникой передач и их содержимым.

Вообще не было хуже тюрьмы Особого Отдела ГПУ, которую сумели так усовершенствовать, что, действительно, стало абсолютно невозможно узнать хоть что-нибудь о заключенных.

Недели 3 не получала я ни словечка от С. П., наконец, мы с Александрой Львовной (Толстой) позвонили Агранову с просьбой принять нас, он назначил день, и мы, собрав большую корзину передачи, отправились. Говорить с Аграновым начала Александра Львовна, умевшая легко называть их всех «товарищами», умевшая их очаровывать и добиваться своего; я села в стороне, и с первых же слов мне стало ясно, что дело серьезное. «Вы и не знаете, в чем он замешен» — это был лейтмотив, о свидании не могло быть и речи. Вскользь Агранов спросил, почему А. Л. принимает участие в С. П. «Мы большие давнишние друзья», ответила она спокойно. Мы и не подозревали, что участь ее в эго время была уже решена; доклад-донос проф. С. А. Котляревского был в руках Агранова...

Потянулась длинная, томительная история от вторника до вторника, варьировалось только: «придите» с «позвоните». В свидании Агранов отказывал. Это было Великим Постом.

Приблизительно в середине марта атмосфера вокруг «дела» стала сгущаться.

С. П. Симеон, адвокат, наш друг, отправившись к своему бывшему товарищу комиссару юстиции Д. Курскому, вернулся очень расстроенный: «Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым Отделом, это — еще хуже».

В это время была уже арестована Александра Львовна, «дело» все усложнялось.

Наконец, 27 апреля, во вторник на Фоминой, мне дал Агранов первое и последнее свидание за все полгода сидения С. П. во внутренней тюрьме Особого Отдела ГПУ. Этому свиданию предшествовала более чем часовая «беседа» попросту допрос, которому меня подверг Агранов. — «Скажите, где спрятан архив Национального Центра?» «Не

знаю». «Нет, вы знаете». «Не знаю», и т. д. Все одно и то же. «Значит, мне придется вас арестовать — посидите, заговорите! — Во всяком случае, я знаю, что у вашего мужа было три или четыре нелегальных квартиры». «Никогда не слыхала». «Вы говорите неправду... Ваш муж говорит, что архив у него дома, но я не верю, я знаю, что там ничего нет». Я молчала. «Но вы все же должны мне сказать, где архив, ведь я должен был бы вас давно арестовать, как соучастницу мужа; вы давали свою квартиру для заседаний Тактического Центра, вы исполняли их поручения». «Нет, не исполняла». «Я все знаю».

После долгого молчания я спросила, могу ли я все же перед арестом повидать С. П. — «Нет, ни в каком случае, лучше скажите». Опять замолчали...

«Подождите в канцелярии»... Минут через десять Агранов позвал меня: «Сейчас вам дадут свидание с мужем на 10 минут».

Лицо у С. П. было нездоровое, желтое, глаза красные от бессонницы. Многое надо было сказать, что выскочило из головы — Агранов достиг этой цели; все же успела шепнуть про темную роль С. А. Котляревского, которого уже выпустили, и о котором ползли странные слухи.

Больше до суда, т. е. до августа свидания нам не дали.

В конце июня я была арестована...

Книжный способ нашей нелегальной переписки доставил С. П. одно очень большое волнение — в его одиночку неожиданно посадили своего же якобы арестованного следователя ЧК — он, спросив разрешение, почему-то жадно набросился на книги, и вот С. П. целый день трепетал, что тот подсажен со специальной целью узнать способ сношений наших, и что он натолкнется на него в книгах. К счастью, к вечеру его увели.

Арестованы мы с З. были в 20 числах июня в комендатуре случайно и нелепо, когда пришли с передачей.

Должна сказать, что эту передачу С. П. получил, но только в 11 ч. вечера и так перерытую, что догадался сразу, особенно из-за 11 часов, что что-то случилось, и беспокойно ждал пятницы — следующего дня передачи.

В пятницу при обыске передач вещи, посланные мне, частью попали к С. П., конечно, по безграмотности стражи. Он по этим вещам с надписью для меня сразу понял, что я арестована.

Пока я числилась по делу комиссара Павлова, С. П., узнав это, был уверен, что меня быстро освободят, но когда он узнал о переводе меня в ведение Агранова, он запротестовал, заявив, что я не причастна к делу Тактического Центра. Агранов же не желал меня освобождать, и С. П. объявил голодовку, требуя моего освобождения.

Сидя во внутренней тюрьме Особого Отдела, я этого не знала, конечно.

Недель через 5, как-то после обеда в камеру вошел чекист: «М-ва с вещами». Провел в контору нач. тюрьмы Попова, там был только один помощник: «Распишитесь, на свободу». Попросила передать С. П. еду. «Не могу, его нет». — «Где же он?». — «Перевели». — «Когда?» — «На днях» — старается отвечать неопределенно... «Желаю вам к нам больше не попадать, не так-то легко отсюда выйти», любезно проводил он меня. Солдат сочувственно предложил отнести вещи. Прошли формальности комендатуры, «на свободу» радостно возглашал солдат, будто его освобождали, сам предложил еще позвать извозчика.

Семнадцать дней голодовки. Мучительно было, как рассказал мне С. П., первые три дня, когда томил голод, потом это кончилось, наступила полная апатия и все растущая слабость. На семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С. П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он якобы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал

к С. П. врача и взял с него обещание кончить голодовку. К счастью, в этот день Александра Львовна, к этому времени уже освобожденная, имела возможность передать С. П. несколько свежих яиц. Все передачи за время голодовки возвращались приносившим, приводя дома всех в отчаяние — объяснений не давалось. Яйца были приняты, и С. П. первые дни ел по одному в день, да есть и не хотелось. Его тут же, до моего освобождения, перевели в Бутырки — пешком, далеко — верст пять, с тюком вещей и главное книг. Откуда взялись силы? — так велик был подъем, радость вырваться из внутренней тюрьмы Ос. Отд. Солдат конвойный не торопил, и С. П. много раз вынужден был садиться на краю тротуара. Его сразу поместили в «изолятор» — нечто вроде «санатория» тюремного для поправляющихся и слабых. Там он попал к другу нашему и своему сопроцеснику, меньшевику, д-ру В. Н. Розанову[81], который принялся его энергично выхаживать (t° у С. П. при прибытии в «изолятор» опустилась почти до 34°, а ноги отекли, как бревна) — необходимо было восстановить очень быстро здоровье для предстоящего в середине августа «суда».

Перед «судом»

Предполагалось, что «суд» будет в начале августа, надо было все сорганизовать, и мы с А. М. Щепкиной принялись за дело. Потянулись переговоры с тюрьмой (вся «головка» процесса была в Бутырской тюрьме) — сношения наладились. Сговаривались о защитниках. С. П. никого не хотел. Мало было шансов, что их вообще допустят к защите.

---

[81] Владимир Николаевич Розанов, арестованный в Петербурге в августе 1919 г. в засаде у Штейнингера, перевезенный с другими в Москву, проведший несколько дней в камере смертников в Ос. Отд. ГПУ при бессудных сентябрьских расстрелах (гибель Н. Н. Щепкина, Штейнингера и др.), избежавший смерти благодаря ходатайству своего друга Каутского, затем привлеченный к делу Тактического Центра и заключенный в Бутырки, где он и работал, как врач, в тюремной больнице.

Адвокаты все же хотели познакомиться со следственным материалом. Пошли переговоры с Крыленко[82], который ни за что не согласился допустить к защите Симеона, да и на Тагера и Полянского не шел. Разговоров о Тагере и Муравьеве было без конца — с большим трудом они были допущены, то же и П. Лидов. Тагер договорился с Крыленко, что он разрешит нам снять копии со следственного материала. Мы с Щ-ой пошли к Крыленко в его роскошный особняк. «Кто будет работать?» «Сколько?» «Кто за них отвечает?» и т. д., сыпал он быстрыми вопросами. «Можете после закрытия канцелярии хоть все вечера, пока согласится дежурный. Значит, за вашей ответственностью 12 человек»? «Да». — «Хорошо».

В этот период подсудимые были в ведении Крыленко, а не ГПУ. Мы пошли просить у него свиданий до суда. Он сказал, чтобы мы подождали день, что через день их приведут из Бутырок в его канцелярию знакомиться с материалами, и тогда он даст свидания, сколько угодно.

Служители быстро освоились с нами — помогли хорошие папиросы — и на работах вечерних в канцелярии мы не чувствовали их гнета, сидели иногда до 11 ч. вечера, усидчиво писали; написанное тотчас же передавалось машинисткам (нашим друзьям). Самыми большими оказались показания С. А. Котляревского. С ними было очень трудно — увесистый том постоянно требовали наверх, где знакомились с материалами обвиняемые, или же его брал кто-либо из адвокатов. Так всего и не успели переписать, как ни гнали.

Нам с С. П. дали свидание уже после того, как он ознакомился с некоторыми показаниями, и был сильно потрясен показаниями N. — отгораживание человека, который стоял близко, явное желание себя обелить произвело подавляющее впечатление — «Ведь этим они нас

[82] Н. В. Крыленко — главный прокурор при трибунале в те годы.

топят» — да, это было топление «головки», которая, в действительности, не была так конспиративно отмежевана, как выходило из всех показаний. Ясно было, что люди спасаются хотя бы ценою гибели своих же. Но другие показания мало задевали С. П., больно было только от тех, близких, от кого этого никак не ожидал.

Дней 5 или 6 приводили их из тюрьмы, мы их встречали, передавали им еду, потом нам давали длинные свидания, а в 4 ч. мы садились за работу. Потом дома все подбиралось, сортировалось, доставлялось адвокатам и т. д. В субботу 13-го — последний день — их привели со всеми вещами, так как прямо из канцелярии отправляли на кремлевскую гауптвахту с тем, чтобы оттуда уже вести на «суд».

«Суд» (Дело Тактического Центра)

Несколько раз день «суда» назначался и откладывался. Несколько раз менялось помещение. Наконец, день и место были фиксированы — понедельник 15-го августа (1920 г.) в большой аудитории Политехнического Музея в 12 ч. дня. В этот первый день под усиленным конвоем привели из всех 27 обвиняемых только 8[83]. Восемь неотпущенных: Щепкин Д., Леонтьев С., Трубецкой С., С. П., Розанов В., Муравьев Валерьян, Морозов и Пучков. Публику пускали по билетам, каждой из нас дали на руки по 6-12 билетов, причем мы должны были предварительно записать всех, кому их раздадим с адресами, степенью родства и т. д. На наше счастье комендантом «суда» был назначен один из служащих канцелярии Крыленко, который, как будто нам сочувствовал, содействовал устройству в перерывы свиданий, не придирался.

[83] Остальные были на свободе. В первый же день, когда привели из Бутырок в канцелярию Крыленки 20 человек, он отпустил большинство за исключением восьми.

Есть стенограмма, но она бледна и часто неверна. Отдельные штрихи в память врезались очень ярко.

Все воспринималось остро. Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХры в шишаках, производила тяжелое впечатление.

Зала была полна. Ровно в 12 ч. ввели подсудимых, тех восемь разместили на первой и второй скамьях в середине, по краям сели солдаты с ружьями, а пришедшие с воли подсудимые сели отчасти сзади, отчасти на боковых правых скамьях.

Появился комендант со словами: «Встать, трибунал идет». На сцену из боковой двери вышли 3 судьи и 2 заместителя: председатель Ксенофонтов, бывший председатель МЧК, толстый, свинообразый с свирепым лицом, Жуков (крыленковский помощник) и Галкин, бывший рабочий, теперь чекист, заместителями были два чекиста.

Перекличка подсудимых и затем чтение секретарем обвинительного акта. Чтение — какое-то бормотание, длилось больше двух часов. По окончании председатель объявил перерыв до следующего дня.

Пеструю картину являл стол защиты: кроме приглашенных нами и допущенных после долгих препирательств Тагера (защитника четверки, т. е. Тактического Центра), Муравьева Н. К. (тоже) и Лидова И. П., сидел ряд так наз. правозаступников, т. е. адвокатов, допущенных уже к постоянным выступлениям в трибунале; здесь их было четверо, и все, как на подбор: защитник Котляревского — Рязанский (его ученик), Машбиц — комическая фигура, нанятая Морозовым для его специальной защиты, Брусиловский подслеповатый, самонадеянный и последний (фамилию забыла), постоянно бывший пьяным.

Одна из боковых аудиторий была отдана под обвиняемых, тех, что были под арестом. Туда в перерыв нас пускали повидаться. Там мы сидели каждая со своим. Иногда

перерыв затягивался, и мы около часа проводили вместе. Говорить никто не мешал, никто не следил за нами. С. П. несколько оправился от своей голодовки; ему пришлось бороться с сопроцесниками, чтобы направить их по той линии, которая ему казалась наилучшей; для этого Трубецкого и Леонтьева, давших убийственные для себя показания на следствии, приходилось убеждать говорить на «суде» не то и не так — расчет оказался правильным — Крыленко не знал хорошо показаний на следствии и не мог подловить, и Л. с Т. удалось многое изменить, в чем они себя оговорили.

Сперва М., а потом И. М. Ч., наши верные друзья, оба врачи, достали мне цианистый калий — быть расстрелянным С. П. не хотел. Но одна стеклянная трубка, переданная мною ему на свидании, у него исчезла. Он поздно это заметил, и надо было в последний день передать ему флакончик[84].

Со второго дня суда начался допрос обвиняемых. Крыленко язвил, но быстро стало ясно, что он-то следственного материала не знает. Тяжелые, одни из самых тяжелых впечатлений от «суда» были речи ряда подсудимых, живших давно уже на свободе. Проф. Кольцов, проповедник евгеники, человек, принимавший более близкое участие в работе, чем все главные подсудимые, ближайший друг Н. Н. Щепкина, казначей организации, имевший счастье не быть известным Виноградскому, всех выдавшему. Этот человек, изображая на суде полную невинность, старательно отмежевывался от «шестерки»[85] — ведь отмежеваться от них, значило спасти себя, это значило, конечно, тоже потопить их, подтвердив конспиративность и замкнутость этого таинственного центра, на что особенно упирало следствие, сумевшее отграничить тех подсудимых, все показания которых

[84] В последний день свиданий не дали.

[85] В «шестерку», кроме четверых здесь судимых, входили по данным следствия О. П. Герасимов, умерший во внутр. тюрьме Ос. Отд. и Н. Н. Щепкин там же расстрелянный в сентябре 1919 г.

пестрели заявлениями: «Мы ничего не знали», «Нам ничего не говорили» и т. д. «Мы собирались только, чтобы побыть вместе, нас угощали чаем со сметаной», (мы их и прозвали, этих людишек, «сметанниками»). Вот проф. Устинов, распинающийся за советскую власть, он ей служит, понял, признал, он будет ей верен всегда. Вот великолепное животное проф. Сергиевский, «красавец мужчина», который не постыдился подтвердить свои предварительные показания относительно страхования на два фронта — он и в Совет Общественных Деятелей вступил, только чтобы оградить себя от «Деникинских шомполов», и на презрительный вопрос Крыленко: «Двойное страхование?», как бы плюнул себе в лицо, четко отчеканив «да». Я уже не говорю о Виноградском — он стал провокатором с первого дня заключения, он был уверен, что на суд его не вызовут, так обещал ему Агранов, редко державший слово.

Котляревский — самая фигура которого подобострастно извивалась и как-то припадала перед судьями — говорил заискивающим голосом. Старательно отмежевываясь от центра, он все время трепетал, так как был в этом центре и сам составлял для него проекты — будь кто-либо из них подобен ему и скажи о нем хоть слово, нелегко ему было бы выпутаться. А между тем они, знакомясь в канцелярии Крыленко со следственным материалом, убедились, что Котляревский сыграл предательскую роль: он взялся составить для следствия по показаниям подсудимых и своим воспоминаниям общую сводку деятельности всех трех организаций[86]. Его показания — тяжелый толстый том. Он всех топил самым усердным образом, позабыв только упомянуть о своей деятельности. Перед его допросом на «суде» С. П. просил кого-то из защитников передать ему, что если он и тут будет подчеркивать замкнутость и

[86] Совет Общественных Деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения.

таинственность заседаний «Тактического Центра», то он, С. П., выведет его на свежую воду. Он все же ничего не сказал, вильнул.

Высокие слова, а в сущности только самоотгораживающиеся говорил Фельдштейн, этот расслабленный эстет. Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий «суд».

Как держались социалисты — члены Союза Возрождения? — Филатьев с большим достоинством, но и осторожно; Цедербаум-Левицкий прямо заявил, что никакого замкнутого центра не было, что каждый из членов организации мог бывать на заседаниях, т. ч. ответственность несут все равную, каждый мог бы быть на месте главных обвиняемых, — его речь была в высшей степени благородна. Кондратьев — бывш. эсер, член Союза Возрождения, входивший в Центр заместителем С. П., проявил большую трусость — от всего отгородился, нигде не бывал, ни в чем не участвовал. Перед «судом» он через меня послал содержавшимся в тюрьме тезисы своих показаний, на них же он строил свою защиту, и сразу в тюрьме увидали, что он отгораживается; он утаил, конечно, что замещал С. П. как раз на том особенно инкриминируемом «головке» собрании, где решался вопрос о военном выступлении, за которое Кондратьев стоял. «Спасайся, кто может», было его девизом, и он спасался, двинув даже в виде арьергарда на «суде» свое крестьянское происхождение.

Я говорю только об отдельных фигурах, многие были очень бесцветны. Накануне последнего дня заседание было прервано на несколько часов: ждали Л. Троцкого, известившего трибунал, что он желает выступить свидетелем. Он явился замолвить слово за Валериана Муравьева, поступившего на службу в комиссариат иностр. дел.

Закончил он свое похвальное заявление широким, театральным жестом в сторону «головки» — «А эти нам теперь уже не страшны: завтра мы берем Варшаву»[87]. Во всех его жестах и движениях было что-то балетное, все выступление было театрально.

Мне рассказывали потом, что в Особом Отделе, куда их всех привели, в общей камере все, как от чумы, отворачивались от Виноградского: он лег на нары и пролежал все время, делая вид, что спит, и только один Устинов заботливо предложил ему чая.

Последний пятый день был самым тяжелым — это был день «последнего слова», причем «суд» заявил, что все должны сказать о своем отношении к советской власти и к польской войне (как раз в это время красная армия «победоносно», как заявил Троцкий, подходила к Варшаве). Показания С. П. во время следственной части «суда» кое-кого (напр. Кускову) не удовлетворили, ему трудно было говорить, а кроме того все (защитники Н. К. Муравьев, Тагер, я под влиянием Симеона) оказывали на него давление, чтобы он не говорил того, что хотел, чтобы не ухудшить своего положения. Да и во время речи председатель обрывал его, мешал репликами, так что ему пришлось оборвать совсем конец. Зато в «последнем слове»...

Последнее слово стали давать с конца, т. е. с самых незначительных, и так тянулось весь день.

Я не упомянула еще о том инциденте, который разыгрался с Трубецким: во время его допроса Крыленко вынул

---

[87] Красная армия 19/VIII (20 г.) подошла к Висле и на следующий день должна была войти в Варшаву. 20-ое — день «Чуда на Висле», когда совершенно темное облако низко спустилось на реку, на все переправы, и потерявшаяся красная армия, не находя их, в панике бежала от Варшавы, жители которой считали, что Божья Матерь спасла их, опустив на реку покров свой в виде черного облака! «Чудо на Висле», спасшее Варшаву, фигурирует в истории польско-советской войны 1920 г.

торжествующе новую папку, которой не было в деле, и которой не давали для ознакомления: «А это что? какие делегаты и кем и зачем они повсюду рассылались?» Он хотел ошарашить, припрятал папку, никто о ней не знал. Помню недоуменный вопрос Трубецкого «можно ли посмотреть?», жест Крыленко, протягивающего «убийственные» документы, помню, как вопросительно повернулся Трубецкой к С. П., который кивнул утвердительно — «Эти материалы у меня от Мельгунова для работы». С. П. встал: «Я разъясню, это касается меня». Лицо Крыленко — знак вопроса — «Это кооперативные делегаты, обследовавшие положение кооперации на местах», — весь эффект, подготовленный Крыленко, пропал даром.

Накануне день закончился обвинительной речью Крыленко — он мало был знаком с делом, поэтому все его выкрики сводились к «врагам советской власти», «контрреволюции» и т. д., все по общему шаблону. Но закончил он свою речь, требуя для головки из четырех, «подготовлявших вооруженное восстание» — Леонтьева, Трубецкого, Д. Щепкина и Мельгунова — расстрела. Со стуком кулаком по столу, с бешено вытаращенными глазами, задыхаясь, свистя и шипя, как-то особенно выкрикнул он это слово.

На этом кончилось заседание.

«Последнее слово». — У Леонтьева от волнения сорвался голос, сорвался от рыданий. Потом Д. Щепкин — он говорил спокойно, не ярко, но до конца выдержал. Трубецкой — кратко, с большим достоинством и мужественно. Теперь С. П. — последний. И вдруг председатель поднимается: «Объявляю перерыв». Все остолбенели. Зала была полна, нагнали солдат, чекистов. Никто не двинулся с места.

Через 5 минут заседание возобновилось. С. П. был совершенно бледен. Он решил сказать все: «Ведь это, может быть, в последний раз, я не могу не сказать». С первых же слов его я почувствовала, что он вполне владеет собой.

Величайшее напряжение воли в словах, звуке голоса. Ясно, громко и отчетливо бросал он в лицо «судьям» все, что думает об этой власти, предсказывал им термидор, говорил все открыто, без сомнений и страхов. Говорил, что желает победы Польше и всем, кто бы ни сверг советскую власть. Говорил, чтобы высказаться, чтобы не уйти из жизни, не бросив в лицо большевикам всю свою ненависть и веру в их гибель и возрождение России... Я не могу всего передать. Стенограмма бледна, нет тона, нет смелого вызова, нет всего уверенного вида. Зала замерла, и громкий голос раздавался четко и ясно.

Мне видны были лица судей, впившихся в него глазами, лицо Крыленко, с которого сбежала обычная саркастическая усмешка-гримаса. Всё насторожилось. И, когда он кончил — миг еще продолжалось напряженное молчание, потом какой-то гул одобрения прошел по зале. «Суд» поднялся и удалился.

«Разве можно таких казнить», говорили красноармейцы в задних рядах; кое-кто плакал. Ко мне бросились знакомые и незнакомые выразить свое восхищение. «Он всех спас», предсказывали некоторые... Подсудимых увели.

Началось томительное ожидание. Мне надо было передать цианистый калий. Подсудимых строго изолировали. Н. К. Муравьев, защитник, после долгих убеждений, наконец, обещал мне передать в последнюю минуту. Надо было предупредить С. П. Их через залу проводили в уборную. Вели Вал. Муравьева «пусть пойдет С.» удалось шепнуть ему. Когда шел С. П., я протянула руку, он свою, но ведший его чекист увидал и отнял записку. Через несколько минут меня таинственно позвал комендант: «Вы передали записку, она у меня, чекист грозит доложить, если я не передам ее Крыленко». «Передайте». — «Уж вы на меня не сердитесь, иначе не могу». — «Бог с вами». Меня вызвали с эстрады к тому же Крыленко. «Это вы передали

записку»? «Я». «Почему вы знаете приговор?» «Говорят». «Кто это С. П., который все знает?» — Я молчала. «Я впрочем и сам знаю, что это Симеон». «А какой это флакончик вы хотели передать? валерьянку?» «Да, да». «Где же он у вас?» «Дома». «А не тут?». «Нет, нет» (он был тут у кузины Юли в руках). «А ваш муж читал записку?». «Нет, не успел», хотя С. П. успел посмотреть, когда чекист отнимал. Крыленко успокоился и отпустил меня, угрожая, что в случае чего он передаст записку суду, и это повлияет на решение.

Среди публики ползли плохие слухи... Отъезд Симеона. Он дал, конечно, все указания: куда, как и кому подавать бумаги в случае смертного приговора. Я не слушала — С. П. требовал, чтобы я ничего не подавала. Все были уверены, что приговор составлен заранее, но почему же так долго совещается трибунал? И когда этому конец?

В 12-м часу ночи началось волнение, все потянулись в залу — она была переполнена охраной. Двери заперли, и у каждой поставили солдат. Ввели подсудимых. «Встать», голос коменданта — зала поднялась. Ксенофонтов начал читать опять с последних (Урусов, единственный, освобождался совсем). Чтение с запинаниями шло вперед, наконец, чуть не 20 человек — к расстрелу, потом градации замен, и опять четверых — последних — замена 10-ью годами тюремного заключения. Вздох облегчения прошел по зале, и вдруг все смешалось в общем гуле. Залу заперли, никого не выпускали, боясь демонстрации. Увели их...

Потом уже мы узнали о финале, разыгравшемся в комнате подсудимых после приговора, пока еще тех, кто так подло купил себе свободу, не успели отделить. На шею Трубецкому бросился Котляревский, а сзади повис на нем Фельдштейн, и оба, плача, умоляли «простите». Потом Котляревский бросился в С. П. и тоже полез целоваться, прося «простить»!

После приговора

Их не долго продержали после приговора в Ос. Отд., на следующий же день перевели в Бутырки.

Бесконечная усталость. Уставать нельзя. Надо добиться свидания. Опять Крыленко, мы с А. Щепкиной перед ним. «Свидание? — это меня не касается». — «Да нет же, без вашего разрешения не дают». «Зачем вам?» — странный вопрос. Говорим, убеждаем. Бежит распорядиться, мы за ним, так важно маленькое слово «личное», без него ужасное свидание через 2 решетки с шагающим между ними часовым — это «общее». Получили, наконец, ордера.

Очень скоро эти свидания раз в неделю перестали нас удовлетворять, и мы решили с С. П. добиваться еще второго свидания — «делового». Опять я у Крыленко: «Мне нужно деловое свидание, я должна переговорить о нашем журнале». — «Давно пора закрыть — контрреволюцию разводите». — «Да ведь он исторический». — «Все равно, тем хуже. Нет, не могу». — «Но мне необходимо». Дает, дает еженедельное деловое свидание. И наши личные свидания начинают чередоваться с деловыми. Тут все по-другому. Трудно только пробиться через первую преграду.

В тюрьме вспыхнула голодовка[88]. Тюрьма гудела жутко. Я подошла к ней как раз в тот момент, когда по телефону начальник тюрьмы передавал, на какие коридоры не принимать передач. МОК (мужской одиночный корпус) еще в них не числился, но пока я добивалась приема передачи, объявил голодовку и МОК. Начальник тюрьмы уже закусил удила и ни свиданий, ни передач не разрешил...

Выхлопотала себе свидание с С. П. Вера Николаевна Фигнер. Я сопровождала ее. Свидание дали на сборной. Вся тюремная обстановка так взволновала Веру Николаевну,

[88] Вызвана голодовка была избиением заключенных в Бутырках эсеров.

нахлынули шлиссельбургские воспоминания, она расплакалась, как только мы вошли на сборную. С большим страданием за С. П., которого очень любила, говорила она с ним.

На первый день Рождества дали свидание на целый день, т. е. до темноты.

Среди зимы в тюрьме установился обычай отпускать заключенных на дом; делалось это через одного заключенного, работавшего в канцелярии, оплачивалось спиртом. Он много раз обещал С. П. устроить отпуск, получил роскошную книгу авансом, и каждое воскресенье происходила осечка — боялся Попкович, начальник тюрьмы, получавший свою долю спирта, боялся, как он говорил, отпустить столь известного в Москве человека, боялся попросту попасться и все оттягивал.

Одно время С. П. был очень болен — кашель сильнейший, жар, но тем не менее он поднимался с койки и выходил на свидание. Вид был плохой, он кутался в свою арестантскую рыжую куцевейку на вате.

Умирал П. Кропоткин. Задружники, очень тяжело переживавшие отсутствие С. П., составили бумагу в ВЦК о необходимости освободить его для научных занятий — бумагу эту подписала В. Н. Фигнер, а двое из задружников повезли ее Кропоткину, который очень интересовался судьбой С. П.[89]. Ему в этот день было лучше. Он их выслушал, поговорил с ними и подписал бумагу, — никто не думал, что эта подпись последнее, что он напишет. Через несколько дней его не стало.

13-ое февраля (1921-го года), воскресенье было днем торжественных похорон Кропоткина[90] и, когда процессия проходила мимо Бутырской тюрьмы, ворота распахнулись перед С. П. Он был освобожден.

---

[89] Кропоткин жил в Дмитрове Московской губ., в большой нужде.

[90] Холодал и почти что голодал Кропоткин в Дмитрове, но похороны ему большевики устроили в Москве торжественные.

Я не пошла на похороны, опасаясь, что С. П. все же придет в воскресный отпуск. Стук в дверь — С. П. Сразу даже не поняла, что совсем отпущен, но вещи как-то пояснили все, лучше слов.

Конст. Вас. Сивков[91] в этот день повез в Бутырки книги для тюремной библиотеки, которой С. П. заведовал. На санках Сивкова и с его помощью дотащил С. П. свой багаж домой...

V. Пятый арест

31-го мая 1922 года мы возвращались с Виндавского вокзала, где проводили моих родителей за границу, с нами ехала Ев. Ив. Репьева, — она проводила Прокоповичей.

«Вряд ли вы очень спокойны за С. П.?», спросила она меня. «Нет, у меня такое чувство, что его арестуют». Он же, получив повестку, вызывавшую его 6-го июня на «суд» эсеров свидетелем, был уверен, что он вне опасности. В этот день забежала к нам А. М. Щепкина предупредить, что ее муж Дмитр. Митр. и Леонтьев арестованы. Я считала, что очередь за С. П.

В субботу вечером к нам зашел Иван Давыдович Р., и мы вчетвером с жившим у нас В. Н. Розановым сидели за чайным столом и говорили о предстоящем эсер. процессе. Часов в 10 позвонили — сразу узнался «их» звонок. Ввалилась компания, с ними женщина[92]... Протесты и указания на повестку не помогли. — «Мы вас и от себя в «суд» доставим».

Комиссар пошел с С. П. и Розановым в кабинет, а нас с Ив. Д. посадил в столовой, против нас солдата и приказал ему не спускать с нас глаз, не давать нам вставать и разговаривать.

---

[91] К. В. Сивков, ныне покойный, — историк, педагог, активный член «Задруги» и долголетний сотрудник всех литературных начинаний С. П.

[92] Она должна была меня обыскать с головы до ног.

Долго мы так просидели.

Безграмотный протокол с трафаретной анкетой; опросили всех, протокол подписали, и комиссар велел собирать вещи для С. П. в тюрьму. Уходя, они оставили засаду из 3-х солдат, которые должны были бодрствовать все время и следить за нами. 3 солдата в передней. Конечно, они не выдержали всю ночь и заснули.

— Ложитесь, — сказал мне Влад. Ник., — они к вам не войдут, это не полагается, и они могут ответить. Да и мы оба устроимся тут, рядом, в столовой.

Легла, не раздеваясь. Мучила мысль, сколько они пробудут, как снестись с волей и все сорганизовать за спиной недреманного ока. Храп стражи в передней вселял надежду, — не так уж мы отрезаны. Надо было предотвратить приход эсерки, которой С. П. назначил прийти завтра в 2 ч. за материалами для процесса. Для предупреждения своих все меры были приняты — свои знали все сигналы. Но как предупредить эту даму?

Утром солдаты как-то помягчали, — верно от чая, которым мы их напоили, и уже не так неотступно следили за нами. Розанов занял позицию у окна в столовой... мы все же нелепо упустили единственную возможность предупредить эсерку. Была Троица, и рассчитывать утром в день отдыха на своих было невозможно. Все утро простояла я у окна. Солдаты сильно смягчились: один ставил самовар, другой сбегал за хлебом: «Еще рано, до начальства оберну», третий сидел в передней. Первым пришел телеграфист — его сразу заарестовали.

За ним кто-то с повесткой, еще кто-то. Сидели в передней и громко роптали.

Все, что можно было сделать, чтобы предупредить приход этой эсерки Богораз, мы сделали. Она позвонила ровно в 2 часа нетвердой рукой, настойчиво позвонила вторично; на лестнице я услышала тяжелые мужские шаги,

она вошла и отшатнулась, спеша назад, но сзади нее выросла большая фигура в кожаной куртке, шагнувшая в переднюю и загородившая ей выход.

— Я комиссар, — заявил кожаная куртка солдатам.

— Пароль.

— Какой черт пароль! Пришел обыск делать!

— Мы без пароля не можем.

— Да разве вы меня, черти, не знаете?

— Мало вас комиссаров; посидите, наш придет — разберет.

Он уселся в передней, и все бурлил и будировал вместе с другими арестованными, но гораздо сильнее их.

Богораз была подавлена, она явилась с большим пакетом материалов для процесса, Как даме, ей разрешили войти в столовую — тут она нервно бегала взад и вперед. Потом подсела к столу и тихо заговорила со мной — дверь в переднюю была настежь открыта. Кожаная куртка придвинулся к двери. Она просила известить ее близких, была в отчаянии из-за материалов, незаметно передала мне кольцо с фотографией. Я чувствовала, как жадно нас слушает кожаная куртка.

Так шло до 4–5 часов, когда вчерашний комиссар с несколькими человеками опять явился. Кожаная куртка оказался следователем Особого Отдела — очевидно зная, что Богораз должна к нам прийти и не желая упустить добычу, он подстерегал ее и шел сзади, чтобы предупредить бегство, он высидел 3 ч. арестованным, чтобы выследить и узнать. Теперь же с портфелем под мышкой он уселся за письменный стол и принялся допрашивать задержанных. Быстро отпустив всех, кроме Богораз, — он старался тщетно добиться у нее и меня, о чем мы говорили, о чем она просила меня. Ей он объявил, что арестует ее. Я предложила ей хлеба и полотенце (мыло и расческа у нее были). Она взяла полотенце. Ее увезли, а мы остались с

теми же солдатами. Еды им принесли по селедке и немного хлеба. Они начинали озлобляться: их и за людей не считают. Нам это было только выгодно. Мне удалось снестись с тетей и З. З. должна была явиться в 3 часа ночи, когда я, рассчитывая на крепость сна солдат, решила бросить ей в окно пакет для С. П., чтобы он не думал, что мы отрезаны. В эту ночь я спустила пакет на длинной веревке. Днем дом был под усиленным наблюдением, даже извозчик-сыщик стоял на стрелке улиц против наших окон.

На Духов день у нас был грандиозный обыск под руководством кожаной куртки.

Обыск длился часов 6–7. Студенты-свердловцы отобрали такую кучу вырезок из старых газет, что следователь изругал их во всю: искать надо было не вырезки, а то, что между ними запрятано. Все перевернули вверх дном. Во время их пребывания позвонил Ив. М. Чупров, я вышла в переднюю, увидала его недоумевающее лицо, букет цветов в руках и услышала окрик солдата: — куда лезешь, проваливай.

Удивительно быстро и легко большинство солдат переходило на нашу сторону. Их озлобляло скверное питание, полное забвение. Вот и в данном случае, солдат выставил Ив. М., а на вопрос следователя из кабинета: «Кто там?» — не сморгнув глазом, ответил: «Нищий шляется тут»...

После первого дня солдаты вообще перестали задерживать, они старались не впускать. Но, когда Наташа Фидлер, невзирая на них, пролетела прямо в столовую, солдат пошел за ней; перебивая ее, я старалась внушить ему, что она пришла вовсе не к нам, и не наша она знакомая, а моих родных. При этом мы говорили с ней на ты, и я убеждала ее уйти, а солдата — выпустить ее.

Он переспросил: «Она, значит, не ваша знакомая?» — «Нет» — мы расцеловались, и она ушла.

Не помню точно, но как будто еще утром приезжал следователь Решетов, утверждавший, что он сам бывший

народник, знаком с писаниями Пешехонова — хотелось бы очень с ним познакомиться. «Вы кстати не знаете, где он?» — вскользь ввернул он. Пешехонов в это время жил под Москвой и, кажется, скрывался. Явившись к нам, Решетов прежде всего пригласил меня с ним «побеседовать».

— Вы знаете арестованную у вас гражданку?

— Нет, совсем не знаю.

— А знаете Богораз или — он назвал фамилию в ее фальшивом паспорте.

— Нет, не слыхала даже.

— Это ее фамилия. Зачем же она к вам пришла?

— Наверно, в редакцию.

— Так-с, а о чем же вы с ней говорили?

— Предлагала чая, хлеба.

— Хм!.. Мы все знаем. Вы дали ей полотенце?

— Дала.

— Признаетесь? Разве незнакомым дают? Вам не было жаль?

— Было, но ее мне было больше жаль: я сама посидела в вашем собачнике и знаю, какая там грязь.

— Странно, странно! Значит, из человеколюбия дали? Так и в протокол записать?

— Пишите, как хотите, но я ее не знаю.

Позвал Ив. Дав-ча. И его спрашивал о Богораз и тоже не верил, что он ее не знает.

На следующий день он явился, вызвал Ив. Д. и, наконец, объявил, что поедет с ним на его квартиру для обыска. Мы остались вдвоем с Розановым.

На следующий день опять явилась компания: искали определенных фотографий. Они выбрали редкие экземпляры: Дзержинский в окружении всех чекистов, Дзержинский с Ксенофонтовым, еще Дз. с кем-то. Они изумлялись, пожимали плечами, бормотали, что это неспроста, «там разберут», странно поглядывали на меня.

Оказалось потом, как мне говорила сестра большевика Ярославского Татьяна[93], что часть чекистов решила на этих фотографиях построить дело о подготовке покушения на Дзержинского. Ее вызвали в ГПУ, показывали фотографии и доказывали, что дело здесь очень нечисто.

За С. П. она усиленно хлопотала и была очень обеспокоена этим намерением ГПУ подстроить проект покушения на Дзержинского. Конечно, вся ее симпатия обуславливалась долголетней работой (в качестве фельдшерицы) с моим отцом доктором, которого она очень чтила.

Менжинский, думаю, понял сразу, что она не очень умна и очень темпераментна, и стал ее запугивать тем, что С. П. очень крупный враг и т. д. Ей было трудно, но отступать она не хотела. Впрочем, конечно, ничего и не добилась — там с самого начала было решено, что весь эсеровский процесс С. П. просидит, и ничто не могло изменить это решение.

Следователь еще приезжал к нам за какими-то справками, вообще нас дергали и не забывали. И так же внезапно, как делалось все, на пятые сутки к вечеру была снята засада.

Очень скоро стало совершенно ясно, что арест связан с процессом. Допросов не было.

Передачи к этому времени принимались еще строже, чем раньше. Запрещено было передавать в мешках, корзинках, даже салфетках. Я носила в веревочной сетке, указав им, что таковая не значится в списке запрещенных.

Несколько слов о комендатуре — она перебралась в огромное помещение прямо с Лубянской площади. Надо всем царило «справок не дают». Никогда в прежней комендатуре я не чувствовала такой непроницаемой стены между алчущими и вершителями судеб. Казалось сначала, что все больше оформилось, но не тут-то было; произвол царит полнейший.

---

[93] Тоже большевичка.

Свидание я получила последняя. Это было приблизительно через месяц после ареста.

Я хотела непременно попасть в Благородное Собрание (Дом Советов), где шло судбище над эсерами, попасть в тот день, когда будет допрос С. П. в качестве свидетеля. Я побывала на двух или трех заседаниях благодаря Красному Кресту (политическому), который получил два билета всего-навсего. Я ходила поджидать на улице привода С. П. в трибунал. Был арестован и Филатьев, тоже получивший повестку. Розанову повестку вручить не смогли за «ненахождением», хотя следователи, посещавшие нас в засаде, усердно называли его «товарищ доктор Розанов», но ассоциировать с Розановым не были в силах. В повестке С. П. была дата вызова, но, конечно, с первого же дня все даты нарушились. С. П. приводили в «суд» вместе с полковником Перхуровым, участником Савинковского Ярославского восстания[94]. Я увидала их, когда их выводили из Благородного Собрания после целого дня пребывания там. В этот день я сидела на хорах в зале; накануне упомянули, закрывая заседание, свидетелей на завтра — Филатьева, Кондратьева[95] и С. П., но его не вызвали — может быть, Крыленко сообщили, что он собирается говорить весьма откровенно, не знаю, но через него перескочили — это

---

[94] Перхуров на суде из свидетелей попал в обвиняемые, т. е. после его показаний над ним был новый суд, и его приговорили к расстрелу. То, что С. П. удалось от него узнать, рисует трагически судьбу его. Участник Ярославского восстания, он был арестован где-то в Сибири и сидел три года, сидел в одиночке, абсолютно без передач и без книг. Вид его был ужасен, издергался и извелся он до крайности за три года ежедневного и еженощного ожидания расстрела. С. П. говорил с ним урывками под окрики и всякие запреты стражи.

[95] Я слышала речь свидетеля Н. Д. Кондратьева; он к этому времени еще больше опустился по той наклонной плоскости, по которой покатился с момента ареста по делу Такт. Ц. Он, бывший эсер, говорил о своей преданности советской власти и о том, что ничего общего с этими людьми не имеет.

было при мне — и перешли к другой группе свидетелей. Публика бывала арестована, двери на запоре, и до конца заседания не выпускали. Но и их, Перхурова и С. П., увели только по окончании, поэтому мне и удалось их увидать, но мельком.

К концу процесса, тянувшегося больше 2-х месяцев, настроение, искусственно подогревавшееся в тех «массах», которые должны были изображать народный гнев против эсеров, заметно упало, на процесс почти не ходили, зала пустовала. Тогда решено было организовать демонстрацию грандиозную и потрясающую. «Народ» должен был вломиться в залу «суда» и требовать крови.

Обвиняемые выдержали до конца. Предрешенность приговора была очевидна.

Это сидение было для С. П. одним из самых тяжелых, потому что сидел он в общей камере внутренней тюрьмы Ос. Отд., люди были самые разные, человек 6–7. Между прочим, один раз ко мне в книжную лавку «Задруги» прибежала какая-то женщина и говорит, что ее муж сидит с С. П., что у нее бывают постоянно свидания, и чтобы я написала письмо, она передаст. Я верю, что она от всей души мне предлагала, хотя тогда у меня было сомнение, тем более что муж ее был командиром красной армии; я, конечно, никакого письма ей не дала, просила что-то незначительное передать на словах. Она стала часто заходить. Уже два месяца сидел ее муж без предъявления обвинения. Два месяца было назначено сроком: если не предъявлялось обвинение, должны были выпустить. Так с ним и сделали, его выпустили, и уже через день она, как безумная, прибежала сказать, что его снова взяли — т. е. начинались снова два месяца. С. П. не уверен в том, уцелел ли этот «красный маршал» новой формации, он был из будирующих, и все говорил о свержении головки во имя национального государства.

Наши свидания бывали раз в неделю на ½ часа в одной из канцелярских комнат, часов в 6 веч. в присутствии какого-либо субъекта. С. П. был в сквернейшем настроении — заниматься в условиях жизни общей камеры было невозможно, тем более что стояла сильная жара. Он собирался объявить голодовку, требуя допроса и предъявления обвинения.

Начальником тюрьмы в это время был Дукис — жестокий латыш, он ни с чем не считался, и в один из обысков отобрал у С. П. карандаш и бумагу, которые он имел по специальному разрешению. С. П. жаловался. Вернули.

Выпустили С. П. вместе с С. Леонтьевым и Д. Щепкиным.

Процесс эсеров кончился через 4–5 дней. Было много смертных приговоров, потом замененных заключением и заложничеством за возможные покушения на главарей коммунистов... Сидят они и теперь. Один из них — Морозов — очень славный — покончил самоубийством, протестуя против всех тех жестокостей, которые на них обрушивались.

Бедную Богораз сослали на 3 года в Ташкент. Тех, кого она хотела, мы успели предупредить еще из засады — записочкой З.

Большею частью чекисты пасуют перед решительным наступлением или насмешкой. Так было и при освобождении С. П. Их всех троих подвергли тщательному обыску. С. П. протестовал и с насмешкой говорил, что, очевидно, они не знают старых приемов — никогда он не понес бы записочку в башмаке, который его заставили снимать, а спрятал бы ее в ухо; когда очередь дошла до второго башмака, чекист буркнул: «Не снимайте, не надо». Так кончился последний арест...

Послесловие

Как видно из приводимых ниже слов Менжинского, преемника Дзержинского на посту главы Особого Отдела ГПУ, слов, сказанных им лично Сергею Петровичу, большевики осенью 22 года не чувствовали себя прочно. Ленин переходил на новую экономическую политику — НЭП.

Пока тянулся эсеровский процесс, в обеих столицах составлялись списки нежелательных советской власти представителей интеллигенции: ученых, профессоров, писателей, общественных деятелей и т. д., многие из которых преследовались властью, уже посидели в тюрьмах, подвергались угрозе расстрела (Е. Кускова, С. Прокопович, М. Осоргин и др. члены так называемого Голодного Комитета или Лиги спасения детей, избежавшие суровых кар благодаря предстательству Фритиоф Нансена), их всех постановлено было выслать за границу.

В списки эти не вошли те, кто сидел в тюрьме во время эсер. процесса. Политический Красный Крест с В. Н. Фигнер во главе, мало веря в продолжительность «передышки», намечавшейся в связи с возникающим НЭП'ом, хлопотал за добавление к уже высланным за границу Сергея Петровича, которого по этому поводу Менжинский вызвал в ГПУ.

Отпускать не хотели. Менжинский прямо сказал С. П., что большинство коллегии ГПУ за его высылку в Чердынь Пермской губ. (на дальний север).

«Мы вас выпустим, — сказал он, — только с условием не возвращаться». «Вернусь через 2 года, — ответил С. П., — вы больше не продержитесь». «Нет, я думаю, шесть лет еще пробудем». Потом Менжинский говорил о том, как хорошо понимает невыносимое существование С. П.: «Каждую ночь ждете звонка, да и работать вряд ли удается при таком количестве обысков. 20 у вас уже было? Все вверх дном, верно. Да, я вас понимаю»...

В конце концов ГПУ решило отпустить за границу.

Из Москвы выслали уже около 70 человек с семьями. Выслали в две партии: одну через Ригу, другую через Петербург. В первую попали Мякотин и Пешехонов, которого удалось-таки Решетову арестовать. Когда Пешехонов раз был у меня во время ареста С. П., я ему сказала, как им интересуется Решетов. Его выследили на улице, ехали за ним и арестовали. Выслали, несмотря на всяческое с его стороны сопротивление.

Со всех высылаемых брали какие-то подписки. Всем предъявляли обвинение в контрреволюции.

На Петербург уехала большая партия. Мы провожали и тех и других. Перед их высылкой у нас на квартире был прощальный вечер. Собралось, кажется, 60 чел., люди еще не были тогда так пришиблены, как теперь, было оживленно, все как будто верили в хорошее будущее.

Перед нашим отъездом тоже собрались. Был прощальный ужин и в «Задруге» — все были какой-то дружной семьей. Накануне отъезда С. П. заболел, у него сделался острый приступ аппендицита, доктор сказал, что надо немедленно делать операцию. Ехать или делать операцию? ГПУ могло не выпустить второй раз, могло перерешить и выслать в Чердынь, арестовать и т. д. Мы решили ехать...

10-го октября проводы. На вокзале собралось более 70 чел. Шныряли агенты, но никого не трогали.

Тяжелое расставание с полной неизвестностью будущего. Увидимся ли?..

Приложение

В 1917 г. кроме приведенных отрывков, записанных в Петербурге в первые дни революции, Сергей Петрович не вел дневника, поэтому, согласно с его волей, ниже приводятся некоторые, преимущественно отмеченные им, отрывки из моего дневника.

П. Мельгунова

Отрывки из дневника 1917 года

3/VIII. Возобновляю дневник через три почти года. Прошла уже революция. С I/III пять месяцев, как мы живем в республике.

На днях С. П. вернулся из Петербурга — впечатления самые безотрадные: был во всех министерствах и только Пешехонов не испорчен властью. До Керенского не добраться. Савинков принимает свысока, командует. За обедом у матери он рассказывал, как беседовал с женой ген. Спиридовича, которая приехала просить выпустить на поруки мужа (бывшего начальника охраны Царского Села), она плакала, а он указал ей на дверь — даже мать его возмутилась и припомнила ему, как она за него везде просила.

В другом министерстве (юстиции) Демьянов, н. с., товарищ министра, встретил С. П. радостным восклицанием, что им, наконец-то, удалось тайком добыть циркуляр, который Чернов помимо Совета министров рассылает всем земельным комиссарам — циркуляр возмутительный, который они размножат секретно и раздадут всем министрам.

Корнилов требует введения смертной казни в тылу, Савинков говорит, что этого же требуют армейские комитеты. Брусилов якобы слетел за контрреволюционную организацию офицерства по пяткам. Савинков говорит, что они (правительство) больше всего боятся демобилизации армии,

поэтому не говорят о мире. Много говорится о военной диктатуре. И промышленники открыто заговорили на своем съезде, назвав правительство шайкой предателей и т. д.

9/VIII. Вчера началось малое московское совещание, устроенное И. Н. Сахаровым и В. Л. Маклаковым. Даже истый к. д. Шполянский и тот заявил, что оно носит контрреволюционный характер, особенно речь Ив. А. Ильина, который требовал смещения всего Вр. Прав. и созыва Национального (?) Собрания.

У нас в партии (труд. народн.-соц.) вчера было собрание Городского Комитета, и так резко разделились мнения: одни за полную поддержку Вр. Прав. без всякой критики, другие за критику.

10/VII. Вчера было общее собрание нар.-соц., и А. Стааль сделал очень интересный доклад о малом (частном) московском совещании. Речь ген. Алексеева, бывшего главнокомандующего, была особенно типична: с 28/II по его мнению идет злостное погубление России. Надо взять правительство под опеку. И общее мнение собрания, что единственный, кто это может сделать — ген. Корнилов. Если он будет смещен, казаки отказываются поддерживать Врем. Правительство и «не отвечают за поведение отдельных частей». Стааль еще сообщил, что на Рязанский крестьянский съезд Чернов прислал такую телеграмму, из которой явствует, что все можно брать, кроме племенного скота. На юге Московского округа крестьяне переделили землю и лишают надела солдаток, так как «они не могут продуктивно работать на благо России».

11/VIII. К завтрашнему Государственному Совещанию самые необыкновенные приготовления; говорят (передавал Минор на эс-эр. заседании) о пяти большевиках, которые

решили бросить бомбы и т. д. Охрана юнкера, говорят о пулеметах, забастовке, демонстрации и др. Керенский говорил Вырубову (передавал Полнер), что он желает этого совещания, чтобы «лопнул нарыв», чтобы все высказалось.

26/VIII. Была на Государственном Совещании 15/VIII, в последний день. Со сцены хорошо было видно весь зал и его настроение...

После перерыва выступил ген. Алексеев с длинной речью. Смысл ее тот, что наша армия была дисциплинирована, в момент революции в ней был вдохновенный подъем, потом пришли нежелательные элементы, и она развратилась. Вывод его — идти на те меры, которые предложены ген. Корниловым.

Среди целого ряда военных ораторов выделился представитель армейских комитетов, в длинной речи возражавший ген. Алексееву и указывавший на то, что разложение уже было и раньше в армии, и что армейские комитеты нужны, как нечто сдерживающее и направляющее.

Перед обеденным перерывом «от истории» говорили: Бабушка (Е. Брешко-Брешковская), Кропоткин и Плеханов. Бабушка всех отчитала — и рабочих, и буржуазию, и интеллигенцию за массу слов и отсутствие дел. Кропоткин, призывая к защите России, предложил объявить Россию демократической республикой федеративной, как Соединенные Штаты. Плеханов, как и раньше, не понравился мне своей театральностью и французским пафосом. Им единодушно аплодировали. После обеденного перерыва... хорошо говорил Бубликов с цифрами в руках; и, наконец, разыгрался скандал между двумя течениями казаков. Когда представитель фронтового комитета есаул Ногаев стал с кафедры говорить о том, что казачья демократия стоит за фронтовые комитеты и вообще выступил против Каледина, из казачьей ложи раздался голос: «сколько стоит немецкая марка?». Керенский прервал оратора:

«я попрошу того, кто в лице есаула Ногаева оскорбил русскую армию, назвать себя», — в ложе произошло движение, кто-то вышел, тогда Керенский продолжал: «я думаю, что выражу мнение всего Собрания, если назову этого человека трусом» — общее движение одобрения, к барьеру ложи выдвинулась фигура раненого казачьего офицера: «хоть я и не говорил тех слов, но я вполне к ним присоединяюсь», рядом с ним появляется виновник скандала. Керенский, дав Ногаеву кончить речь, делает перерыв. Волнение... Наконец, появляются министры, и Керенский сообщает Собранию, что инцидент исчерпан, потому что, оказывается, из-за «плохих акустических условий» ни он, ни кто другой не услышал, как тот себя назвал (акустика в Большом Театре поразительная!).

Заключительная речь Керенского в печати приведена с пропуском того места, которое заставило многих говорить, что он сошел с ума. Он вдруг, перечислив все трудности, представившиеся Вр. Правительству, сказал: «меня обвиняют в том, что я мечтатель — да, может быть, я слишком много верил и мечтал. Вы хотите, чтобы я запер свое сердце, бросил ключ. Хорошо я так и сделаю» и т. д.

Все Собрание всколыхнулось и, встав, как один человек, устроило ему шумную овацию.

27-го. А. В. Пешехонов подал в отставку. А. А. Титов (тов. мин.) говорит потому, что Вр. Прав. решило повысить твердые цены на 100 %. Система Пешехонова твердых цен для избежания финансового краха (иначе неизбежно падение рубля) встретила упорное противодействие особенно промышленников. А он не оперся на кооперацию, считая ее не социалистической организацией.

Сегодня произошло нечто необыкновенное. Днем по телефону сообщили С. П., что Корнилов предъявил Вр. Правительству ультимативное требование, в которое включено и то, что он имеет право назначить всех мини-

стров. Его требования были переданы В. Н. Львовым, которого Керенский немедленно арестовал, и по телефону известил Корнилова, что он смещен с поста Верх. Главнокомандующего.

Пешехонов не уходит из-за момента.

Боятся выступления большевиков и черносотенцев, которые ведут агитацию.

28/VIII. Настроение разное. Большевики решили не выступать против Вр. Прав.; офицеры ликуют и приветствуют Корнилова.

30/VIII. Здесь введено военное положение и военная цензура. К. д. отказались участвовать в Совете министров. Они, очевидно, очень сочувствуют Корнилову.

1/IX. Вчера вечером был С. П. Симеон с братом Ф. П., судебным следователем, который теперь в Верховной Следственной Комиссии расследует дело Распутина. Рассказывает он много интересного и ужасного. Вырубова отсидела в Петропавловской крепости, там ее били солдаты. Хвостов, которого он там посетил, очень опустился, считает, что возврат старого невозможен, но что будет еще много крови. Ф. П. говорит, что страшно интересны записки Кржановского, самого умного из бывших властителей. Сухомлиновское дело, как и всех других тем более, оказалось пуфом, материалов особых нет.

2/IX. Коалиционное министерство, назначенное вчера, сегодня рухнуло из-за протеста Сов. Р. и С. Д. против участия в нем к.-д., причастных якобы в Корниловскому заговору.

Кускова прислала письмо, что Керенский ничего не может сделать. Очевидно, большевизм побеждает. Он поднялся после Корнилова. В некоторых городах уже объявлены Советы верховным органом власти (Владимир),

они же постановляют об арестах (во Владимире 1.500 мест в тюрьме приготовлено для к.-д.). В некоторых городах уже постановлено закрыть все буржуазные газеты.

У нас в Москве, говорят, идут усиленные аресты, которые постановляются не только «шестеркой» (представители разных демократических организаций и прокурор), а какими-то пятеркой, девяткой и 13-ью... Симеон Ф. П. говорит, что архив охранки в ужасном виде — все тащат и уносят, и Щеголев первый. С. П. уже подавал проект об объединении всех архивов под одним началом...

Сегодня С. П. получил телеграмму от Ф. Степуна, что надо решить вопрос о комиссарстве в Финляндии, о котором официально ему ни разу не говорили. Сегодня еще 5 большевиков ему заявили, что он назначается на высокий пост в Москве. Ничего не поймешь! Из «Рус. Слова» звонили про это назначение в Финляндию.

5/IX. У большевиков составлен список министров. Председатель — Чернов, Внутренних дел — Луначарский, иностранных — Рязанов, продовольствия — Каменев и т. д.

6/IX. Вчера С. П. вернулся из Петербурга. В Петербурге жизнь довольно спокойная. Был С. П. в министерстве внутренних дел, где ему предложили пост московского комиссара, он отказался от этой неприятной должности — следить за законностью действий Думы. Это, вероятно, есть то, про что говорили 5 большевиков.

С Крымовым (говорит Симеон) было так: Керенский стал на него кричать, что сорвет с него эполеты, Крымов ответил: «не ты, мальчишка, мне их дал, не ты и сорвешь», повернулся и вышел.

18/IX. Никто почти не замечает, что в Наполеоны-то пробирается Верховский — подозрительный авантюрист.

23/IX. Третьего дня обедал Полнер (приезжал из Петербурга), говорил, что там идет слух, что немцы приказали, чтобы к октябрю в Балтийском флоте были волнения. Они даже раньше вспыхнут, но насколько это связано с немцами? Впрочем, шпионаж и т. д. наверно страшно сильно развиты. Говорят, что в октябре солдаты пойдут из окопов, не хотят еще зиму сидеть там. Да, о солдатах и Леня Тугаринов пишет то же с фронта.

24-го. Сегодня голосование в районные думы; очень грустно — голосует у нас в центре 25 %, и среди них солдаты не манкируют, говорят, что масса большевиков.

30/IX. Прошел наш съезд. Тяжело было из-за трудовиков. Мы и они несовместимы — они политиканы. Да, с трудовиками мы могли бы охотно порвать, но они сами не хотят. Мякотин об этом только и мечтает. Они сорвали выборы Центр. Ком., потому что видели, что в меньшинстве.

11/X. Когда я последний раз была на абонементе в Большом Театре, со сцены какой-то господин обратился с призывом о займе свободы, говоря, что мы наковальня, над которой занесен немецкий молот, и что в нашей власти, разлетится ли наковальня или молот. В партере поднялась дама, которая все время бросала ему реплики о том, что свобода наша — ложь. Она громко обратилась к публике: «нам говорят о немецкой опасности, но скажите правду, господа, разве мы все не мечтаем о немцах», послышались голоса «да», и никто не запротестовал; она же продолжала: «свободы нет, мы трусы и рабы, рабы солдат, рабочих, прислуги, и деньги займа пойдут на этих господ (указывая на ложу советов), а мы будем ждать, что детей наших у нас на глазах будут убивать о камни; я получаю 125 руб. и должна содержать семью, я ничего не боюсь, вот я где

сижу, придите, убейте меня, но я буду говорить правду». В партере ей очень сочувствовали и говорили, что «мужчины наши не годны никуда, хоть дама выступила»!

15/X. У нас в Москве в Хамовниках и за Москвой рекой толпы народа (рабочих большевиков) целыми сутками ходят за «чудотворной», вновь явленной иконой Божьей Матери, которая в руках держит скипетр, а на обороте надпись «самодержавие»...

Тут еще образовался блок: кооператоры, трудовая интеллигенция и «Единство», первыми выставлены Плеханов и Прокопович.

16/X. Поворот в настроении ясно чувствуется. Наш термометр — рабочие в типографии «Задруги»; уже говорят иначе, чем раньше; еще недавно они стремились к «диктатуре пролетариата», уверяя, что все прекрасно устроят, — теперь характерно уже то, что попросили нас устроить им лекции по разным серьезным вопросам, нас — народных социалистов, — и мы начинаем. С. П. говорит, что они не чувствуют себя уверенно, потому что денег нет; все деньги припрятаны крестьянами.

19/X. Грозит нам всеобщая забастовка городских служащих. Очевидно, все же она будет предотвращена. Многие мечтают о немцах.

На днях кондукторша трамвая, рассердившись на пьяных солдат, возопила: «хоть бы германец поскорее пришел, показал бы он вам тут!».

23/X. Вчера у С. П. был Хижняков. Он сам присутствовал на заседании Совета министров, где Верховский предложил заключить «сепаратный мир» (Бурцев это опубликовал, и его газета закрыта), Керенский воскликнул: «да вы с ума сошли!».

25/X. Вчера большевицкий Военно-Революционный Комитет в Петербурге выступил открыто против Вр. Прав. Днем разнесся слух, что арестовано Вр. Прав., что Верховский объявил себя диктатором, а Троцкий — военным министром. Вечером Миллер[96], говоривший по телефону с Петербургом, опроверг это.

Целый день слухи. Сперва, что Правительство в плену, потом Никитин, мин. вн. дел, звонил из Петербурга, из Зимнего Дворца, что они держатся, что Керенский в армии, потом что войска Северного Фронта уже в Петербурге, и что освобождены телеграф, телефон, вокзалы и т. д. Потом из Сов. Раб. Деп., что свергнуто Вр. Прав., и что всё в их руках. Миллер говорит, что Правительство держится, но что «Аврора» обстреливает Мариинский дворец и Зимний... В Москве почтамт занят... Миллера просили остаться, но к нему приставлен Ведерников — «правительственный» комиссар. В Сов. Р. Д. выделена 7-ка, которой вручена вся власть, при ней какой-то Комитет, а Дума образовала свой Комитет Обществ. Безопасности из представителей социалистических партий.

26/X. Утром пришли вести, что Вр. Прав. упразднено после обстрела Зимнего Дворца, а вечером звонил Никитин, что они тверды... Здесь в почтамт, говорит Миллер, пришел один Ведерников без полномочий, они его выпроводили, он хотел цензуровать телефон, они пригрозили, что так расстроят его, что в три недели не восстановят. Он ушел, потом опять повторил попытку. Они же, согласно постановлению своего Союза, предложили, чтобы он принял все на себя, а они уйдут.

В Або немцы. Прорыв у Барановичей небольшой. Большевики изгнаны совсем из Думы в Петербурге.

---

[96] Почт-директор, член н. с. партии.

К. д. работают — Шингарев очень активен. Московская Дума решила не подчиняться большевикам и собраться. Московская Управа хочет пристроиться к рабочим, если не будут чинить препятствий, если же отберут одну из функций, или установят контроль, тогда сложить полномочия. Роспуску Дума и Управа не подчинятся. Делегаты высших служащих самоуправления постановили приказы комиссара не исполнять. В министерствах саботаж служащих.

27/X. Сегодня все о Петербурге опровергается. Приехали Кускова и Прокопович и говорят, что вчера в 8 час. вечера весь Петербург был в руках большевиков, а Правительство в Петропавловской крепости. У нас в Москве объявился полковник Рябцов, командующий войсками, и заседает со штабом в Думе, отдавая по телефону приказания. Там же из Вр. Пр. Прокопович, П. П. Маслов, Хижняков и др. и Комитет Общественной Безопасности (от нас, т. е. н. с., Филатьев принят как товарищ городского головы).

Москва объявлена на военном положении. Всюду патрули юнкеров. С. П., идя во «Власть Народа» (в Охотный ряд) попал под обстрел юнкеров, которые брали гараж, где засели большевики.

28/X. Известия: к вечеру вчера большевики сосредоточились в Хамовниках (шел сильный обстрел). Они сидели в Чернявском институте, а юнкера наступали. Сегодня они (т. е. большевики) уже заняли часть Остоженки. Совет рабочих депутатов сидит в генерал-губернаторском Доме.

29/X. Хамовники — обыски всех квартир, отнимают оружие.

Большевики взяли Градоначальство и Почтамт.

Сегодня казаки вступили в Москву, за ними идет артиллерия. По Пресне они шли, предшествуемые броневиком.

В 12 час. ночи по предложению жел.-дор. союза (Викжеля) заключено перемирие на 24 часа. Борьба отошла на окраины и шла на Немецкой ул. В Хамовниках все спокойно. Около нас в 11 час. вечера сильно работал пулемет и бросали ручные гранаты. Пушка выезжала на Кудринскую площадь и палила.

31/X. Соглашение не состоялось. Прокопович говорит, что они решили сидеть хоть две недели — у них сил и провианта достаточно. Очевидно Ком. Общ. Безопасности и Штаб, к которому присоединился Прокопович, действуют врозь. Комитет идет на уступки и согласен на социалистическое министерство, а Штаб с обломками Вр. Прав. решили добиться коалиционного министерства. Их поддерживают промышленники и к.-д. Все это рассказала Кускова Сыроечковскому Б., когда мы зашли к ним. Прокопович поблагодарил за предложение помощи в смысле информации и сказал, что это надо «обдумать».

Сегодня день в общем спокойнее, чем вчера, хотя в 12 часов и кончилось перемирие. Впрочем, здесь по соседству бомбы наделали много вреда. Домовые комитеты в настоящем трансе — все видят сигнализации и доносят друг на друга о выстрелах. Войска не подвозятся. Масса солдат бежит в деревню.

Вчера вечером продолжено перемирие. Интендантство расхищено все и Потребительский Союз тоже.

2/XI. Вчера 1/XI-го целый день был на М. Никитской страшный обстрел со всех сторон. Большевики занимали дом Рябушинского на углу Спиридоновки и М. Никитской и оттуда действовал пулемет. С. П. ходил узнать о решении совещания осколков совета министров — решено не уступать. Весь вопрос в коалиционном министерстве. Меньшевики, также отвергнутые Ком. Общ. Безопасности, как и мы, предлагают организовать комитет из представителей

всех партий и общественных организаций. С. П. с этим согласен.

Все палят и палят. Уже седьмой день — когда же конец!?

3/XI. С утра было несколько пушечных выстрелов, потом все затихло — оказалось, что состоялось соглашение — вернее сдача защитников Временного Правительства, т. е. победа большевиков. Постепенно улицы наполнились народом. Шел слух, что с 2-х часов опять пойдет пальба, но все тихо.

Вечером зашел Жилинский — предводитель дружины, защищавшей Вр. Прав., и массу нарассказал. Он от общественных организаций организовал дружину в 1.700 чел. но Руднев[97] ее не принял, как партизанскую — ее распустили, а через день-два сам попросил ее организовать, когда гибло Алексеевское юнкерское училище. Дружина была сорганизована. Жилинский сделал набег на Сов. Раб. Деп. и 2-мя выстрелами из мортир разогнал весь Совет, вошли туда 11 человек, но были бессильны остаться по малочисленности. Далее был сделан набег на склады патронов; они пристрелили несколько красногвардейцев, взяли их пропуска, проехали на склады и получили там несколько сот патронов. Таким же способом они побывали в большевицком военном Штабе и присутствовали 2 часа на заседании — говорит, что большевики очень растеряны и не знают, что делать. Также прошли в Замоскворечие. Они же брали Метрополь и Лоскутную гостиницу, откуда с крыши стрелял большевицкий пулемет. Жилинский и его товарищи застрелили 7 красногвардейцев. Дружина Жилинского потерпела большое поражение — и сдалась в Кремле, потому что осталось по два патрона на ружье. Он сам с 10-ью человеками спустился с кремлевской стены по веревке; ушли 11 человек из 1.500. Возбуждение его огромно. Говорит, что за Москвой-рекой расклеено объявление, что он приговорен к расстрелу; он

[97] Городской Голова.

последним патроном «уложил» красногвардейца и взял его пропуск. Ему мерещатся погромы. Он очень утомлен и морально издерган этими 7-ью расстрелами, хоть и считает красногвардейцев изменниками.

5/XI. На сегодня у нас ночевал Жилинский. Вчера его арестовали и потащили в военно-революционный суд на Калужской площади с требованием немедленного расстрела. Там председатель суда проф. Штернберг заявил, что это недоразумение, что он знает его, но солдаты и рабочие требовали расстрела. Тогда был учинен суд, а его заперли в комнату с часовым и у дверей поставили 6 часовых. Он стукнул по голове своего часового и, пока тот лежал в обмороке, выпрыгнул в окно в палисадник и отправился домой, но не дошел — его предупредили, что туда приехал автомобиль. Он пробрался к нам с большим трудом. Ему удалось узнать, что автомобиль приезжал с одним представителем центра и 2-мя — районного революционного комитета, они сказали его жене, что ему бы лучше сдаться, что они гарантируют его неприкосновенность: как только случится что-либо — выпустят его. Завтра он едет в Рязань или еще куда-нибудь.

В Московской думе в октябрьские дни

Доклад Г. Е. Филатьева в Городском Комитете н. с. партии[98]

(Сбоку рукой С. П. написано: начало ноября).

26-го Октября Комитет Общественной Безопасности, в который вошел полк. Рябцов, командующий войсками, потребовал, чтобы 56-ой полк, считавшийся верным,

[98] Г. Е. Филатьев, прис. пов., член н. с. партии, товарищ городского головы В. Руднева, эсера. Доклад записан тут же на заседании гор. ком. партии.

покинул Кремль, на что полк не согласился. Ком. Общ. Без. не решался брать на себя ответственность за кровавое столкновение. Срок сдачи был назначен на 27-ое. Но и 27-го полк не был выведен. Украинцы, бывшие там и присоединившиеся к 56-му полку, заявили, что согласны выйти, но только вместе с 56-м, а он не соглашается, причем и большевицкий Воен. Рев. Ком. уговаривал их выйти. Начались опять переговоры и чувствовалось смущение В. Р. К-та. А в Ком. Общ. Без. все обсуждался вопрос, как быть; решено было принять некоторые меры, но не доводить до столкновения. Наконец, вечером сам Рябцов поехал в Кремль уговаривать. Он долго не возвращался, а к ночи вернулись его спутники (Ровнов, Мастрюков и др.), очень взволнованные, и заявили, что его чуть не убили, что разговаривать даже не хотят, и что только большевики Муралов и Ногин спасли его жизнь, а что из Кремля его не хотят выпускать — он заложник.

Следовательно, если открыть военные действия — он будет убит. Положение было очень тяжелое, причем военные сильно нервничали...

Чтобы извлечь Рябцова, вызвали нелегальным путем в Думу большевиков и к 2-м часам ночи добились его возвращения, и тут произошла странная вещь: он заявил, что ни смертью, ни арестом ему не грозили, что он остался сам (Филатьев убежден, что он подвергался опасности и молчал об этом — из тактических соображений). Рябцов говорил, что активно действовать не надо, и что он позволил себе изменить условия соглашения в том отношении, что солдаты будут сменены в Кремле не юнкерами, а солдатами 192 полка, который верен Правительству. В Кремле было два верных броневика без бензина, но в них тоже начали сомневаться. Командный состав был против активного выступления. Юнкера и казачья сотня, стоявшие на карауле кругом Кремля, требовали его взятия. В ту же

ночь в Думу явился целый ряд делегаций от юнкеров и разных офицерских школ, из резолюций которых, особенно из резолюции представителей Алексеевского юнкерского училища ясно стало, что среди них начинается движение правее КОБ, который оказался между врагами слева и справа. Юнкера и офицеры на ряде митингов постановили сменить Рябцова и хотели выбрать Брусилова. Большинством всех голосов против Филатьева все же было решено ждать до утра 28-го замены 56-го — 192-м полком. Юнкера хотели самочинно взять Кремль и, чтобы удержать их и уже сорганизовавшихся офицеров, Рябцов решил ехать к ним для предотвращения выступления. Послали с ним и Филатьева. Они до 7 час. утра обходили и убеждали. Настроение было очень повышенное, раздавались резкие обвинения Рябцова. В манеже, напр., юнкера 6-ой школы кричали: «нам не дали, попробуйте, подлецы, сами». Наконец, убеждения подействовали, и они обещали подчиниться дисциплине. На следующее утро в 11 час. согласно постановлению 56 полк не вышел, и оказалось, что «верный» 192 наполовину перешел к большевикам, а наполовину нейтрален.

28-го было, наконец, принято решение занять Кремль, и Рябцов, который раньше убеждал юнкеров не выступать, потому что нет сил и «мы можем быть разбиты», тут стал их убеждать, что взять его очень легко. Их же настроение к этому времени уже упало. 28-го вечером Рябцов по телефону объявил ультиматум. Но тут у ВРК появился уже новый тон. Ультиматум состоял в том, чтобы через 15 минут открыли кремлевские ворота, туда пойдут юнкера, а солдаты им сдадутся; в случае несогласия он грозил пушкой. 15 минут затянулись на всю ночь до утра 29-го (страшно сделать первый выстрел по своим — объяснял Филатьев). К утру вошли в Кремль. Оружие было сложено, хотя там и оказалось не 3, а 8 рот, так как большевики

раньше поставили условием снятие кордона, и подтянули за это время туда несколько рот. Вдруг в Думу прибегает офицер и кричит «Кремль не взят, наших избивают». Оказалось, что Кремль-то взят, но не через Никольские, а через Троицкие ворота, а по Тверской начались провокационные выстрелы. Сперва из Кремля позвонили: «сдают оружие», потом заминка, и вдруг звонят: «юнкеров убивают» — оказалось, что когда юнкера окружили сдавшихся, по ним стали палить из пулеметов из окон — якобы от нераспорядительности начальства. По словам Филатьева было убито 15 юнкеров, тогда они стали стрелять и убили тоже 15 человек, но по газетному рассказу и по словам Стааля был убит 1 юнкер, а юнкера расстреляли тут же 101 чел. — огромная ошибка!

8 рот и 40 пулеметов сдались.

После этого был назначен срок сдачи генерал-губернаторского Дома, — большевики все тянули. С другой стороны приказ взять отдавался, но не выполнялся. Либо Рябцов бесталанен, либо изменник и сознательно так действует: это поддерживает деятельность реакционной группы офицеров. Приказы во всяком случае замедлялись преступно. После ультиматума о сдаче ген.-губ. Дома Ногин и другие большевики явились в Думу. Комендатура была поставлена настолько плохо, что большевики проходили без проверки, а своим чинили препятствия. Юнкера хотели взять Ногина и других на штыки, их едва уговорили, но они потребовали, чтобы при переговорах присутствовали их представители и казачьи тоже. Переговоры ясно показали их (большевиков) растерянность и готовность сдаться. Ультиматум: разоружение восставших войск и красной гвардии, арест и суд над ВРК и над всеми виновными. Они обещали ответить по телефону! При выходе у дверей кабинета городск. головы их окружили вооруженные офицеры и юнкера. Руднев вынул револьвер и отправился их провожать, пригрозив, что в случае покушения на них он тут же застрелится.

По телефону большевики сообщили, что согласны на все условия, кроме ареста ВРК, так как масса этого не допустит. Медлительность дала им силы. Единственно разумной операцией за это время был набег на Ходынку и похищение там 2-х орудий, причем были вынуты замки у многих орудий, но не у всех. При этом оперировали 50 казаков и 100 юнкеров. Постепенно к большевикам стали присоединяться полки и красногвардейцы, и уже они сами стали диктовать условия, на которые КОБ не соглашался, потому что военная власть заявила, что справиться с большевиками ничего не стоит — это дело нескольких часов, а между тем шла постепенная изоляция Думы от Москвы. У них, сидевших в Думе, создавалось впечатление, что их, *эту кучку гласных,* членов Управы и Ком. Обществ. Безопасности *никто не поддерживает.* То же впечатление было у войсковых частей: «за кого сражаемся? Мы потому с вами, что хотим поддержать порядок в Москве, а выходит, что мы поддерживаем какую-то кучку лиц». Никто не шел на помощь. Патронов не было. Их еще удалось захватить налетом. На день приходилось 25–30.000 патронов. Говорили, что у Сухаревой Башни продают патроны и винтовки. Дума посылала туда людей и много денег, но покупать не удавалось или очень мало. Даже казачьи офицеры стали говорить: «мы отрезаны и должны погибнуть». Представитель «Викжеля» вдруг заявил, что у него есть резолюция петроградская, хотя он входит от московского узла; эта резолюция гласила, что «Викжель» постановил не перевозить войска, а между тем вести о подходе войск приходили ежедневно, оказывались ложными и создавали ужасное настроение. Наконец, представитель «Викжеля» исчез и сообщил по телефону, что выходит из КОБ, но желает быть посредником переговоров. Так как КОБ считал, что переговоры о мире должен вести командующий войсками, то его направили в Александровское

училище (штаб Рябцова). Военное начальство на заседании КОБ вдруг заявило, что не уверено в победе без патронов и подкреплений тем более, что «не нам решать какое правительство». Викжель требовал «социалистическое министерство» и тогда обещал пропускать войска и настаивал на роспуске ВРК. КОБ и на социалистическое министерство согласился. Гар — представитель «Викжеля» поехал в ВРК. Они согласились сдаться, тогда с их согласия Гар поехал к командующему войсками, потому что трудно было сразу приостановить бойню и стянуть войска. Рябцов тоже согласился на перемирие. Точные условия не были выработаны, а Рябцов *даже ничего не сообщил об том КОБ.* Перемирие было нарушено большевиками — они стреляли с колоколен в Кремль. Военные утверждают, что они-то все условия соблюдали. Для заключения мира надо было ехать в ВРК — это было очень тяжело. Поехали: Руднев, предст. почтово-тель. Союза Войцехович, меньшевик Шер, Филатьев и др. Когда садились в автомобиль, Гар, который должен был сопровождать — исчез, и они ехали одни без пропуска, рискуя жизнью. К 2-м ч. приехали. Там были Муралов, Смидович, Кутнер, присутствовали меньшевики и «Викжель». *Тон вызывающий,* но чувствовалось, что они, имея силы, не могут с ними справиться. Они прямо говорили, что не согласны на прежний ультиматум, потому что за ними теперь есть силы, утверждали, что КОБ затягивает перемирие и обманывает. Они соглашались создать в Москве новый комитет из представителей Думы, Советов и партий, а когда их спросили, будет ли тогда распущен ВРК, они ответили «ни за что, потому что для масс это неприемлемо. Говорили до 9 ч. и договорились по главным пунктам, а по тем, в которых сомнение, должны были решить посредники, нейтральные, их решение должно было быть обязательным для сторон. *В 12 ч. переговоры были прерваны большевиками, которые выдвинули новое*

условие: вся власть Советам. В это время в Думе потухло электричество, и там началась паника, всех охватила мысль, что сейчас начнется расстрел. Скоро электричество загорелось, но переговоры прекратились.

Налет броневика на Скобелевскую площадь оказал моральную поддержку. «Викжель» окончательно исчез. Силы и патроны таяли. Мерилом настроения был комендант Кремля Мороз, очень бодрый, но накануне сдачи он заявил: «борьба окончена». Кольцо все сжималось. Очень трудно было сообщение Думы с Кремлем из-за обстрела Иверских ворот. В среду или вторник Рябцов вызвал кого-то от КОБ в Александровское училище и поставил вопрос, что делать: «вы нам не помогли, не послали за поддержкой» и т. д., закатил истерику. А между тем за поддержкой посылали, и из Вязьмы шли гренадерские части; в них не было веры. В Тверь послали за юнкерами. Из Петербурга посланные туда часто не возвращались. Рябцов решил вынести свой отряд из Москвы хотя бы с боем. Филатьев считал эту затею нелепой, ведь ни баз, ни кухон, ни патронов не было. Ночью на четверг предполагалась операция за патронами, но она не была выполнена, или отменена, или отказались. От Минска шла часть, которая могла прийти вчера утром. Провианта было на две недели. Одни подготовлялись к выходу из Москвы. Росло расслоение. Ясно, что дольше нельзя. Переговоры затянулись от 2 до 5 часов; вернулся посредник в 7 час. Юнкера ушли из Кремля до приказа о выходе. К. счастью хулиганы не узнали. Там была группа гласных. Их при выходе обстреливали из тяжелых орудий *после подписания мира!*

Условие унизительное для КОБ — его уничтожение. Канва условий — признание власти Советов, — но это не было признано сдавшимися. Борьба прекратилась с тем, чтобы продолжалась революционная борьба. Юнкерам и офицерам сохранено оружие, но фактически оно отбирается.

Казаки остались при всем оружии. Ночь под пятницу была ужасна — шло бесконечное расслоение среди военных, могло быть кровавое столкновение. Их удалось убедить. Спор возник из-за того, уходить или оставаться, и ненавидели они друг друга отчаянно. Часть юнкеров, не бывших в Александровском училище, разоружила толпа с избиением. Среди большевиков полная растерянность. Смидович умолял Руднева идти и *строить порядок. Они упустили власть над толпой из рук.*

7/XI. У нас жестоко расстреливают грабителей, прямо тут же на месте. Внешне все спокойно, но бродят слухи о погроме — дата намечена 12-ое, т. е. день выборов в Учредительное Собрание[99].

9/XI. Вчера Стааль вернулся из Петербурга... Там более определенная позиция, чем здесь. Создался Комитет Спасения Родины и Революции и действует на основе определенной программы, на которой объединились меньшевики, эсеры, народные социалисты и «Единство». Общая цель — борьба с большевиками, а здесь никак не могут примириться: Кускова кричит, что она согласна только на коалиционное министерство. «Единство» тоже, хотя их и уговаривают не спорить, так как вопрос будет решаться в Петербурге.

Сегодня ночью арестован директор государственного банка в Москве, и банк захвачен большевиками. Стали утром арестовывать служащих, которые постановили денег не выдавать. Служащие постановили бастовать, если явятся большевики.

Так везде — это стихийно, только нисшие служащие за них.

---

[99] Выборы в Учр. Собр. состоялись 19/XI.

Конечно, пока никакого погрома не было, тем более, что они даже хлеб даром раздавали в Хамовниках и на Смоленском рынке по 1 фунту.

Роют окопы кругом Москвы, ждут осады казаками.

10/XI. Сегодня были похороны красногвардейцев на Красной площади под кремлевской стеной. По одним — было не очень много народа, по другим — много, но настроение сосредоточенное, не злобное: «свои своих бьют, мало войны» и т. д. Хоронили в красных гробах, и про каждого при опускании говорили одно и то же: «столько-то сидел там-то, борясь за социализм, и убит буржуазией такого-то числа». Было много уличных митингов.

Сегодня же в типографии «Задруги» рабочие предъявили требование уплаты жалования и грозили забастовать, а между тем в банке по чекам частных лиц дают только 125 руб. в неделю и 1.000 руб. предприятиям. С. П. говорил с их комитетом, те говорят, что безнадежно убеждать; тогда С. П. решил говорить со всеми рабочими; они не захотели слушать В. С. Озерецковского[100] («вы теперь, как Керенский, для нас»), но выслушали внимательно С. П., который резко напал на большевиков, выяснил, что вся разруха от них, потом перешел и на требования: «я хотел все устроить по-товарищески и собрать, с кого можно, а вы сразу требования и угрозы. — Я не подчинялся требованиям самодержавия, не подчинюсь тем более и теперь; если вы так, то закроем типографию, или вот получите чек и берите по нему сами в банке».

Они поняли и отменили свое постановление, и все приняли, как предложил С. П.

В московских банках уступили угрозе большевиков объявить виновных чиновников врагами народа и вне

---

[100] В. С. Оэерецковский — н. с., задружник, бессменный заведующий типографией.

закона. Они решили работать и выдавать по 125 руб. в неделю, если не будет большевицких комиссаров — те согласились. А в Петербурге такой стойкий саботаж, что большевики сдают, им пришлось выпустить арестованного Ивинова, директора банка.

С. П. поехал сегодня в Петербург на переговоры с Ком. Спасения Родины и Революции.

По сведениям Избирательной Комиссии бегство солдат огромное: из 16.000 артиллеристов, расстреливавших Москву, осталось 500–1.000 человек.

Боятся подлогов при выборах в Учредительное Собрание.

11/XI. Совет Университета решил продолжать занятия впредь до вмешательства большевиков, тогда закрыть. Служащие городские постановили бастовать.

12/XI. Бедный Керенский, его теперь все ругают, что он до этого довел. Хорошо, что он в безопасности.

14/XI. Вчера на Братском кладбище хоронили студентов и юнкеров, убитых во время восстания. Никаких эксцессов не было. В простонародии только делали сравнение между похоронами красногвардейцев у кремлевской стены без духовенства с этими похоронами, обставленными всеми церковными обрядами, в присутствии большого количества духовенства, и все сравнения были не в пользу первых, похороненных «как собаки, под забором», «собаке собачья смерть», говорили про тех. Большую ошибку сделал Революционный Комитет, забыв о религиозных чувствах, которые сейчас, во время голода и всяких бедствий, начинают говорить все сильнее. Солдаты и рабочие присоединились к процессии. На трамвае, когда наш друг Б. Федоров возвращался с похорон, кондукторша стала что-то смеяться, и какой-то рабочий ей заметил: «чего

смеешься» — она — «я плакала 10-го, а сегодня смеюсь», — «а я, — сказал он — плакал и 10-го, плачу и сегодня» — она прикусила язык.

Образовалось бюро межпартийное для охраны выборов, а то воззвание ВРК о свободе выборов идет прямо вразрез с их действиями — они сожгли и уничтожили в типографии воззвание к.-д. и т. д.

15/XI. Вчера вечером было у нас заседание Гор. Ком. н. с., и Филатьев сообщил об Думе и о том, как разгоняли утром Управу: явился гимназист, который стал их разгонять, они отказались уходить, и он, наконец, махнул рукой и, заявив, что он сам не желает больше подчиняться ВРК, ушел.

Сегодня утром в Думе, куда от н. с. представителями отправились П. П. Лидов и С. П., было еще лучше — явились солдаты и потребовали, чтобы разошлись. Минор, председатель собрания, заявил, что подчиняются силе; все потребовали частное совещание, старшой заявил, что этому он препятствовать не может, и солдаты ушли. Тогда Дума решила продолжать заседание. Вошли опять 10 солдат, Е. Ратнер обратилась к ним с речью разъяснения, они стали выходить, тогда их решили пригласить присутствовать, они отказались, а потом один за другим вернулись, свинтили штыки, сели, заявив, что они не знают, что такое Дума, и аплодировали со всеми против большевиков.

В Петербурге на выборах в Учредительное Собрание мы получили 18.000 голосов и всему блоку социалистов не хватило только 5 тысяч голосов для одного человека, которым был бы Мякотин. Прошли: 6 большевиков, 4 к. д. и два эсера. Что-то будет у нас!

19/XI. Выборы в Учредительное Собрание идут вяло. Сражаются к. д. с большевиками. Никакого настроения — сравнить с выборами в городскую Думу невозможно.

Вчера С. П. видел Савинкова, едет в Область Войска Донского. Хочет спасать через Каледина. Третьего дня С. П. был у Когана банкира. Тот говорил, что крупная плутократия переводит по 4 мил. в месяц Каледину на организацию армии, туда съехалась масса офицеров и намечается монархическое настроение.

20/XI. Второй день выборов — состязание большевиков с к. д. Обе стороны прибегают к одинаковым приемам — вырывают из рук бюллетени, впихивают свои и т. д., между собой не дружат, но стоит появиться эсеру — вместе бросаются на него.

Закрыты все петербургские газеты за напечатание воззвания Временного Правительства. Выпущены из тюрьмы все черносотенцы.

23/XI. Мы здесь пролетели на выборах. Результаты будут завтра. Говорят, были злоупотребления, но не в такой мере, как могли бы быть: в Хамовниках и на Ходынке, где сплошь солдаты, голосовало 48–50 %, так что очевидно злоупотребления были единичные. Сегодня Думу не разогнали, она постановила отложить забастовку, потому что, может быть, в ней придется прибегнуть при Учред. Собрании, если будут насилия. У нас в комитете вчера решили «не отговаривать от забастовки», а относительно выборов 26-го *новой думы* — бойкот полный. Теперь собирают всех государственно настроенных социалистов в кооперацию — неизвестно, что выйдет.

24/XI. Большевики подговариваются к откладыванию Учред. Собр. на том основании, что выборы «произведены с давлением». Е. Д. Кускова Ленина и Троцкого считает немецкими агентами.

25/XI. Вчера вечером приехал Б. Д. Никитин прямо из Ставки, откуда вывез Вырубова, причем это оказалось очень легко, хотя Вырубов и подлежал аресту, но матросы, долженствовавшие его арестовать, занялись сбиванием короны с орла на банке. Так день и прошел; и Вырубов был вывезен.

Оказывается, Крыленко нарушил условия с Духониным, ибо по условию Духонин отвел от Ставки войска, а Крыленко явился с несколькими тысячами матросов. Ими руководит банда в 50 человек с «Авроры», которые всех терроризировали, во главе их тоже терроризированный ими мичман. Это преступники настоящие. Они совершенно спокойно постановили убить Духонина на предварительном собрании и, когда его вели, именно они бросились на него, другие же все были простыми зрителями, заступившегося Крыленко они за шиворот сбросили с площадки вагона. Потом чуть не двое суток издевались над трупом самым зверским образом, и только озлобление против этого прибывшего Литовского полка заставило их сократиться и выдать труп.

Матросы едут с огромными деньгами, они отбирают оружие у всех и им торгуют, так что в конце концов остаются или с разнокалиберным или без него совсем. Первые полтора дня они несли караулы, а потом замерзли и им надоело — они ушли.

Матросы эти отказались ехать в вдогонку за Корниловым, а сами уехали неизвестно куда. Ставка была ими терроризирована.

Корнилов бежал открыто. Он сделал смотр георгиевцам, которые вместе с текинцами охраняли его, они пожелали ему счастливого пути. Между тем офицер текинцев пошел проверять бумагу, но текинцам достаточно было бумаги, чтобы «выпустить хозяина», и он открыто уехал вместе с комендантом и начальником тюрьмы.

26/XI. В Могилеве два революционных комитета: один при Крыленко, другой из 15 оставшихся матросов.

События идут галопом — арестована Избирательная Комиссия по Учр. Собр., приказ всех их арестовать и заменить большевиками. Арестованы члены Земского Союза и отвезены в Петербург. На улицах грабеж вовсю, чуть стемнеет.

На выборах по сведениям Избирательной Комиссии очень много надписей за царя, прямо даже за Николая II, «за городовых», за Михаила, и много ругани Ленину.

27/XI. Противно то, что у большевиков нет идеи, как было у французских коммунаров («родина»), здесь только «брать» и нажива во всех видах. Противен страх у людей, который заставляет и Врем. Правительство скрываться и тем терять последний авторитет.

На охрану домов нанимаются офицеры: по 200 рублей и готовая квартира. Масса интеллигенции остается сейчас без заработка, просят мест.

28/XI. В Петербурге выпустили членов Изб. Ком., продержав 5 дней. Крыленко уехал из Ставки, очень там неспокойно. «Русское Слово» закрыто за сообщение, что Ставка была взята Крыленко с одобрения германского штаба.

30/XI. Вчера на Кузнецком встретила 3-х офицеров немцев — идут с победоносным видом и громко говорят по-немецки — публика равнодушна. Ек. К. Д. говорит, что много их бежало из Екатеринбурга, но за 60 верст от границы они были задержаны и препровождены в Москву, где и живут припеваючи на свободе. Ан. Ив. пишет из Красноярска, что в Сибири все пленные вооружены, сорганизованы под начальством генералов и подготовляют

заговор, о котором все знают и никто не препятствует. Кропоткин говорил сегодня пришедшим поздравить его с 75-летием представителям нар. соц., что он слышал, что большевики собираются посадить на престол Алексея, а регентом Генриха Прусского.

К. д. объявлены врагами народа и подлежат аресту. Многие арестованы в Петербурге. Учр. Собр. окружено войсками с орудиями и пулеметами. Здесь, как и везде, возник Союз Защиты Учр. Собр. — он образовался из КОБ.

Родственницу Шполянской остановили днем на Солянке 4 солдата (публика равнодушно шла мимо) и потребовали денег, она перепугалась: «сколько вам надо?» — «1 руб. 43 коп.» — она дала 2 рубля, они поклонились ей в землю и с благодарностью сказали, что теперь поедят, а то 2 дня не ели.

1/XII. Немцы приобретают все больше наглости. Пишут в бюро военнопленных о том, что их присылают в Москву, и чтобы к их приезду были готовы хорошие экипажи и т. д. Фриче (большевик) дает немцам удостоверения, чтобы не производить (у них) обыска без представителя шведского посольства. Мы вчера в «Задруге», а третьего дня в ред. «Голоса Минувшего» постановили написать ему, что не желаем с ним совместной работы[101]. Новиков говорит, что еще в 14-м году пленные немецкие офицеры говорили, что не поедут домой, потому что в России будет смута, а они будут все устраивать.

Между Петербургом и Ригой ходят поезда, только 100 верст приходится ехать лошадьми, и всех пускают. Германия зовет беженцев возвращаться, только пускает их к себе с деньгами. Швейцарцы едут отсюда через Стокгольм.

---

[101] Фриче сотрудничал в «Г. М.» и был членом коопер. изд-ва «Задруга».

За квартиры по декрету платить не надо хозяину, иначе и хозяин и квартирант попадут в тюрьму. — а домовому комитету ½ и ½ куда-то, пока еще неизвестно куда. Домовый комитет на эту ½ должен содержать дом. За взятку, говорит Титов, можно получить в банке сколько угодно денег и вне очереди, взятка 5.000 руб. за 200.000. Говорят, что часть взятки идет комиссару Попову через его сестру. Рабочие, которые ходят получать для фабрик, злятся на большевиков за беспорядок — по 3 дня приходится ходить. Из военных сфер тоже передавали о Генрихе Прусском.

2/XII. Лукин, большевик, говорил Сыроечковскому, что Ленин и К-о разочаровались в возможности социалистической революции в России и решили, что для ее ускорения надо ввести жестокий монархизм, хуже прежнего, а самим тем временем отправиться работать в Германию, где по окончании войны должна вспыхнуть социалистическая революция и, уже свергнув Вильгельма, оттуда распространиться сюда. Из Москвы полки уходят на юг сражаться с радой.

4/XII. Манифестация вчера в защиту Учредительного Собрания прошла удачно. Было 30.000 чел. надо бы 300.000; на площади казалось мало, а шествие было очень длинное. «Задруга» шла со своим знаменем. Партия наша — с тремя. Был оркестр, наши пели. Часто останавливались и убеждали публику примыкать, особенно солдат перед СРСД, но они отмалчивались, а потом, подбодренные своими агитаторами, стали угрожать. Перед университетом Шанявского стояла конная милиция, толпа прогнала ее, и только когда все разошлись, а группа учащихся устроила митинг на подъезде, милиция разогнала его двумя залпами в воздух. Говорят, накануне они палили с мостов из пулеметов в воздух для устрашения, и чтобы

меньше народа приняло участие в манифестации. Стрельбы по городу было больше обычного.

Сегодня вечером был В. В. Вырубов и рассказывал много интересного. Он сам очевидец и участник многого. Состоял некоторое время при Керенском. Говорит, что у Керенского очень хорошая душа, но он истерик. Многие имеют на него плохое влияние, особенно его шурин Барановский.

При начале Корниловской истории Вырубов присутствовал: усталый, засыпающий Керенский лежал на диване, закинув руки за голову; по комнате бегал его «друг» Владимир Львов и кричал: «Нет, вы должны порвать с демократией, к черту ее». — «Да, да», сонно бормотал К. — «Я вам все устрою, я создам вам силу, я берусь за это». — «Да. да» — опять сквозь сон. — «Так я поеду к Корнилову и все устрою». — «Поезжайте, поезжайте» — засыпая. — Тот выбежал. А через несколько дней, когда Вырубов с подробной инструкцией переговоров с Корниловым и налажения отношений выходил из Зимнего Дворца, туда вбегал Львов: «где Керенский, мне он немедленно нужен, через три дня все будет устроено, — вот увидите!». Какой ужас произошел из полусонных слов — ими воспользовались определенно те, что стояли за Корниловым. Между Керенским и Корниловым были разговоры о диктатуре, причем Керенский утверждал, что он быть диктатором не может — «не родился таким, а вы, генерал?» обратился он к Корнилову, тот подумал минуту: «да, я бы мог» — «но как же жел. дороги и вся анархия?» — «это ничего!».

Алексеев ненавидит Керенского, но когда надо было его согласие после Корниловского мятежа, Керенский не задумался, сам рано утром с Вырубовым поехать к нему; Алексеев встретил его, не здороваясь, и в течение 15 минут в самой резкой форме ругал Керенского за разложение армии, употребляя такие выражения, как «предатель» и т. д., Керенский все слушал (Вырубов держал его за руку),

потом совершенно детским тоном сказал: «но ведь надо же ее спасать». — «Так как вы сами пришли за мной, я поеду с вами и продиктую вам свои условия», ответил Алексеев. Его Вырубов не хвалит, говорит — очень капризный.

Когда Алексеев взял на себя миссию ареста Корнилова, то ему было предложено силой или моральным воздействием, он выбрал второе и потребовал, чтобы никакие полки не были двинуты ему на подмогу. А между тем дорогой в Орше их нагнала телеграмма Павла Толстого, что под команду Вырубова для подавления мятежа дается военная сила.

Алексеев встал на дыбы и решил все бросить; бросился к аппарату, чтобы отказаться — испорчен. Вырубов доказал ему, что так как он сам в распоряжении Алексеева, то все его приказания по отношению к армии будут исполняться.

Когда они приехали, «Совдеп» потребовал себе право присутствовать при беседе с Корниловым. Алексеев возмутился: «не стану при мальчишках» — сговорились на часовом, а часовым они нарядили своего же.

Арест произошел очень просто: Корнилов встретил их на пороге кабинета, куда вошел один Алексеев, потом он вышел и объявил, что Корнилов арестован. Корнилов сидел все время в одиночестве, он даже жену отослал. Других генералов держали, чтобы спасти от самосуда, и постепенно выпустили. Когда Корнилова посетил Вырубов, чтобы узнать, как попала к нему корреспонденция, он мрачно сидел и заявил: «бежать я не собираюсь, пока Временное Правительство, но, поверьте, что если бы захотел, завтра же убежал бы»...

Ошибка Керенского относительно Духонина, что он с 25/X ни разу не подошел к телефону, когда Духонин вызывал его.

И ген. Черемисов отказал Духонину позвать к аппарату Керенского, который сидел в его квартире...

Тут приехал Краснов и увез Керенского...

8/XII. В Петербурге введено осадное положение, а в Москве — военное, но все равно большевики в опасности, они сами это сознают: в передовице в «Известиях» СРСД пишут, что видны «Грозные предзнаменования» — чуют анархию и зовут социалистов сплотиться. Вчера захвачен архив министерства иностранных дел, в квартире заведующего поселены матросы.

Большевики зовут и офицеров, соблазняя всякими благами.

9/XII. Сегодня у нас завтракал Платон Лебедев из «Новой Жизни». Говорил, что про немцев все преувеличено. Н. Б. Эмлер тоже, приехав из Петербурга, утверждает, что преувеличено, но в то же время говорит, что на окраинах Петербурга были большие плакаты с обещанием Алексея в виде царя и в. кн. Павла регентом. Говорят, что в. кн. Павел в Смольном «обещал не преследовать участников переворота». Сегодня у нас изданы приказы о цензуре и военном положении. Газеты, кроме «Труда» и «Вперед», вышли только в виде текстов этих приказов, т. е. фактически признали цензуру.

На последнем заседании Союза Защиты Учр. Собр. произошел раскол из-за отношения к участию к.-д. в Союзе. 7 — за и 3 — против, причем эсер, бывший среди 3-х, заявил, что они совсем уходят и будут образовывать новый союз. Говорили еще, что газеты подвергли цензуре, чтобы расправиться с здешними городскими и банковскими служащими. Дело в том, что петербургские представители банков большинством 12 против 10 постановили уступить большевикам, к этому московские директора присоединились, а служащие отказались подчиниться.

10/XII. Назревает всеобщая забастовка.

Вчера Е. К. Д. рассказывала, что приехавший в Москву военнообязанный немец предупредил знакомую английскую

семью, чтобы она готовила себе помещение в Англии: «мы всех вас отсюда выселим». Немцы держатся страшно заносчиво.

Арестован Студенецкий — председатель стачечного комитета.

12/XII. Вечером был Леня Тугаринов, он из-под Луцка, у него самые лучшие отношения с солдатами, и он говорит, что там есть только одно стихийное желание: «домой» «жили плохо, под немцем будет не хуже», твердят солдаты.

С. П. передали, что в Петербурге на Васильевском Острове солдаты разоружили красногвардейцев за убийство двух солдат, и только уговорами удалось сгладить дело. Над. Б. передает, что на 10-ое как раз была назначена резня солдат с красногвардейцами из-за того, что солдаты получают 15 руб. в месяц, а кр. гвардейцы 36 руб. в день. «Мы и одни сумеем поддержать порядок». Уже три полка: Семеновский, Преображенский и Латышский заняли Таврический дворец с целью охраны Учр. Собрания. Открылся военно-революционный трибунал — судит Панину за сокрытие 92 тысяч рублей из министерства, а она передала их на забастовку. Публика устроила ей несколько оваций.

Готовится всеобщая забастовка, в которой должен принять участие и «Бикжель», в котором на будущей неделе выборы нового комитета на место теперешнего большевицкого, самозванного.

14/XII. По слухам от Осколкова военная контрразведка, искавшая шпионов и сегодня занятая большевиками, установила, что в Москве работают три немецких штаба, что сюда ежедневно прибывают партии военнопленных, одетых в русскую солдатскую форму. Зачем? Контрразведка успела спасти многие материалы, напр. документ о том, что «Соц. Демократ» получил 75.000 руб. от немцев. Начальником контрразведки назначен известный им

немецкий шпион. А в Москву командующим назначается Ермолов, т. е. Муравьев, бывший пристав московский Ермолов, который переменил фамилию.

Кооператоры дали только 100.000 «в распоряжение Учр. Собр.», а обещали 1½ миллиона, промышленники же ничего не дают — не верят и ждут спасения от диктатуры. Покровский у нас на заседании «Голоса Минувшего», еще до московской бойни, сказал, что он знает, что Ленин получал деньги от немецких социал-демократов.

15/XII. Сегодня утром заняты большевиками все частные банки в Москве. Во главе экспедиции стоит известный Антонов, который должен вообще создать и укрепить тыл для борющихся с Калединым. Сегодня в трамвае девочка-школьница влезла через переднюю площадку, кондукторша стала грубо высаживать ее, ссылаясь на постановление Советов, не разрешившее ездить в трамваях учащимся, пока бастуют городские учителя. Публика заступилась за нее, особенно солдаты, которые прямо потребовали, чтобы вагон шел дальше, и окружили девочку. А в поезде кондуктор выпроваживал мешочников из II кл., приговаривая: «вот, когда Троцкий издаст указ, чтобы без билетов ехать, тогда и садитесь, куда хотите».

18/XII. Национализированы банки. Нашлось 65 штрейкбрехеров. Служащие Гос. Банка уговаривают всех ходить в банк, пока нет денег, и сидеть там, чтобы все убедились, что не из-за их забастовки, а из-за большевиков нет денег.

19/XII. Заседание домового комитета — действительно центрострах. Мы начинаем не верить в Учредительное Собрание. Немцы все распространяются — уже 5 миссий военных в России.

21/XII. Вчера на заседании Гор. Ком. н. с. постановлено послать всем членам письмо с предложением распространять идею неплатежа налогов. В Союзе Защ. Учр. Собр. приехавший из Петербурга делегат передал, что в Смольном очень прислушиваются к немцам (к немецким миссиям), и т. к. гр. Кейзерлинг за открытие Учр. Собр., очевидно, оно будет открыто. Вообще начинаются послабления, вероятно, в связи с ужасными условиями немецкого мира...

Автобиографические наброски в третьем лице, доведенные до 1925 года

С. И. Мельгунов родился 25 декабря 1879 г. старого стиля (7-го января 1880 г. нов. ст.), принадлежит к старинной дворянской фамилии и является потомком известного русского масона.

С. П. сын московского педагога и историка. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Специальностью своей избрал русскую историю и в частности изучение русского сектантства. С этой целью совершил ряд обследований на местах быта русских сектантов и написал на эту тему много статей, отчасти собранных в книге: «Религиозно-общественные движения в России в XIX в.». По истории русского сектантства им выпущена книга: «Религиозно-общественные движения в России XVII–XVIII в.».

С юных лет Мельгунов стал принимать ближайшее участие в демократической газете «Русские Ведомости», которая считалась самым серьезным и влиятельным органом в начале текущего столетия. Здесь Мельгунов вел горячую пропаганду за установление свободы совести в России, выступая против религиозных гонений. Многочисленные статьи его собраны были в двух книгах: «Церковь и Государство в России». На почве общности

интересов к русскому сектантству у Мельгунова установились связи с Л. Н. Толстым, хотя по воззрениям своим М. был далек от взглядов Толстого. Связь с Толстым не порвалась и впоследствии — Мельгунов принял ближайшее участие вместе с дочерью Толстого Александрой Львовной в подготовке издания полного собрания сочинений Толстого, куда должны были войти все неизданные еще творения великого русского писателя — собрания, которое после большевицкого переворота не могло появиться в свет. Из других исторических работ Мельгунова[102] наиболее крупной является объемистая книга «Дела и люди александровского времени», подводящая как бы итоги того, что сделано по изучению эпохи Александра I и ставящая новые проблемы в ее изучении... Под редакцией Мельгунова вышли многотомные коллективные работы при участии лучших научных и публицистических сил России: «Великая Реформа 19 февраля 1861 г.» (7 томов), «Отечественная война и русское общество» (6 томов), «Русское масонство в его прошлом и настоящем» (3 тома). Все эти издания снабжены исключительно редкими иллюстрациями, заимствованными отчасти из богатых исторических коллекций самого Мельгунова. Под его редакцией вышло 7 томов «Книги для чтения по истории нового времени», являющейся как бы продолжением аналогичного труда по истории Средних веков, выходившего под редакцией проф. П. Г. Виноградова.

Совместно со знаменитым историком русского крестьянства В. И. Семевским в 1913 г. М. организовал исторический журнал «Голос Минувшего», в котором преимущественное внимание уделялось истории русского общественного движения. С 1916 г. (год смерти В. И. Семевского) Мельгунов редактировал этот журнал, получивший большую популярность, один. Журнал удавалось выпускать с перерывами

[102] Периода до 1925 г.

даже при большевиках, и только в 1923 г. с отъездом в конце 1922 г. Мельгунова за границу журнал кончил свое существование.

Вместе с журналом окончилось и другое большое литературное дело, организованное в 1911 г. на особых началах Мельгуновым — издательство «Задруга». Два года тому назад оно было закрыто большевицкой властью. Издательство это, совершенно исключительное в России, представляло собой авторский кооператив, в котором участвовали многие из выдающихся русских людей, в том числе В. Г. Короленко, собрание сочинений которого выпускала «Задруга», как должна была она выпустить и готовившееся полное собрание сочинений Толстого. Издательство насчитывало в своем составе около 600 членов, выпустило несколько сот книг; имело две типографии, организованные тоже на товарищеских началах — все рабочие типографий, как и все остальные работники, являлись равноправными членами Товарищества.

В дни революции издательство развило широкую пропаганду в области политического просвещения масс, связанное по своей организации с Союзом русских кооперативных организаций, издательство выпустило и распространило миллионы экземпляров брошюр по политическим и экономическим вопросам для рабочих и крестьян. Общий характер издательства отвечал политическому направлению самого руководителя дела. Мельгунов, стоя близко к кружку писателей, объединявшихся около журнала «Русское Богатство» (основанного в свое время Н. К. Михайловским), представлявшего так называемое народническое направление, принял участие в народно-социалистической партии (1907 г.). По своим воззрениям эта партия отличалась от других социалистических партий тем, что в основу она клала не классовую борьбу, а интересы человеческой личности, как таковой. Ею выдвинуто было таким образом особое понимание

социализма. Партия не могла иметь широкого развития в буйное время революции, когда на сцену выступила демагогия. Но ее умеренный социализм, ее непрерывная защита интересов государства, как целого, интересов нации привлекло в ее ряды много лучших представителей русской демократической интеллигенции.

Мельгунов состоял товарищем председателя Центрального Комитета партии и был выставлен кандидатом в Москве при выборах в Учредительное Собрание.

В дни революции Мельгунов редактировал вместе с другими лидерами партии Мякотиным и Пешехоновым партийные органы: «Народное Слово» и «Народный Социалист» и состоял одним из редакторов демократической газеты «Власть Народа», издаваемой Союзом Кооператоров. Не участвуя непосредственно в организации власти, Мельгунов боролся в рядах, поддерживавших Временное Правительство, в качестве писателя.

После большевицкого переворота Мельгунов остался в Москве, все время неуклонно борясь с насилием, воцарившимся в России. Привлекаемый не раз при царском режиме в ответственности за статьи, он должен был в 1919 г. перейти на нелегальное положение, продолжая, однако, свою работу. Он был пять раз арестован при большевиках, сидел длительно в тюрьме, подвергался бесконечным обыскам, но большевицкая власть его выпускала, так как за него постоянно ходатаями выступали старые революционеры, как В. Фигнер и П. Кропоткин. В 1920 г. Мельгунов был судим по большому политическому процессу, к которому было привлечено много московских профессоров и общественных деятелей. Его обвиняли как одного из организаторов «Союза Возрождения» — политической группировки, в которую вошли представители всех анти-большевицких демократических партий: народной свободы, народ. социалистов, правых соц.-револ., правых соц.-демокр. Союз Возрождения вел

активную борьбу с большевиками, поддерживая демократическую тенденцию, — так позади белого движения пытались создать единый национальный фронт против большевиков.

Мельгунов был приговорен к смертной казни, которая была заменена ему десятью годами тюремного заключения. После годового пребывания в тюрьме, преимущественно в одиночной камере, он был освобожден по ходатайству Академии Наук и Кропоткина.

В 1922 г., в момент массовых высылок (за границу) интеллигенции, в момент, когда М. вновь сидел в тюрьме, вызванный свидетелем на известный процесс соц.-рев., он намечался к ссылке в Чердынь[103], что было заменено разрешением выехать за границу при условии, что он не вернется на родину.

Мельгунов сделался эмигрантом, так как через год он официально был лишен всех прав гражданства, вместе с тем конфискованы были его богатейшая библиотека и архив, переданные ныне Социалистической Академии. Поводом для этой меры явились статьи Мельгунова о красном терроре.

В эмиграции М. организовал издание исторического журнала, названного им «На Чужой Стороне», который является как бы продолжением «Голоса Минувшего». В настоящее время он занят преимущественно изучением русской революции и историей гражданской войны. Вместе с тем, им приготовлена большая работа, еще не напечатанная, в которой он под влиянием пережитого в русской революции ставит ряд вопросов, требующих пересмотра при изучении Великой Французской Революции...

На этом обрываются автобиографические наброски Сергея Петровича Мельгунова (П. М.).

---

[103] На севере Пермской губ.

Несколько слов о последних днях ставки (из дневника 1939 г.)

14/V. 12-го вечером был В. В. Вырубов, до 1 часа ночи рассказывал нам о последних днях Ставки. Я записываю маленькие черточки. Алексеев согласился быть начальником Штаба при Керенском главковерхе только для того, чтобы спасти Корнилова и других от смертной казни. В Ставке было известно, что есть статья, под которую Керенский может их подвести, а она грозит казнью.

Перемогая себя, являлся Алексеев к Керенскому в полной форме, как полагается, но после этого бывал физически болен.

Он не слагал с себя обязанностей, пока не удалось добиться от Керенского обещания, что казни не будет. Тогда Алексеев тотчас подал в отставку. Когда он уходил, то рекомендовал на свое место Головина, Черемисова или Духонина (по узусу царь назначал всегда последнего из рекомендуемых). Кстати, Головин должен был сопровождать Алексеева за границу с миссией к союзникам.

Был назначен Духонин, — бесхарактерный фаталист, очень благородный. Он отказался уехать на юг, как ему советовали, и решил, когда Керенский бежал, что все рухнуло, но что надо оставаться на посту и погибнуть. Лично он был очень храбр.

Керенский, по его мнению, должен был явиться в Ставку; с его бегством Ставка осталась без своей опоры — Правительства. Ставка была убеждена, что большевицкий переворот — это эпизод, главное — война, и пусть хоть Ленин входит в правительство, лишь бы продолжать войну. Ставка ждала, что какое-то правительство сорганизуется, и война будет продолжаться. Конец в Ставке почувствовали, только когда в окопах подняли белые флаги...

Мельгунов Сергей Петрович

Воспоминания и дневники

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334–72–11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru